Д.Н. МАМИН
СИБИРЯК

Собрание сочинений в десяти томах //Правда, Москва, 1958
FB2: “fb2design ”, 07 September 2011, version 2.3
FB2: “Psychedelic ”, 07 September 2011, version 2.3
UUID: EAA42F26-4993-4162-A31B-B36574114C1C
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Том 1. Рассказы и очерки 1881-1884

(Д.Н.Мамин-Сибиряк. Собрание сочинений в десяти томах #1)

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

Собрание сочинений в десяти томах. В первый том вошли рассказы и очерки 1881–1884 гг.: «Сестры», «В камнях», «На рубеже Азии», «Все мы хлеб едим...», «В горах» и «Золотая ночь».

Содержание

Сестры Очерк из жизни Среднего Урала {1} .0007
I 0008
II 0040
III 0073
IV 0094
V 0128
VI 0167
VII 0189
VIII 0220
В камнях Из путешествия по реке Чусовой {2} 0247
I 0247
II 0265
III 0280
IV 0295
V 0312
На рубеже Азии Очерки из захолустного быта {3} 0324
I 0324
II 0347
III 0367
IV 0379
V 0415
VI 0431
VII 0471

VIII 0484
Эпилог 0502
«Все мы хлеб едим...» Из жизни на Урале {4} 0515
I 0515
II 0522
III 0535
IV 0550
V 0567
VI 0575
VII 0587
VIII 0603
В горах Очерк из уральской жизни {5} 0615
I 0615
II 0623
III 0638
IV 0652
V 0657
VI 0674
VII 0693
VIII 0702
IX 0714
X 0730
XI 0741
XII 0755
XIII 0766
XIV 0772
XV 0781

XVI 0794
XVII 0808
Золотая ночь Из рассказов о золоте 0826
I 0826
II 0831
III 0840
IV 0852
V 0865
VI 0884
VII 0906
Статьи о творчестве Мамина-Сибиряка 0933
Ф. Гладков Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка 0933
А. Груздев Д.Н. Мамин-Сибиряк 0957

Дмитрий Мамин-Сибиряк
Том 1. Рассказы и очерки
1881-1884

L. Mechnikov

Сестры
Очерк из жизни Среднего Урала[1]

I

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы — числом десять — занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на посессионном праве; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя ино-

странцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской натуры, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза.

После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабжении заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заводах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были

тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах.

Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой цифрой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец, какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нрав-

ственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необходимости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим из заводов Кайгородова, но сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки в глубь Уральских гор, куда был заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верст двести с лишком по самому плохому из русских трактов — Гороблагодат-

скому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась — это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский завод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшоная» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась назади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождая реку далеко по ее тече-

нию вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный городок, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широкой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился пред небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской станции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной ку-

мачовой рубахе, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

— Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разе к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пущает, кто ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

— А где живет эта Фатевна? — спрашивал я.

— Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церкви.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза рукой, внимательно смотрела на меня.

— Здесь живет Фатевна? — спрашивал я.

— А тебе на што ее? — отвечала вопросом старушка.

— Да вот мне нужно квартиру...

— Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, мило-

сти просим, — весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одета была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую рубашку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными глазами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в «обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

— У меня тут живет жилец один, — говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, — ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

— Как же это так? Это неудобно будет... — протестовал я, — я никого не хочу стеснять...

— Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую светлую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашеный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бумаги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный та-

бак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

— Вот все пол собираюсь выкрасить, — трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. — Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась, хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? — бойко спрашивала Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: — Не раздеретесь, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знакомым, но где я видел это лицо? когда? В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

— Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! —

вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

— Какой там черт приехал? — ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. — Ба-батюшки, светы мой... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!.

— Именно судьбами... — проговорил я, и мы не только обнялись, но и перецеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

— Вот эк-ту лучше будет, — говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любуясь встречей старых товарищей. — Фе-ша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! — звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. — Фешка, ли-ко, ли-ко!..

— А вы что тут рот-то разинули! — закричал Мухоедов на баб. — Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

— Что я вам за голубушка... — ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь по-прежнему в дверях. — Вот мамынька велит, так и принесу...

— Фатевна, водки, варенья, печенья! — неистовствовал Мухоедов, снова заключая меня в свои объятия.

— Варенья-то еще не наварили про вас, — огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, — в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица, носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

— Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?!. - с азартом накинулся Мухоедов на

своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: — А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роняя слова, заговорил:

— Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

— Нет.

— Учитель греческого языка? железнодорожник?

— Нет.

— Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

— Служу отечеству...

— Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

— Я ни с кого ничего требовать не буду, — объяснял я, — мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в заводском архиве.

— Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. — Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

— И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие морщины, которых раньше не было, да близорукие глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волосы были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой — словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовой экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответ-

ствующему требованиям и условиям нового времени.

— А почему я не верю? — заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. — Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков, рождений, смертей, но ведь количество — это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклипиодота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклипиодот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти; конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклипиодот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклипиодота, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклипиодот и говорит доктору, что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я

шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклипиодот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой книжонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям, закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.». А в сущности, все это нарисовал Асклипиодот, и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

— В твоих словах, может быть, и много правды, — отвечал я, — но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, — самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать

необходимые материалы.

— Да ну вас к черту вместе и со статистикой вашей! — довольно энергично проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. — Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высокая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

— Еще дщерь Фатевны, — проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. — Только она сегодня не в ударе...

— А что?

— Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинет на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну,

пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житьишко, ажно тоска заберет, известно — сердце не камень, лишнюю рюмочку и пропустишь.

— А сюда-то ты как попал? — спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

— Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, — заговорил, махнув рукой, Мухоедов, — ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. — Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. — Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклоны, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, толь-

ко жалованьишко маловато...

— Сколько ты получаешь?

— Тридцать семь рублев с полтиною.

— И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:

— И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ

здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

— Одну колбасу изживете, вышлют другую.

— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «рассту-пилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибир-ским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и вы-пила с завидным аппетитом.

— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и по-казывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, статошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письмы да письмы, а што в них тол-ку-то? Жалованье-то Епинет Петрович полу-чит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фа-тевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует ме-сяц-то... А какие это деньги по нонешнему времю?

— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатев-на? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Ника-ких денег я не посылаю...

— А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец об-стоятельный, кажинный, говорит, месяц два-

дцать рублев для своих родителев посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы *отстали*, нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята слав-

ные и начитанные, особенно врачиха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачиха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачиха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает

меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш modus vivendi [12] и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпито-

го вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны

пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной вставшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

— А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности... Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... Tempora mutantur... [13] Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова[14], что его песенка спета, теперь про нас то же говорят... Эх, давай выпьем горилки,

сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

— А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, оглянешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видать этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество — так сердце кровью и обольется... Э-эх, золотое было времечко... А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть, и еще, подлец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о

процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенько; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководящими каждым выдающимся движением студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из

себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он думал в простоте своего доброго сердца. Жили мы с Мухоедовым где-то в самом глухом переулке, занимая пятирублевую комнатку, через день обедая и переживая с лихорадочным жаром то счастливое настроение, которое безраздельно овладело всей тогдашней молодежью; мы не замечали той вопиющей бедности, которая окружала нас, и жили отлично, как можно жить только в двадцать лет. В это горячее время было пережито, может быть, слишком много счастливых молодым счастьем часов; воспоминанием об этом времени остались такие люди, как Мухоедов, этот идеалист с ног до головы, с каким-то особенным тайничком в глубине души, где у него жило то нечто, что делало его вечно довольным и беззаботным. Мне особенно было интересно проследить, что произошло с его тайничком за последние десять лет, в которые русское общество пережило, передумало и перечувствовало так много, а он, Мухоедов, с головой окунулся в глубину житейского моря.

Из разговоров с Мухоедовым я убедился в том, что он остался вечным студентом и ревниво охранял свой заветный тайничок, хотя беспредельная вера в содержимое этого тайничка подвергалась сильным искушениям и даже требовала поддержки какого-то Гаврилы, пред которым Мухоедов преклонялся со свойственным ему самоотвержением, как он раньше преклонялся пред Базаровым. Мухоедов, кажется, сильно отстал от века, может быть, забросил свою любимую науку, не читал новых книжек и все глубже и глубже уходил в свою скорлупу, но никакие силы не в состоянии были сдвинуть его с заветной точки, тут он оказал страшный отпор и остался Мухоедовым, который плюнул на все, что его смущало; мне жаль было разбивать его старые надежды и розовые упования, которыми он еще продолжал жить в Пеньковке, но которые за пределами этой Пеньковки заменены были уже более новыми идеями, стремлениями и упованиями. В лице Гаврилы явился тот «хороший человек», с которым Мухоедов отводил душу в минуту жизни трудную, на столе стоял микроскоп, с которым он работал,

грудой были навалены немецкие руководства, которые Мухоедов выписывал на последние гроши, и вот в этой обстановке Мухоедов день за днем отсиживается от какого-то Слава-богу и даже не мечтает изменять своей обстановки, потому что пред его воображением сейчас же проносится неизбежная тень директора реального училища, Ваньки Белоносова, катающегося на рысаках, этих врачей, сбивающих круглые капитальцы, и той суеты-сует, от которой Мухоедов отказался, предпочитая оставаться неисправимым идеалистом. Жизнь его обогнала, выдвинув новые идеалы, и он продолжал с каким-то Гаврилой переживать старое, что было вынесено еще с университетской скамейки.

II

На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех; когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбавшиеся лица дочерей Фатевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню.

— Что вы тут ржете, кобылы! — послышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись.

Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера «не в ударе»; улыбнувшись, она нерешительно проговорила:

— Вам, может быть, самоварчик понадобится?

— Да, если можно...

Глаша — так звали эту юнейшую отрасль Фатевны — скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар; это была высокая стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз.

Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня исподлобья; выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила:

— А вы вместе учились с Епинетом Петровичем?

— Да, вместе...

— Глашка, Глашка... ужо тебя мамынька-то! — слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост.

Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты; старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтеньем бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену: Фатевна, уперев руки в бока, фертом ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал

со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространство и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол; в это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет сорока пяти, с такой маленькой головкой, точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк.

— Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна, — заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. — Недаром говорят, что бабье сердце, все равно что худой горшок...

— Ах, ты... — завопила Фатевна, становясь в боевую позицию и упирая руки в бока. — Не тебе бы говорить, не мне бы тебя слушать, живая боль...

— А ты — сухая мозоль, — храбро ответила женщина с маленьким лицом. — Я тебе правду говорю... вон и барин сидит: ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыди-

лась чужих-то людей... Ведь приезжий барин все видит, все...

Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на приступочке у входных дверей и отсюда отстреливался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамаши. Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц:

— Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят... Это не прилично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила... Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него!

Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля; через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на це-

лую улицу:

— Сирота я горемышная... Нету у меня ни роду, ни племени, родного батюшки-заступничка... Некому заступить за меня, сироту горемышную!

Это причитанье вызвало громкий смех девушек и отчаянную ругань Фатевны; я отошел к окну, выходившему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводский пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо покряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы; а там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд.

Было часов десять утра; легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала, и в воде снова целиком отражалось высокое, бледно-голубое небо с разбросанными по нему грядами перистых

облачков; в глубине пруда виднелась зеленая стена леса, несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире три барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз всем туловищем; у почерневшей деревянной будки сидел седой старик; несколько мальчишек удили рыбу с плотины; какая-то старушка-дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой средине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними двумя расходившимися полосами.

— Ты уж встал, — говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол.

— Да, встал.

— И чаю напился?

— Да.

— Ну, и отлично... А я нарочно тебя предупредить пришел: ты теперь в завод не ходи, там Слава-богу шатается, еще, пожалуй, придерется, а ты ступай теперь к попу Егору, он

тебе все метрики покажет; пока ты пробудешь у попа, Слава-богу уйдет из заводу кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу и в архив сведу. Понял?

Заметив тихо хныкавшего на своем приступочке Пушкина, Мухоедов проговорил:

— Сражение было?

— Да.

— Ну, сие тоже входит в наш modus vivendi и служит нам для очищения застоявшихся кровей... Эй, Галактионовна! — закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор, — перестань выть; хочешь водки?

— У вас незнакомый мущина... — застенчиво отозвалась Галактионовна, — я ведь не пойду в комнату постороннего мущины, как бесстыжая Глашка...

— А, теперь понимаю, — улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов, — наша Глафира сегодня в ударе... А у меня со вчерашних разговоров сегодня главизна зело трещит.

Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по

улице, к небольшому двухэтажному дому, где жил о. Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком; мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

— Я тебе говорю, друг мой, — мягко объяснял батюшка, — что я не могу, никак не могу... Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить и другим, понял?

— Андроник дешевле венчает, — говорил «друг мой», почесывая затылок.

— Ты, друг мой, и ступай к отцу Андронику; я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает, а я не могу... Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

— Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради Христа! — взмолился мужик. — Ведь страда наступает, до смерти сына надо женить; ведь время-то теперь какое... а?

— Не могу, друг мой...

Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими иззеле-

на-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку:

— С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения.

— А, очень рад, очень рад, — торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. — Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен... Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйте.

Батюшка пошел вперед меня; это был еще совсем юноша, лет двадцати двух, с бледным лицом, и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера; мягкий певучий голос и плавные движения делали это сходство поразительно близким, только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с преду-

предительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкою мебелью; у окна стоял хорошенький письменный столик, заваленный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий ковер на полу, — все было мило, прилично и совсем не по-поповски, за исключением неизбежных премий из «Нивы», которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам.

Батюшка позвонил в колокольчик; явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях; батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко:

— Пусть он придет сюда.

Мы остались вдвоем; батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оста-

вить эти занятия.

— Ведь вы войдите в положение русского священника, — говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. — Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас... Поставьте себя на мое место... Да, очень грустное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливые нарекания. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности... Но ведь, помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дрязгами нашего быта.

— Homo sum, nihil humanum mihi alienum est, [15] — с улыбкой прибавил батюшка. — Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе; подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные члены общества, — вот вам и целый circulus vitiosus, [16] из которого не

можешь никак вырваться и который с каждым годом затягивает все сильней и сильней.

Эта мерная, как журчащий ручеек, речь о. Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный порыжевший драповый подрясник цвета Bismark-furioso; я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклипиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклипиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полки своего подрясника; яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же Bismark-furioso, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы — все это, вместе взятое с протяженно-сложенностью Асклипиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление, особенно рядом с чи-

стенькой и опрятной фигуркой о. Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле.

— Вы, отец Георгий, присылали за мной служанку... — нерешительно заговорил Асклипиодот приятным баритоном.

— Да, Асклипиодот, ты к завтрашнему дню приготовишь метрики и передашь их вот им, — проговорил о. Егор, показывая движением глаз на меня.

— А я, отец Георгий, думал... мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел... уволиться у вас.

— Ах, какой ты странный, Асклипиодот, — с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. — Если я тебя прошу... Неужели ты не понимаешь?

Асклипиодот сильно засопел носом и смолк; только пальцы руки, придерживавшей полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклипиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «вот тебе, о. Андроник, набродили мы с тобой рыбки...»

Поблагодарив батюшку за его любезную

готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет; в передней опрятная «служанка» не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклипиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками.

— А мы с Андроником собрались было рыбу бродить... — говорил Асклипиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки.

— Мне не нужно метрик сейчас, — объяснял я Асклипиодоту, — вы можете отправляться, куда угодно, а я подожду.

— А вы слышали, что он сказал? Да-с... Когда он скажет: «если я вас прошу», значит — кончено, вынь да положь, а то оштрафует или на поклоны поставит в алтаре... Он у нас мягко стелет, да жестко спать.

— Право, я не знаю, как быть с этим делом... Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы.

— Устроимте маленькую сделочку... у меня искра блеснула, — проговорил Асклипиодот. — Он вас непременно спросит после, ко-

гда вы получили от меня метрику, а вы и скажете, что сегодня.

— С удовольствием.

— Покорно вас благодарю... — проговорил Асклипиодот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.

Асклипиодот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об о. Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу; о. Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих палестинах. Это отсутствие любопытства в о. Егоре впоследствии совершенно объяснилось: батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе, и, как оказалось, его «служанка» ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к Фатевне и по пути заполучила все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухоедову; «искра»,

блеснувшая в голове Асклипиодота, и его благодарственный поцелуй моей руки были только аксессуарами, вытенявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus [17] нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спустился по улице под гору и очутился пред самой фабрикой, в недра которой меня не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок-караульщик; пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других — зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади, там и сям, виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные

валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня; они как-то особенно мягко ступали в своих «прядениках»; у входа в катальную, на низенькой деревянной скамейке, сидела кучка рабочих, вероятно, только что кончивших свою смену: раскрытые ворота рубашек, покрытые потом и раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки — все говорило, что они сейчас только вышли из «огненной работы».

Вдали, в грудах беспорядочно наваленных дров, мелькала пестрая, покрытая сажей толпа «дровосушек» и поденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем недвусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы, и громкий девичий смех, как-то мало гармонировавший с окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухоедова в глубине

рельсовой катальной; он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку; молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руке целый пук зажженной лучины; я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса, около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными клюками; где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол.

— Сейчас будут прокатывать рельс, — предупредил меня Мухоедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры.

Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался; это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких отдельных, «сваренных» между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернуть валы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдребезги. Двое рабочих в кожаных передниках, с тяжелыми железными клещами в руках, встали на противоположных концах ка-

тальной машины, тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью; рабочие ловко подхватывали эту красную, все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо.

— Ну что, видел огненную работу? — спрашивал меня Мухоедов, когда совсем готовый двенадцатипудовый рельс был брошен с машины на пол. — Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло.

Мы прошли в то отделение, где с страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски «маховик»; вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер.

Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой; молодой человек, машинист, одетый в замазан-

ную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика; около окна стоял плотный, приземистый старик с «правилом» в руке.

— Это наш плотинный, Авдей Михайлыч, — шепнул мне Мухоедов.

Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения; мы полюбовались вертевшимся в полторы тысячи пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской; обыкновенная войлочная шляпа, какую носили все рабочие, пестрядевая рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные пер-

чатки дополняли костюм Авдея Михайлыча; судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике.

— Вот этот молодец вместе с Слава-богу, — говорил Мухоедов, показывая на удалявшегося Авдея Михайлыча, — совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика... Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали, один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике, только клочья мяса остались; конечно, сейчас следователь явился, притянули на суд Слава-богу и Авдея Михайлыча, а они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист-то из-за них на поселенье, а им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство... Эксперты — свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел.

В катальной листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная

крица весила всего несколько фунтов; в печах мартена, в небольшое отверстие, я долго любовался расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики[18] на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа.

Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик, в лохмотьях и без шапки; он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детскою улыбкою забормотал:

— Здорово, Иваныч... Иваныч, здорово... убили... сорок восемь серебром убили... Да. Я приказал попу... я велел молебен, Иваныч...

— Это Яша-дурачок, — объяснил Мухоедов, — помешался на том, что он управитель завода.

— Иваныч... часы... купи часы... — бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек.

— Покажи, Яша.

— Часы, Иваныч... и ночью ходят, Иваныч...

Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак; спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу:

— Убили... сорок восемь серебром... Иваныч, убили!

— Яша всех зовет Иванычами, — объяснял Мухоедов.

После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли, точно клочья серебряной пены, легкие перистые облачка; фабрика казалась входом в подземное царство, где совер-

шается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на «огненное дело», как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал бог первому человеку и как это происходило именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сгорает самый богатый запас рабочей силы.

— А вон *Ястребок* наш прогуливается, — говорил Мухоедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. — Это наш надзиратель, Павел Григорьич Рукавицын; я у него под началом состою... Ужаснейшая бестия, берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным, а если кто не приходит с поклоном — и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич, тоже немаловажная птица в нашей иерархии; уставщик да плотинный — это два сапога — пара, теплые ребята и ловко обделывают свои делишки, а Ястребок видит — не видит, потому рука руку моет.

Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтанье у него было темно-зеленого цвета да шляпа немного пониже; он держал в руках такое же «правило» и ходил таким же медленным тяжелым шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и с своей стороны постарается и т. д. Я, конечно, поблагодарил его; эта мирная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось.

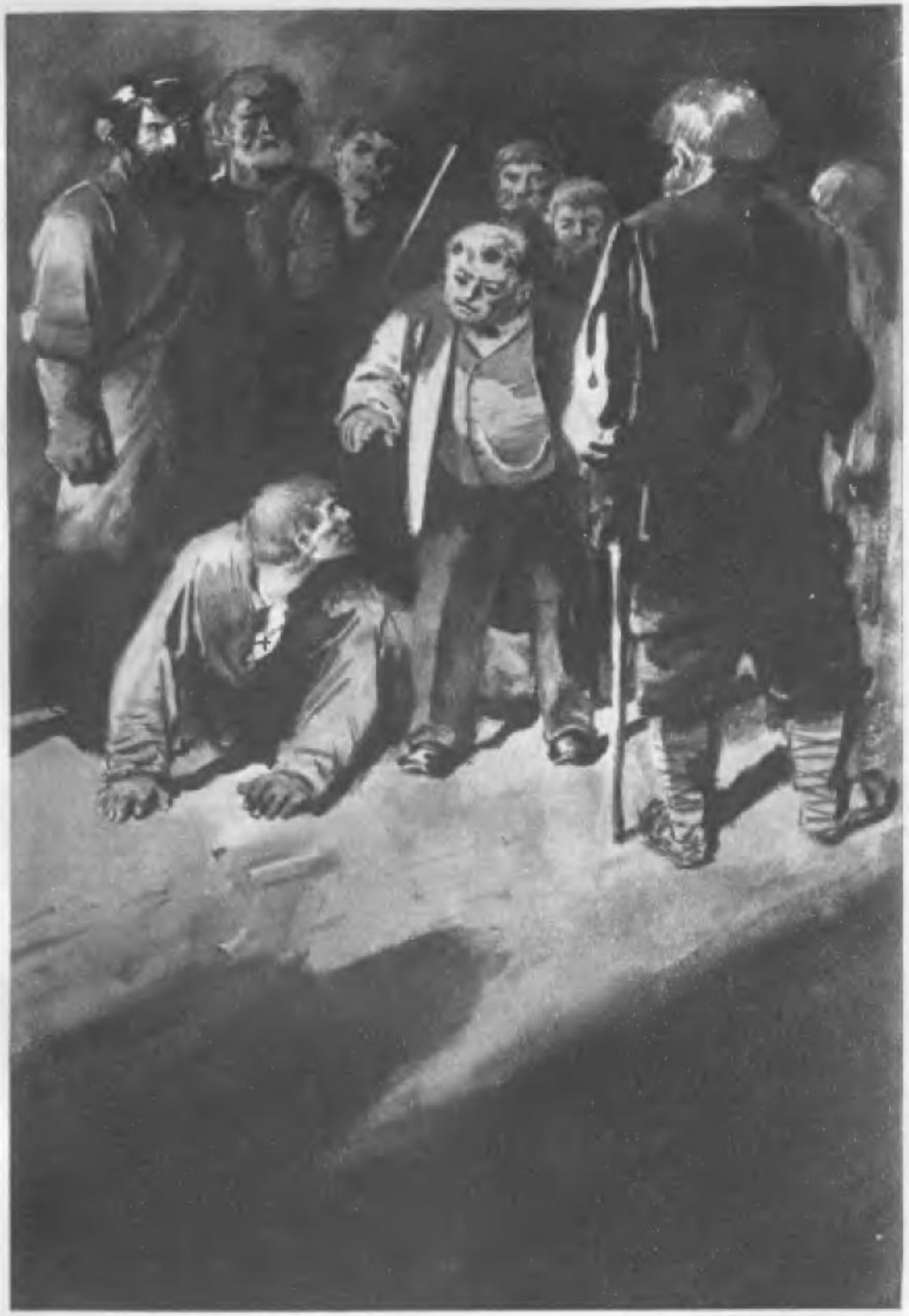
— Пал Григорич... крицей ногу отсадило, — равнодушно проговорил он, точно это было самым обыкновенным делом, — Степку Ватрушкина задавило...

— А... хорошо, я сейчас иду, — отвечал Рукавицын таким тоном, как будто одного его появления было совершенно достаточно, чтобы раздавленная нога какого-то Степана Ва-

трушкина сейчас же получила бы свой прежний вид.

Мы торопливо прошли в катальную; толпа рабочих с равнодушным выражением на лицах молча обступила у самой катальной машины лежавшего на полу молодого парня, который страшно стонал и ползал по чугунному полу, волоча за собой изуродованную ногу, перебитую упавшим рельсом в голени. Кровь сильно сочилась из пестрядевых портов, образуя около пряденика, где были намотаны онучи, целый мешок; раненый с обезумевшим взглядом обращался ко всем, точно отыскивая себе поддержки, участия, облегчения. Его молодое, искаженное страхом лицо было бледно как полотно, волосы прилипли ко лбу тонкими прядями, глаза округлились и вращались в своих орбитах с выражением оцепенелого ужаса, как у смертельно раненной птицы; мне в первый раз пришлось видеть раздавленного человека, и едва ли есть что-нибудь тяжелее этой потрясающей душу картины.

— Ба-атюшки!.. бра-атцы!.. Аааааа!.. Восподи Исусе!.. ой, смерть моя, братцы!.. — стонал



«СЕСТРЫ» (стр. 64).

раздавленный раздирающим душу голосом.

— Степан, что это с тобой случилось? — спрашивал Рукавицын, наклоняясь над Ватрушкиным.

— Пал Григор!.. отец!.. о-ох! родимой мой!.. прости меня, Христа ради!.. ааааааа!!! Крицей ногу отрезало... Пал Григор... о!!!

— Доктора!.. — кричал Рукавицын, стараясь поддержать раненого в полусидячем положении. — Не пугайся, Степан, ничего... Бог даст, пройдет...

Какой-то господин с красным лицом, ястребиным носом, серыми вытаращенными глазами и взъерошенными волосами вбежал в катальную и, ожесточенно махая руками, издали кричал:

— А, шерт взял!.. а сукина сына!.. а швин!.. а канайль!.. Кто раздавиль?!. Где раздавиль?!. А, шерт меня возьми!!!

По вежливо расступившимся рабочим я догадался, что это и был сам Слава-богу; он наклонился к Ватрушкину, продолжая страшно ругаться.

— А ничего, шерт возьми... Пустяки!.. — Немец выпустил целую серию самых непе-

чатных выражений и продолжал кричать какую-то тарабарщину, в которой можно было разобрать слова: «швин», «канайль» и «бэстия».

— Карл Иваныч... ой, смерть моя пришла!.. — как-то глухо застонал Ватрушкин, совсем распускаясь на поддерживавших его руках.

— Дохтур... пустите дохтура! — опять заколыхалась толпа, пропуская небольшого роста женщину, почти девушку, которая бежала с полотенцем в руках.

Я не мог выносить дальше этой сцены и вышел скорее на свежий воздух; моя голова начинала тихо кружиться, и нужно было выпить несколько глотков холодной воды, чтобы прийти в себя. Машинально я прошел в дальний конец завода, где стояли домны, и опустился на низенькую скамеечку, приставленную к кирпичной стене какого-то здания; вид раздавленного человека подействовал на нервы самым угнетающим образом. Из оцепенения вывел меня тихий разговор двух рабочих, которых мне было не видно и которые, очевидно, разговаривали из-за какой-то рабо-

ты.

— Степку-то ладно как давануло, — говорил совсем молодой голос, сильно растягивая слова.

— У нас, почитай, каждую неделю кого-нибудь срежет у машины, — равнодушно отвечал немного хриплый басок. — Мы уже привыкли... оно только спервоначалу страшно, поджилки затрясутся, а потом ничего. Двух смертей не будет, одной не миновать.

— Но-но-но?!

— Верно тебе говорю.

Молчание; легкое посвистыванье, а затем опять разговор вполголоса.

— Это кому утюги-то отливать будут?

— Известно, кому: Ястребку.

Опять молчание; потом стук от чего-то тяжелого, брошенного в землю.

— А как-то намеднись, — продолжал второй голос, — я устроил какую штуку... Эдак же приготовил две формы да потихоньку и отлил два утюжка, а сам и похаживаю, как ни в чем не бывало. Совсем остыли, стал я из песку их лучиночкой откапывать... Сижу эдак на корточках, мурлыкаю про себя, а сам копаю.

Только, как на грех, шасть в формовальную «сестра» и прямо ко мне... «Чего делаешь?» — «А вот, говорю, под форму место выбираю...» Так нет, лесной его задави, точно меделянский пес, по духу узнал, где мои утюги, откопал их, показывает перстом и говорит: «Это што?» — «Утюги», — говорю... А потом в ноги... «Прохор Пантелеич, не сказывай надзирателю; ей-богу, в первый и последний раз...» Он-таки заставил меня в песке-то поваляться, а простил и утюги мои взял да к караульщику в будку и поставил; я поглядел это, и так мне стало жаль этих утюгов, так жаль... ну, просто тоска инда напала, и порешил я, что непременно я сдую эти утюги у «сестры». А «сестра» взять-то взяла у меня утюги, да и забыла про них, а я каждый день к караульщику наведываюсь, хоть издали полюбуюсь на них, а они, утюжки-то, стоят на полочке кверху носочками и, точно чирочки, выглядывают на меня... Дня три эту муку я примал, а потом караульщик отвернулся из будки, я утюги за пазуху да прямо к целовальнику, двугривенный без слова отдал... Во как!

— Ловко!..

— Уж так вышло ловко, что и не придумаешь. После «сестра»-то хватилась утюгов, прибежала к караульщику, а их и след простыл... «Сестра» ко мне: «Твоих рук дело, Елизарка?»

— Н-но-о?

— Верно... «Окромя тебя, говорит, некому такой пакости сделать...» Ну, да с меня взятки гладки, с голого, что со святого, немного возьмешь. Шшш!..

Послышалось предостерегавшее шипение, а затем осторожный шепот и сдержанный смех:

— Елизарка, ли-ко, ли-ко: «сестры»-то...

— Ах, родимые мои, сколь они хороши, сердешные!

Я оглянулся, в мою сторону приближался плотинный и уставщик, это и были те «сестры», о которых рассказывал плутоватый Елизарка своему товарищу; трудно было подобрать более подходящее название для этой оригинальной пары, заменявшей Слава-богу уши и очи. Когда я выходил из завода, в воротах мне попался Яша, который сильно размахивал своей палкой и громко кричал:

— Убили... Иваныча убили... сорок восемь

серебром... убили... приказываю... спасибо, Иваныч, начальство уважаете! Иваныч, убили...

III

Мухоедов вернулся очень поздно из завода; он был бледен, расстроен и страшно ругался, бегая по своей комнате из угла в угол.

— Ведь ты только пойми: семья, один работник и теперь ему отнимут ногу! — горячился Мухоедов. — И ведь это обыкновенная история... Впереди бедность и нищета, голодные ребятишки... а наше заводоуправление хоть бы палец разогнуло в пользу этих калек! Этот Слава-богу до того был отвратителен давеча, что, право, с удовольствием бы сотворил ему заушение... Ах, подлецы, подлецы! Вот ты составь-ка статистику этим калекам по милости Слава-богу и тем грошовым пособиям, которые выдаются им единовременно в размере двух — трех рублей!.. Это два рубля получить за целую ногу, за рабочую силу, которая вынесет пятнадцать лет огненной работы?!!

Вечером мы отправились к Гавриле Степа-

нычу. Мухоедов всю дорогу не переставал говорить о «самородке», припоминая из его жизни один эпизод за другим.

— Ты представь себе хоть такую картину, — ораторствовал мой приятель, шагая рядом со мной. — К тридцати годам Гаврило Степаныч выбился из черного тела, его определили механиком на завод... У него была знакомая девушка, которую он очень любил и которая, в свою очередь, отвечала ему тем же, — и что же? Ты думаешь, он женился?.. Ничуть не бывало... Да не в этом сила, что он не женится, а в том, из-за чего не женится. У него, видишь ли, был какой-то брат, этот брат умер и оставил после себя большую семью без гроша денег, и вот Гаврило Степаныч сказал себе, что не женится, пока не выведет в люди своих племянников и племянниц... Сказал и сделал. Восемь лет убил на них, выучил и определил на места, невеста все ждала, а потом они соединились узами брака и теперь живут, яко два голубка. Я давеча из завода посылал ему сказать, что тебя приведу.

Мы подошли к небольшому домику в пять окон, до нас донеслись звуки рояля и певший

что-то мужской приятный голос; потом послышался очень сильный кашель, продолжавшийся все время, пока мы поднимались по небольшой лесенке в сени и раздевались.

— Ну, есть ли у тебя хоть капля здравого смысла?! — заговорил Мухоедов, врываясь в небольшую гостиную, где из-за рояля навстречу нам поднялся сам Гаврило Степаныч, длинный и худой господин, с тонкой шеей, впалыми щеками и небольшими черными глазами. — Что тебе доктор сказал... а? Ведь тебе давно сказано, что подохнешь, если будешь продолжать свое пение.

— Нельзя, сегодня у нас спевка, — мягко отвечал Гаврило Степаныч, здороваясь со мной.

— Что же, ты, вероятно, будешь кашлять по нотам? Вот рассуди, пожалуйста, — обратился Мухоедов ко мне, тыча Гаврила Степаныча рукой в грудь. — Вот человек одной ногой в могиле стоит, на ладан дышит и продолжает себя губить какими-то спевками... Не есть ли это крайняя степень безумия?..

— Ты можешь успокоиться, — говорил Гаврило Степаныч, усаживая нас около круглого

стола, — я на днях переезжаю на Половинку и проживу там до осени... Можешь рассчитывать смело, что я переживу тебя. Ах, да расскажи, пожалуйста, что это произошло в заводе? Я сегодня посажен доктором на целый день в комнату и слышал только мельком, что Ватрушкину ногу рельсом отрезало. Как дело было?

— Как дело было?.. Отрезало ногу и вся недолга... Ну да не стоит об этом говорить, словами тут не поможешь, самое проклятое дело, а вот ты, братику, переезжай скорее на Половинку, мы к тебе в гости будем ездить. Ах, Александра Васильевна, здравствуйте, голубушка; вот я вам статистику привел головой!..

Среднего роста белокурая дама с бледным, спокойным и выразительным лицом протянула мне руку, улыбнулась своей спокойной улыбкой и проговорила, обращаясь к Мухоедову:

— Скажите, Епинет Петрович, что было в заводе?

— Ах, не спрашивайте: раздавило живого человека настолько, что он еще может про-

жить нищим до ста лет... Слава-богу обругал нас всех, Ястребок тоже дуется на кого-то — словом, самая обыкновенная история.

Небольшая гостиная, в которой стоял рояль, была почти совсем без мебели, за исключением небольшого диванчика, круглого столика пред ним и нескольких венских стульев; на стенах, оклеенных голубенькими дешевыми обоями, висело несколько олеографий. Неровный пол был когда-то покрыт желтой краской, а теперь остались только кой-где следы этой краски; воздух был пропитан, как в больнице, запахом каких-то лекарств и тяжело действовал на свежего человека. Из передней небольшая дверь вела в кабинет хозяина, маленькую комнату, выходившую двумя светлыми окнами на двор; в кабинете стоял большой стол, заваленный бумагами, около стен стояли два больших шкафа с книгами. И гостиная и кабинет отличались вообще большой простотой обстановки, близко граничившей с бедностью.

Александра Васильевна спросила самовар, и сама принялась угощать нас чаем; после некоторой неловкости, которую неизбежно

вносит с собой каждый новый человек, мы разговорились, как старые знакомые.

— У меня просто на совести этот Ватрушкин, — говорил Гаврило Степаныч, — из отличного работника в одну секунду превратиться в нищего и пустить по миру целую семью за собой... Ведь это такая несправедливость, тем более, что она из года в год совершается под носом заводоуправления; вот и мы с тобой, Епинет, служим Кайгородову, так что известная доля ответственности падает и на нас...

Гаврило Степаныч говорил с тяжелой одышкой, постоянно вытягивая длинную шею, точно его что-то душило; его длинные костлявые руки с широкими холодными ладонями бессильно лежали на коленях какими-то палками. Синие, сильно вздутые жилы на лбу, висках, шее и на руках, серовато-бледная кожа, с той матовой прозрачностью, какая замечается у больных в последнем периоде чахотки, — все это были самые верные признаки, что Гаврило Степаныч не жилец на белом свете, и я только удивлялся, как Мухоедов не замечал всего этого...

— Самый крепкий рабочий израбатывается в пятнадцать лет на огненной работе, — продолжал Гаврило Степаныч, отпивая несколько глотков из своего стакана. — И все-таки живет он изо дня в день, в будущем у него ровно ничего, а в случае несчастия — нищета. Да чего лучше, я расскажу вам такой случай. Есть у меня знакомый углепоставщик, мужик зажиточный, лет десять исполняет исправно подряд; заготовка дров, обжигание угля, вывоз угля в завод — вот это стоит огненной работы, и, кроме того, это очень сложная операция, растянутая на целый год, и вдобавок деньги начинают выдавать только вместе с вывозом угля, так что только зажиточный двуконный рабочий может приняться за ее выполнение. И что же, падет лошадь, сгорит кученок[19] — мужик разорился. Я стал вам рассказывать про своего знакомого углепоставщика: приходит ко мне осенью, когда пал первый снег, и в ноги... Что такое? Так и так, настрадовал летом большой зарод сена, приехал по первопутку за сеном, а вместо зарода одни стожары стоят... Нужно вывозить уголь, пора самая спешная, а кормить

лошадей нечем и сена купить не на что; а время идет, каждый час дорог, мужик сунулся к нашим «сестрам»... Это рабочие так плотинного и уставщика у нас зовут. Одна «сестра» запросила рубль на рубль, другая полтораста процентов, вот мужик и прибежал ко мне, плачет — или продавай лошадей и уголь на месте за бесценок, или ступай в кабалу к «сестрам». Ведь положение безвыходное, а это самый справный мужик, отличный работник. Вы видите, как немного нужно рабочему, чтобы сделаться нищим, а между тем, судя по заработкам, нужно бы всем жить зажиточно; вся суть в том, что рабочий не умеет рассчитывать своих маленьких средств, не обеспечивает себя на случай несчастия и постоянно зарывается, а как зарвался — одна дорога к «сестрам», те последнюю шкуру спустят.

Гаврило Степаныч подробно и с большим азартом рассказал историю основания пеньковского ссудо-сберегательного товарищества, которое прошло через целый ряд мытарств: сначала тормозили дело «сестры», потом каким-то образом вмешались Ястребок и Слава-богу, наконец, после всех этих пере-

дряг, посланный министру финансов устав товарищества утвержден, и товарищество открыто. Мухоедов не преминул ввернуть в разговор «паллиативы врачихи».

— По-моему, врачиха с своей точки зрения права, — говорил Гаврило Степаныч, — она смотрит с точки зрения той теории, которая говорит, что чем хуже, тем лучше, и предпочитает оставаться в величественном ожидании погоды, а по-моему, самое маленькое дело лучше самого великого безделья. Странно только одно: почему люди, получившие даже высшее образование, так отвертываются от наших небольших предприятий; пословица говорит — и Москва не вдруг строилась: нельзя же прямо из-под правила «сестер» да фаланстерию устраивать[20]... Все нужно вдруг, разом, — вот наша беда; а где приходится тянуть из года в год, даже целую жизнь, сейчас и на попятный двор: спрятался за умное слово, все, мол, это паллиативы и вы-де, господа, идеалисты...

— Вот это отлично сказано, — восхищался Мухоедов. — Именно: спрятался...

— Конечно, есть у нашего товарищества

свои слабые места, — продолжал Гаврило Степаныч. — Мы пока не можем выдавать больших ссуд и, следовательно, не можем вырвать рабочего из крепких рук «сестер»; затем, товарищество не пользуется настоящим кредитом в глазах рабочих, которые смотрят на него, как на пустую затею. А главное — товарищество в самом себе несет зародыш своей гибели, потому что его появление и существование связано с нашей жизнью: не стало нас, и товарищество распадется... Я не закрываю глаз на все эти недостатки и даже, может быть, преувеличиваю их; но ведь это товарищество — первый шаг. Имеет громадную важность самая форма, она приучает рабочего к мысли, что единственное его спасение в артели. От ссудо-сберегательного товарищества мы перейдем к обществу потребителей; может быть, и удастся вырвать рабочего не только из рук «сестер», но и из рук прасолов, которым рабочий теперь переплачивает на каждой тряпке, на каждом фунте муки. Главное: пусть сначала привыкнут к самой форме артели и не смотрят на дело, как на медведя, а содержание явится... Да.

Все это высказывалось порывисто, прерывалось страшным судорожным кашлем, после которого Гаврило Степаныч должен был отдыхать и пить какие-то успокоительные капли; Александра Васильевна мало принимала участия в этом разговоре, предоставляя мужу полную свободу высказать все, что у него накипело на душе. По ее ласково смотревшим, встревоженным глазам можно было читать, как по книге, насколько сильно она любит этого больного, кашляющего человека; она, вероятно, тысячу раз уже слышала эти разговоры, но опять слушала их с таким вниманием, как будто все это ей приходилось слышать в первый раз. Так умеют слушать только глубоко любящие, честные натуры, которые не отделяют себя от любимого человека.

— Много ли вас, не надо ли нас? — послышалось неожиданно из передней, где происходила какая-то тяжелая возня и сильный топот, точно закладывали лошадь.

— А, это вы, отче? — заговорил Гаврило Степаныч, вставая навстречу входившему в комнату невысокого роста старику священни-

ку, который, весело улыбаясь, поздоровался со всеми, а меня, как незнакомого человека, даже благословил, чего молодые батюшки, как известно, уже не делают даже в самой глухой провинции, как, например, о. Георгий, который просто пожал мою руку.

— А мне говорил о вас Асклипиодот, — добродушно басил о. Андроник — это был он, — поглаживая свою седую бороду. — Вы совсем было нас без рыбы оставили... А каких мы окуней набродили с ним, во! — Отец Андроник отмерил на своей пухлой, покрытой волосами руке с пол-аршина. — Ей-богу, так... А метрику Асклипиодот вам завтра же доставит, только вы уж Егору-то ничего не говорите, а то он сейчас архирею ляпнет на нас, ни с чем пирог.

— Кто это «ни с чем пирог»? — спрашивал Мухоедов.

— А Егорка-то наш злемудрствующий!.. Он и есть «ни с чем пирог».

Асклипиодот смиренно стоял в дверях в своем неизмеримом подряснике цвета Bismark-furioso, нерешительно улыбался и по-прежнему целомудренно придерживал рас-

ходившиеся полки; Александра Васильевна предложила ему стул. Асклипиодот неловкой походкой перешел через комнату, точно он шел по льду, и поместился на самом кончике стула, продолжая придерживать одной рукой полы. Отец Андроник был среднего роста, некрасиво скроен, но плотно сшит; его добродушное широкое лицо с сильно выдавшимися скулами и до самых глаз обросшее густой бородой, так и дышало беспредельным добродушием и какой-то особенной старческой веселостью, а в больших темных глазах так и светились искорки, особенно когда он улыбался. Одет о. Андроник в зеленый подрясник, широкий гарусный пояс, каких молодые батюшки не носят, поверх подрясника была надета отцветшая ряска небесного цвета, полки которой на круглом, как арбуз, животе о. Андроника совсем расходились; говорил о. Андроник страшным басом, любил громко хохотать, время от времени извлекал откуда-то из глубины своих карманов небольшую серебряную табакерку и громогласно набивал свой большой, обросший волосами нос нюхательным табаком, который он называл «антихри-

стовым порошком». В фигуре и в привычках о. Андроника природа все пустила в больших размерах, не затруднив себя особенно тщательной отделкой деталей.

— А ведь у меня хина-то[21] на вторые яйца села, Александра Васильевна! — торжественно объявил о. Андроник, принимая от хозяйки второй стакан чаю. — Вот спросите у Асклипиодота, он вам все расскажет...

— В самом деле?! Ваша хина — удивительная курица, — отозвалась Александра Васильевна, для которой все хозяйственные вопросы и раритеты были необыкновенно близки к сердцу.

— Да-с... Хина третий год по три раза на яйца садится, — объяснял Асклипиодот, обжигая пальцы горячим чаем. — Она с первого февраля начинает нести каждый день и в половине апреля садится на первые яйца; в мае выводит цыплят, опять несет яйца, а в середине июня садится на вторые яйца. Когда выведет вторых цыплят и нанесет яиц, в конце июля садится на третьи яйца. Очень плодородная курица...

— Она мне больше сорока цыплят каждый

год выводит, — с гордостью заявлял о. Андроник. — У меня Егорка, «ни с чем пирог», припрашивал было одну молодку, только я ему перышка куриного не дам, не то что курицы; я вам, Александра Васильевна, с Асклипиодотом пошлю завтра парочку молодок и петушка. Спасибо скажете старику: яйца несут по кулаку...

— Мне совестно, отец Андроник, — заговорила Александра Васильевна, которой хотелось иметь молодок и не хотелось брать их даром. — Я у вас покупала, да вы тогда не продали мне...

— И теперь не продам, потому это не порядок: за деньги молодки нестись не будут, не такое это дело, чтобы за деньги его можно было купить. Да. А что вам совестно от меня молодок в подарок, так это пустое: дело житейское, как-нибудь сочтемся... Поповские глаза завидущие, чего-нибудь припрошу — вот и квиты.

— Вам бы, отец Андроник, вашу хину куда-нибудь на сельскохозяйственную выставку послать, — предлагал Мухоедов. — Выдали бы диплом или медаль...

— Кому?

— Вашей хине, конечно.

— О, ха! ха!.. — разразился о. Андроник таким смехом, что стекла в окнах зазвенели. — Моей хине медаль... О, ха! ха! ха!.. Как чиновнику... Ха! ха!.. У Егорки диплом, и у хины диплом; у Егорки медали нет, а у хины медаль... О, ха! ха!.. Сморил ты меня, старика, Епинет Петрович... Асклипиодот: курице — медаль... ммеда-ааль... а?

Долго хохотал о. Андроник, надрываясь всем своим существом, Асклипиодот вторил ему немного подобострастным хихиканьем, постоянно закрывая рот широкой корявой ладонью; этот смех прекратился только с появлением закуски и водки; о. Андроник выпил первую рюмку, после всех осмелился выпить Асклипиодот; последний долго не мог поймать вилкой маринованный рыжик, даже вспотел от этой неудачи и кончил тем, что взял увертливый рыжик с тарелки прямо рукой.

— А ведь Галактионовна на меня стихи написала, — заявлял о. Андроник после второй рюмки. — Вот Асклипиодот слышал... Все

описала, скрипка этакая!

— А я знаю эти стихи, отец Андроник, — говорил Мухоедов. — Хотите — прочитаю?..

— Н-но?

— Вы не обидитесь?

— Я?.. Да ведь мне все равно; я знаю, кто Галактионовну науськивает на меня: это Егорка… Читай, братчик, я послушаю.

Мухоедов откашлялся и прочел длинное стихотворение, начинавшееся словами:

Днесь пеньковская страна прославляется,
Отец Андроник в сметане валяется…

Мы хохотали, как сумасшедшие, а громче всех хохотал сам о. Андроник; когда Мухоедов кончил, он проговорил:

— Может быть, а врет… Никогда я в сметане не валялся: все врет!.. Это ее Егорка научил… Только я, братчик, когда-нибудь доберусь до него!..

После закуски происходила самая спевка, Александра Васильевна села за рояль, а Гаврило Степаныч, о. Андроник и Асклипиодот исполнили трио несколько пьес Бортнянско-

го и Львова с таким искусством, что у меня от этой приятной неожиданности по спине мурашки заползали, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что каждый истинно русский человек чувствует непреодолимое влечение к «духовному», а трехголосная херувимская приводит не только в восторг, но даже в состоянии исторгнуть слезы умиления. Гаврило Степаныч владел довольно сильным тенором, о. Андроник «давил октавой», Асклипиодот пел баритоном; мне особенно нравился последний. Он встал в уголок позади рояля, по обыкновению захватив одной рукой полки своего подрясника, а другой прикрыл рот, но из его шершавой глотки полились такие бархатные, тягучие, таявшие ноты, что октава о. Андроника и тенор Гаврилы Степаныча служили только дополнением этому богатейшему голосу, который то спускался низкими мягкими нотами прямо в душу, то с силой поднимался вверх, как туго натянутая струна. Особенно эффектно были исполнены «Симановская» — херувимская Бортнянского, «Хвалите имя господне», его же, и, наконец, как chef-d'oeuvre, совсем незнакомая

мне херувимская «Раззоренная».

— Право, стоит жить, чтобы слушать эти мотивы, — шептал Мухоедов, совсем съежившись в углу дивана.

Это пение было прервано страшным кашлем Гаврилы Степаныча, с которым сделалось даже что-то вроде припадка, — хлынула кровь горлом, и он начал задыхаться.

— Ничего, ничего… Не беспокойся, Саша, — успокаивал он жену. — Ведь это со мной бывает… пройдет…

— Ведь говорил я тебе, говорил… — корил Мухоедов своего приятеля, который только печально улыбнулся и, махнув рукой, низко наклонил свое побледневшее лицо.

— Уеду я скоро… поправлюсь, — с улыбкой говорил Гаврило Степаныч, прощаясь с нами. — Спасибо, господа… Саша, проводи их… Спасибо, Асклипиодот… Славный, братец, у тебя голос… разжалобил ты меня…

— А Галактионовна, братчик, соврала насчет сметаны-то: не валялся!.. Нет, совсем не валялся! — говорил дорогой о. Андроник, который со мной обращался уже на «ты».

— А я, отец Андроник, сконфузил ее недав-

но, — вмешался Асклипиодот, забегая вперед.

— Расскажи, братчик...

— Видите ли, отец Андроник... Хорошо!.. Как я услыхал, что она вас в стихах описала, пошел к ней. Хорошо! Так и так, все ей объяснил, как она нехорошо поступает, а потом и говорю: ты, Галактионовна, того гляди, помрешь, а кто тебя отпевать будет? «Отец Егор». — Хорошо, говорю, а если, говорю, отец Георгий уехал с требой, или захворал, или, говорю, не его неделя, кто, говорю, тебя отпевать будет? Хорошо. А Галактионовна мне: «Кто-нибудь отпоет, ведь во мне не песья, а христианская душа; ты же, говорит, с Андроником будешь отпевать...» Хорошо, говорю, мы тебя будем с отцом Андроником отпевать, только с вершка... Очень она сконфузилась от моих слов, отец Андроник.

— Отлично, братчик, умница!.. С вершка отпевать?! О, ха! ха! Кто это тебя научил, Асклипиодот?

— Сам придумал... от собственного чрева! Хе-хе!..

Мы посмеялись и разошлись; вечером, когда мы лежали уже, в своих постелях, Мухо-

едов проговорил в темноте:

— Ну что, каков самородок?

— Отличный человек.

— Это еще что, он это еще только начал, — задумчиво говорил Мухоедов, — он тебе еще не успел ничего рассказать о производительных артелях, о ремесленных школах, а главное — он не сказал тебе, какую мы мину под «сестер» подвели... Вот так штуку придумал Гаврило! Андроник понравился тебе? Я его очень люблю, не чета этому прилизанному иезуиту Егору... А как пел Асклипиодот? А?

В эту минуту в нашей улице послышалось страшное пение: кто-то так затянул «вечная память», что на пять кварталов было слышно.

— Это Асклипиодот отпевает Галактионовну, — равнодушно проговорил Мухоедов, закутываясь в свою сермяжку. — Когда выпьют с Андроником, непременно устроят что-нибудь. Это они ей за стихи отплачивают.

IV

В Петербурге можно жить несколько лет с кем-нибудь на одной лестнице и не знать своих соседей даже в лицо, но в провинции, в каком-нибудь Пеньковском заводе, в неделю знаешь всех не только в лицо, а, nolens volens, [22] совершенно незаметно узнаешь всю подноготную, решительно все, что только можно знать, даже немного более того, потому что вообще засидевшийся в провинции русский человек чувствует непреодолимую слабость к красному словцу, особенно когда дело касается своего ближнего.

Так называемых тайн для провинции не существует, здесь все известно, все живут на виду и потихоньку злословят друг друга; прожив в Пеньковке какую-нибудь неделю, я вошел в этот круг всеведения и знал не только прошлое и настоящее моих новых знакомых, но отчасти даже их будущее. Например, встанешь рано утром, чтобы успеть до жару кое-что разобрать из собранных материалов, и вперед знаешь, что сейчас же услышишь бесконечную ругань Фатевны сначала на мужа

(старик в пестрядевой рубахе, который вывозил навоз, оказался мужем Фатевны), затем с Галактионовной, а потом начинается бесконечная расправа с Фешкой и Глашкой; после этого Фатевна отправляется на рынок, где она торговала мукой, солью, крупами, овсом, сбруей, мылом и дегтем. Фатевна была тем, что в Пеньковке называют «шило-баба», и обладала действительно замечательным проворством, неутомимостью и энергией; кроме своей торговлишки, она занималась покупкой лошадей, собственноручно их объезжала, а затем сбывала с рук самыми разнообразными способами: продавала, меняла, пускала на заводскую поденщину и даже брала подряды на извоз. Не успеешь оглянуться, а у Фатевны опять новая лошадь, и она едет на ней с шиком завзятого наездника, который умеет показать товар лицом. Муж Фатевны находился в полнейшем загоне, постоянно вывозил навоз, точно у Фатевны были авгиевы стойла [23], и жил в какой-то конурке на заднем дворе, рядом с цепной собакой, такой же злой, как сама хозяйка.

После того как Фатевна удалялась на ры-

нок, на сцене появлялась Галактионовна; она скромно садилась на крылечко своего флигелька и ковыряла какую-нибудь работишку до обеда, перебрасываясь острым словечком с Фешкой и Глашкой, которые, после ухода мамыньки, ходили на головах. Чем жила Галактионовна — трудно сказать; но она жила в своей собственной избушке, и ей оставалось заработать на хлеб, чего она достигала при помощи швейной машины, стучавшей в ее избушке по вечерам; если не было работы, Галактионовна посвящала свои досуги поэзии, и в ее стихах из года в год проходили события и лица Пеньковского завода. Когда-то, вероятно очень давно, отец Галактионовны служил управителем на одном из заводов Кайгородова, затем он умер, и Галактионовна осталась христовой невестой отчасти по своему безобразию, отчасти по бесчисленным физическим немощам, которые ее одолевали; дом Фатевны принадлежал Галактионовне, последняя продала его Фатевне с условием жить ей, Галактионовне, в своем флигельке по смерть. Фатевна, вероятно, рассчитывала на скорую смерть Галактионовны, принимая во внима-

ние ее немощи, но последняя продолжала жить год за годом и, кажется, совсем не думала умирать: это обстоятельство вызывало самые горячие сцены, причем противные стороны высказывались вполне откровенно.

— Пропасти на тебя нет, моль этакая! Ведь ты моль... моль!.. — выступая фертом пред Галактионовной, кричала Фатевна. — Чужой век заживаешь... На том свете тебя давно с фонарем ищут!

— Не избывай постылого, приберет бог милого, — огрызалась Галактионовна, закрывая по обыкновению рот рукой, что она делала в тех видах, чтобы не показывать единственного гнилого зуба, отшельником торчавшего в ее верхней челюсти, — бог даст, тебя еще похороню. Лихое споро, не избудешь скоро; нас с Гаврилой Степанычем еще в ступе не утолчешь... Скрипучее-то дерево два века живет!

— Не скули! — отрезывала Фатевна.

Когда не с кем было спорить и ссориться, Галактионовна любила думать вслух: в эти моменты она действительно сильно походила на скрипучее дерево.

— Ей ладно, зазнаваться-то, — говорила Га-

лактионовна каким-то совершенно особенным тоном, точно ручеек журчит: она в разговорах Галактионовны означало Фатевну: — Она купит по осени, как снег выпадет, возов пятьдесят муки по тридцать пять копеек за пуд, а весной да летом продает пуд по семьдесят копеек[24].

В каждом возу будет пудов двадцать пять, всего выходит тысячу двести пятьдесят пудов; с каждого пуда она наживет тридцать пять копеек, а со всей муки пятьсот рубликов и положит в карман... Овса тысячу пудов купит по тридцати копеек, тоже рубль на рубль возьмет, глядишь, опять триста рубликов в карман. Ох, хо-хо!.. А вот наша сестра и во сне таких денег не видывала... Купишь пудик мучки-то, да и перебиваешься с ним, как церковная мышь!.. Только, по-моему, она неверно поступает, что такие деньги с нас дерет...

— Не пойдут ей эти деньги впрок. Погляди-ко, как рабочие-то в огненной работе маются, чтобы ей на хлебе-то переплачивать... Вот хоть взять ее девис: за материны грехи бог счастья-то и не посылает, женихов-то мы еще не видывали, а девисы на возрасте, — у

них что на уме? Когда мущина спит — они к нему в комнату норовят зайти... Тьфу!.. Ведь девису-то, как муку, не завяжешь в мешок да не вывезешь на базар продавать: купите, мол, дешево отдам. За девисой-то, ой, какие глаза надо, все равно как за водой: прорвало плотину и кончено...

«Девисы» Фатевны представляли замечательное явление в своем роде: насколько сама Фатевна служила воплощением энергии и «разрывалась по всем частям», как выражалась о ней Галактионовна, настолько ее «девисы» жили исключительно растительной жизнью и специально занимались «нагуливанием жира». Фешка имела поразительное сходство и по образу жизни, и по привычкам, и по характеру с телкой, откармливаемой на убой; Глашка тоже находилась под гнетом инерции, но иногда на нее находили минуты просветления, и она начинала «жировать», то есть лежит, например, по целым часам на солнце, как разваренная рыба, а потом вскочит, опрометью бросится в комнату или на двор, затеет отчаянную возню с Фешкой, или визгливым голосом затянет удалую песню.

Явится ночью в комнату, когда в ней спят «мущины», устроит купанье в пруду прямо под нашими окнами, — все это Глашке было нипочем; Мухоедов был не прочь подурачиться, когда Глашка была в ударе, и тогда весь дом оглашался отчаянными взвизгиваньями Глашки, полновесными ударами и самыми откровенными шутками. Мухоедов дурачился, как школьник, и в простоте своей души даже не подозревал, что это взвизгиванье, полновесные удары и «лошадиные нежности» могли привести к чему-нибудь серьезному, хотя Глашка после такой игры подолгу отлеживалась где-нибудь на холодке и изнашивала большие синяки.

Тема о «девисах» принадлежала к числу бесконечных, и Галактионовна целые часы могла говорить на нее, только другая тема, предметом которой была сама Галактионовна, лежала еще ближе к ее сердцу. — Схватило меня как-то раз сердцем, — рассуждает она вслух, — послала за доктуром. Приехал доктур, увидал у меня швейную машину и говорит: «Это твоя смерть стоит...» А я ему: «Нет, господин доктур, это мой хлеб, только маши-

ной и кормлюсь...» — «Умрешь», — говорит. «А бог-то?» — говорю. Рассмеялся доктур и уехал, а я третий год на машине работаю после того и живехонька...

Галактионовна долго смеется незлобивым детским смехом, крестит рот и зевает.

— Прошлой осенью вздумали мы с Фатевной сходить в Верхотурье, к мощам Симеона, угодника божия, она по обещанию, а я за компанию. «По первопутку-то, говорит Фатевна, живой ногой отхватаем полтораста верст». Пошли. Только отошли верст двадцать, и сделайся оттепель: ни тебе снег, ни тебе грязь, так по колено в снегу и бредем, а доктур строго-настрого заказал пуще всего ноги беречь: «Простудишь, говорит, сейчас попа зови и гроб заказывай». Девять ден брели мы с Фатевной до Верхотурья: и плутали по малым дорогам, и ночевать нас в избу мужики не пускали, и волки-то в стороне выли, и голодом-то двое суток мучались... Идем это, я и говорю Фатевне: «Точно мы с тобой в пустыне Синайской бредем, только там жар, а у нас распутица». На десятый день пришли в Верхотурье, отслужили угоднику молебень, вы-

няли просвиру за здравие да в обратный путь; опять семь ден шли, только тут ударил на нас холод, я и смеюсь Фатевне: «Это за твои грехи угодник нас казнит холодом...» Она меня всю дорогу за это костерила... И вернулись мы здравы и невредимы, я нарочно пошла к доктуру, принесла ему просвирку заздравную из Верхотурья и объявилась, что жива, мол. Он только ручками схлопал да головой покачал. «Ты, говорит, надо полагать, бессмертная...»

Мухоедов являлся из завода только к обеду, а после обеда уходил еще часа на три, так что свободным от занятий он был только вечером; а только сядем мы за самовар, смотришь, кто-нибудь в двери, чаще других приходили о. Андроник и Асклипиодот. Я с первого раза полюбил оригинального попа, громкая речь которого всегда была приправлена крупной солью и таким необыкновенно заливистым смехом, начинавшимся с высочайшего тенора, что невольно на душе делалось светлее, и мы каждый раз от души хохотали вместе с о. Андроником. От природы это был очень сильный и, главное, вполне оригиналь-

ный ум; по-своему о. Андроник был хитер, скуп, добр и простодушен — как в истинно русском человеке, достоинства и недостатки в нем представляли самую пеструю картину, но он и не выставлял напоказ первых и не прятал последних, а всегда был нараспашку.

— Не-ет, братчик, я люблю деньгу, — добродушно говорил он. — Я не попущусь своему, мне подай мое. Вот приехал к нам поп Егор и давай новые порядки заводить: «Не хочу осеннего собирать...»[25] Не хочешь, так как хочешь, а я буду собирать, потому мне отдай мое. Я приду к бабе и вижу, что она мнется, не хочет попу сметаны или масла давать, а я ей сейчас: «А ведь ты, такая-сякая, помолодела ровно... Вон какая гладкая стала». Баба и расступится, лишнюю ложку сметаны и отвалит. Ха-ха-ха!.. Если баба на это не сдается, я ей сейчас: «Ой, баба, баба, умрешь, все останется, а кто тебя отпевать будет?» Пред этим, братчик, ни одна баба устоять не может, хоть самое ее в бурак клади. Егорка, тот осеннее не любит собирать, ему подавай деньгами, — деньги тоже любит, а брать не умеет. Придумал цену набавлять за требы, а мужики на

дыбы, артачатся.

Отец Андроник был вдов и жил как старый холостяк, окружив себя всевозможными животными: индейками, курами, овцами, собаками, лошадьми; за хозяйством у него присматривала какая-то таинственная дальняя родственница, довольно молодая бабенка Евгеша, ходившая в темных платьях и в темных платочках, как монастырская послушница. Когда кто-нибудь бывал у о. Андроника, Евгеша не показывалась, а сам о. Андроник не любил говорить о ней; молва гласила, что эта таинственная Евгеша сильно зашибала водкой и ходила вечно в синяках, происхождение которых объясняли различно.

Если кто-нибудь, с намерением уязвить о. Андроника, заводил речь о Евгеше, он сильно хмурился, а потом с азартом возражал:

— Она у меня за козлухами ходит... Сам, что ли, я козлух доить буду? А куриц кто будет щупать?

Жил о. Андроник очень плотно в своем собственном домике, выстроенном в купеческом вкусе; три небольших комнатки зимой и летом были натоплены, как в бане, и сам

хозяин обыкновенно разгуливал по дому и по двору в одном жилете, что представляло оригинальную картину. Мебель в комнатках о. Андроника была сборная: на окнах стояли какие-то полузасохшие «петухи» герани и красный перец, который особенно любят отставные солдаты, потому что и дешево и сердито; гостей угощал о. Андроник одной водкой и чаем, весело рассказывал пикантные истории и хохотал над ними своим заливистым хохотом больше всех. В минуту одушевления он снимал со стены довольно ветхую гитару и не без чувства изображал какой-то «Плач Наполеона» и даже польку трамблям. Вся эта видимая бедность обстановки о. Андроника и скромные привычки вполне выкупались блаженной мыслью о некоторой крупной сумме, лежавшей частью в каком-то банке, а частью у какого-то знакомого купца, — в ссудо-сберегательное товарищество Гаврилы Степаныча о. Андроник не верил ни на волос и ни под каким видом не соглашался отдать даже нескольких рублей на сохранение товарищества.

— Не-ет, братчик, — говорил он, — и мы не

в угол рожей-то: отдай им денежки-то, а потом и заглядывай, как лиса в кувшин...

Асклипиодот был полнейшей противоположностью о. Андроника во всех отношениях и, вероятно, в силу такой противоположности своего ума и характера был привязан к о. Андронику, как собака, и всюду ходил за ним по следам; это была широкая русская натура, одаренная известной поэтической складкой, что, взятое вместе с самой широчайшей бесхарактерностью и непреодолимой страстью к водке, сделало Асклипиодота неудачником и вечным дьячком. По своему уму и особенно по своему богатейшему голосу он смело мог рассчитывать на дьяконское место, но это заветное желание оказалось решительно неосуществимым, потому что нет-нет Асклипиодот в чем-нибудь и попадет: подерется в пьяном виде, сгрубит попу, поколотит жену — словом, устроит что-нибудь самое неудобосказуемое, что начальство мотает себе на ус, а Асклипиодот сидит себе да сидит в дьячках. Жил он в маленькой, сильно покосившейся набок избушке, у которой одно окно было закрыто ставнем, а половина другого была за-

клеена частью синей сахарной бумагой, частью пузырем; издали эта избушка сильно походила на физиономию пьяницы, которую с жестокого похмелья повело набок, один глаз залеплен пластырем, другой сильно подбит. В этой избушке было «полное отсутствие всякого присутствия», — точно кто переехал с квартиры, да так все и осталось: в одном углу позабыли трехногий стул, в другом скелет дивана, на стене несколько разорванных картин — правая половина какого-то генерала, половина архирея и т. д. Мы уже сказали, что Асклипиодот был очень «слаб к вину», с двух рюмок он уже начинал пьянеть, раскисал и к каждому слову начинал прибавлять «хорошо»; более сильная степень опьянения выражалась в нем непременным желанием кого-нибудь «сконфузить», причем он обнаруживал необыкновенную изобретательность. Раз к нему ночью хотели забраться воры. Асклипиодот был навеселе и, отворив форточку, объяснил «злоумышленникам», что он и сам ничего не может найти у себя, а что они лучше сделают, если пойдут к попу Андронику, у которого денег куры не клюют: воры действи-

тельно отправились к о. Андронику, а утром Асклипиодот пришел проведать своего друга и пространно объяснил, как он «сконфузил татей». Вообще о. Андроник и Асклипиодот были неразлучные друзья и являлись всегда вместе; самые интересные сцены происходили тогда, когда являлась Галактионовна, которая в совершенстве владела искусством поджаривать этих друзей на медленном огне. Обыкновенно она являлась к нам только в те моменты, когда у ней в запасе была какая-нибудь каверза против Андроника или Асклипиодота; завидев скромно входившую в комнату Галактионовну, Андроник обыкновенно ворчал:

— Опять несет эту ворону: видно, завтра ненастье будет. Вороны всегда к ненастью каркают.

Галактионовна делала вид, что ничего не слыхала, садится где-нибудь в уголок, закрывает рот рукой и каким-нибудь самым невинным вопросом или замечанием открывала свою убийственную атаку; Мухоедов по опыту знает, что Галактионовна пришла неспроста, и всеми силами старается навести ее на

суть дела.

— У вас, отец Андроник, говорят, лошадка-то в шарфе ходит? — начинала Галактионовна, улыбаясь своей детской улыбкой в руку.

— А ты, скрипка, заведи свою да хоть штаны на нее надевай, — пробует огрызаться о. Андроник, выкатывая глаза.

— Нет, я так спросила: значит, чтобы не простудилась? А я как-то иду по улице, ваш работник и едет на вашей лошадке; смотрю, точно совсем другая лошадь стала... Какие-то рабочие идут мимо и говорят: «Вот попово-то прясло едет, ему лошадь-то заместо куриного седала отвечает, цыплят на нее садит... Медведь, говорят, давно прошение об ней губернатору подал».

— Хорошо... Ты говоришь, что лошадь отца Андроника в шарфе ходит, — вступался Асклипиодот с искренним желанием пренепременно сконфузить ядовитую бабу. — Хорошо... А в писании что сказано: блажен, иже и скоты милует...

— Отлично, братчик! — одобрял о. Андроник своего заступника. — Что, взяла, скрип-

ка... а?..

Галактионовна хихикает в руку, а потом опять начнет своим тихим голосом:

— Какой народ нечистосердечной в Пеньковке живет... На паске, рассказывают, что отец Андроник приехал с Асклипиодотом к Фильке с крестом...

— К какому Фильке?

— К лесообъездчику Фильке... Ну, которого Гаврило Степаныч на прошлой неделе с бревном поймал... Вот он самый. У Асклипиодота в одном кармане была бутылка с водкой, а в другом бутылка со святой водой; когда стали ко кресту-то подходить, Асклипиодот и ошибился в бутылках, а отец Андроник кропилкой в водку да водкой и давай кропить.

— Хорошо... А ты была у меня в кармане? — спрашивал Асклипиодот, задетый за живое.

— Я-то не была, а Филька сказывает, что вместо святой воды отец Андроник водкой его кропил.

— Может быть, а врет! — отрезывал о. Андроник.

Галактионовна не возражает на это льви-

ное рыкание, а только рассыплется мелким, как бисер, смехом, с каким-то детским всхлипываньем.

Галактионовне ничего не стоило придумать, что у Андрониковой курицы хины зубы болят или что-нибудь в этом роде; однажды о. Андроник вышел совсем из себя, но на этот раз причиной послужило истинное происшествие, а не вымысел Галактионовны. Мы пили чай; о. Андроник и Асклипиодот были слегка навеселе, на первом взводе; Галактионовна сидела в своем углу и точно про себя уронила фразу:

— Фатевна очень умной женщиной оказала себя...

— Что-то не слыхать, — иронизировал о. Андроник.

— А я так своими глазами видела...

— Н-но-о?

— Верно. Вы свою лошадку, отец Андроник, продали Фатевне?

— Продал, а тебе какое горе?

— Да так, к слову пришлось... Она вам пятьдесят рублей заплатила за лошадку-то?

— Ну, положим, что пятьдесят.

— Сижу это я третьего дня в своей избушке, вижу доктур к нам на двор идет, а больных никого нет... Вышла я на крылечко, увидал меня: «Ты, говорит, все еще жива?» А я ему: «Вашими, мол, молитвами, как шестами, подпираемся; скрипим помаленьку...» — «Мне бы, говорит, Фатевну увидать». Я вызвала Фатевну, а доктур давай у ней вашу лошадку торговать, понравилась, вишь, она ему больно, как Фатевна на ней по Пеньковке гоняет. То-се, Фатевна вывела лошадь, зубы показывает доктуру, под брюхо пролезла раз пять, значит, смирная совсем лошадь, а потом вскочила на лошадь верхом да без седла и давай по двору гонять, как цыган. У доктура так глазки и горят на лошадь, стали о цене торговаться: доктур сто рубликов и заплатил Фатевне.

— Вре-ешь?!

— Чего мне врать: на свои глаза свидетелей не надо. При мне доктур вынял толстый-претолстый бумажник и отдал Фатевне четыре четвертных бумажки. После пришел доктуров кучер, увел лошадь, а докторова жена захотела попробовать лошадку... Сели оба

доктура в дрожки, проехали улицу, а лошадь как увидит овечку, да как бросится в сторону, через канаву — и понесла, и понесла. Оглобли изломала, дрожки изломала, а доктура лежат в канаве и кричат караул.

— Ах она, шельма?!. - рычал о. Андроник.

— Да еще что, отец Андроник, — продолжала Галактионовна, — после сама же Фатевна и смеется: «Как, говорит, просты, ах, как просты образованные-то люди... Только, говорит, жалованье они действительно большое получают, а настоящего ума в них нет: необразованной, говорит, бабе выбросили пятьдесят рублей, а мне на голодные-то зубы и ладно. Особенно, говорит, жаль мне попа Андроника, деньги, говорит, он любит, а лошадь не умеет продать!..»

— Ах она, шельма! — кричал о. Андроник, бегая по комнате. — Да ведь это дневной грабеж... Пятьдесят рублей?! Ах, шельма... Ведь пятьдесят-то рублей на полу не подымешь, их надо горбом добывать, деньги-то!

— Простота-то, говорят, хуже воровства, отец Андроник! — язвила Галактионовна.

Выходя от нас, о. Андроник во дворе встре-

тился лицом к лицу с Фатевной; эта почтенная женщина встала в боевую позицию и с улыбкой выслушала обильный поток упреков и ругани, которыми разразился расходившийся старик, и, прищурив один глаз, проговорила совершенно спокойно:

— А ты, поп, не храпай... Я сказала бы тебе одно словечко, да уж промолчу, чин на тебе не такой.

— А, не храпай... не храпай! — горячился о. Андроник, ударяя по земле своей поповской длинной тростью. — Не храпай... Я бы подвязал тебе хвост куфтой, да мой сан этого не позволяет, понимаешь? Вот ты придешь ко мне на исповедь, тогда что?

— Грешны, да божьи, — бойко огрызалась Фатевна; у ней так и чесался язык отчистить попа на все корки.

Асклипиодот попробовал было заступиться за своего патрона, но был встречен такой отчаянной руганью, что поспешил подобру-поздорову спрятаться за широкую спину о. Андроника, Галактионовна мефистофельски хихикала в руку над этой сценой, в окне «ржали девисы», и друзьям ничего не остава-

лось, как только отступить в положении того французского короля, который из плена писал своему двору, что все потеряно, кроме чести.

Впрочем, к чести наших героев, нужно сказать, что это печальное недоразумение, в котором Галактионовна принимала такое деятельное участие, скоро разрешилось полным примирением Фатевны с о. Андроником; это замечательное событие произошло на именинах Мухоедова. Отец Андроник в присутствии многочисленной публики совсем расчувствовался и даже облобызал свою духовную дщерь и совсем дружелюбно проговорил ей:

— Ты, братчик, хоть и надула своего отца духовного, а я не сержусь... Нет, не сержусь!..

— И я, дева, не сержусь, — говорила Фатевна, закатывая глаза.

Под веселую руку о. Андроник называл Фатевну «братчиком», а она, в свою очередь, называла его «девой», впрочем, без всякого умысла, а так сам язык выговаривал в виде любезности.

На именинах Мухоедова собрались почти все заводские служащие, кроме Слава-богу,

докторов и о. Егора, которые на правах аристократии относились свысока к таким именинам; в числе гостей был Ястребок и «сестры». Гаврило Степаныч не был, потому что переехал уже на Половинку. Начало этого мирного торжества шло довольно вяло, все нерешительно потирали руки, косились на закуски, пили водку только после самых настойчивых просьб, но, как это всегда случается в таких случаях, водка сделала свое дело, развязала языки, раскрыла души и сердца, и произошло примирение о. Андроника с Фатевной, приветствуемое общим одобрением. «Сестры» присели куда-то в дальний уголок и, приложив руку к щеке, затянули проголосную песню, какую русский человек любит спеть под пьяную руку; Асклипиодот, успевший порядком клюнуть, таинственно вынял из-под полы скрипку, которую он называл «актрисой» и на которой с замечательным искусством откалывал «барыню» и «камаринского». Пение «сестер», пиликанье Асклипиодота, вскрики и глухой гул пьяных голосов слились в такую музыку, которую невозможно передать словами; общее одушевление

публики разразилось самой отчаянной пляской, в которой принимали участие почти все: сельский учитель плясал с фельдшером, Мухоедов с Ястребком и т. д. Асклипиодот усердствовал и показывал на своей «актрисе» чудеса искусства, такие пиччикато и стаккато, от которых даже сам о. Андроник только кряхтел, очевидно негодуя на свой сан, не дозволявший ему пуститься вместе с другими вприсядку; когда посторонней публики поубавилось и остались только свои, настоящий фурор произвела Фатевна; она с неподражаемым шиком семенила и притопывала ногами, томно склоняла голову то на один, то на другой бок, плыла лебедью, помахивая платочком, и, подперев руку в бок, лихо вскрикивала тонким голосом. Эта пляска Фатевны привела о. Андроника в какое-то исступление, он в такт хлопал ладонями и временами неистово вскрикивал, вскакивая с своего места:

— Чище, чище, чище!.. Чище, шельма! Чище, каналья!.. О-го-го!!.

Галактионовна принуждена была дернуть о. Андроника за рукав рясы, чтобы умерить

его шумный восторг; когда Фатевна кончила пляску, появилась на ее смену Глаша, одетая в пестрый кумачный сарафан и кисейную рубашку. Мухоедов на правах хозяина и именинника работал ногами до седьмого пота; он вообще плясал русскую отлично, а когда вышла Глаша и, пикантно шевельнув полными плечами и опустив глаза, переступью поплыла по комнате, Мухоедов превзошел самого себя и принялся выделывать чудеса искусства. Фатевна, освежив себя несколькими рюмками водки, не вытерпела соперничества дочери и снова пустилась в пляс, но на этот раз ноги уже плохо, слушались ее, и она несколько раз теряла такт.

— Настоящая Иродиада[26], пляшущая пред Иродом, — объясняла мне Галактионовна, указывая на Фатевну и о. Андроника.

— Хорошо... Фатевна пляшет отлично... Хорошо! — заявлял заплетавшимся языком Асклипиодот. — Хорошо... А я могу ее сконфузить!..

— Где тебе, глиста ты этакая, сконфузить меня! — кричала Фатевна. — Ты посмотри на меня, дева, какая я женщина, ведь я, дева, как

верба...

— Хорошо!.. могу сконфузить, — продолжал утверждать Асклипиодот.

Он передал скрипку учителю и, подобрав полы своего подрясника, пустился вприсядку; плясал он плохо, скорее скакал, чем плясал, но кончил действительно вполне эффектно: уже не поддерживая пол своего подрясника, он пошел по всей комнате колесом, что вышло не совсем грациозно, но привело публику в полный восторг.

— Сконфузил, братчик, совсем сконфузил! — провозгласил о. Андроник. — Ну-ка, Фатевна, валяй колесом... О-ха-ха-ха!!.

На именинах Мухоедова я познакомился с «сестрами», и в один прекрасный вечер мы с Мухоедовым отправились к Прохору Пантелеичу, который усиленно приглашал «заглянуть в его избушку»; мне очень хотелось посмотреть, как жили «сестры» у себя дома. Избушка Прохора Пантелеича стояла в той же улице, где и дом Фатевны; это была новенькая светлая изба, обшитая тесом, с зелеными ставнями, крепкими воротами и темным гро-

мадным двором. Изба темными сенями делилась на две половины — переднюю и заднюю; в передней жил сам Прохор Пантелеич с младшим сыном Константином, в задней жил его старший сын, лесообъездчик Филька. Филька был мужик лет тридцати пяти, среднего роста, с бойким плутоватым лицом и русой кудрявой бородкой; это был разбитной заводский человек, на все руки, как говорили в Пеньковке, с неизменно улыбавшимся лицом и с какой-нибудь прибауткой на языке. Константин был полной противоположностью старшего брата: высокий, худой, с угрюмым лицом, он выглядывал волком, был молчалив и, кажется, никогда не улыбался. Братья были женаты; у Фильки были свои дети, поэтому отец и отделил его в заднюю избу. Входя в темный двор Прохора Пантелеича, невольно чувствовалось, что все здесь крепко, тепло, сыто и как-то особенно уютно, каждый гвоздь был вбит с расчетом и красноречиво говорил за себя. Притом это довольство было наше, настоящее исконное русское довольство, как, быть может, жили богатые мужики еще при Аскольде и Дире, при Гостомысле, за велики-

ми московскими князьями: количество потребностей оставалось то же самое, как ими владел и самый бедный мужик, вся разница была в качестве их удовлетворения. Немец завел бы дрожки, оранжерею, штиблеты — «сестры» ездили в простых телегах, но зато это была такая телега, в которой от колеса до последнего винта все подавляло высоким достоинством своего качества; любители заморского удивляются чистоте немецких домиков, но войдите в избу разбогатевшего русского мужика, особенно из раскольников — не знаю, какой еще чистоты можно требовать от места, в котором живут, а не удивляют своей чистотой. Конечно, тут не встретите изящных палисадников пред окнами, цветников, драпировок из плюща или винограда, но зато уж если сделано крыльцо, так это именно крыльцо, которое простоит сто лет, и ни одна половица не покосится; если это лавка, то она тоже отслужит свою службу. Вообще русский человек, как это можно заметить в любом зажиточном доме, чувствует большую слабость к чистоте и выкрасит непременно все, что только можно выкрасить: и красиво с извест-

ной точки зрения, и прочно, и относительно чистоты самое подходящее дело. Это чувство тугого довольства провожало меня от ворот, через крыльцо, сени и до широкой лавки, на которую усадил нас Прохор Пантелеич, выглядывавший дома настоящим патриархом: глядя на его плотную фигуру, серьезное умное лицо, неторопливые движения, вся эта обстановка получала какой-то особенный смысл в глазах постороннего человека, она была так же обстоятельна, серьезна и полна смысла, как сам Прохор Пантелеич. Передняя светлая изба была устроена внутри, как, вероятно, устроены все русские избы от Балтийского моря до берегов Великого океана: налево от дверей широкая русская печь, над самыми дверями навешаны широкие полати, около стен широкие лавки, в переднем углу небольшой стол, и только. Стены были выструганы гладко, и, вероятно, их часто мыли с песком; лавки и полати были выкрашены синей краской, пол желтой охрой; в переднем углу висело несколько потемневших образов и медный складень с засохшей вербой за ним.

— Милости просим, гости дорогие, — гово-

рил Прохор Пантелеич, усаживая за стол.

— А тебе, Прохор Пантелеич, стыдно жить в такой избе, — говорил Мухоедов, — ведь денег у тебя куры не клюют... Вот взял да и построил двухэтажный каменный дом, как в городах у купцов.

— В городах-то, Капинет Петрович, пословица говорится, толсто звонят, да тонко живут, — отвечал старик с умной улыбкой, — где нам за ними гоняться.

— Куда ты с деньгами-то?

— С деньгами... Деньгам место найдется. Кому их надо, так не брезгуют и моей избушкой; из больших-то домов приходят тоже и в мою избушку.

Две молодых бабенки, одетых совершенно одинаково, как две сестры, в простенькие ситцевые сарафаны и в розовые платочки, подали самовар, чайную посуду и кренделей; они держали себя чрезвычайно скромно и, подходя к столу, опускали глаза. Они искоса взглядывали на свекра и, как собаки, ловили каждое его движение; заметно было, что Прохор Пантелеич держал снох в ежовых рукавицах и не давал им воли. Филька и Константин

скоро пришли в избу и почтительно поместились на дальнем конце лавки; Прохор Пантелеич не предложил им ни чаю, ни водки. Не успели мы выпить по стакану, как пришел Авдей Михайлыч, снял свои кожаные перчатки, поставил в угол правило, помолился и, поздоровавшись со всеми, присел к нашему столу.

— Ну что, Авдей Михайлыч, как дела? — спрашивал Мухоедов.

— Что, Капинет Петрович, — заговорил Авдей Михайлыч, — наши дела, как сажа бела... Вот Гаврило Степаныч обезживотил нас; а только напрасно он нас обижает.

— Чем это?

— А заведенья отнял...

— Да ведь это не его дело, а дело общества.

— Опчество... Какое у нас опчество! — угрюмо заговорил Авдей Михайлыч. — Наше опчество, одно слово, бараны, и конец... Своей пользы ежели не понимают.

— Мне одно невдомек, — заговорил Прохор Пантелеич, — какая корысть Гавриле Степанычу?.. Отнял у нас кабаки и передал Чубарову. Ежели бы он за себя их перевел...

— Вот то-то и есть, — объяснял Мухоедов, — ежели бы он их у вас отнял, так не отдал бы другому.

— Ну, это ты пустое говоришь! — отрезал Авдей Михайлыч. — Ежели бы насчет благодарности... да разе мы бы постояли?.. Так ведь Гаврило-то Степаныч такую тебе благодарность задаст...

— У меня Коскентин в лесообъездчиках служил, — говорил Прохор Пантелеич, — а я его в кабак посадил... Вот он теперь на бобах и остался.

— А ты обратись к Гавриле Степанычу, он место Константину даст, — объяснял Мухоедов. — Лошадей у тебя до десяти есть, подряды будешь брать...

— Да это все так, Капинет Петрович, без хлеба, слава богу, еще не сиживали, только расскажите мне: Гавриле-то Степанычу какая корысть была кабаки у нас отнимать? Ведь мы ему не мешали...

— Народ ноне малодушен больно стал в Пеньковке, — проговорил Авдей Михайлыч, — прежде крепче жили... Заработки большие, едят сладко, чай этот пошел — вот

народ и портится Посмотришь, молодые парнишки что делают: еще на рыле материно молоко не обсохло, а он водку хлещет... Или тоже вот наши заводские девки: больно много воли забрали, балуются, а котора послабее — и совсем потеряет себя.

Когда мы выходили от Прохора Пантелеича, во дворе какая-то молодая женщина с двумя детьми бросилась в ноги хозяину и громко запричитала:

— Батюшка... Прохор Пантелеич... второй день без хлеба ребятишки сидят!

— Ладно, ладно... дай проводить гостей-то, чего ревешь! — внушительно проговорил Прохор Пантелеич и равнодушно прибавил: — Степана Ватрушкина хозяйка... Третий день шляется, все лошадь продает, а мне куда с ней, с лошадью-то: возьми ее да и трави сено. Скотина, как пила, день и ночь пилит...

Мы вышли. Мухоедов молчал всю дорогу и, только когда мы подходили к дому, проговорил:

— Собственно говоря, «сестры» отличные мужики, если взять их самих по себе, безотносительно.

— Крепко живут.

— И в заводе свое дело тонко знает, любо смотреть, а вот поди ты, деньги губят... Уж, видно, так устроен русский человек, что каждый лишний рубль на какую-нибудь пакость подталкивает. Видел жену Ватрушкина? В ногах третий день бабенка валяется, чтобы за бесценок взяли у ней лошадь... Что будешь делать! Поломаются «сестры» и возьмут, да еще в благодетели запишутся... Это черт знает, что такое!.. Помнишь, я тебе про механику-то говорил, какую мы с Гаврилой под «сестер» подвели, — это и есть те кабаки, о которых сегодня говорили. Не бей мужика дубьем, а бей рублем... Доняли мы «сестриц»! Авдей-то Михайлыч как притворяется: ничего, слышь, не понимаю, а сам отлично знает, что Чубаров заплатил обществу за кабаки десять тысяч. Деньги, то есть половина на школу пойдет, а другая на недоимки... Ведь отличную штуку Гаврило придумал? Не удалось «сестрам» слопать десять тысяч, вот и сердятся. Раньше им общество кабаки сдавало за здорово живешь...

V

Мне пришлось за некоторыми объяснениями обратиться к самому Слава-богу, который принял меня очень вежливо, но, несмотря на самое искреннее желание быть мне полезным, ничего не мог мне объяснить по той простой причине, что сам ровно ничего не знал; сам по себе Слава-богу был совсем пустой немец, по фамилии Муфель; он в своем фатерлянде пропал бы, вероятно, с голоду, а в России, в которую явился, по собственному признанию, зная только одно русское слово «швин», в России этот нищий духом ухитрился ухватить большой кус, хотя и сделал это из-за какой-то широкой немецкой спины, женившись на какой-то дальней родственнице какого-то значительного немца. Сделавшись управителем Пеньковского завода, Муфель быстро освоился на новой почве и в совершенстве овладел целым лексиконом отборнейших российских ругательств, но говорить по-русски не мог выучиться и говорил: «кланяйтесь из менэ», «благодарим к вам», «я буду приходить по вас», «сигун» вместо чугун и

т. д., словом, это была совсем старая история, известная всякому. Муфель представил меня своей жене, очень молодой белокурой даме; эта бесцветная немочка вечно страдала зубной болью, и мимо нее, как говорил Мухоедов, стоило только пройти мужчине, чтобы она на другой же день почувствовала себя беременной; почтенная и немного чопорная и опрятная, как кошка, старушка, которую я видел каждый день гулявшей по плотине, оказалась мамашей Муфеля. В уютном, отлично меблированном управительском доме мне пришлось встретиться с о. Егором и молодыми врачами; о. Егор держал себя совсем comme il faut[27], скромно и с достоинством, и даже не без ловкости умел сказать несколько комплиментов дамам. Доктор и «докторица», фамилия которых была Торчиковы, произвели на меня неопределенное впечатление; говорили они только о серьезных материях и очень внимательно слушали один другого; доктор небольшого роста, сутуловатый и очень плотный господин, держал себя с меньшей развязностью, чем о. Егор, смущался своими руками и любил смотреть в угол, но в его

некрасивом лице, с небольшими серыми, часто мигавшими глазками и каким-то вопросительно-встревоженным выражением просвечивало что-то хорошее и немного упрямое. Жена доктора, совсем маленькая и очень бойкая дама, с маленьким, правильным капризным лицом, держала себя неприступно и строго и, кажется, всего больше заботилась о том, чтобы сказать что-нибудь остроумное или по крайней мере умное; это новое явление нашей жизни мне понравилось меньше, чем сам доктор, особенно когда я мысленно сравнил с ней простую и симпатичную Александру Васильевну.

Муфель, большой скандалист и еще больший кутила, держал себя дома как добрый семьянин и самый радушный хозяин, который не знал, чем нас угостить; между прочим, он показал нам свою великолепную оранжерею, где росли даже ананасы, но главным образом он налег на вина и отличный обед, где каждое блюдо было некоторым образом chef-d'oevre'ом кулинарного искусства.

Взглядывая на эту взъерошенную, красную от выпитого пива фигуру Муфеля, одетого в

охотничью куртку, цветной галстук, серые штаны и высокие охотничьи сапоги, я думал о Мухоедове, который никак не мог перелезть через этого ненавистного ему немца и отсиживался от него шесть лет в черном теле; чем больше пил Муфель, хвастовство и нахальство росло в нем, и он кончил тем, что велел привести трех своих маленьких сыновей, одетых тоже в серые куртки и короткие штаны, и, указывая на них, проговорил:

— Вот, шерт возьми, будущая Россия…

Отец Егор приласкал детей и не без ловкости уронил какой-то комплимент, относившийся к счастливым родителям «будущей России»; мать Муфеля говорила по-русски лучше сына и за обедом, между прочим, сильно жаловалась на о. Андроника.

— Представьте себе, — говорила старушка, высоко поднимая свои седые брови, — я член Красного Креста, раз захожу с кружкой к этому ужасному попу… На крыльце меня встречает пьяный дьячок, вхожу в комнату, и представьте — этот Андроник сидит на диване в одном жилете и играет на гитаре. Мне сделалось дурно, и я плохо помню, как выбралась

на улицу... Согласитесь, что это ужасно, ужасно!!.

— Подобные люди бросают тень на целое сословие, — немного вычурно заговорил о. Егор, ежась на своем месте и заглядывая в глаза жаловавшейся старушке. — По моему мнению, это зависит от недостатка образования, Амалия Карловна... В Германии, вероятно, вы не встретите таких священников? Да, печальное явление, очень печальное, но, можно надеяться, русское духовенство скоро совсем избавится от него.

— А мне, отец Егор, отец Андроник очень нравится, — отозвалась докторша, вскидывая на нос pincenez. — В нем есть какая-то хорошая простота и чисто русское остроумие.

— Относительно простоты и остроумия отца Андроника я совершенно согласен с вами, — мягко соглашался о. Егор, наливая себе стакан воды. — Но согласитесь, известная специальность, вернее, профессия, налагает на каждого человека известные обязанности и приличия, тем более сан священника... Вот вы врач, а что бы вы сказали о другом враче-женщине, которая явилась бы к своему па-

циенту не в своем виде, что с отцом Андроником случается нередко. Я не осуждаю старика и знаю, что ему немного поздно ломать свою натуру, но все-таки согласитесь...

Когда мы вышли из-за стола, я спросил докторшу об участи раздавленного Ватрушкина; женщина-врач точно обрадовалась моему вопросу и с торопливой улыбкой проговорила:

— Ему лучше... Он скоро поправится.

— Неужели?

— О, да... — самоуверенно проговорила маленькая женщина. — Ампутация обошлась самым счастливым образом, и бедняк так благодарил меня, даже руки мне целовал и все называл хорошей барышней.

— Значит, вы...

— Вы хотите сказать, как я решилась отнять ногу? — предупредила меня докторша, машинально поправляя одной рукой какую-то складку на своем изящном сером платье. — Моя специальность — хирургия, и я уже сделала несколько удачных операций... Мои пациенты единогласно подтверждают, что у меня легкая рука, — с улыбкой прибави-

ла она.

Я внимательно посмотрел на маленькую женщину, почти девушку, на ее небольшие желтые руки, и в душе подивился ее смелости; мне на память пришел случай, когда однажды я должен был вынуть большую занозу из ноги одного шалуна, и как эта мудреная операция бросила меня в холодный пот, и я готов был бежать, чтобы избавиться только от своей трудной роли; докторша, кажется, угадала истинный ход моих мыслей и с прежней улыбкой проговорила:

— Ведь тут и мудреного ничего нет... Издали оно кажется гораздо страшнее, чем на самом деле; а затем является привычка.

— Так она плох? — спрашивал Муфель доктора, провожая нас в переднюю.

— Да, очень плох.

— Никакой надежды?

— Надежда есть, но очень сомнительная, — уклончиво отвечал доктор, поворачивая в руках шляпу.

— Шаль, очэнь шаль... Какая хорош человек!..

— Это вы о Гавриле Степаныче? — вмеша-

лась докторша и, получив утвердительный ответ, прибавила: — А по-моему, он поправится, в нем слишком много энергии... В такого сорта болезнях хороший характер прежде всего.

Гаврило Степаныч не был на именинах Мухоедова, потому что к этому времени уже переехал на Половинку; в одно из ближайших воскресений мы с Мухоедовым взяли лошадь у Фатевны и отправились проведать нашего друга. До Половинки было верст двадцать. Мы выехали рано утром, до «солновсхода»; накануне был небольшой дождь, и трава зеленела особенно ярко, точно она умылась; когда солнце поднялось выше и начало подбирать росу, наша тюменская телега бойко катилась мимо красивых покосов, пестревших незавидными цветочками. Кой-где виднелись небольшие избушки, в которых жили рабочие во время страды; попалось несколько обугленных мест с остатками обгорелых пней и сучков; особенно хороши были березовые пролески, светлые, как транспарант, прохладные и шелестевшие каждым листочком. По небу весело бежали далекие облачка;

солнце точно смеялось и все кругом топило своим животворящим светом, заставлявшим подниматься кверху каждую былинку; Мухоедов целую дорогу был необыкновенно весел: пел, рассказывал анекдоты, в лицах изображал Муфеля, «сестер», Фатевну — словом, дурачился, как школьник, убежавший из школы.

Наслаждение летним днем, солнечным светом омрачалось мыслью о бедном Гавриле Степаныче, которому, по словам доктора, оставалось недолго жить; среди этого моря зелени, волн тепла и света, ароматного запаха травы и цветов мысль о смерти являлась таким же грубым диссонансом, как зимний снег; какое-то внутреннее человеческое чувство горячо протестовало против этого позорного уничтожения. Я ничего не говорил Мухоедову об опасном положении Гаврилы Степаныча, раз, потому что не хотел огорчать прежде времени этого доброго человека, а второе, — я боялся, что он не сумеет себя держать и выдаст себя и меня Гаврилу Степанычу головой; больные вообще обладают большей проницательностью, чем здоровые, и от-

лично умеют читать по физиономиям своих друзей.

— Кажется, тысячу лет прожил бы! — говорил Мухоедов, когда наша телега, миновав покосы, покатилась, как по длинному узкому коридору, среди смешанного леса из сосен, елей и берез, где нас обдало приятной прохладой и чудным смолистым запахом. — Право, много ли нужно человеку: вот этакий день — и счастлив, как птица. По моему мнению, нет другого животного, которое так умело бы пользоваться жизнью, как птица; это моя собственная философия, которая иногда утешает меня, если уж придется круто. Я стараюсь походить на птицу... Стряхнешь с себя все эти предрассудки, которыми опутывает нас жизнь, и, право, так делается весело, точно вчера родился и не видал еще ни одного паршивого немца...

В этих разговорах и самой беззаботной болтовне мы незаметно подъехали к Половинке, которая представляла из себя такую картину: на берегу небольшой речки, наполовину в лесу, стояла довольно просторная русская изба, и только, никакого другого жилья,

даже не было служб, которые были заменены просто широким навесом, устроенным между четырьмя массивными елями; под навесом издали виднелась рыжая лошадь, лежавшая корова и коза, которые спасались в тени от наступавшего жара и овода. Половинка была когда-то рудником; какой-то предприниматель зарыл здесь довольно крупный капитал, а затем, разорившись, все бросил; остатками бывшего рудника служили изба, в которой теперь жил Гаврило Степаныч, да несколько полузаросших травой и березняком валов перемытого песку, обвалившихся и затянутых сочной осокой канав, да еще остатки небольшого прудка и целый ряд глубоких шахт, походивших издали на могилы. Общий вид Половинки был очень хорош, хотя его главную прелесть и составлял лес, который со всех сторон, как рать великанов, окружал небольшое свободное пространство бывшего рудника и подступал все ближе и ближе к одинокой избе; главное достоинство этого леса заключалось в том, что это был не сплошной ельник, а смешанный лес, где развесистые березы, рябина и черемуха мешались с елями и соснами, при-

ятно для глаза смягчая своей светлой веселой зеленью траурный характер хвойного леса.

Пред избой был разбит небольшой цветник, а за ним виднелось несколько гряд только что вскопанного огорода.

— Эй, хозяева, принимайте гостей! — громко кричал Мухоедов, привязывая лошадь под навесом, но из избы никто не откликался, и Мухоедов решил: — Спят, видно, наши господа... Эк их взяло! Нашли время.

Я с удовольствием взошел на широкое русское крыльцо, где было прохладно и солнце не резало глаз своим ослепительным блеском, а расстилавшаяся пред глазами картина небольшой речки, оставленного рудника и густого леса казалась отсюда еще лучше; над крышей избушки перекликались какие-то безыменные птички, со стороны леса тянуло прохладной пахучей струей смолистого воздуха — словом, не вышел бы из этого мирного уголка, заброшенного в глубь сибирского леса. Дальше Половинки не было и дороги, а начиналась знаменитая сибирская тайга, раскинувшаяся вплоть до Великого океана. Небольшой стол помещался в углу крыльца; на нем

лежала позабытая женская работа — несколько полос полотна, катушка с нитками и маленькие стальные ножницы; вместо стульев служили небольшие скамьи, сделанные прямо из сырого дерева с неправильно обтесанными досками.

— Что, братику, хорошо здесь? — говорил Мухоедов, входя на крыльцо и утирая лицо платком.

— Да, недурно.

— Чистое, братику, состояние первых человеков. А где же, однако, мы хозяев добывать будем? Вот работишка Александры Васильевны, значит, они дома...

Мухоедов попробовал низенькую дверь, которая с крыльца вела в темные сени, — она оказалась незапертой; походив по сеням и несколько раз окликнув хозяев, Мухоедов вошел сначала в переднюю избу, а потом в заднюю — везде было пусто, и Мухоедов решил, что хозяева, вероятно, ушли в лес.

— Ну, это не совсем вежливо с их стороны, — ворчал мой приятель, появляясь на пороге с самоваром, — я до смерти хочу пить, живым манером запалю сию машину, а ты

подожди. Если хочешь, ступай в избу: церемоний не полагается.

Мухоедов, захватив на пути железный ковш, отправился с самоваром на берег речки, где налил его водой, и действительно «запалил», так что из «машины» густой дым повалил густыми клубами; развалившись на траве, Мухоедов с ожесточением раздувал самовар, время от времени поворачивая ко мне раскрасневшееся счастливое лицо. Я тем временем успел рассмотреть переднюю избу, которая была убрана с поразительной чистотой и как-то особенно уютно, как это умеют делать только одни женские руки; эта изба была гостиной и рабочим кабинетом, в ней стоял рояль и письменный стол, в углу устроено было несколько полок для книг; большая русская печь была замаскирована ситцевыми занавесками, а стены оклеены дешевенькими обоями с голубыми и розовыми цветочками по белому полю. Пол везде был сильно попорчен, даже было выбито несколько ям; небольшие окна, с только что вставленными новыми рамами, были отворены настежь, на подоконниках стояли горшки цветов, плющ мас-

кировал почерневшие косяки, а снаружи, по натянутым веревочкам, зеленой стеной подымался молодой хмель, забираясь отдельными корнями под самую крышу. Задняя комната представляла из себя одной половиной кухню, другой спальню; обе комнатки выходили окнами прямо в лес, который рос в двух шагах.

— Вот где хорошо... — подумал я вслух.

— Идиллия, братику, сущая идиллия! — отозвался Мухоедов, не без торжества появляясь на крыльце с кипевшим самоваром; он поставил его на стол, а затем откуда-то из глубины кухни натащил чайной посуды, хлеба и даже ухитрился слазить в какую-то яму за молоком. — Соловья баснями не кормят, а голод-то не тетка... Пока они там разгуливают, мы успеем заморить червячка.

Распахнув свою поддевку и сняв шляпу, Мухоедов с особенным торжеством приступил к церемонии чаепития; он болтал без умолку, пот крупными каплями катился по его высокому лбу, он его вытирал мимоходом рукавом поддевки и снова наклонял свое лицо над блюдечком, которое держал на паль-

цах по-купечески. Чем больше я узнавал Мухоедова, тем больше начинал любить эту простую, глубоко честную душу; но, живя в Пеньковке уже вторую неделю, я начинал убеждаться все сильней в том, что Мухоедов был совсем бесхарактерный человек в некоторых отношениях, особенно если вблизи не было около него какой-нибудь сильной руки, которая время от времени поддерживала бы его и не позволяла зарываться. Такие люди незаменимы, как кабинетные ученые, но в практической жизни они безвозвратно тонут в волнах житейского моря, если счастливая случайность не привяжет их к какому-нибудь хорошему делу или хорошему человеку; по отношению к Мухоедову во мне боролись два противоположных чувства — я любил его и по воспоминаниям молодости, и как простую честную душу, а с другой стороны, мне делалось больно и обидно за него, когда я раздумывал на тему о его характере. И теперь, глядя на его счастливое молодое лицо, я находился под влиянием этого двойного чувства, мне хотелось высказать ему мучившие меня сомнения, и вместе с тем я совсем не желал

портить его счастливого «птичьего» настроения.

— А вот и наши Филемон и Бавкида бредут [28], — заговорил Мухоедов, когда на опушке леса показалась сначала стройная фигура Александры Васильевны, а за ней длинная, слегка сгорбленная «остеология» Гаврилы Степаныча, как его называл Мухоедов; издали он сильно походил на журавля и как-то забавно шагал по густой траве, вытягивая вперед длинную шею и высоко поднимая ноги, точно он шел по воде. — А мы тут без вас чайком балуемся, — заявлял Мухоедов, здороваясь с Александрой Васильевной. — Вы, голубчик, совсем поправились здесь, вон и румянец, и цвет лица в некотором роде… Хе-хе!..

— А как вы находите Гаврилу Степаныча? — обратилась ко мне Александра Васильевна. — Не правда ли, ведь он заметно поправляется… на глазах.

— Ну, Саша, уж и заметно, — с улыбкой протестовал Гаврило Степаныч, опускаясь с заметным усилием на скамью. — Конечно, я чувствую себя бодрее и к осени отлично поправлюсь, но нельзя же вдруг, разом…

— Все-таки и доктор тоже нашел тебя лучше, когда был в последний раз.

— Доктор?.. Ах да, доктор; доктор — очень хороший человек, очень... — Гаврило Степаныч не договорил и страшно закашлял; на шее и на лбу выступили толстые жилы, лицо покрылось яркой краской. — Я ведь живуч... только вот не могу еще долго ходить по лесу, утомляюсь скоро и голова кружится от чистого воздуха... не могу к воздуху-то привыкнуть.

— Тебе только не следует волноваться, — говорила Александра Васильевна, снимая шляпу и поправляя спутавшиеся на лбу пряди белокурых, мягких, как шелк, волос. — Не будешь волноваться и поправишься...

— Да, да, именно так: нужно жить, Гаврило, как птицы живут, — подтвердил Мухоедов и довольно подробно принялся развивать свою оригинальную философию равновесия элементов. — Я давно тебе это твержу: живи, яко птица, и кончено!..

— Милый человек, советы гораздо лучше давать, чем исполнить их, — в раздумье проговорил Гаврило Степаныч. — Вон Слава-богу советовал Ватрушкину сделать усилие, тоже

недурно сказано.

— Ах, остеология, остеология! С кем ты сравнил меня? — возмущался Мухоедов, наливая всем стаканы. — А тебе, остеология, налить стаканчик?

— Нет, спасибо... доктор посадил меня на молочко.

— А ты его не слушай: за компанию жид удавился!

Мы отлично провели этот день, ходили в лес, несколько раз принимались пить чай, а вечером, когда солнце стояло багровым шаром над самым лесом, старик-караульщик, который один жил на Половинке в качестве прислуги, заменяя кучера, горничную и повара, развел на берегу речки громадный костер; мы долго сидели около огня, болтая о разных разностях и любуясь душистой летней ночью, которая в лесу была особенно хороша. Мириады звезд фосфорическими искрами усеяли голубое небо; лес молчал, от деревьев тянулись по траве длинные тени; где-то глухо и печально куковала кукушка.

— Вы не боитесь здесь жить? — спрашивал я Александру Васильевну, кутавшуюся в теп-

лую шаль.

— Нет... Мы ведь не одни: с нами живет Евстигней; мы даже ничего не затворяем здесь.

— Да ваш Евстигней спит, как сурок, — вмешался Мухоедов. — Его с головой завяжи в мешок, он и того не услышит.

— А вот и нет, Капинет Петрович, — отозвался Евстигней, очень ветхий старик, с каким-то восковым, точно выцветшим лицом. — Я в карауле на фабрике тридцать пять лет выслужил, волоса не прокараулил...

— А ты расскажи лучше, как ты самовар приказчику ставил? — заговорил Мухоедов.

— Чего самовар? Разве его мудрено настаивать...

— Нет, ты по порядку-то расскажи, как дело было.

Евстигней оправил небольшую бородку клином и заговорил неопределенным, тоже как будто выцветшим голосом, точно это говорил не он, а кто-нибудь другой, спрятавшийся за его спиной:

— Это было годов с сорок, когда мы за барином жили. Меня определили на рудник; приехал приказчик и заставил меня самовар

наставить... А тогда этого заведенья, почитай, совсем не было, чтобы самовары пить. Теперь в Пеньковке много самоваров, а тогда и званья не было. Я ходил-ходил около самовару-то, и не знаю, что с ним сделать, а ставить надо, потому приказчик придет с руднику, спросит. Открыл крышку, вижу — в одном месте вода, в другом уголь, сейчас долил и углей свежих прибавил. Сам сел и караулю, а как приказчик пришел с рудника, я и подал самовар. Только приказчик заварил чай, налил стакан, а как попробовал, так и выплюнул... Сейчас за мной: «Сказывай, чего наклал в самовар?» Испужался я до смерти, а все-таки говорю, что ничего не клал. «Врешь, кричит приказчик, ты, говорит, меня отравить хочешь... Давай, пей сам!» Посадил меня за стол, налил мне стакан и заставил его весь выпить; не поглянулся мне этот чай его, а делать нечего, пью, потому не своя воля. «Ну, что, говорит приказчик, скусно?» — «Скусно», — говорю. «А зачем, говорит, вода в самоваре соленая?» — «Я, говорю, посолил, потому хотел угодить вам...» Смотрел-смотрел на самовар, как он кипит, а сам думаю: «Надо посолить;

пожалуй, приказчик ругать будет, если не посолю». Ну и посолил, потому у нас бабы каждое варево солят.

Старик заключил свой рассказ самой добродушной улыбкой и, поплевав на руки, бросил несколько полен в огонь; мы посмеялись над его рассказом и отправились в комнаты, потому что падала роса и Гаврилу Степанычу было вредно оставаться на мокрой траве. Александра Васильевна сыграла несколько любимых пьес на рояле, но Гаврило Степаныч слушал их, печально опустив голову, потому что доктор строго-настрого запретил ему петь; меня удивило, что Гаврило Степаныч не заводил совсем речи ни о «сестрах», ни о ссудо-сберегательном товариществе, но это объяснилось опять запрещением доктора.

— А вы, право, погостили бы у нас? — говорил мне Гаврило Степаныч, когда мы прощались вечером. — Мухоедов пусть едет, а вам в Пеньковке или здесь просматривать бумаги все равно... Право, оставайтесь? Мы вам отдадим переднюю избу, и живите себе: Епинет Петрович будет навещать нас, и заживем отлично. Мы с Сашей люди простые, не поме-

шаем вам.

— В самом деле оставайся, какого тебе рожна делать в Пеньковке?! — уговаривал меня Мухоедов, перебрасываясь с Александрой Васильевной каким-то телеграфическим знаком. — Я ведь завтра рано укачу отсюда, потому к шести часам утра нужно быть в заводе, а ты спи себе, как младенец, я и бумаги тебе все вышлю, считайте здесь с Гаврилой свою статистику.

Когда мы остались одни, Мухоедов, раздеваясь, говорил мне:

— Нет, ты в самом деле оставайся здесь, спасибо скажешь. Малина — не житье, да и Гавриле веселее, а то он с одной скуки помереть может; человек привык работать за троих, а тут и думать ничего не смей, занимайся обменом веществ. Ты его раскопай-ко, Гаврилу-то, он ведь хоть сейчас в министры, и все тебе как на ладони покажет; только здоровьишко его подлое совсем, а то рубаха-парень. Мне давеча и Александра Васильевна шепнула, чтобы я уговаривал тебя; тебе ведь все равно, а Гавриле веселее, когда живой человек под боком.

Рано утром, когда я спал, Мухоедов уехал в Пеньковку один; я проснулся очень поздно и долго не мог сообразить, где я лежу. Солнечные лучи яркими пятнами играли на задней стене; окна были открыты; легкий ветерок врывался в них, шелестел в листьях плюща и доносил до меня веселый говор леса, в котором время от времени раздавались удары топора; я оделся и вышел на крыльцо, где уже кипел на столе самовар.

— Десять часов утра, — послышался мне голос Александры Васильевны, которая скоро показалась из кухни с красным лицом, одетая в ситцевую простенькую блузу.

— Я позабыл попросить Евстигнея, чтобы он разбудил меня, — пробовал я оправдаться, здороваясь с Александрой Васильевной.

— Значит, совесть немного-таки мучит вас?

— Да, проспать такое утро просто бессовестно. А Гаврило Степаныч, вероятно, гуляет?

— Да, он теперь в лесу, а я в кухне... Вы, я думаю, испугались меня?

— Нет, пока ничего, а только я вам должен

категорически заметить, что, если вы из-за меня хоть пять минут лишних пробудете в кухне, я сейчас же исчезаю. Согласны?

— Успокойтесь, пожалуйста, ведь мы и без вас что-нибудь едим; женской прислуги я не взяла с собой, потому что люблю иногда поработать, как кухарка. Гаврило Степаныч ворчит на меня за это, но, видите ли, мне необходимо готовить самой обед, потому что только я знаю, что любит муж и как ему угодить, а полнейшее спокойствие для него теперь лучшее лекарство. — Переменив тон, она прибавила: — А пока он придет, вы, во-первых, сходите умыться прямо в речке, а потом я вас напою чаем; вот вам мыло и полотенце.

Защитив глаза от солнечного света, я с наслаждением брел прямо по густой траве к речке; как городской житель, я долго затруднялся выполнением такой замысловатой операции, как умывание прямо из речки, и только тогда достиг своей цели, когда после очень неудачных попыток догадался, наконец, положить около воды большой камень, опустился на него коленями и таким образом долго и с особенным наслаждением обливал

себе голову, шею и руки холодной водой, черпая ее сложенными пригоршнями. Когда я вернулся на крыльцо, Александра Васильевна ждала меня уже за самоваром; на столе появились густые сливки, тарелка земляники, белый хлеб и какое-то сдобное печенье.

— Я нарочно послала вас умыться в речке, чтобы вы хоть раз в жизни испытали это удовольствие, — говорила мне Александра Васильевна, подавая стакан чаю.

Мы весело болтали все время чая; Александра Васильевна держала себя непринужденно и просто, как сестра, но по ее лицу я заметил, что она хотела что-то сказать мне и не решалась; я вывел ее из этого затруднения предложением не стесняться со мною.

— Мне хотелось поговорить с вами об Епинете Петровиче, — заговорила Александра Васильевна. — Вы учились вместе с ним?

— Да.

— Мы с мужем так его любим, он свой человек в нашем доме, но в нем есть одна странность, которая так всегда огорчает моего мужа...

— Бесхарактерность?

— Да, какое-то отсутствие воли; мне кажется, это зависит от его семейной обстановки... Это одиночество, бесконечная доброта... Ведь он такой умный и необыкновенно честный человек, поэтому как-то вдвойне обидно делается за него. Я буду откровенна с вами; Епинет Петрович живет у Фатевны... у ней, вы, вероятно, видели, есть дочь, Глаша, очень красивая и оригинальная девушка, но, к сожалению, совсем пустая и вдобавок очень легкомысленная... Я боюсь, что Епинет Петрович может увлечься ей, Фатевна способна на все, и может случиться так, что поправлять дело будет поздно. Мне, как женщине, неловко высказать ему это прямо в глаза, а вы, на правах друга, можете это сделать. Право, мне делается страшно от одной мысли, что такой отличный человек, как Епинет Петрович, может жениться на Глаше. Я не люблю говорить дурно о людях, особенно о молодых, из которых может выйти и добро и зло с одинаковой вероятностью, но есть такие натуры, которые неисправимы. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я пристрастно смотрю на Глашу, но в каждом есть такие предубеждения против

некоторых людей, и они иногда оправдываются.

Я обещал Александре Васильевне сделать все, как она желает, и вместе с тем высказал ей, что, насколько мне удалось заметить, такой опасности пока не существует для Мухоедова, хотя поручиться за него в будущем и невозможно; я откровенно высказал ей, что бесхарактерность Мухоедова огорчает и меня, но что это такой недостаток, который не поддается никакому лечению, особенно в известном возрасте. Александра Васильевна внимательно выслушала меня, а потом в раздумье проговорила:

— А он такой славный... Все рабочие так любят его, хоть и называют Казинетом. А вот и муж с Евстигнеем возвращаются, — весело прибавила Александра Васильевна, кивнув головой в сторону леса, где виднелись две мужских фигуры.

Когда они были уже недалеко, Александра Васильевна проговорила с озабоченным лицом:

— У меня к вам есть еще одна маленькая просьба: пожалуйста, не заводите этих разго-

воров, которые могут волновать мужа... Ваше присутствие здесь будет для него лучшим лекарством и без них; он так интересуется вашей работой и вчера долго толковал со мной, чем и как помочь вам.

Несколько недель, проведенных мною на Половинке в обществе Гаврилы Степаныча, Александры Васильевны, Евстигнея и изредка посещавшего нас Мухоедова, принадлежат к счастливейшему времени моей жизни, по крайней мере никогда мне не случалось проводить время с такой пользой и вместе с таким удовольствием; моя работа быстро подвигалась вперед, Гаврило Степаныч принимал в ней самое живое участие, помогал мне словом и делом и с лихорадочным нетерпением следил за прибывавшим числом исписанных листов, которые он имел ангельское терпение перечитывать по десять раз, делал замечания, помогал в вычислениях, так что в результате моя работа настолько же принадлежала мне, как и ему. К моему удивлению, Гаврило Степаныч порядочно знал политическую экономию, читал Адама Смита, Милля,

Маркса и постоянно жалел только о том, что, не зная новых языков, он не может пользоваться богатой европейской литературой по разным экономическим вопросам из первых рук, а не дожидаясь переводов на русский язык; в статистике Гаврило Степаныч был как у себя дома, читал Кетле и Кольба, а работы русского профессора Янсона он знал почти наизусть. Вообще трудно было сказать, чего только не знал и чего не читал Гаврило Степаныч, и, главное, все это делалось только в свободное время от его специальных занятий в заводе и делалось исключительно по своему собственному выбору, вне всяких посторонних влияний. Мне всего больше в Гавриле Степаныче нравилась необыкновенная энергия его мысли и какая-то восторженная любовь к знанию; здесь он являлся жрецом чистого искусства, и, по моему мнению, эта сила любви поддерживала его растительный организм лучше всяких лекарств. У него была своя очень порядочная библиотека, составленная очень удачно; кроме того, он выписывал «Вестник Европы» и «Отечественные записки», и каждая новая книжка журнала для

него была праздником.

В промежутки между работой мы делали длинные прогулки, большею частью вдвоем с Гаврилой Степанычем, потому что Александра Васильевна была завалена работой по хозяйству; мы отлично изучили местность верст на десять кругом и особенно облюбовали небольшой борок, гривой покрывавший холмистую возвышенность. Здесь мы отдыхали в жаркие летние дни, по целым часам лежа на мягкой траве и чутко прислушиваясь к вечному шепоту высоких столетних сосен; чтение и разговоры как-то особенно хорошо удавались в этом бору, и, как я ни старался, дело не обошлось без таких тем, которые волновали больного. Гаврило Степаныч понял мои усилия и однажды в минуту откровенности проговорил:

— Это вас Саша научила?

Мне оставалось только сознаться в заговоре; Гаврило Степаныч улыбнулся больной улыбкой и заговорил дрогнувшим голосом:

— Саша славная... Это ангел, а не человек. Вы не знаете ее хорошенько... Мы, мужчины, вообще очень дурно относимся к женщинам;

это историческая несправедливость и наш эгоизм, а между тем, подумайте, чем были бы мы, если бы около каждого из нас не было заботливой, любящей руки... Я молюсь на мою Сашу и, право, не знаю за ней ни одного недостатка; а сколько ей, бедняжке, приходится выносить из-за меня... Возиться с больным мужем, выносить его капризы, стоять над каждым его желанием ангелом-хранителем, — ведь это такая жертва, которая приносится каждый день и на которую не имеешь никакого права, а между тем я часто бываю несправедлив к ней, мучаю ее капризами, придираюсь к пустякам. После опомнишься и сделается так стыдно, что даже извиняться совестно... Да когда я и здоров был, разве я был бы тем, чем есть, если бы не Саша; она моей невестой лет восемь была, и как мы славно жили, как работали. Она была сельской учительницей, а я работал в заводе, учился и служил. Всеми своими знаниями, любовью к упорному, систематическому труду, выработкой характера — ведь всем я обязан моей Саше... И какая скромность в ней!.. Вот теперь хотим открывать ремесленную

школу, то есть это хочет ее открывать Саша, а мы с Мухоедовым только помогать ей будем. И ведь ни слова никому!.. Вот я, грешный человек, болтлив: и про хорошее скажу, и про дурное. Что поделаешь, уж такой характер, а Саша не то: крепкий человек...

Голос Гаврилы Степаныча дрожал, глаза блестели; он с трудом дышал и, переведя дух, продолжал с прежним одушевлением:

— Я думал заплатить ей счастливой и спокойной жизнью за все, а тут болезнь... А как она за мной ухаживает!.. Обед сама готовит и еще уверяет, что ей это нравится, а дело просто в том, что она не доверяет ни одной кухарке такого важного дела; доктор натолковал ей о важности питания, вот она и бьется, как рыба об лед... А как вы думаете, поправлюсь я или нет? — неожиданно спросил меня Гаврило Степаныч.

— Помилуйте, конечно поправитесь, — поспешил я ответить.

— Зачем вы так торопитесь высказать то, чему и сами не верите, — с легким упреком в голосе заговорил Гаврило Степаныч. — Доктор давно смотрит на меня такими глазами,

точно я уже препарат для его ножа; вы тоже сомнительно поглядываете на меня, только Саша да Мухоедов, как дети, слепо верят в мое выздоровление, и, представьте себе, они вернее отгадали то, чего наука еще не видит. Вы и доктор, например, смотрите на меня и думаете: «Куда ему поправиться, когда в нем места нет живого», а я вот возьму да и поправлюсь, поправлюсь именно потому, что во мне места нет живого. Да, это совершенно верно. Вы посмотрите на Евстигнея, в нем, кажется, двух капель крови нет, а живет себе, на восьмой десяток перевалило, зубы все целы, волосы недавно начали седеть и, наверное, доживет до ста лет. Дело просто: с молодости, когда организм формируется и растет каждой клеточкой, его силы надорвут непосильной работой, вытянут, а в сорок лет человек полный калека, как загнанная лошадь; тут человек уже неспособен на настоящий труд, а в состоянии сидеть только в карауле, как Евстигней, хоть сто лет. Вот вам наш портрет с Евстигнеем: он вытянулся на крепостном помещичьем труде, я тоже свою крепостную службу вынес, и, главное, в нас обоих остался такой малень-

кий запас сил, что для их поддержки требуется minimum тех условий, при которых может существовать живой человек. Поэтому моя болезнь, например, в два месяца скрутит какой угодно организм, а я скриплю с ней пятый год и не думаю умирать, а надеюсь скоро совсем поправиться. Да, это ясно как день, и я чувствую, что останусь жив, хотя иногда приходится очень жутко и выносишь страшную пытку, чтобы не выдать своих страданий Саше... Бедная без того скружилась со мной!

— Таких, как мы с Евстигнеем, вы найдете в Пеньковке сотни, — продолжал Гаврило Степаныч, — это все жертвы бывшего крепостного права или жертвы нынешней огненной работы... И представьте себе, как это ни странно, на заводах Кайгородова, в том числе и в Пеньковке, рабочим жилось в материальном отношении гораздо лучше за помещиком, чем теперь; причина заключается в том, что помещик как-никак, а все-таки кормил калек, стариков и сирот, а теперь они брошены на произвол судьбы... Выиграли только те рабочие, которые в полной силе; им действительно хорошо, и живут они отлично, но это

счастливое состояние продолжается пятнадцать — двадцать лет, человек израбатывается и поступает на содержание к детям, если они есть. Девки в счет нейдут при этом, а только парни, которые при больших заработках привыкают к известной роскоши, а затем к водке, так что положение заводского рабочего никак нельзя сравнить ни в материальном, ни в нравственном отношении с положением крестьянина.

Гаврило Степаныч очень подробно развивал каждый раз при таких разговорах план перехода от ссудо-сберегательного товарищества к обществу потребителей, а от него к производительным артелям, которые в далеком будущем должны окончательно вырвать заводского рабочего из рук «сестер», Фатевны и целой стаи подрядчиков, кулаков и прасолов; страховые артели на случай несчастья, сиротства, старости, увечья и прочих невзгод, среди которых проходит жизнь рабочего, должны были венчать это будущее здание. Профессиональные школы, музей прикладных знаний, публичные чтения, театр, библиотека — все это должно было явиться само

собой, как только установятся прочно начала экономического благосостояния рабочего.

— Нам не нужно революций, — прибавлял Гаврило Степаныч, — мы только не желаем переплачивать кулакам процент на процент на предметах первой необходимости, на пище и одежде; хотим обеспечить себе производительный труд, вырвав его из рук подрядчиков; стремимся застраховать себя на случай несчастья и дать детям такое воспитание, которое вместе с ремеслом вселило бы в них любовь к знанию. У меня, знаете, давно в голове бродит некоторая идея... Потребительные, ссудо-сберегательные и производительные артели рабочие должны устроить сами, дело крупных предпринимателей только не мешать им, это все понятно и логично, а вот, что касается страховых артелей, — вот здесь, по-моему, уж дело заводчиков застраховать жизнь и здоровье работника. Ведь инвалиды-рабочие имеют на это полное право, потому что хозяйские машины ломают им руки и ноги. Хочу составить проект по этому вопросу...

Это счастливое, возбужденное настроение

часто переходило у Гаврилы Степаныча в минорный тон, он съеживался, смолкал и несколько раз говорил с печальной улыбкой:

— Иногда какое-то отчаяние нападает... является какая-то проклятая неуверенность. Иногда работаешь, бьешься, а тут как палкой по голове: «Все, дескать, это некоторое сражение с ветряными мельницами и добродетельное удерживание бури зонтиком...» Ну, а потом опять этакая светлая вера является, надеждишки разные — где наше не пропадало.

В одно из посещений Мухоедова, когда мы далеко ушли с ним вдвоем, я, желая исполнить свое обещание Александре Васильевне, издалека завел с ним речь о разных случайностях жизни и свел все на возможность увлечения, например, такой девушкой, которая может испортить порядочному человеку целую жизнь; вся эта мораль была высказана мной с остановками, перерывами, примерами и пояснениями, причем я чувствовал себя не совсем хорошо, хотя и пользовался всеми правами друга. Мухоедов слушал мою проповедь с признаками нетерпения, грыз ногти, а потом спросил, как Гаврило Степаныч:

— Тебя Александра Васильевна научила?

— Будто я уж сам и не могу додуматься до такой простой вещи, — проговорил я, стараясь обидеться. — При чем тут Александра Васильевна? Я... думаю, что поступаю как твой лучший друг.

Мухоедов покатился от душившего его смеха по траве, а его «лучший друг» стоял, вытаращив глаза; когда пароксизм смеха прошел, Мухоедов сел рядом со мной, помолчал и заговорил глухим голосом:

— Ты не отпирайся, у меня свои глаза есть, и я отплачу тебе откровенностью за твою хитрость. На Глашке — дело идет о ней, если я не ошибаюсь, — я никогда не женюсь, не потому что это пустая девчонка, а потому... как это тебе сказать?.. Ну, словом, нет у меня этих семейных инстинктов, нет умонаклонения к семейному очагу и баста. Да и жить, может, уж недолго осталось, дотяну как-нибудь по-прежнему вольной птицей.

VI

В начале июля жизнь нашего мирного уголка была встревожена вторжением Муфеля, который, проездом на какую-то охоту, в сопровождении довольно многочисленной свиты, состоявшей из лесничих, «сестер» и нескольких лесообъездчиков, счел своим долгом посетить Гаврилу Степаныча и, встретив меня здесь, выразил нечто вроде удовольствия; любезность этого немца зашла настолько далеко, что он даже предложил мне принять участие в его охоте, но я отказался от этого удовольствия, в чем после не имел повода раскаиваться, потому что такие охоты Муфеля были только предлогом для некоторых таинственных оргий, устраиваемых для него «сестрами» и лесничими. В этих оргиях главная роль принадлежала женщинам, а в настоящем случае приманкой служила какая-то пикантная «штучка», которой подчиненные угощали своего повелителя; эти периодические экскурсии были в порядке вещей, и Муфель отдыхал в них от своих трудов и забот по управлению заводом. Орда, сопровож-

давшая его, представляла из себя самую оригинальную картину: «сестры» были в своих неизменных полукафтаньях, верхом на отличных лошадях, с какими-то лядунками, развешанными на груди и неловко болтавшимися при каждом движении; они крепко сидели на высоких пастушьих седлах, как люди, привыкшие ездить верхом; у каждого под седлом, вдоль лошади, были привязаны кремневые «турки», вероятно, на всякий случай.

Муфель и двое лесничих были одеты в серые охотничьи куртки с зелеными аксельбантами, высокие охотничьи сапоги и тоже были украшены лядунками и двустволками; один лесничий был старик немец с умным красным лицом и длинными седыми усами, говорил мало и резко; другой помоложе, из братьев поляков, с дерзким лицом, украшенным небольшой эспаньолкой, с усиками, закрученными шильцем. В эту же компанию замешался толстый подрядчик, который мешком сидел на лошади, тяжело вздыхал и был без всякого оружия, кроме небольшой березовой ветки, которой он не без ловкости отгонял овод с лошади Муфеля. Пять человек лесообъ-

ездчиков, одетых в серые куртки из толстого фабричного сукна, были подобраны молодец к молодцу и предупреждали малейшее желание Муфеля: садили и снимали его с седла, подавали ему фляги с водкой, сигары, причем каждый раз быстро снимали с себя мерлушчатые круглые шапки с зеленым верхом; из них выделялись более других сыновья Прохора Пантелеича. «Коскентин» был, как всегда, угрюм и выглядывал травленым волком; Филька, как всегда, был весел и смотрел кругом своими улыбавшимися хитрыми карими глазками самым беззаботным образом, весело встряхивал подстриженными в скобу русыми волосами и забавно крутил своей кудрявой бородкой.

Вся эта орда перевернула вверх дном решительно все в нашей избушке: старик лесничий барабанил на рояле арии из m-me Angot, молодой поляк делал глазки Александре Васильевне, выпячивал и надувал грудь, закручивал молодецки усы; бедная женщина краснела и не знала, куда ей деваться от такого любезного кавалера. Лесничий попробовал даже забраться в кухню и предложил свои

услуги хлопотавшей хозяйке помочь ей у печки, но и это было отвергнуто, и оставалось только крутить усы, выпячивать грудь и прохаживаться по крыльцу индейским петухом.

— О, ви слюшайсь мэнэ, — ораторствовал Муфель, хлопая Гаврилу Степаныча своей могучей рукой по плечу.

— Кушай Bier... [29] бифштекс с кровь... Вот как я, молодец мущин!..

— Коньяк тоже во многих болезнях отлично помогает, — говорил лесничий из-за рояля, — со мной раз был случай...

— И коньяк хорошо... мой любит коньяк.

Поляк что-то шепнул Муфелю, кивнув головой в сторону проходившей мимо Александры Васильевны; Муфель взъерошил свои волоса и громко захохотал.

— И мой хочет хворать, — кричал он, обращаясь к Гавриле Степанычу, — если бы у мэнэ был такой красивой жон, — мой тоже болен... Ха-ха! Тут всякий болен... О, какой миленький дам!..

Муфель был в некотором подпитии и нес самый невозможный вздор, от которого бедный Гаврило Степаныч весь позеленел; я не

мог дольше выносить этой сцены и вышел на крыльцо. «Сестры», подрядчик и лесообъездчики расположились в тени навеса, где солнце не так жгло; лошади были привязаны в лесу, и для них был устроен небольшой костер из гнилых пней и свежей травы, дававший густую струю белого едкого дыма. «Сестры» сидели в уголке и о чем-то тихо разговаривали между собой вполголоса; лесообъездчики окружили толстого подрядчика, который лежал брюхом прямо на земле, болтая толстыми ногами, заключенными в смазные сапоги. В руках у подрядчика была бутылка, которая служила предметом общего разговора и вызвала несколько шуток.

— Куда ты нянчишься с ней, Никитич? — спрашивал Филька, ласково заглядывая на бутылку.

— Куда?! Место найдем, — флегматически отвечал подрядчик, движением головы сдвигая картуз на ухо, — ты думаешь, это простой коньяк. Не-ет, брат, это называется финшалпал; восемь рублев отдал за бутылку. Понял?

— Еще, пожалуй, меньше... — острил Филька, с любопытством трогая бутылку указа-

тельным пальцем. — Ах, Никитич, Никитич, хоть бы ты нам понюхать дал...

— Рылом не вышел еще; не хочешь...

— А я этого финшалпалу пивал страсть сколько, — заговорил Филька. — Вот-те ну бог, пивал...

— По которому гуси плавают?

— Нет, настоящий; как рюмочку хватишь, так и вдарит по голове, точно поленом.

— Што-нибудь да не так, — сомневался подрядчик, играя соломинкой, которую он держал в зубах. — Это вино только господа пьют... Вот приедем на место, я сейчас Слава-богу супрыз и сделаю; с самой Пеньковки везу эту бутылку за пазухой, а ты: «пивал!..» Рожа!

— Ей-богу, пивал! Сейчас провалиться: пивал! — клялся Филька, встряхивая русыми волосами.

— Говорят тебе, несуразный ты человек, господа пьют финшалпал, а ты восьми-то рублей сроду не видывал...

— И я с господами пил, — продолжал утверждать Филька.

— Филька... а, Филька! Расскажи, Филь-

ка, — пристали к нему другие лесообъездчики. — Только не ври; больно уж ты врать-то лют...

— Врать... Я — врать?! — обиделся было Филька, но сейчас же улыбнулся и, почесав за ухом, заговорил: — Как-то в позапрошлой зиме ездили мы с Слава-богу в Косачи, а там Ястребок уж все устроил; и женский пол, и всякое прочее. По пути наловили в реке тальменей и заварили важнеющую уху; давай есть. Мировой судья с нами был, он живо натюкался и с копыльев долой; мы его так в уголок и прибрали, чтобы под ногами не мешался, а Слава-богу с Ястребком крепки на вино; пьют да только краснеют, да все на девок наступают, а девок полна изба, сидим все равно как в малине. Все хорошо. Заставили меня на губах камаринского играть, учали плясать; Ястребок на руках давай ходить, всех девок перепугал до смерти, а Слава-богу песни задувает и все по-своему лопочет, как лесной... Нас, лесообъездчиков, со смеху уморили и все водкой накачивают, все водкой: пей — не хочу! До самого утра этаким манером гарцевали, а потом наши господа отобрали себе по

принцессе и нас из избы по шеям; я порядки эти ихние в тонкости знаю, а когда играл на губах, одну бутылочку с финшалпалом в пазуху спрятал. Ушли мы все на сарай и этот финшалпал весь выпили, а тут только заснули, слышим в избе кричат: «Караул! умер!..» И по-немецкому Слава-богу лопочет совсем несуразное, точно его колют... Прибежали мы в избу: темно; а Слава-богу пуще того не своим голосом: «Караул! умер!..» Вздули огня; Слава-богу завалился под лавку да там и орет во все горло, мы его оттедова добыли, опамятовался и благодарить стал... Девки, которые с ними были в избе, залезли на печку и тоже воют не своим голосом; Ястребок свернулся клубочком, спит, так и разбудить его не могли. А мировой сидит у поганой кадки, в которую бабы помои коровам выливают, и ковшом помои эти самые пьет... Вот где было смеху: в жисть свою не припомню, чтобы этак когда вышло!

— А Слава-богу зачем кричал? — спрашивал подрядчик, болтая ногами.

— Слава-богу лег на пол спать с своей принцессой, да во сне под лавку и закатись,

а тут проснулся, испить захотел, кругом темень, он рукой пошевелил — с одной стороны стена, повел кверху — опять стена, на другую сторону раскинул рукой — опять стена (в крестьянах к лавкам этакие доски набивают с краю, для красы), вот ему и покажись, что он в гробу и что его похоронили. Вот он и давай кричать... Ну, разутешили они нас тогда!

Этот рассказ вызвал взрыв общего хохота: подрядчик, лежа по-прежнему на брюхе, уткнул свое лицо в траву и только дрыгал ногами, лесообъездчики надрывались от смеха и хватались за бока, сам Филька хохотал больше всех и от удовольствия катался по траве, даже «сестры», и те потихоньку хихикали в своем углу, как две совы; из всей этой компании один Коскентин оставался по-прежнему в угрюмом настроении. Когда подрядчик немного пришел в себя, он поднял свое мягкое, как подушка, лицо и спрашивал Фильку, захлебываясь от смеха:

— О, чтоб те разорвало... Так ты говоришь: Слава-богу кричит: «умер», а мировой ковшом из поганой кадки помои пьет? О-ха-ха-ааа!

— Мировой проснулся ночью-то, — объяснял Филька, — в избе темень, душа горит, вот он пополз по полу-то, да и нашел ковш... думает — вода и давай пить! После его рвало-рвало с помоев-то, а Ястребок катается, хохочет над ним.

— А ты бы, Филька, рассказал лучше Никитичу, как тебя Гаврило Степаныч с бревном поймал, — угрюмо заговорил Коскентин.

— Что с бревном... с бревном не ускочишь, — с недовольством в голосе отозвался Филька, — только ему мое бревно впрок не пойдет. Он теперь уж высох весь, кикимора...

— Это он твоим бревном подавился, Филька, оттого и сохнет, — говорил Никитич.

— Я его и то собираюсь из-за полена углом шарахнуть... Верно!.. Не в свое дело суется: разве это его дело, коли я бревно везу?.. Сейчас к лесничему меня вместе с бревном, а наш Карла покричал на меня для видимости, а когда Гаврило Степаныч ушел, он и говорит: «Вот, говорит, два дурака навязались — один бревна не умеет украсть, а другой дурак ловит...» Ей-богу! Карла у нас порядок любит, а главное не беспокой его... Разве когда под сер-

дитую руку подзатыльника даст. Как-то устроили они охоту на медведя; нас, лесообъездчиков, человек десять было; по первому снежку и видно, как он бродил, мы и идем прямо по сакме. Впереди идет Слава-богу, за ним наш Карла, мы издальки идем; завел этот след нас в разгустой-густой лес, а я по следам вижу, что матерый медведь ходил, пожалуй, покажет такую страсть, что небо с овчинку... Только вдруг слышим — взревел медведь, значит объявился, что хозяин дома, пожалуйте в гости; наш Карла обробел, побелел весь, руки так и трясутся... Пустили мы вперед лесообъездчика Анику, он с рогатиной хоть на черта; Аника живо обработал медведя, а тут Карла его из левольверта пристрелил, а сам все трясется, как осина. Убили мы таким манером медведя, хватились Слава-богу, а его нет; Карла говорит, что беспременно задавил его медведь, и посылает нас по лесу его мертвого искать. Разбрелись мы по лесу, а я пошел назад, потому знаю, что Слава-богу от медведя без оглядки домой задул, и след его скоро нашел, а потом и вижу, как он под кустом спрятался и ружье бросил.

— Подхожу я к нему потихоньку, а он думает, что это медведь, да как бросится от меня бежать — шапку даже потерял, так без шапки и летит, как поповский жеребец; кое-как я догнал его и привел к Карле, а он сидит на мертвом медведе да пред лесообъездчиками храбрость свою рассказывает. Я подошел к нему и говорю: «Слышал, мол, я, Карл Карлыч, как вы воркунов-то спутали...»[30]

— Ну?..

— Верно!

— Поди, врешь?

— Чего мне врать... не подряд взял врать-то! Карла ничего, не осердился, потому на охоте говори ему, что хошь, порядок у него такой. Вот лесоворов ловить, так супротив Карлы никому не сделать; он по духу слышит, где дерево рубят, и сейчас к мировому, а потом на высидку, потому у него везде порядок.

— Без порядку невозможно, — флегматически соглашался Никитич.

Гости, против моего ожидания, остались на Половинке до самого вечера и совсем испортили нам целый день; все страшно пили, кричали, старик немец барабанил вальсы,

Муфель был красен, как вареный рак, и вздумал угостить почтенную публику целым представлением. Принесли длинную жердь, «сестры» положили ее себе на плечи, и Муфель принялся выделывать на ней гимнастические упражнения: вертелся на брюхе, вертелся на локтях, вертелся на согнутых коленках — словом, показывал чудеса своего искусства; «сестры» только кряхтели и сильно пошатывались, когда Муфель выделывал разные salto mortale[31]; лесообъездчики ахали, Никитич стоял в немом восторге с растворенным ртом. Наконец и это кончилось, и вся орда скрылась в лесу, а мы все остались такими измученными и несчастными, что тяжело было смотреть друг на друга; Гаврило Степаныч повесил голову и только вытягивал шею, точно его что душило. Вечером он не вытерпел и, когда мы сидели за чаем, заговорил:

— Не могу я видеть эту шайку воров... Ведь все до одного воры... Это ужасно...

— Гаврило Степаныч, ты опять... — попробовала было остановить мужа Александра Васильевна. — Помнишь, как доктор строго запретил тебе волноваться...

— Ах, Саша, Саша... — каким-то ребячьим шепотом заговорил Гаврило Степаныч, а на впалых щеках так и заиграл яркий румянец. — Разве доктор был у меня на душе? А если я не могу видеть этой мерзости, этих разбойников... Мне легче будет, если я выскажусь...

Обратившись ко мне, Гаврило Степаныч заговорил с такою поспешностью, точно боялся умереть прежде, чем успеет высказать все, что лежало у него на душе.

— Пеньковка и еще девять заводов принадлежат, как вы знаете, Кайгородову, который живет постоянно за границей и был на заводах всего только раз в своей жизни, лет пятнадцать тому назад; пробыл недели две и уехал. Впрочем, от его визитов только лишний расход, а пользы немного; он требует свои восемьсот тысяч ежегодно и больше знать ничего не хочет. Кутило и мот губит такие отличные заводы на Урале, а сам шатается по Европе да удивляет всех своими безобразиями. В Париже, в Вене, в Италии понастроил дворцов своим любовницам, а мы сохнем для него здесь на работе. Да сам Кайгоро-

дов еще ничего, плохо то, что немцы его совсем обошли: целая лестница из немцев... А у них известный порядок, как клопы: один появился, и целое гнездо сейчас заведется. Главный управляющий у нас немец, управители на заводах немцы, лесничие — немцы, плюнуть некуда; вот они и обрабатывают Кайгородова. Вы подумайте, что заводы Кайгородова ежегодно выплавляют до трех миллионов пудов металлов: чугуна, железа, стали, меди; одних дров ежегодно выходит до трехсот тысяч кубических сажен да столько же идет лесу на выделку угля — ведь подумать страшно... Есть около чего похозяйничать. Ну, и хозяйничают... Прибавьте к этому еще то, что заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, значит он имеет только право на пользование — вот мы и пользуемся!.. Да что им, этим немцам, и жалеть нас, дураков: выжгут все, набьют себе карманы и уедут, а мы останемся, как рак на мели. Вот вам пример нашего заводского хозяйства: из десяти заводов первое место принадлежит Нижне-Угловскому заводу, леса кругом него давно выжжены, строят Пеньковку, потому что кру-

гом Пеньковки лесу пропасть, значит нужно пустить его в ход. Руду везут к нам из Нижне-Угловского завода, мы ее переплавляем в чугун, превращаем в железо или сталь и везем обратно в Нижне-Угловский завод, чтобы там переделать в рельсовую болванку; своего чугуна нам недостает, нам везут его из других заводов, мы его переделываем в железо и отправляем опять в Нижне-Угловский завод. Другая чугунная болванка прогуляется таким образом раз шесть; да рельсы прокатим раза два от Пеньковки в Нижне-Угловский завод.

— По-моему, проще было бы возить в Нижне-Угловский завод прямо дрова и уголь; тогда вместо шести концов приходится сделать всего один, — проговорил я.

— Вот в том-то и дело, что в этом весь наш расчет заключается, чтобы перевозить с места на место руду и чугун. Вы представьте себе, что мы украдем по полтиннику с каждой сажени дров, да еще столько же сдерем с подрядчиков, которые живут нашей перевозкой: им выгодно и нам выгодно, а Кайгородов рукой на все махнул, хоть трава не расти. Вы видели сегодня Муфеля и лесничих, вот у них

рука руку и моет, живут душа в душу, а около них наживаются «сестры», лесообъездчики, целая шайка подрядчиков... Так как заводы принадлежат Кайгородову на посессионном праве, то от горного департамента существует горный исправник, который столько же может сделать, как Евстигней: видит все, своими глазами все видит, а взять не с кого. Пеньковка жрет дрова; а что против этого поделаешь? Чтобы отвести глаза исправнику, лесничие придумали какую штуку: всем лесообъездчикам заказано строго-настрого преследовать лесоворов, вот они и усердствуют, завалили мировых судей делами о лесных кражах, а им это на руку, потому что они сами воруют в десять раз больше и продают лес тем же рабочим. Везет мужик жердь, бревно, осьмушку дров — сейчас к мировому, а мировые судьи пляшут по дудке немцев и преследуют лесоворов высидкой и штрафами. Настоящие-то лесоворы остаются в стороне и капиталы наживают, а мужик отдувается за все: и в кутузке сидит за каждое полено, и штрафы с него мировые судьи дерут, да еще он же должен ворованный лес втридорога покупать все

у тех же лесообъездчиков. Эта штука очень ловкая: исправник спокоен, потому что знает, куда лес идет, — лесоворы воруют; лесничие и лесообъездчики набивают себе карман отчасти собственным воровством леса, а отчасти от подрядчиков, которые поставляют дрова и уголь; Муфель тоже не в накладе, у него в руках вся перевозка и от лесничих перепадет... Помните басню Крылова о том мельнике, у которого вода размыла плотину, а он все свалил на куриц; у нас роль этих куриц играют лесоворы. Ведь это ужасно, ужасно...

Гаврило Степаныч сильно увлекся своей темой; Александра Васильевна потихоньку несколько раз дергала его за рукав, но этот невинный маневр не привел к желаемой цели, а еще больше сердил Гаврилу Степаныча, и он с горечью проговорил:

— Саша, голубчик... Ведь я служу Кайгородову; жизнь свою положил на его заводах, поэтому имею полное право и обязан называть вещи их именами. Ведь сегодня эта саранча всю душу из меня вытянула... Ах, Саша, Саша, нельзя же все думать только о себе!

Посещение Муфеля уложило Гаврилу Сте-

паныча на несколько дней в постель.

В конце июля моя работа была совсем почти кончена, оставалось еще собрать несколько сведений в пеньковском архиве, а затем съездить в Нижне-Угловский завод, чтобы там проверить кой-какие цифры, которые вошли в мою работу; благодаря указаниям и помощи Гаврилы Степаныча мой труд представлял из себя очень интересную картину экономической жизни Пеньковского завода, главная роль в которой принадлежала ужасающей цифре смертности во всех возрастах, стоявшей, по-видимому, в таком противоречии с наружным благосостоянием Пеньковки. Эти роковые цифры смертности, как ртуть в термометре, разоблачали ту жалкую правду, о которой так горячо всегда говорил Гаврило Степаныч и которую с первого взгляда так трудно было заметить; вообще я как нельзя больше был доволен результатами своего труда и отлично проведенным летом. Я от души полюбил Гаврилу Степаныча и Александру Васильевну, и мне тем печальней казалась необходимость расставаться с Половинкой и этими милыми людьми, с которы-

ми было связано столько отрадных воспоминаний. Мне нужно было уезжать, но я день за днем за разными предлогами откладывал свой отъезд, не имея сил расстаться с своими новыми друзьями; в последних числах июля я, наконец, объявил, что уезжаю. Гаврило Степаныч не удерживал меня, Александра Васильевна обиделась и промолчала. Вышла тяжелая сцена, которая неизбежно испытывается при разлуке близких людей, но она разрешилась хотя и тяжелым, но самым трогательным образом.

— Нельзя же, Саша, ему жить с нами, — уговаривал жену Гаврило Степаныч, — прожили лето отлично, может, еще когда встретимся; чего же еще нужно?

Рано утром серого ненастного дня пред избушкой стояла телега, запряженная рыжей лошадью, и мы в последний раз пили чай на русском крыльце; Александра Васильевна больше молчала, зато Гаврило Степаныч не переставал говорить и выстраивал один за другим самые несбыточные планы наших будущих свиданий, и сам же смеялся над их несбыточностью, прибавляя каждый раз:

— А кто знает, может быть, и увидимся... Гора с горою не сходится, а человек с человеком сходится; будем письма писать.

Я обещал еще раз приехать в Половинку, если позволят обстоятельства, но Александра Васильевна только качала головой и с недоверчивой улыбкой говорила:

— Это так, одни слова... Вон Мухоедов обещал чуть не каждый день ездить, а как переехали в Половинку, так по целым неделям и глаз не кажет.

Напутствуемый всякими пожеланиями и горячими пожатиями рук, я, наконец, уселся в телегу вместе с Евстигнеем; Гаврило Степаныч сбежал с крыльца, мы обнялись и по русскому обычаю расцеловались трижды, что заставило Александру Васильевну улыбнуться.

— Я не знала, что мужчины способны на такие телячьи нежности, — говорила она, держась одной рукой за притолоку крыльца.

— Ну, прощайте, голубчик, — говорил Гаврило Степаныч, укутывая мои ноги пледом с неизвестной целью, точно я мог их познобить в июле. — Хотел я проводить вас, голубчик, да день-то вон какой; ноги, пожалуй, промочу и

опять слягу… Я скоро совсем поправлюсь.

— Дальние проводы — лишние слезы, — отвечал я.

Евстигней задергал вожжами, телега тронулась, оставляя глубокий след на мокрой земле и безжалостно прижимая пожелтевшую траву; Гаврило Степаныч стоял на крыльце и махал шляпой, Александра Васильевна стояла на прежнем месте, и ее красивое лицо казалось по мере нашего удаления все меньше и меньше. Я в последний раз махнул своей шляпой, когда наша телега въезжала в лес, и Половинка скрылась из моих глаз за мелькавшей сеткой деревьев.

VII

В Пеньковке я нашел большие перемены, начиная с того, что Фатевна почему-то находила нужным «взбуривать» на меня; встречаясь со мной, она каждый раз ядовито улыбалась и еще более ядовито подбирала свои губы и смотрела на меня своими ястребиными глазами с полным презрением. Несколько раз я думал переговорить о всем этом с Мухоедовым, но и он совсем как-то переменился со мной и даже как будто старался избегать меня; о прежних откровенных разговорах не было и помину. Я терялся в догадках о том, какая кошка могла пробежать между нами, особенно между мной и Мухоедовым. Даже Глаша и та находила нужным почему-то фукать на меня, как кошка, а когда случайно встречалась со мной, не успев скрыться, как молния, она опускала глаза и делала сердитое лицо; в течение лета девушка совсем сформировалась и выглядела почти красавицей, если бы не резкие, угловатые движения, которые все еще отзывались детским возрастом. Одна Фешка была неизмеримо глупа по-прежнему;

по-прежнему стучала своими громадными ногами и улыбалась той блаженной улыбкой, какой могут смеяться только безнадежно глупые люди. Галактионовна по-прежнему, вероятно, выходила бы на крылечко позлословить на всю улицу, но этому мешало стоявшее ненастье; раз она думала было незаметным образом пробраться в мою комнату и, вероятно, разоблачила бы все, но ее положительно не допустили ко мне. Фатевна встретила ее таким градом ругательств, что бедный поэт, «живот спасая», заблагорассудил удалиться на свое пепелище самым поспешным образом. Я видел из своего окна, как ее длинная нескладная фигура шлепала по двору под проливным дождем и она отмахивалась своей костлявой рукой от ругани Фатевны, как от комаров.

Отец Андроник с Асклипиодотом раза два наведывались к нам, посидели, выпили, но Мухоедов так упорно отмалчивался все время их визита, а я настолько не умел поддержать разговора, что они, кажется, поняли, наконец, печальную истину, переглянулись между собой и, вероятно, решили про себя, что у нас

что-нибудь «не ладно», поэтому благоразумно воздержались от новых посещений. Уходя от нас в последний раз, о. Андроник с добродушной улыбкой проговорил:

— Заходите как-нибудь ко мне, братчики... У меня, может, веселее, чем у вас. Ох, уж это мне ненастье: поясницу так и ломит... Старость не радость, не красные дни! О-хо-хо!.. У меня вон хина и та с седала не сходит; растопырилась, как купчиха, и сидит.

Ввиду всех этих обстоятельств я положительно тосковал о Половинке и поторопился уехать в Нижне-Угловский завод, где и пробыл дней десять; когда я вернулся в Пеньковку, то нашел все в том же положении, в каком оставил, только Мухоедов был совсем неузнаваем — был скучен, печален и проводил почти все свое время в заводе. Однажды я совсем было решился объясниться с Мухоедовым начистоту, чтобы разом покончить со всей этой проклятой неизвестностью, но он сделал такое жалкое лицо и таким умоляющим взглядом посмотрел на меня, что у меня просто рука не поднялась нанести ему решительный удар.

— После... мне нужно с тобой будет переговорить, — глухо прошептал однажды вечером Мухоедов, завертываясь в одеяло. — Только, пожалуйста, теперь ни о чем не спрашивай меня.

Август был в половине, и стояла какая-то совсем отчаянная погода — дождь, дождь и дождь, мелкий и беспощадный, настоящий осенний дождь, который «зарядил» на целый месяц; провернулось, правда, несколько солнечных дней, но солнце светило таким печальным светом, и кругом было все так безнадежно серо, что на душе щемило от этих печальных картин еще сильней, точно не было конца этим серым низким тучам, которые ползли по небу расплывающимися мутными пятнами, с поспешностью перебираясь на юго-запад. Улица, на которую выходили окна моей комнаты, имела теперь самый печальный вид: ряды домиков, очень красивых в хорошую погоду, теперь выглядели мрачно, а непролазная грязь посредине улицы представляла самое отвратительное зрелище, точно целая река грязи, по которой плыли телеги с дровами, коробья с углем, маленькие тележ-

ки с рудой и осторожно пробирались пешеходы возле самых домов по кое-как набросанным, скользким от дождя жердочкам, камням и жалким остаткам недавно зеленой «полянки».

Пруд, который еще так недавно представлял ряд отличных картин, теперь совсем почернел и наводил уныние своей безжизненной мутной водой; только одна заводская фабрика сильно выиграла осенью, особенно длинными темными ночами, когда среди мрака бодро раздавался ее гул, а из труб валили снопы искр, и время от времени вырывались длинные языки красного пламени, на минуту побеждавшие окружавшую тьму и освещавшие всю фабрику и ближайшие дома кровавым отблеском. Вообще трудно представить себе что-нибудь скучнее русской осени, но осень в Пеньковке была положительно из рук вон и нагоняла страшную тоску. Моя работа была кончена, через несколько дней я думал совсем распрощаться с Пеньковкой и ее обитателями; но мне хотелось пред отъездом еще раз побывать в Половинке, и я пережидал только, когда дождь немного стихнет.

Ночь на 12 августа была особенно неприветлива: дождь лил как из ведра, ветер со стоном и воем метался по улице, завывал в трубе и рвал с петель ставни у окон; где-то скрипели доски, выла мокрая собака, и глухо шумела вода в пруде, разбивая о каменистый берег ряды мутных пенившихся волн. Мухоедов находился в особенно мрачном настроении, курил безостановочно одну папиросу за другой, и мы кончили тем, что улеглись спать раньше обыкновенного; я скоро заснул под шумок завывавшего ветра и однообразное тикание стенных часов, но в эту бурную ночь нам не суждено было спать. Часа в два утра, в момент самого крепкого сна, послышался сильный стук в двери и громкие голоса; мы быстро вскочили с постелей, отворили дверь, и пред нами показалась Фатевна с фонарем в руках, за ней вошел в комнату Евстигней. Старик был в одной рубахе, без шляпы, и, как говорится, на нем нитки сухой не было, точно он сейчас вылез из воды; он несколько секунд не мог ничего выговорить, сухие губы шевелились без всякого звука, и он как-то судорожно дергал руками, напрасно что-то стара-

ясь объяснить.

— Да что с тобой, Евстигней? — спрашивал Мухоедов. — Откуда ты?

— Да он совсем очунел: слова от него нельзя добиться! — тараторила Фатевна; из-за ее спины выглядывали заспанные лица Фешки, Глаши и Галактионовны.

— Казинет Петрович... родимой мой... убили!.. — трясясь всем телом, проговорил, наконец, Евстигней.

— Кого убили?!. - вскричал Мухоедов, побледнев как полотно.

— Гаврилу Степаныча застрелили...

— Кто?.. Когда?.. Где?..

— Да на Половинке... легли мы спать... как он запалит... я вскочил... барыня без ума ко мне... а в спальне Гаврило Степаныч лежит... кровь из него так и хлещет... из боку... как запалит!..

— Сам, что ли, он выстрелил в себя?

— Какое сам... из лесу... в окошко... как запалит!

Мы несколько секунд стояли, как пораженные громом; первым опомнился Мухоедов и подробно принялся расспрашивать старика,

но последний ничего не мог сказать больше того, что сказал, и прибавил только, что барыня послала сказать ему. Старик плакал, крестился и шептал:

— Господи Сусе... Пресвятая троица... Как запалит, а кровь из боку так и хлещет!

Мухоедов, закусив губу и опустив глаза, стоял несколько минут, а потом, хлопнув себя по лбу, торопливо заговорил, обращаясь ко мне:

— Ты сейчас садись на лошадь Евстигнея и валяй на Половинку что есть мочи... Лошадь старая, дорогу знает; ты только понужай. Евстигней останется здесь и повезет доктора... Фатевна, седлай всех своих лошадей... Мне нужно остаться пока здесь, а потом я приеду.

Мне оставалось только согласиться; мы вышли на двор, дождь лил по-прежнему, ветер выл, как сумасшедший; старый Рыжко, понурив голову, стоял непривязанный у ворот и тяжело дышал. Седла не было, но дело было настолько спешное, что о нем и думать было некогда. Мухоедов помог мне взобраться на лошадь и по пути шепнул:

— Это дело «сестер»; мне нужно сейчас же,

по горячему следу, накрыть их и сделать обыски...

Бабы, как угорелые, метались по двору, кричали и выли; я надвинул крепче шляпу на голову, ударил Рыжка поводом по дымившимся бокам, и мы пустились на всех рысях в далекий путь. Я плохо помню эту роковую дорогу; как сквозь сон помню только, что меня страшно трясло, и я напрягал все силы, чтобы не свалиться с лошади; рука, которой я держался за гриву лошади, совсем оцепенела, шляпа где-то свалилась, и я не чувствовал, что дождь на двух верстах промочил меня до костей. Кругом стояла египетская тьма, в двух шагах решительно ничего не было видно, и я во всем положился на инстинкт моего коня; не помню, сколько времени я ехал, но, наконец, вдали мелькнул слабый огонек, Рыжко прибавил шагу, огонек приближался, вот и речка, верный конь прыгнул через нее с несвойственной его летам энергией. Вбегаю на крыльцо... ни одного звука. В спальне на полу лежит что-то белое, и над этим белым на коленях стоит Александра Васильевна; она не слыхала, как я вошел, и только мой голос вы-

вел ее из оцепенения; она не плакала, казалась спокойной, но какая-то бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах! Я никогда не забуду этого покорного выражения, которое красноречивее всяких обмороков, истерик, криков и воплей.

— *Они* убили его... — прошептала Александра Васильевна, не поднимаясь с колен.

Из ее бессвязного рассказа я понял следующее: часов в одиннадцать вечера, когда Гаврило Степаныч натирал грудь какой-то мазью, она была в кухне; послышался страшный треск, и она в первую минуту подумала, что это валится потолок или молния разбила дерево. Вбежав в спальню, она увидела, что Гаврило Степаныч плавал в крови на полу; он имел еще настолько силы, что рукой указал на окно и прошептал:

— Саша... они меня убили... прощай!

Я подробно осмотрел сделанное пулей отверстие в стекле; окно было завешано двумя белыми занавесками, которые не сходились плотно и образовали широкую щель, вот в эту щель и был сделан выстрел. Пуля вошла в левый бок, немного позади сердца, рана была

безусловно смертельна; Гаврило Степаныч лежал на правом боку, одна рука была откинута в сторону, другая придерживала рану; лицо покойного было сине, зубы стиснуты, глаза полузакрыты. Достав фонарь, я пошел осмотреть избу кругом — никаких следов, только один лес глухо шумел под напором ветра да где-то дико вскрикивал филин; вернувшись в комнату, я нашел Александру Васильевну в передней избе, она стояла у письменного стола и, обернувшись ко мне, указала рукой на листик почтовой бумаги, на котором было начато письмо.

— Это *он* вам... вчера... писал... — прошептала Александра Васильевна, и только теперь глухой стон вырвался у ней из груди, и она зарыдала, схватившись за голову.

Это письмо — первая вещь, которая привела ее немного в себя и к сознанию той пустоты, которая окружила ее так внезапно; я усадил ее на диван, принес холодной воды, просил успокоиться, но какое значение имеют слова утешения, когда сердце разрывается на части. Я отлично сознавал полную бесполезность моих утешений, но продолжал выска-

зывать их; Александра Васильевна прислушивалась только к звуку моих слов, их содержание было недоступно ее подавленному мозгу.

— Нет... нет его больше... — шептала она, ломая руки. — А как он любил всех!.. Сколько добра желал всем... а они убили его... как дикого зверя убили!.. Зачем не убили меня вместе с ним?!. Нет больше моего счастья... Мы вчера еще говорили о вас... он писал вам вечером это письмо... Убили, убили!..

Послышался грохот подъехавшего экипажа и голос Евстигнея, который говорил кому-то: «Пожалуйте сюда, вот в эту дверь!» Это были пеньковские доктора. Я провел их в комнату, где лежал убитый, и по дороге старался объяснить им, что Гаврило Степаныч не нуждается в их помощи, а что им нужно для составления протокола подождать приезда следователя, за которым в Нижне-Угловский завод послан нарочный. Александра Васильевна вошла за нами и молча остановилась в дверях; доктор наклонился над убитым, открыл простыню, которой он был прикрыт, и внимательно принялся рассматри-

вать запекшееся черное отверстие.

— Наташа, посмотри! — вскрикнул доктор, поднимая голову. — Скорее…

— Он жив… он жив?! — вскричала Александра Васильевна.

— Ах, нет, рана безусловно смертельна, и он давно умер, — успокаивающим тоном проговорил доктор. — Наташа, посмотри, какое направление приняла пуля: скользнула по краю ребра и прошла по задней стенке сердца…

Александра Васильевна поняла, что от любимого человека остался только предмет для анатомических исследований, но все чувства заговорили в ней против этого, она своим телом заслонила убитого и прошептала:

— Господа, оставьте… прошу вас…

— Мы хотели исследовать рану…

— Оставьте… Вы не поймете теперь меня… после… Нет, не то… оставьте!..

Я отвел врачей в сторону и уговорил их подождать следователя; врачи не понимали поведения Александры Васильевны и, по-видимому, были обижены им.

— Я не понимаю, почему она не хочет, что-

бы исследовали рану, — говорил доктор, — ведь он умер, он ничего не чувствует... труп.

— Он умер, но пожалейте ее, — объяснял я, — для нее он еще не умер... дайте ей прийти в себя, она не знает, что делает.

— Странно! — пожимая плечами, говорил врач.

— Стоило ехать за этим двадцать верст, — зевая, ворчала женщина-врач. — Предрассудки!..

Часов в девять утра прискакали две телеги, конвоируемые Фатевной, которая приехала верхом без седла; первой телегой правил Мухоедов, в ней спал мертвым сном Цыбуля, судебный следователь. Вторая телега была набита понятыми и полицией. С Цыбулей пришлось отваживаться при помощи нашатырного спирта и холодной воды, потом выпоить ему целый графин водки, и он только после этих довольно длинных операций настолько пришел в себя, что мог начать производство судебного следствия; по наружности это был представитель хохлацкого типа — шести футов роста, очень толстый, с громадной, как пивной котел, головой и умным, то есть ско-

рее хитрым лицом, сильно помятым с жестокого похмелья. Он двигался крайне медленно и равнодушно смотрел кругом своими узкими ленивыми глазами, совсем опухшими от беспросыпного пьянства. Меня он совсем не узнал, хотя мы учились с ним на одном курсе и имели когда-то шапочное знакомство. Мухоедов выходил из себя, пока совершалось приведение в нормальное состояние Цыбули; он без церемоний ругал его, а потом, отведя меня в сторону, таинственно сообщил:

— Цыбуля хотя и пьян, лыка не вяжет, а хитер, как легион бесов... Мы напали на след; вот он с радости и нахлестался дорогой!

— А что «сестры»?

Мухоедов почесал затылок и с недовольной миной проговорил:

— Вот в том-то и секрет, что «сестры» пока еще ничего; мы были у них, застали спящими, никуда не выходили с вечера. Ну, да это пустяки, Цыбуля доберется и до них.

— Какой же вы след нашли?

— Какой след? А вот какой: когда мы сделали обыск у «сестер» и ничего не нашли, мы сейчас в заднюю избу к Прохору Пантелеичу,

к Коскентину и Фильке... Помнишь?.. А их, голубчиков, и дома нет; положим, что это по их должности очень естественно, но штука в том, что мы только что хотели ехать сюда, Филька и приезжает домой, мы его и сцарапали. С первых слов видно, что это его рук дело: побелел весь, начал путаться в показаниях, а главное — приехал без ружья. «Где ружье?» — «В починке...» Ну, знаем мы эту починку, сейчас к мастеру, на которого он сослался, а у мастера этого ружья, конечно, не оказалось, — словом, запутался совсем и в ногах валяется, а виновным себя не признает. Засадили его в темную, а сами сюда.

Мухоедов долго не решался войти в комнату, где лежал убитый и где сидела Александра Васильевна все время, пока мы отваживались с Цыбулей; увидав входившего Мухоедова, Александра Васильевна тихо заплакала. Бедный Мухоедов зашатался на ногах при виде убитого, крупные слезы так и покатились из его глаз; он закрыл лицо руками и убежал на крыльцо, где долго рыдал, присев на ступеньку. Наступила тяжелая сцена судебного следствия и составления протокола; Цыбуля, вра-

чи и понятые битых два часа ходили по избе и около нее и, конечно, ничего не могли найти. Фатевна принимала самое деятельное участие в этой церемонии и вместе с Цыбулей ползала на коленях по мокрой траве и обнюхивала каждую щель. Цыбуля очень долго исследовал место, с которого был сделан выстрел, но все было тщетно, — ни одного следа, кроме помятой травы, ни одного намека. После осмотра и медицинского свидетельства раны был сделан допрос свидетелей, которых было всего двое — Александра Васильевна и Евстигней. После этого Цыбуля опять ходил по избе и около нее, мерял, высчитывал, записывал что-то в записную книжку и кончил тем, что, обратившись с озабоченным лицом к Александре Васильевне, серьезно заговорил:

— Преступление несомненно, но нет ли у вас, Александра Ивановна...

— Александра Васильевна, — поправил я его.

— Да, да, виноват: Александра Васильевна, действительно Александра Васильевна... Помню, да, помню. Извините... Следы пре-

ступления скрыты с замечательным искусством, но не теряйте надежды, Александра Ива... то бишь, Александра Васильевна! Нет ли у вас... гм!.. Нет ли у вас...

— Вы хотите сказать, господин следователь, нет ли у меня каких-нибудь подозрений на кого? — помогала Александра Васильевна затруднявшемуся Цыбуле.

— Нет, не то...

— Других свидетелей?

— Нет... Нет ли у вас водки, Александра Васильевна?

Эта сцена была так неожиданна и так вышла забавна, что заставила улыбнуться даже Александру Васильевну; водка нашлась, Цыбуля обратил на нее такое усердное внимание, что опять потерял всякую способность сосредоточить его на каком-нибудь другом предмете. Народ прибывал, избушка была битком набита людьми; часов в одиннадцать прискакал Муфель в сопровождении Ястребка и других заводских служащих.

— А шерт возьми!.. Швин... канайль! — ругался он, продираясь сквозь густую толпу в избу; в сенях он встретился с Александрой Ва-

сильевной и крепко пожал ей руку. — Это ушасно... Мой все разберет!.. Ви не проливай слес...

Что-то вроде участия слышалось в этих бессвязных словах, и Муфель на минуту превратился в порядочного человека — может быть, сказалась в нем добрая немецкая натура или уж в известные критические моменты и в дураке пробивается искра человеческого чувства.

Последними приплелись о. Андроник и Асклипиодот, оба верхами на самых жалких клячах; о. Андроник ехал с своей длинной поповской палкой в руке, Асклипиодот держал в руках большой узел с ризой, кадилом и свечами. Отец Андроник тяжело слез с лошади, вытер грязные сапоги самым тщательным образом о траву и вошел в избу с строгим выражением на лице, какого я никогда не замечал у него; он благословил Александру Васильевну широким крестом и сказал ей несколько слов в утешение. Из всего, что слышала бедная женщина в течение этого несчастного утра, это утешение о. Андроника пришлось ей больше всего по душе, и она в каком-то дет-

ском порыве прильнула лицом к его громадной, покрытой волосами руке, на которую так и посыпались из ее глаз крупные слезы.

— Не плачьте, днем раньше, днем позже все там будем... Бог все видит: и нашу правду, и нашу неправду... Будем молиться о душе Гаврилы Степаныча... Хороший он был человек! — со слезами в голосе глухо заговорил о. Андроник и сморгнул с глаза непрошеную слезу. Меня поразила эта перемена в о. Андронике и то невольное уважение, с которым все относились теперь к нему; он ни разу не улыбнулся, был задумчив и как-то по-детски ласков, так что хотелось обнять этого добрейшего и милого старика.

— Батюшка... я думала, что умру... сойду с ума! — шептала Александра Васильевна.

— Александра Васильевна, нужно уметь принимать и горе от того, кто посылает нам радости, — продолжал о. Андроник. — Вспомните, что сказал Иов: «Господь даде, господь отъя — не возропщи, душа моя».

Через полчаса в передней избе, на своем письменном столе, одетый в черный сюртук, лежал Гаврило Степаныч; его небольшая го-

лова с посиневшим лицом лежала на белой подушке, усыпанной живыми цветами; о. Андроник стоял в черной ризе с кадилом в руке, Асклипиодот прижался в угол. Началась лития.

— О блаже-еннн-ом успении новопредставленного раба твоего... и сотво-ори-и ему ве-е-ечную па-амять! — речитативом затянул о. Андроник немного дрогнувшей октавой.

— Ве-е-ечная память... — пел своим удивительным баритоном Асклипиодот, совсем спрятавшись в угол. Восковые свечи горели тусклым красным пламенем; дым ладана густыми волнами тянул в открытые окна, унося с собой торжественно грустный мотив заупокойного пения, замиравший в глухом шелесте ближнего леса... Фатевна, как единственная женщина, бывшая теперь на Половинке, стояла около Александры Васильевны, поддерживала ее одной рукой и что-то шептала на ухо, а потом с ожесточением начинала класть широкие кресты и усердно отбивала земные поклоны; убитый, бледный Мухоедов стоял в углу, рядом с Асклипиодотом, торопливо и с растерянным видом крестился и дро-

жащим голосом подхватывал «вечную память». Врачи с любопытством заглядывали в двери, но в избу войти не решались; Цыбуля и Слава-богу сидели в кухне, пили водку и шепотом рассказывали друг другу какие-то, вероятно, очень пикантные анекдоты, потому что хохотали до упаду. В сенях и на крыльце толпились понятые и какие-то неизвестные мужики, таинственным шепотом что-то передававшие друг другу и пальцами указывавшие на Александру Васильевну.

— В самое сердце запалил, — говорил какой-то обдерганный мужик. — Из турки, надо полагать, двинул...

— Наскрось пуля-то прошла, — отвечал другой.

Это гнусное убийство из-за угла произвело на меня вместе с бессонной ночью какое-то неопределенное чувство тупой боли и необыкновенной раздражительности. Я не мог молиться, не мог ни на чем сосредоточить мысли, в душе было только одно определенное желание — выгнать из избы весь этот народ, набившийся в нее из грубого и обидного любопытства. Меня раздражала эта общая

бестолковая толкотня и общее желание непременно что-нибудь сделать, когда самым лучшим было оставить Половинку с ее тяжелым горем, которое не требовало утешений, оставить того, который теперь меньше всего нуждался в человеческом участии и лежал на своем рабочем столе, пригвожденный к нему мертвым спокойствием. Нить жизни, еще теплившаяся в этом высохшем от работы, изможденном теле, была прервана, и детски чистая, полная святой любви к ближнему и незлобия душа отлетела... вон оно, это сухое, вытянувшееся тело, выступающее из-под савана тощими линиями и острыми углами... вон эти костлявые руки, подъявшие столько труда... вон это посиневшее, обезображенное страданиями лицо, которое уж больше не ответит своей честной улыбкой всякому честному делу, не потемнеет от людской несправедливости и не будет плакать святыми слезами над человеческими несчастьями!..

«О, люди-звери, люди-звери! — думал я. — Зачем вы заставили молчать это сердце, которое билось святой любовью к вам? Неужели еще нужна была кровь этого страдальца, что-

бы он искупил ей свою любовь к людям...»

Пред моими глазами быстро сменялись картины тихого недавнего счастья, свидетелем которого невольно сделался я... Сколько напомнила мне эта комната, в которой теперь лежал покойник, волнами ходил дым ладана, тускло горели восковые свечи и тянуло за душу похоронное пение! Как живая стояла предо мной сцена нашего прощанья... «Скоро увидимся...» Да, мы увиделись. И за что? Кто убийца? Неужели этот Филька? Я вспомнил историю с бревном, но не мог же Филька из-за этого бревна убить человека. «Сестры» подвели... но уж если они захотели бы подвести, то, наверно, не обратились бы к Фильке, который не вытерпит и разболтает. Словом — все было неясно, сбивчиво, темно и вдобавок ко всему этот пьяный Цыбуля с Муфелем, это назойливое любопытство... Только одни о. Андроник и Асклипиодот были хороши, первый своим величавым спокойствием, второй скромностью, да еще Мухоедов, весь подавленный своим безмолвным горем; Александра Васильевна больше не плакала, она стояла с восковым лицом и машинально

делала то, что делали другие: крестилась, кланялась в землю, поправляла оплывавшую свечку, которая слегка тряслась в ее маленькой руке.

В течение трех дней я и Мухоедов не выезжали из Половинки. Асклипиодот читал над покойником, когда он уставал, мы сменяли его; о. Андроник ежедневно приезжал служить литию, беседовал отечески с Александрой Васильевной и сообщал нам последние известия о ходе судебного следствия. Оказалось, что Филька решительно ни в чем не виноват, а просто со страху переврал; его ружье действительно оказалось в починке, только у другого мастера, фамилию которого он перепутал; все соседи подтвердили последнее показание, и Филька был выпущен на свободу. Мухоедов совсем был уничтожен этим известием и, кажется, начинал сильно сомневаться в талантах Цыбули, который хотя и поклялся ожесточенным образом открыть убийцу, но пока без просыпу пьянствовал с Муфелем.

К довершению всех бед на Половинку явились три племянника и две племянницы Гав-

рилы Степаныча, которые были встречены Александрой Васильевной с большой радостью, но, в ответ на ее любезность, они держали себя самым двусмысленным образом, постоянно шептались между собой и вообще вели себя по отношению к Александре Васильевне просто неприлично. Мухоедов был возмущен до глубины души их поведением и пришел в полное бешенство, когда открылись истинные причины приезда родственников, и особенно их образ действия. Он таинственно отвел меня в сторону и с дрожавшей нижней челюстью и побелевшими губами сообщил мне:

— Представь себе: они явились за наследством и намерены пустить Александру Васильевну по миру... Как это тебе понравится? Это в благодарность за то, что Гаврило вывел их в люди десятилетним трудом... О подлецы, подлецы! Да это еще ничего, они требуют непременно сейчас же произвести опись всего движимого имущества... Это какие-то разбойники, а не люди!..

Мне и Мухоедову стоило большого труда уговорить молодых людей отложить опись

имущества до похорон; племянники, очень приличные молодые люди, долго не сдавались на наши просьбы и все упирали на то, что имущество может потеряться. Особенно крепко держался старший племянник, и Мухоедов до крови кусал губы, чтобы удержаться и не наговорить этому господину дерзостей, чем он мог испортить все дело.

— Ведь Гаврило Степаныч воспитывал вас всех, — усовещал Мухоедов наследников. — Александра Васильевна теперь в таком положении... ведь она не чужая вам, пожалейте вы ее!.. Неужели так трудно подождать несколько дней?.. Всего несколько дней!.. Имейте же совесть, господа!

— Мы не без совести, — объяснял старший племянник, — мы очень любили дяденьку и всегда чувствуем к ним благодарность, а так как у них не осталось завещания, поэтому мы в своем праве... Да-с. Тетенька сами по себе, мы сами по себе; они свою четвертую часть получат сполна-с... Нам даже очень жаль дяденьку, а как они без завещания померли, мы в своем праве.

После долгих ломаний и увещаний пле-

мянники согласились, наконец, отложить опись до похорон; Александра Васильевна поняла сразу и цель их приезда и цель наших таинственных совещаний. Однажды, когда в комнате не было племянников, зорко следивших за каждым движением тетеньки, она обратилась ко мне:

— Передайте, пожалуйста, наследникам, что я не утаю ничего... Даже отказываюсь от своей четвертой части... Бог с ними! Я любила Гаврилу Степаныча слишком сильно, чтобы тревожить его память этими грязными расчетами... Я думала взять книги и рояль, но... как это мне ни трудно, я отказываюсь от всего наследства, какое мне следует по закону.

— Вот это так женщина! — в раздумье говорил Мухоедов, когда я передал ему решение Александры Васильевны. — Это, брат, человек...

Три тяжелых и мучительных дня, наконец, прошли; на Половинку привезли черный гроб, явился о. Андроник в сопровождении нескольких любопытных, в том числе Яши, который имел обыкновение провожать всех покойников.

Было светлое осеннее утро, когда мы вынесли черный гроб из избы и поставили на телегу; Рыжку предстояло в последний раз везти своего хозяина в далекий путь. Яша, в рваном полушубке и с босыми ногами, без шапки, с блуждающими добрыми глазами и длинной палкой в руке, суетился, кажется, больше всех: помогал выносить гроб, несколько раз пробовал, крепко ли он стоит на телеге, и постоянно бормотал:

— Убили... Иваныча убили!.. Сорок восемь серебром... убили... Я приказываю... Иваныча посадили в тюрьму... Иваныч стрелял...

Когда печальная процессия двинулась по дороге, Яша шел далеко впереди, сильно размахивал руками и громко пел «вечную память»; мы с о. Андроником и Асклипиодотом несколько верст шли за гробом пешком; пение «Святый боже...» далеко разносилось по лесу, и было что-то неизъяснимо торжественное в этом светлом осеннем дне, который своим прощальным светом освещал наше печальное шествие. Лес осенью был еще красивее, чем летом: темная зелень елей и пихт блестела особенной свежестью; трепетная

осина, вся осыпанная желтыми и красными листьями, стояла точно во сне и тихо-тихо шелестела умиравшею листвой, в которой червонным золотом играли лучи осеннего солнца; какие-то птички весело перекликались по сторонам дороги; шальной заяц выскакивал из-за кустов, вставал на задние лапы и без оглядки летел к ближайшему лесу. Этот покой природы, мягкий свет осеннего солнца и мирные проявления жизни обитателей леса освежали расшатанные нервы, успокаивали наболевший мозг и как-то невольно наталкивали мысль на идею о вечности, с одной стороны, и бренности человеческого существования, с другой.

Церемония отпевания в церкви, затем картина кладбища и тихо опускавшегося в могилу гроба производила на нервы прежнее тупое чувство, которое оживилось только тогда, когда о крышку гроба загремела брошенная нами земля... Все было кончено, больше «не нужно ни песен, ни слез», как сказал поэт; от человека, который хотел зонтиком удержать бурю, осталась небольшая кучка земли да венок из живых цветов, положенный на могилу

рукой любимой женщины.

Александра Васильевна сдержала слово и отказалась от своей части наследства, хотя мы с Мухоедовым и отговаривали ее от этого, потому что она оставалась без гроша денег, в одном платье, которое ей из милости оставили почтительные родственники.

— Мне немного нужно, — говорила Александра Васильевна, когда я прощался с ней. — Поступлю опять учительницей куда-нибудь; обзаведусь помаленьку...

Когда я уезжал из Пеньковки, дело о розысках убийцы было в прежнем положении: никаких следов, ни малейшей «нити»; я простился с своими друзьями и с самым тяжелым чувством оставил, наконец, Пеньковку, в которой пережил столько хорошего и печального. Мухоедов по-прежнему держал себя самым странным образом, но я не имел желания разъяснять наши отношения.

VIII

Моя работа по статистике Пеньковского завода затронула несколько таких вопросов, для изучения которых нужно было опять отправляться в заводы Кайгородова, но теперь целью моей поездки был Нижне-Угловский завод, в который ехать приходилось через Пеньковку. Ровно через год, опять в конце мая месяца, я подъезжал к Пеньковскому заводу. Был солнечный день. Заводские домики, как старые знакомые, смотрели приветливо; вдали чернела фабрика; над ней точно висела в воздухе белая церковь, — все было по-старому, «как мать поставила»; мой экипаж прокатился по широкой улице, миновал господский дом, в котором благоденствовал Муфель с «будущей Россией», и начал тихо подниматься мимо церкви в гору, к домику Фатевны. Мне, собственно, не хотелось останавливаться у ней, но деваться было некуда; «не больно у нас фатер-то припасено», как говорил мне в прошлый раз старик на земской станции, значит все равно не миновать; домик Фатевны не изменился за год ни на одну

иоту, и сама Фатевна встретила меня у ворот, как в прошлый раз, так же заслонила ручкой глаза от солнца и так же улыбнулась: дескать, милости просим.

— А ты опять к нам? — звонко заговорила Фатевна, взвалив на плечо мой чемодан. — А и то давеча кошка сидит на окне да лапкой умывается, я и говорю: «Знать, дева, гостей намывает...» У Галактионовны после спрашивала, — «верно», говорит.

— А Галактионовна жива?

— Скулит...

Мы поднялись на крыльцо, прошли темные сени и очутились в передней; в отворенную дверь в комнате Мухоедова я заметил какую-то даму, которая лежала с папиросой в руке на диване. Когда я вошел в комнату, она лениво поднялась с дивана и с ленивой улыбкой посмотрела на меня: это была Глашка, только уже не прежняя Глашка, бегавшая по двору в ситцевых платьях и босиком, а целая Глафира Митревна, одетая в зеленое шерстяное платье; густо напомаженные волоса были собраны, по заводскому обычаю, под атласный бабий «шлык», значит Глашка была те-

перь дамой.

— Штой-то, Глафира Митревна, вы все по диванам валяетесь, — с легким укором, но любовно заговорила Фатевна. — Вот гостя кошка давеча намывала... полно, дева, бочонки-то катать.

— Ужасти, мамынька, как ко сну клонит, — жаловалась Глафира Митревна, — а ты, мамынька, скажи Фешке насчет самовару...

— Ну, самовар-то я сама уж, дева...

— Капинет Петрович в заводе; я за ним сейчас пошлю, — лениво говорила Глафира Митревна, обращаясь уже ко мне.

— Он все в этой комнате живет?

— Да-с...

Глафира Митревна вышла. Она очень пополнела и, как кажется, спала даже на ходу. Обращение с ней Фатевны, зеленое шерстяное платье, несмотря на летнюю пору, желание держать себя непременно «дамой». - все ясно показывало, что Глашка была теперь mme Мухоедовой. Микроскоп стоял не на столе, как раньше, а на окне и был покрыт толстым слоем пыли; книги в беспорядке валялись в

углу. На столе лежало несколько детских игрушек: деревянный солдатик с отломленной головой, бесхвостая лошадка, несколько измятых картинок из детской книжки. Значит...

— А мы тебя тут поминали, — заголосила Фатевна, появляясь в дверях с ребенком в руках. — Посмотри-ко, дева, чей это будет патрет? — проговорила она, подставляя мне к самому лицу хорошенького полугодового ребенка с большими карими глазами. — Весь в отца вышел; такой же глазастый из себя будет...

Ребенок был только что из колыбели и с любопытством смотрел на меня своими заспанными глазками; он действительно походил на Мухоедова, как две капли воды, — такой же белый высокий лоб и на самой макушке хохолок из мягких, как пух, желтоватых волосиков, какими бывают покрыты только что вылупившиеся из яйца утята.

— Узнал, Гаврюшка, барина? — спрашивала Фатевна, высоко подбрасывая ребенка кверху.

Фешка, краснея от натуги и того особенного волнения, которое неизменно овладевало

ей в присутствии всякого постороннего «мущины», подала самовар и бегом бросилась к двери, причем одним плечом попала в косяк; явилась Глафира Митревна, и мы по-семейному уселись вокруг стола.

— А ты, дева, слышал про «сестер»-то? — спрашивала меня Фатевна, пестуя внука. — В Сибирь сослали, дева, в Сибирь...

— Как так?

— А за Гаврилу-то Степаныча... да, в Сибирь, дева!

— Да ведь тогда Филька в подозрении был?

— Филька ни при чем, — заговорила Фатевна, обрадованная тем, что я ничего не знал об этом деле. — Филька тогда же выправился, а потом пьяный и проболтался, что стрелял ружьем в Гаврилу Степаныча Коскентин. Сейчас следователь пригнал Коскентина в суд, а на суде Коскентин и повинился, что действительно он ружьем стрелял.

— А как же «сестер» в Сибирь сослали?

— А ты слушай... Когда на суде Коскентин повинился, ему и прочитали бумагу, что в каторгу. Коскентин стоит за решеткой, бледный такой, помутнел весь из лица-то, потом и

спрашивает: «Значит, мне конец?» — «Конец», — говорят. Коскентин как заплачет, а когда его солдаты повели, он и сказал, что он не сам стрелял ружьем, а его подговорили «сестры», значит отец с Авдей Михайлычем. Ну, сейчас опять другой суд над «сестрами»; те заперлись во всем, знать ничего не знаем, ведать не ведаем, слышь, понапрасну обнес их Коскентин... Так и не повинились, а Коскентин все и рассказал, как дело было, ну, «сестер» по бумаге в Сибирь и назначили.

— А Филька?

— Филька живет в Пеньковке, барин барином, потому ему после отца-то все и досталось. Теперь в кабаке вином торгует: только больно, говорят, пировать стал... С Асклипиодотом связался, водой не разольешь. Жену бьет, страсть; а жена-то Коскентина в стряпках у Асклипиодота жила. Только тут у них одно дело вышло промежду собой, Филька оттаскал Асклипиодота за длинные-то волосы, судились у мирового судьи...

— С приездом честь имею поздравить... — закрывая рот рукой, заговорила своим тихим голосом появившаяся в дверях Галактионов-

на. — Вот, Фатевна, кошка-то намывала давеча гостей?.. Здравствуйте, Глафира Митревна!.. Как вы из себя-то похорошели... как бы только не сглазить.

Галактионовна осторожно поместилась в уголок и вопросительно посмотрела на меня своими детскими улыбавшимися глазками; она не изменилась в течение года ни на волос, хотя перенесла опять какую-то очень мудреную болезнь, о которой и спешила рассказать.

— А мы без вас здесь свадебку сыграли, — как бы между прочим прибавила Галактионовна, — патрет с Капинета Петровича сняли, а к зиме, даст бог, другой поспеет...

Галактионовна скромно хихикнула своим мелким смешком в руку и мотнула головой в сторону Гаврюши.

— Экой язык у тебя, дева! — окрысилась Фатевна.

— А вот отцу Андронику с Асклипиодотом конец пришел. — не обращая внимания на восклицание Фатевны, заговорила Галактионовна, — отец Егор неприятность им большую сделал.

— Какую неприятность?

— А оченно просто: взял бумагу да на бумаге и описал все, да в консисторию и послал... Евгешка-то у отца Андроника совсем разума решилась; напилась как-то, надела на себя рясу, скуфью да по улице и пошла...

В это время в дверях показался Мухоедов, он остановился и по близорукости сначала не узнал меня; он сильно изменился, похудел, на лбу легло несколько мелких складок, и глаза смотрели с тревожным выражением. Узнав меня, он очень обрадовался, крепко пожал мою руку и, схватив сына на руки, с каким-то торжеством проговорил:

— Обрати внимание на сие произведение природы... А? Великий человек будет in spe... [32] В честь покойного Гаврилы и имя дал.

— Леванидом моднее назвать, — лениво отозвалась Глафира Митревна. — Ах, мамынька, как меня ко сну клонит... Так клонит, ужасти! Капинет Петрович не могут этого понять, они даже на смех подымают, а я не могу...

— Вам бы, Глафира Митревна, променад

сделать? — предлагала Галактионовна, желая щегольнуть иностранным словцом. — Или вот тоже в капустный лист голову завернуть — помогает...

Мухоедов кое-как выпроводил баб из комнаты, несколько времени смотрел в окно, а потом с виноватой улыбкой проговорил:

— Finita la commedia[33], братику... Неженивыйся печется о господе, а женивыйся печется о жене своей. Да, братику, шел, шел, а потом как в яму оступился. Хотел тебе написать, да, думаю, к чему добрых людей расстраивать... Испиваю теперь чашу даже до дна и обтачиваю терпение, но не жалуюсь, ибо всяк человек есть цифра в арифметике природы, которая распоряжается с ними по-своему.

— Как это вышло? — спрашивал я.

— А вышло это, братику, очень просто, как нельзя проще... Летом, когда вы жили с Гаврилой на Половинке, я как-то выпил с отцом Андроником, и выпил так, сущую малость; пришел домой, лег было спать, а тут Глашка под пьяную руку подвернулась... Эх, тошно тебе рассказывать! Может, помнишь тогда, как я волком ходил... ну, вот тогда все сие и

происходило. Даже некоторое колебание мыслей происходило... только душа не поднялась. Зачем, думаю, девку буду губить, видно, уж судьба моя такая. А тут Гаврюшка родился, я ожил... Родительские чувства объявились; воспитанием думаю заняться... Иногда тоска нападет, науку забросил, а как начинаю тонуть, — сейчас к Александре Васильевне. Золотая душа...

— Как она устроилась?

— Учительствует... школу открыла. Ты ступай к ней сейчас же... или я с тобой пойду... — Мухоедов замялся и покраснел. — Глафира Митревна изволят ревновать меня, посему мне каждое посещение Александры Васильевны приходится покупать довольно дорого... И, заметь, я начинаю привязываться к жене. Конечно, глупа она свыше меры и зла, а взгляну на Гаврюшку, так сердце и упадет. Ну, пойдем, что ли. Мы к отцу Андронику завернем, — объяснял Мухоедов, когда вошедшая Глафира Митревна посмотрела на него вопросительно. — А ты тем временем проснись...

— Мимо не пройдите отца Андрони-

ка-то... — ядовито проговорила Глафира Митревна нам вслед.

Мы пошли вдоль улицы, на которую выходили домики «сестер»; один стоял с закрытыми ставнями, а в другом был открыт кабак.

— Вот что осталось от «сестер», — проговорил Мухоедов, указывая рукой на кабак. — Ты уж слышал всю историю?

— Мельком слышал от Фатевны.

— Да... Преказусная материя было вышла; целых полгода ни слуху, ни духу, а тут Филька сболтнул, явился следователь — Цыбули уж давно нет — и все на свежую воду вывели. Константин сначала все принял на себя, а как объявили ему приговор, не вытерпел, заплакал и объяснил все начистоту. «Сестры», те из всего дерева сделаны, ни в чем себя виновными не признали... Крепкий был народ! Так и на каторгу ушли... На всякого, видно, мудреца довольно простоты!

Мы подошли к небольшому домику в три окна; небольшая полинявшая вывеска гласила, что здесь «Народная школа». В передней нас встретил Евстигней, который сосредоточенно ковырял кочедыком лапоть; старик

узнал меня и заковылял в небольшую комнату, откуда показалась Александра Васильевна. Увидев меня, она улыбнулась и на мгновение отвернулась в сторону, чтобы вытереть набежавшую слезу.

— Как я рада... как рада, — шептала Александра Васильевна, не зная, как усадить нас в своей крохотной комнатке.

Это была маленькая комнатка, выходившая своим единственным окном на улицу; в углу, у самой двери, стояла небольшая железная кровать, пред окном помещался большой стол, около него два старых деревянных стула — и только. На стене висел отцветший портрет Гаврилы Степаныча.

— А я отлично устроилась здесь, — оживленно говорила Александра Васильевна. — Двадцать пять рублей жалованья нам с Евстигнеем за глаза... отлично живем. Школа идет порядочно, ученики, кажется, любят меня...

Евстигней подал самовар, и мы долго проговорили под его добродушный шумок, вспоминая Гаврилу Степаныча, его планы, жизнь на Половинке; эти воспоминания несколько

раз вызывали слезы на глаза Александры Васильевны, но она перемогала себя и глотала их.

— Конь в езде, друг в нужде, — говорила Александра Васильевна. — Я так испытала на себе смысл этой пословицы... Сначала мне хотелось умереть, так было темно кругом, а потом ничего, привыкла. И знаете, кто мой лучший друг? Отец Андроник... Да, это такой удивительный старик, добрейшая душа. Он просто на ноги меня поднял, и если бы не он, я, кажется, с ума сошла бы от горя. А тут думаю: прошлого не воротишь, смерть не приходит, буду трудиться в память мужа, чтобы хоть частичку выполнить из его планов.

Как ни хорошо устроилась Александра Васильевна, а все-таки, сидя в ее маленькой комнатке, трудно было освободиться от тяжелого и гнетущего чувства; одна мысль, что человеку во цвете лет приходится жить воспоминаниями прошлого счастья и впереди не оставалось ровно ничего, кроме занятий с детьми, — одна эта мысль заставляла сердце сжиматься. Точно угадывая мои мысли, Александра Васильевна с своей хорошей улыбкой

проговорила:

— Пословица правду говорит, что вдова, как дом без крыши... Иногда жутко приходится. А ведь и мы не без планов: вот подрастет у Епинета Петровича Гаврюша, мы специально займемся его воспитанием. Только разве мамаша Гаврюши не захочет...

— Вздор! — отрезал Мухоедов. — Это не ее рук дело...

Мы долго просидели в комнатке Александры Васильевны, самовар давно остыл, мы начали прощаться с хозяйкой.

— Куда вы торопитесь, господа! Впрочем, вам, может быть, нужно идти куда-нибудь, — грустно проговорила Александра Васильевна.

Я объяснил ей, что остановился в Пеньковке только проездом и завтра рано утром выеду в Нижне-Угловский завод; когда мы вышли от Александры Васильевны, Мухоедов отправился домой, а я пошел проведать о. Андроника, которого мне очень хотелось видеть. Его домик был в двух шагах от школы Александры Васильевны; подходя к нему, я издали слышал оглушительный лай собаки, рвавшейся на цепи. В небольшую щель, обра-

зовавшуюся в тыну, мне отлично была видна такая картина: на лесенке крыльца сидел в одном жилете сам о. Андроник, он был немного навеселе и улыбался своей широчайшей и добродушнейшей улыбкой; посредине двора нетвердыми шагами ходил Асклипиодот, сильно заплетаясь в своем бесконечном подряснике цвета Bismark-furioso.

— Хорошо… хорошо… а я могу укротить вашу собачку, отец Андроник, — говорил Асклипиодот.

— Врешь, братчик… А ну, попробуй!

— Могу, отец Андроник.

Асклипиодот со смелостью вполне пьяного человека пошел к громадной желтой собаке, которая дико металась у своей конуры на длинной цепи; собака на мгновение было притихла, но в следующую минуту, когда Асклипиодот хотел ее погладить, она сначала схватила его за руку, а потом за полы подрясника. Асклипиодот не удержался на ногах, упал, собака, как бешеная, принялась его рвать; о. Андроник вскочил с своего крылечка, подбежал к самому месту действия и за ноги оттащил своего друга от вывшей собаки.

Когда я отворил калитку, Асклипиодот, как ни в чем не бывало, поднимался с земли и, показывая укушенную руку, говорил:

— Перст укусила ваша собачка, отец Андроник... перст...

— Ты — чистый дурак, братчик! — гудел о. Андроник.

— Хорошо... хорошо... ваша собачка меня укусила... хорошо, а я могу ее укротить, отец Андроник.

— Она тебя, как петуха, загрызет...

— Здравствуйте, отец Андроник! — проговорил я.

Старик оглянулся и как-то радостно вздохнул, причем под жилетом у него что-то заволновалось, точно там под ситцевой розовой рубашкой была налита вода; он благословил меня своей десницей и облобызал.

— Отец Андроник, благословите... — лепетал Асклипиодот, просовывая свою яйцеобразную голову между нами и складывая руки пригоршнями, точно он хотел умываться.

— На хорошее бог тебя благословит, а на худое сам догадаешься...

Мы прошли в маленькие комнатки о. Ан-

дроника; вдали мелькнула какая-то женская фигура, вероятно, это была Евгеша, сам о. Андроник на минутку удалился в какую-то темную комнатку, откуда он вернулся уже в казинетовом подряснике, с графином водки в одной руке и с бутылкой в другой. Асклипиодот даже крякнул при виде этой посудины и далеко вытянул свою тонкую шею; он все время был занят своим перстом, укушенным собачкой о. Андроника.

— Плохие времена, братчик, — с тяжелым вздохом проговорил о. Андроник, принимая от какой-то невидимой руки тарелки с «сухоястием», сиречь закуской.

— Что так, отец Андроник?

— А так, братчик... Егорка, «ни с чем пирог», механику подвел под нас с Асклипиодотом, — немного печально заговорил старик, наливая рюмки, — вкусимте, братие, по единой...

Когда мы выпили по рюмке водки, о. Андроник, хлопнув меня по плечу, заговорил:

— Ведь Егорка-то все описал... Ей-богу!

— Поссорились?

— Была маленькая причина... да, была! — с

тяжелым вздохом заговорил старик. — Я-таки добрался до него... Да. Как-то на именинах у Павла Григорьича собрались мы все... выпили, калякаем. Приходит Егорка; понюхал носом какого-то заморского вина, а сам меня наблюдает, в каком я градусе. Обидно это мне показалось, братчик... «Ах ты, думаю, Иуда Искариотский». А сам подошел к нему да как лизну его по уху, он так и покатился по полу... Не помню, братчик, как это и вышло... совсем не помню! А Егорка сейчас в консисторию и настрочил... все описал, шельма: и как я его в ухо лизнул, и как у меня Евгеша за козлухами ходит, и как я водкой кропил, и стихи Галактионовны, которыми она меня описала, к прошению приложил... Плохо, братчик! И Асклипиодота приплел.

— А вас за что? — спросил я улыбавшегося дьячка.

— Напрасно... — заявил Асклипиодот.

— Оно, братчик, не совсем напрасно... — подмигивая левым глазом, басил о. Андроник. — У тебя тоже, братчик, рыльце в пушку...

— Хорошо, отец Андроник... Вы говорите,

что у меня рыльце в пушку... Хорошо! А отец Георгий напрасно...

— И про Фильку напрасно?

— Хорошо, отец Андроник... Действительно, я отпевал Галактионовну и вечную память ей пел... Это все верно отец Георгий описал... Хорошо! Видите ли, — заговорил Асклипиодот, обращаясь уже ко мне, — когда Коскентина присудили в каторгу, его супруга некоторое время жила у меня в качестве служанки... Хорошо! Раз я возвращаюсь от отца Андроника... Хорошо!.. Попадается Филька и прямо меня по уху... Хорошо! «Зачем, говорит, ты Коскентиновой жене хвост куфтой подвязал?» То есть он намекнул, что я поступил со своей служанкой, как Авраам с Агарью... Хорошо!.. Что она у меня живет, яко наложница... Хорошо! Я к мировому судье; мировой судья засадил Фильку на две недели в темную, а отец Георгий все это описали и донесли в консисторию, чтобы сконфузить меня... Хорошо! Правильно отец Георгий поступили со мной?..

— А вперед наука, братчик... Может, ты и в самом деле хотел шилом патоки... О-ха-ха-ха!..

Егорка нам теперь и смажет салазки-то... Ну, да мне наплевать, братчик, пора костям и на покой... С голоду не умру: домишко свой есть, деньжонок малая толика в кубышке лежит — чего мне больше, старику.

— Ну, а мы тут без вас окрутили Епинета-то Петровича, — заговорил о. Андроник, переменяя разговор. — Только жена-то у него того... как моя хина: есть да на яицах сидеть. Теперь уж дела не поправишь, а жаль... Глупа уж больно Глафира-то Митревна, свыше меры глупа, а Епинет Петрович свыше меры прост. Да и Фатевна... Эх, немного бы погодить надо было!

— А что?

— Да как вам оказать... Конечно, на все воля божия, ни единый влас главы нашей не упадет без его воли, а все как раскинешь умом... У Епинета Петровича еще летом делишко склеилось, а кабы до осени обождать — тогда, может, и другое что образовалось. На все воля божия...

— Что другое-то, отец Андроник?

— Как тебе сказать-то это?.. Гаврило Степаныч, конечно, был хороший человек, и по-

страдал он невинно... Только, братчик, все мы люди — человеки.

Я решительно ничего не понимал в этом наборе слов; о. Андроник не решался высказать свою мысль прямо, и я спросил его, что он хотел сказать.

Отец Андроник повернул ко мне свое широкое скуластое лицо, красное и лоснившееся от выпитой водки, нервно расправил бороду и улыбнулся. Так как я и теперь ничего не понял, он заговорил совсем изменившимся голосом:

— Вы были у Александры Васильевны?

— Да, был.

— Гм... Женщина молодая, в соку, а житьишко ее самое плохое, хоть она и утешается своей школой. Школа школой, братчик, а человек человеком... Придешь к ней, посмотришь на нее, так слеза и прошибет другой раз. Чего она так-то будет жить ни богу свеча, ни черту кочерга... Бабенка еще молодая, а впереди ничего. Скажешь ей ласковое слово, так она молиться на тебя готова, а то не думает, что мне это ласковое слово ничего не стоит. Вот я приду к ней в каморку-то, ведь кош-

ки за хвост повернуть негде, а я с брюхом своим едва продерусь в дверь-то... сяду и, грешный человек, всякий раз думаю, чтобы Епинету-то Петровичу жениться на ней!.. Ведь золотая душа, не чета Глашке-то! Я вот сам женился двадцати двух лет, через год овдовел, а теперь мне шестьдесят четвертый пошел — трудно, братчик, прожить век одному. И птица, и зверь, и козявка всякая...

Отец Андроник неожиданно замолк, отвернулся и кулаком вытер слезу.

— Мое-то уж все пережито, так по себе-то и другого жаль... Гаврилу Степаныча уж не поднять из могилы... Вон про меня что пишет Егорка-то: Андроник пьяница, Андроник козлух держит, а он был у меня на душе... а? Ведь в двадцать-то лет из меня четверых Егорок можно сделать... а водка, она все-таки, если в меру, разламывает человека, легче с ней. Вот я и пью; мне легче, когда она с меня силу снимает... Эх, да не стоит об этом говорить!.. Претерпех до конца и слякохся.

Поговорив с расчувствовавшимся стариком еще с полчаса, я оставил его домик; Асклипиодот, — покачиваясь на стуле, пел сво-

им могучим баритоном: «Волною морскою скрывшего древле, гонителя-мучителя фараона...» Меня далеко проводили звуки этого пения, пока я не завернул за угол к пруду.

Еще издали, как я подходил к домику Фатевны, до меня долетал какой-то шум голосов и женский крик. Когда я вошел в комнату Мухоедова, мне представилась такая картина: сам Мухоедов, бледный и взволнованный, бегал по комнате, Глафира Митревна и Фатевна стояли в противоположных концах комнаты и кричали в два голоса. Заметив меня, Глафира Митревна с заплаканными глазами и сердитым лицом ушла в другую комнату, но Фатевна не думала оставлять поле сражения и голосила на три улицы; в одном окне я заметил побелевший нос Галактионовны, которая занимала наблюдательный пост.

— Статошное ли дело, — кричала Фатевна, размахивая руками. — Разе это порядок? Женатый человек и таскается по чужим женам... разе это порядок?.. я мать?!.

— Умолкни, несчастная!.. — шептал Мухоедов, хватаясь за голову.

— Ты там прохлаждаешься у той, а Глафи-

ра Митревна прибежала ко мне и говорит: «Мамынька, я сейчас в воду...» Разе это порядок? Теперь взять дохтуров... Обстоятельные люди, как есть; намедни опять десять билетов купили, а билет-то ноне двести рубликов стоит. Вот это порядок, а не то что мы!.. У тебя дите... о нем теперь должен заботиться. Семой год теперь служишь на тридцати рублях, а мне писарь сказывал, что все оттого, что гордость свою соблюдаешь... Пошел бы к Муфелю да в правую ногу, глядишь, дева, жалованья-то и прибавили, а то бы в емназию учителем поступал. Писарь говорит, по две тыщи жалованья платят в емназии-то...

Мухоедов схватил Фатевну за плечи, вытолкнул из комнаты и дверь затворил на крючок; он несколько минут бегал по комнате, как зверь в клетке, а потом, остановившись, проговорил с конвульсивной улыбкой:

— Видел?

— Видел...

— И это каждый день... Это какая-то тридцатилетняя война! Просто с ума, кажется, сойду.

— Отчего ты не уедешь отсюда?

— Куда?

— Поступил куда-нибудь на службу — и конец. Жену увез с собой, а Фатевна пусть себе живет здесь.

— Нет, не могу...

Мы сели к отворенному окну, у которого сидели год назад, и несколько времени молчали.

— Не могу, — еще раз проговорил Мухоедов.

— Почему?

— А видишь, в чем дело... Теперь моя песенка спета, влетел по уши, так я решил про себя, что уж если не умел устроить собственную жизнь, так буду жить для других. Помнишь Гаврилу? Вот и пойду по его дорожке... Святое дело. Ведь живет же Александра Васильевна, а я проживу и подавно... Наше товарищество, кажется, укрепилось, «сестер» нет — теперь хорошая минута, чтобы открыть потребительную артель, и мы уж открыли ее неофициальным образом. Потом мне хотелось бы школу Александры Васильевны поворотить в ремесленное училище, составить на первый раз при ней библиотеч-

ку, музеишко, лабораторию... Понимаешь? Ведь это живое дело... Эх, жаль, что Гаврилы нет!.. А что касается моей семейной обстановки, то, право, мне кажется, и к аду можно привыкнуть. У моей достойной половины есть свои достоинства: она ленива, как черепаха, и ей скоро надоест сражаться со мною, а с Фатевной я приму меры строгости, задам ей как-нибудь перцу во вкусе Кита Китыча...

Мухоедов даже сам рассмеялся над своими словами и, повернув ко мне голову, проговорил:

— Ну что отец Андроник?

— Удивительный старик.

— А он не говорил тебе ничего о деньгах, которые на школу Александре Васильевне дает?

— Нет.

— И не скажет... не такой человек. Ведь сам предложил, а если разговор зайдет о школе, на смех подымет, пустяками зовет.

К окну, у которого мы сидели, подошел Яша, улыбнулся, махнул палкой и забормотал:

— Здорово, Иваныч... сорок восемь сереб-

ром... Я кабак на пруду выстрою... Приказал... Иваныч будет водку пить...

— И этого дух века заедает, — с печальной улыбкой проговорил Мухоедов.

— Жалованье, Иваныч... буду получать... Четыре недели на месяц, Иваныч... пятую спать!

В камнях
Из путешествия по реке Чусовой[2]

I

Наш полубарок отвалил от пристани Межевая Утка в первых числах сентября. Вода в Чусовой стояла очень низко, и наше сшитое на живую нитку суденышко постоянно задевало за «таши», то есть за подводные камни. Для непривычного человека, особенно в первый раз, даже делается страшно, когда по дну барки точно кто черкнет ножом. Вздрогнешь даже в первый момент. Только взглянув на спокойные лица бурлаков, успокаиваешься и стараешься скрыть невольное смущение. Бурлаки не обращают никакого внимания на такие почеркивания, и разве когда получится довольно сильный толчок, точно за дно барки схватит какая-то могучая рука, и наше суденышко все вздрогнет, — кто-нибудь проговорит стереотипную фразу:

— Тише, хозяин дома!..

Наш полубарок представлял собой судно длиной сажен в десять и шириной около четырех. На носу и корме были устроены легкие палубы, середина была открыта; медные «штыки», уложенные правильными рядами посередине и около бортов, издали представлялись поленницами каких-то коротеньких красных дров. Настоящие большие барки ходят по Чусовой только раз в году, весной; они имеют в длину 18 сажен, покрыты сплошной палубой и вмещают до 15 000 пудов груза, тогда как наш полубарок был нагружен всего 4 000 пудов штыковой меди. На середине нашего полубарка была устроена из рогож избушка водолива; около нее дымился очаг; у самого борта — льяло для откачивания из барки воды деревянным ковшом совершенно особенного устройства. На носу и на корме были прикреплены длинные бревна с широкими досками на концах — это «поносные» или «потеси», при помощи которых барку поворачивают в ту или другую сторону. Такая потесь представляет из себя громаднейшее весло, которое едва поворачивают пять человек. На задней палубе на большой скамеечке сидит

обыкновенно сплавщик.

Две кучки бурлаков, стоявших у поносных, казались издали грязным пятном, кучей лохмотьев, которые начинали шевелиться вместе с поносными, повторяя каждое их движение. На носовой палубе, у конца поносного, под «губой», по бурлацкой терминологии, стоял высокий здоровенный мужик в рваном рыжем зипунишке и какой-то невероятно сплющенной и заношенной кожаной фуражке. Его лицо, красное и рябое, освещенное всего одним глазом, принадлежало к разряду тех особенных физиономий, которые не забываются. Новенькие лапти на ногах и синие порты дополняли его костюм. Как-то странно было видеть это могучее тело облеченным в такие жалкие лохмотья. Неужели эти могучие, жилистые руки не могли заработать даже на приличный костюм? Нет, Федька Рыбаков не мог пожаловаться на свои заработки и частенько щеголял в плисовых шароварах, красной кумачной рубахе и пуховой шляпе, но все эти предметы как-то не могли удержаться на нем и очень скоро уходили в ближайший кабак. Рядом с Рыбаковым стоял мо-

лодой парень лет семнадцати. Поверх старенькой ситцевой рубашки у него была надета только одна суконная жилетка, на ногах — лапти; его налитое розовой кровью лицо дышало здоровьем, а глаза так и блестели. На голове Васьки — так звали парня — была нахлобучена старая баранья шапчонка, из-под которой кольцами выбивались светло-русые кудри. Опытный глаз сразу отличил бы, что Васька и Рыбаков — утчане, то есть с Межовой Утки, в которой живут лучшие бурлаки. Они и держались не так, как другие, — с сознанием собственного достоинства, с оттенком презрительного спокойствия. Нужно сказать, что Васька во всем копировал Рыбакова, который по всей Чусовой славился, как один из лучших бурлаков и как самая отчаянная голова. За ними у поносного стояли две девки, старик в войлочной шляпе и отставной солдат с щетинистыми усами и узенькими слезившимися глазками. Девки были в коротеньких ваточных кофточках, из-под которых выставлялись подолы высоко подобранных ситцевых сарафанов и белые шерстяные чулки. Одна, Лушка, курносая и рябая, посматри-

вала по сторонам своими небольшими черными глазами и постоянно скалила белые редкие зубы; другая, Степанька, рыхлый белый субъект, смотрела апатичным взглядом на все кругом и время от времени усиленно икала.

— Направо нос-от!.. Поддержи направо нос-от!!.- скомандует на корме сплавщик Окиня, и эта серая кучка бурлаков метнется на палубе, как спугнутые птицы. Рыбаков стоит под губой — это довольно видный пост в бурлацкой иерархии, потому что сюда ставят только надежных рабочих, которые не спутают команды. Он без всякого напряжения придавит бревно книзу, поведет его в сторону и, высоко подняв губу кверху, держит ее в этом положении все время, пока бурлаки, краснея от напряжения, отводят бревно. Васька покраснеет, как рак, навалится плечом, и только доски говорят под его лаптями; девки налегают грудью, старик подхватывает с кряхтеньем. Солдат, по выражению Рыбакова, «финтюрит», то есть ленится, и, кроме того, постоянно сбивается в команде.

— Хуже бабы, правой руки не знает! —

хриплым голосом замечает Рыбаков.

— Инвалид, одним порохом палит, — вторит Васька, окидывая солдата подозрительным взглядом. — Крупа несчастная!

— А ты не собачься... — отзывается солдат. — Над землей-то ты не больно страшен, разве под землей тебе много осталось...

Лушка толкает локтем Степаньку и кокетливо закрывается рукавом кофточки; старик, кажется, безучастно относится к этой перебранке, но потом, сдвинув шляпу на ухо, замечает:

— Ну чего вы аркаетесь? Чего вам мало стало? Ах ты, господи милостивый...

На кормовой палубе, на первом плане, виднеется коренастая фигура сплавщика Окини. Он сидит бочком на низенькой деревянной скамеечке, заложив ногу на ногу. Ему на вид лет шестьдесят, но он выглядит еще молодцом. Кафтан из толстого серого крестьянского сукна ловко сидит на его широких плечах; из-под кафтана выбивается ворот пестрядевой толстой рубахи, плотно охватывая его могучую бронзовую шею, испещренную целой сетью глубоких морщин, точно она рас-

трескалась под действием солнечного жара и непогод. На ногах у Окини надеты кунгурские сапоги, насквозь пропитанные дегтем. Маленькая, низенькая валеная шляпа сдвинута на ухо, и из-под нее режущим взглядом смотрит пара небольших серых глаз. Широкое лицо Окини, обрамленное небольшой русой бородкой, выглядит добродушно, и по его широким губам бродит неизменная улыбка. Из-за белых, частых зубов Окини так и сыплются бесконечные шуточки, прибауточки, пословицы и присказки. Даже в опасных местах Окиню не оставляет его неизменное добродушие. Плавать по межени, то есть когда вода в Чусовой стоит низко, составляет гигантский труд: на протяжении почти четырехсот верст нужно знать, как свои пять пальцев, каждый вершок, иначе барка будет садиться на каждой мели, на каждом таше. Можно себе представить, какой поистине колоссальной памятью обладал Окиня, если под его войлочной шляпой укладывается все течение Чусовой и он помнит тысячи мельчайших подробностей ее течения, берегов и русла. Кроме реки, он в несколько часов должен изучить все осо-

бенности своего судна, потому что между барками, как и между людьми, громадная разница, хотя на первый взгляд они, кажется, ничем не отличаются друг от друга. Живая сила, которой располагает Окиня в данный момент, тоже должна входить в его соображения, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Большинство бурлаков знакомы Окине несколько лет, поэтому он только мельком взглянет на новичков, прищурится, и на барке, как у себя дома на печке.

— Эй, служивый, не надсаживайся больно-то! — покрикивает Окиня. — Пожалуй, с натуги спина заболит... Девоньки, груздочки молоденьки, помешивай!.. А ты, Федя, не больно, тово, на девок-то не заглядывай...

Бурлаки посмеиваются. Звонкий голос Окини вызывает на суровых, изветрелых лицах ряд улыбок. Но нужно видеть старика в трудных местах, когда приходится «перебивать струю», «отработывать от камня» или пробежать щукой под самым «бойцом». Он стоит на палубе, широко раздвинув ноги, кафтан распахнулся, голос крепчает, глаза остановились на одной точке.

— Родимые, не выдай!.. Корму поддоржи... Нос налево, нос налево! Сильно-гораздо нос налево! Молодцы, нос налево!.. Навались, братцы... Шабаш нос-от!..

На корме подгубным Мамко, тоже утчанин, широкоплечий молодой парень с белокурой физиономией. Рядом с ним стоит небольшого роста, некрасивый мужик с редкой черной бородкой, Гаврилыч. За ним, рядом, стоят молодые парень и девка, Лекандра и Анка. Лекандра поражает своей мизерностью, особенно рядом с Мамком; это просто мусорный парень, как его называют бурлаки. Одет он в рваный зипунишко, лапти и меховую шапку. Рябое лицо Лекандры с узкими карими глазами более чем некрасиво; движения вялы, — вообще, как есть несуразный парень. По другую сторону поносного стоит сестра Рыбакова, среднего роста пожилая женщина с необыкновенно звонким голосом; рядом с ней прижался к бревну бывший заводский служащий Минеич. Жалко смотреть на его тщедушную фигурку, на которой, как на вешалке, болтаются отребья длиннополого суконного сюртука. За ним стоит заводская

косточка, тагильский мастеровой Афонька. Можно им залюбоваться. Ему едва минуло семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди, которая так и выпирает из-под разреза рубахи косоворотки; какое открытое, смелое лицо с прямым правильным носом и большими серыми глазами!.. Слегка рыжие волосы прикрыты обносками отцовской шляпы, на ногах стоптанные сапожишки, на шее донельзя заношенная косынка с измочаленными концами.

— Ты, Минеич, не изломай поносного-то, — шутит Окиня, подмигивая и причмокивая. — Пожалей хоть дерево-то, ежели себя не жалеешь, старый-немолоденький!..

— У нас свадьба, Окиня, — говорит Афонька, встряхивая волосами. — Вон Лекандру с Анкой водой не разлить... Точно их приклеили к поносному!

— А тебе завидно? — спрашивает Лекандра.

— Стал я глядеть на этакое косое дерево!.. — презрительно отзывается Афонька.

Анка, небольшого роста, смуглая, кругло-лицая девка, была бы, пожалуй, красивой, ес-

ли бы ее не портил косой глаз. Одета она лучше других и держится постоянно около Леандры, потому что из одной с ним деревни. Эта парочка сосредоточивает на себе внимание кормовой палубы, и все изощряют на ней свое остроумие.

Когда я только что вошел на барку, бурлаки на первый раз показались какой-то безличной массой, из которой только после внимательного наблюдения выделились мало-помалу эти типичные физиономии, костюмы и характеры. Не прошло нескольких минут, в течение которых бурлаки оглядывали друг друга, как уже безмолвным соглашением выработалось то неуловимое общественное мнение, которое сказывалось во всем — в интонациях голоса, во взгляде, в движениях. Утчане, конечно, стояли на первом плане; они составляли ядро, их мнение брало перевес во всех вопросах; за ними выделились заводские: Афонька, старик в войлочной шляпе, Гаврилыч, Минеич. Остальные, как сброд, не пристали ни к кому, а так и остались сами по себе. Женщины вообще не шли в счет за исключением Степаньки, которая слыла любов-

ницей Рыбакова, и поэтому над ней не смели подшучивать с такой откровенностью, как над Анкой или Лушкой.

— Разве в бабе есть душа? — резонирует водолив Прошка, ужасный враг всех женщин. — В бабе пар, а не душа... Как все равно в курице. Потому им и цена такая: мужику до Левшиной дают восемь целковых, а бабе — четыре. Ежели бы я был сплавщиком, я бы всех этих баб за косу да в воду...

— Ишь, какой строгой, — замечает сестра Рыбакова. — В бабе пар, а в тебе што? Ты лучше расскажи, как тебя жена дома ухватом обхаживает... Поди еще теперя бока болят?

Прошка только крутит своей черноволосой головой и отмахивается руками. После сплавщика водолив — самое значительное лицо на барке, потому что, во-первых, на его ответственности весь груз, а потом он следит за исправностью судна, чтобы не было течи, не выпадала конопатка, не накоплялось много воды. Водолив нанимается обыкновенно до самого места назначения, барки и получает жалованье помесячно. Сплавщик и бурлаки оставляют барку в Левшиной, последней при-

стани на Чусовой, а водолив остается до сдачи металла. В случае, если бы барка разбилась или окончательно обмелела, сплавщику и бурлакам больше нечего делать, как только брести по домам, а водолив остается караулить. Поэтому в водоливы выбираются самые надежные мужики, особенно на барках с медью. Нет ничего легче, как взять двадцатифунтовую штыку меди и незаметным образом вынести на берег или даже спустить в воду, чтобы на обратном пути продать эту лакомую добычу. Водоливу приходится день и ночь следить за бурлаками, иначе он может жестоко поплатиться, потому что у него вычтут из жалованья за всякую недостачу меди.

Прошка был пробойный мужик, тертый калач и хаживал на барках водоливом до Петербурга. Благодаря этим путешествиям он уже вошел во вкус подлаживания под барина: умел угодить, прислужиться, чего совсем не было в Окине. Мне нужно было доехать на барке только до Кыновского завода, верст семьдесят, но Прошка сейчас же разгородил свой балаган на две половины и предоставил одну из них мне, как барину. Эта политика

была очень незамысловата, но приводила в изумление бурлаков. Эти угрюмые создания еще не освоились с тем типом барина, который дает на каждом шагу на чаек и на водку: для них барин являлся в образе караванного, исправника, приказчика и тому подобной грозу наводящей братии. Впрочем, я был очень благодарен Прошке за его любезность, потому что было очень холодно и вдобавок начинал накрапывать осенний дождь. Лежать в такую приятную погоду даже под прикрытием рогоженного балагана составляло истинное счастье, блаженство, сравнительно с положением несчастных бурлаков, которым приходилось стоять у поносного под открытым небом.

— Что же они не наденут ничего на себя? — спрашивал я Прошку, когда дождь смочил у всех рубашки и заставил Окиню застегнуть кафтан.

— Было бы чего надеть, барин...

— Неужели у них больше ничего нет с собой?

— Все на себе; в котомках хлеб да харчи. Разве у баб есть што-нибудь.

— Ведь холодно... Как они поплывут?

— Вот так и поплывут...

Оставалось только пожать плечами. Мне было холодно в теплом осеннем пальто, под прикрытием балагана, а там стояли люди в одних рубашках под холодным осенним дождем. Нужно заметить, что осень на Урале вообще стоит всегда холодная, а на воде еще холоднее, чем на берегу.

— Привышный народ, — говорил Прошка, являясь в балаган с медным чайником вскипяченной для чаю воды. — Им не впервой в одних рубахах плыть. Ну, да и на работе тоже греются... Водку берут другие.

Мне просто было совестно прохлаждаться чаем в балагане Прошки и возбуждать общую зависть этой роскошью. На одном плесе, где не было работы, я пригласил Окиню и Минеича, а остальным бурлакам пообещал водки в первой деревне, какую встретим на берегу.

Сплавщик пришел первым. Перекрестившись, он осторожно налил чаю на блюдечко и, отдувая пар, выпил стакана четыре. В широкую щель, которая образовалась между рогожами, он следил все время за берегом и вре-

мя от времени командовал «ударить нос направо» или «поддоржать корму».

— Ему глаза завяжи, так проплывет, — говорил Прошка, кивая на сплавщика.

— Всяко, Прошь, бывает, — уклончиво отвечал Окиня.

— Мы где сегодня остановимся? — спрашивал я, потому что начинало уже вечереть.

— Зачем нам останавляться?

— Как зачем: ведь ночью не поплывешь здесь...

— Ничего, бог поможет, проплывем.

— Да ведь темно будет?

— По приметам сбежим... На камни будем глядеть.

Бурлаки никогда не говорят, что барка плывет, а непременно «бежит»; горы они называют камнями. Поблагодарив за угощенье, Окиня ушел на свою скамеечку, а вместо себя послал Минеича. На бедняка было страшно смотреть: это был скелет, обтянутый кожей. Все на нем было смочено до последней нитки. Худое, изможденное лицо смотрело таким страдальческим, губы посинели, кожа получила мертвенно-серый цвет. Тощая, жилистая

шея была вытянута, пальцы на руках судорожно скорчились и даже почти почернели. Мне показалось, что Минеич замерзал.

— Минеич у нас завсегда в худых душах, — шутил Прошка (на заводах выражение «в худых душах» равносильно нашему «при смерти»). — Ты которую путину ломаешь, Минеич?

«Сломать путину» — значит сплыть на барке.

— Пятый раз плыву, — отвечал служащий, принимая дрожащими руками стакан чаю.

— Вы раньше в Тагиле служили?

— Да, служил... Лет двадцать послужил, а потом отказали от службы.

— Что же, у вас семья есть?

— Как же, и жена и дети. Целых пятеро... Да, четыре девочки и один мальчик.

Минеич с жадностью глотал горячий чай. Его бесстрастный, взгляд оживился, и он только вздрагивал, когда струйка холодной воды пробегала у него по спине.

— Неужели вы никакой другой службы себе не нашли? — спрашивал я.

— Был несколько лет учителем, потом

штегерем… Везде отказывают.

— Все водочка нашего брата в малодушие производит, — резонировал Прошка, когда Минеич уплелся на палубу.

— Когда же бурлаки спать будут? — спрашивал я.

— По сменам спать будут. Вот приткнемся где-нибудь к огрудку или набежим на таш, тогда спи, сколько влезет. Или вот когда из камней бежим, за Камасиным места открытые пойдут, ветер как ударит — и стоишь дён пять в другой раз. В камнях и успеваем поскорее выбежать…

II

Берега, мимо которых плыла наша барка, представляли великолепнейшую панораму гор и высоких скал; река прорыла между ними глубокое русло, обнажив каменные стены. В некоторых местах над рекой нависали массивные скалы сажен в сорок вышины; даже холодело на сердце, когда барка приближалась к этим каменным стенам, обдававшим холодом и сыростью. Сама вода как-то стихала в таких местах и катилась темной молчаливой струей. Малейший звук, капли воды, которые падали с поносных, топот бурлацких ног — все это глухо отдавалось здесь, как в склепе. Когда поносные начинали бухать в воде и вспененные волны грядой разбивались о каменные громады, звуки, отражаясь от скал, перемешивались и с глухим ревом неслись вниз по реке, где едва виднелся узкий клочок неба, точно горы были рассечены ударом сабли. Горы были покрыты диким дремучим лесом. Ели и пихты, как рать великанов, заполнили все кругом на сотни верст, только их готические вершины выска-

кивали из этой сплошной темно-зеленой массы и придавали ландшафту строгий, угрюмый характер. Вглядываясь в эту траурную зелень, глаз отыскивал и здесь оригинальную могучую красоту: свет и тени, резкие контуры и темные цвета складывались здесь в удивительную картину. Местами горы поднимались выше, лес редел, являлись обнаженные горные породы, где только редкие деревья лепились по трещинам и уступам, как солдаты, бравшие штурмом неприступную крепость. Вон в одном месте стройная, как девушка, молоденькая ель бойко взбежала на самый верх, но здесь точно ее встретили залпом, и она, как смертельно раненная, повисла на страшной высоте. Можно различить даже узловатые корни, которыми молодое деревцо ухватилось за острые камни, и кажется, что это судорожно сжатые руки вросли в тощую, почву. В другом месте на выступе скалы укрепилось десятка полтора елей; они точно остановились здесь отдохнуть и с гордостью смотрят на товарищей, которые поднимаются к ним снизу. Вот раненое деревцо подхвачено руками товарищей; вот лежит несколько убитых;

вот отступающий неприятель... Право, глядя на эти причудливые группы красивых елей, невольно олицетворяешь их, тем более, что эти деревья действительно ведут вечную борьбу за существование, за каждый вершок земли, за каждый луч света, за каждый глоток воздуха — между собой, со скалами, с бушующей внизу водой, с бурями, непогодами и глубокими северными снегами. Кое-где сверкает золотой листвой осина, подойдут к самой реке несколько скромных березок, высоко поднимется лиственница с широко распростертыми ветвями, встанут в сторонке несколько сосен и рябин — и опять ели заполоняют все кругом. Это их царство.

Некоторые скалы тянутся версты две, точно плывешь по узкой извилистой улице какого-то мудреного средневекового города.

На нижней части этих скал можно ясно видеть высоту весенней воды, которая поднимается иногда аршин на семь выше обыкновенного горизонта. Под некоторыми камнями, где течение реки суживается или река делает крутой поворот, вода поднимается еще выше, точно собирая все силы против своего

главного врага. Теперь на мягком известняке можно видеть только грязные полосы.

Форма этих скал самая разнообразная, и можно только, удивляться, как еще держатся некоторые массы камней, — они уж наклонились и, кажется, готовы ринуться в реку, которая сосет их. В некоторых местах так и кажется, что эти скалы не игра слепого случая, а результат работы разумных существ: вот правильно заложенная стена, вот фундамент какого-то здания, угол дома, легкая башенка, смело поднятый свод... Иллюзия настолько сильна, что глаз различает даже отдельные кирпичи, из которых возведены эти дворцы, башни и стены. На вершине некоторых скал лепится несколько почерневших и покосившихся крестов.

— Это что за кресты? — спрашиваю я у Рыбакова.

— А когда весной барка убьется под камнем и кто из бурлаков утонет, — вот и поставят крест на камне, — объясняет колосс.

Бурлаки под такими крестами снимают шапки и набожно крестятся. Ведутся разговоры, какая барка убилась здесь, почему, кто

был сплавщиком, сколько утонуло бурлаков. Вспоминают разные случаи и приключения из собственной жизни. Лица оживляются, слышатся вздохи, иногда смех, потому что du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas[34].

— Когда я еще в учениках плавал, — рассказывает Окиня, встряхивая волосами, — чуть не потонул было. Ей-богу... Грех и смех! Барку гнал Гордей да под Молоковым ее и убил. Сила не взяла... А в те поры вода страсть какая высокая была. Весна вышла дружная, так все и поплыло. Ну, как мы наскочили на бойца, народ ошалел: кто котомку тащит из-под палубы, кто в лодку, кто за бревно, кто за доску... Каша кашей, а барка, как купчиха, так и села в воду. А я еще от дедушки слыхал, што в лодку этаким делом ни-ни: зря друг дружку перетопят. Снял сапоги, выбрал досточку потолще и жду... А вода под Молоковым, известно, как в котле, кипит; убитую барку так дохлой кобылой по струе и несет. Страсть господня!.. Дело впервой, испужался до смерти... А тут еще народ в воде валандается, крик, стон... Плывет, плывет по реке бурлачек, захлестнет его валом — только и видел... Одни

пузырьки по воде пойдут. А на барке с нами плыла одна баба. Она еще сватьей мне приходится... Ну, известно, бабье дело: совсем из ума вышибло, бегает по палубе, как овечка... Ах, думаю, пропадет, дура. «Сватья, кричу, держись за доску!» А она и слов уж не понимает, осатанела. Ну, я ее столкнул в реку, сотворил молитву да и сам за ней... А мою бабу, как редьку, так и повертывает в реке. Доплыл к ней, сунул ей доску: держись, мол. Сватья ухватилась, а доска нас двоих не держит. Что будешь делать? Сватью столкнуть с доски жаль, а самому утонуть неохота, да еще сапоги у меня в руках-то, тоже жаль своему добру попущаться. Все-таки пожалел бабенку, ослобонил ей доску, а сам сапоги в зубы да к берегу. Только этак аршина с два отплыл, оглянулся, а сватья со страху доску мою выпустила и опять редькой по реке-то... Ну, тогда в силе был, воротился, схватил ее за зипун и волоку к берегу... А сапоги все в зубах держу... жаль. Только моя баба как сгребется за меня, прямо за ногу: впилася в ногу, как щука, и шабаш... Не могу ее отцепить, и кончено. Ну, думаю, пришел мой конец: так ко дну и тянет,

до берега еще далеко, а сватья меня не пущает. Опять сотворил молитву... Тут меня и просветил господь: как с сапогами-то да со сватьей нырну — она хлебнула воды и отпустила меня. Слава тебе, господи! Вынырнул; а сватья тонет уж, только ручка из воды выставляется. Я все-таки за ней... А сапоги все в зубах. Подплыл, схватил за волосы да на берег. И сватью выволок и сапоги соблюл. Откачали мы ее на берегу, я ей и говорю: «А ведь ты меня, такая-сякая, чуть не утопила...» «Ничего, говорит, не помню!» «Моли, мол, бога, что ты мне сватьей приходишься, а то не стал бы я нырять за тобой, как меделянский пес...» Наших в те поры человек шестнадцать утонуло.

— Со страхов, обыкновенно, друг друга и топят, — говорил Гаврилыч. — Мы этак же как-то плыли, а перед нами барка и убейся... Ну, народ, обыкновенно, в воде тонет. Глядим, двое прямо к бойцу же и плывут. Один было схватился рукой за веточку — уцепился, висит. А мы на них к бойцу так стрелой и пластаем, взарез... Уж близко было, сняли бы беспременно, а другой-то подплыл да его за ногу. Ну, оба в воду, сердяги... Так и потонули ни за

грош... Я так полагаю, — прибавил Гаврилыч после небольшой паузы, — что это блазнит человеку, когда он тонет... Может, ему нечистая сила глаза отводит: кажется, поди, что плывет к мелкому берегу, а тут вдруг головой о камень.

— А вот спросите, как Прошка барку убил под Горчаком — камнем, — говорил Мамко. — Я тогда с ним плыл... Тоже напримались страсти-то. Барку вверх дном выворотило.

— Прошь, а Прошь, расскажи, — упрашивали бурлаки.

— Отвяжитесь, черти... Ну, убил так убил, — отвечал Прошка, помешивая что-то деревянной ложкой в чугунном котелке, очень искусно пристроенном у самого огонька. — Вам какая забота?..

— Тогда с тобой служащий плыл? — спрашивал Окиня.

— Плыл. Какой-то уткинский.

— Ты его и утопил?

— Нет, он-то остался цел, а жена и четверо детишек тово...

— Захлестнуло валом?

— Не то штобы захлестнуло, а вроде как от

своей глупости... Барку-то как бздануло о боец — батюшки мои светы: светопреставление! Она, как лошадь, на дыбы... Ей-богу! Доски это летят, чугун, палубы, поносные, люди... А вода так и мелет, так и мелет. На верхней палубе была маленькая казенка[35] пригорожена, ребятишки у служащего в ней и сидели. Сам-то с женой стоял на палубе вместе со мной... Как это барка сорвалась к бойцу, жена-то у служащего в казенку, за детишками, а четверых где зараз вытащишь. В одну секунду барка моя на дыбы, мы с нее горохом так и посыпались в воду, а потом барка этак плечом, плечом да и выворотилась вверх дном. Да не оказия ли: пятнадцать тыщев пудов чугуна было, точно вот кто схватил ее рукой да и переворотил!..

— Этакая силища у этой воды, братцы!..

— Бедовое дело, когда река играет...

— Ну, вылезли мы на берег, — продолжал Прошка, подбрасывая в огонь несколько поленьев: кто где!.. Как тараканы расползлись или вроде, если кошку за хвост в реку... служащий тоже выплыл, а барка вверх дном, пустая мимо нас плывет. Ни жены, ни детей...

Как ударится, сердяга, о земь — тут и ума решился. Так в Пермь, в сумасшедшую больницу, и свезли.

— Да что ему за неволя была с караваном плыть?

— Да так сказывал, что трахтом до Перми надо было заплатить рублей двадцать, а тут даром довезут.

— Вот те и даром!.. А!

— Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие... Покорыстовался, а господь и нашел, — резонирует Гаврилыч.

— Ну, так, Гаврилыч, нельзя, — возражает Окиня. — Мало ли народу по реке плавает: может, грешный-то выплывет, а святой человек потонет. Это уж не в наказание, а так, произволение божеское.

— Нет, Окиня, ежели кто грешный человек, — беспременно утонет. Взять собаку теперь...

— Ну, это другое дело, — решает Окиня. — Дай мне тыщу рублей, я и то не поплыву с собакой...

— По какой причине не поплывешь? — приставал Гаврилыч. — По той причине, что

собака — все одно что черт... Нечисть и погань, одно слово. А грешный человек хуже пса...

— А если грешный человек покается, Гаврилыч? — спрашивает Минеич, прищуривая глаз.

— Да когда он успеет покаяться-то? Тут один секунд, и шабаш: только пузырьки...

— Ну, а если так: грешный человек видит, что барка на бойца бежит, он сотворит про себя молитву и раскается. Тогда как?

— Это ты, Минеич, правду сказываешь, — согласился Окиня. — Поэтому я пса никогда не возьму на барку... Пес разве может раскаяться? Может, в нем черт сидит, а он к тебе идет и этак хвостиком виляет.

— Вот тоже если свистеть на барке... — нерешительно замечает кто-то.

— Свистеть — это совсем другое дело, — говорит Окиня. — От свисту ветер поднимается... Уж это верно! Ты, Минеич, хоть и был учителем, а этого не понимаешь... Верно тебе говорю.

— Да не может быть, — протестовал Минеич в качестве образованного человека.

— Этак-то вот по межени плыли мы в позапрошлом году с приказчиком одним, — рассказывает Окиня, болтая ногами. — Он вот так же: пустяки, говорит, старухи, говорит, наврали... Ходит этак по барке да посвистывает. Ну, думаю, свисти, только штобы после не плакать. Выбежали это мы из камней, пониже Камасина, и принял нас ветер, и принял, и принял... Две недели выстояли у берега. «Ну, говорю приказчику после, будешь еще свистеть?»

Бурлаки хохочут. Минеич служит мишенью для шуток и острот. Когда он пытается объяснить причины происхождения ветра, вся палуба помирает со смеху, и он смолкает. Дождь продолжает идти, точно сверху сыплется мельчайшая водяная пыль. На передней палубе бурлаки приуныли. Только солдат и неугомонный Васька грызутся между собой.

— Молчи, кислая шерсть! — говорит Васька.

— А ты расскажи, как кислоту воровал? — спрашивает солдат.

Васька прославился тем, что однажды забрался на пристани в амбар и украл «кисло-

ту». Он думал, что в бутылке водка или спирт. На беду, он еще упал дорогой, и ему жестоко обожгло все ноги. Вылежал в больнице месяца три, и теперь, как ни в чем не бывало, только посмеивается. Это обстоятельство сблизило Ваську с Рыбаковым, у которого он «в подрушных», как говорят бурлаки.

— Эх, соколы ясные, синички-сестрички! — весело покрикивает Окиня на приунывших бурлаков. — Не весь голову, не печалуй хозяина!

Но эти возгласы плохо ободряют продрогших, полузамерзших бурлаков. Вечер приближается, всем хочется согреться и соснуть. Бабы суетятся около огня и воюют с Прошкой из-за дров и из-за котелка. Прошка, из любви к искусству, ругается с ними напропалую. Бурлаков занимает эта сцена.

— Лушенька, голубушка, котелком-то его по башке окрести!.. — советует Окиня. — Ну, еще разок...

Сплавщику очень хотелось бежать целую ночь, но бурлаки начали роптать и, наконец, совсем взбунтовались.

— Издохнуть, что ли, нам? — заворчал да-

же Рыбаков, который вообще был скуп на слова.

— А черт ли вам не велел одежу брать с собой?.. — ругается Окиня на палубе. — Нанимаются, а дошло дело — на попятный двор.

— По ночам мы не нанимались плыть, — возражает старик с передней палубы.

— Верно, верно! — слышатся голоса. — Хвататься, Окиня, пора... Собирай снасть, ребя... Кто на берег?

Плыть на берег со снастью, то есть с канатом, вызвались Васька и Афонька. Они сели в косную, куда сложили им канат, и отвалили к берегу.

— Тут за мыском сичас кедрик стоит! — кричал Окиня, бегая по палубе. — А около кедрика пень, вот за него и закидывай снасть... Налево нос-от.

Хватка, то есть привал барки к берегу, — даже осенью «в камнях» довольно замысловатая вещь, потому что течение здесь довольно сильное и нужно много ловкости и уменья, чтобы остановить барку. Про хватку весной и говорить нечего. Тогда сплошь и рядом рвется снасть или перегорает огниво, то есть дере-

вянный столб на корме барки, на который наматывается снасть. Дело в том, что когда конец снасти укреплен на берегу за дерево, нельзя закрепить снасть на огниве мертвой петлей, потому что или снасть порвется, или вырвет огниво. Чтобы предупредить это, начинают травить снасть, то есть обернутую вокруг огнива снасть понемногу выпускают, и барка останавливается постепенно. Нужно видеть, какая сила развивается здесь от трения снасти об огниво: часто огниво загорается, и снасть его перерезывает. Если канат лопнет, концами может убить несколько человек, чему и бывали примеры.

Я с любопытством следил за всеми подробностями происходившей хватки. Косная[36] быстро неслась к берегу. Прошка стоял на корме и разматывал снасть. Вот Афонька и Васька причалили к берегу, выскочили из лодки и вдвоем едва поволокли по траве тяжелый канат.

— Готово! — донеслось с берега.

Прошка ждал только этого слова и быстро навернул снасть на огниво. Барка вздрогнула, и канат натянулся, как струна.

— Трави снасть-то, трави! — орал Окиня. — Корму поддоржи...

Прошка спустил немного снасть, огниво задымилось. Барка, точно живая, сделала еще несколько усилий, но, сознавая их бесполезность, тихо, кормой подошла к берегу.

— Шабаш! — скомандовал Окиня; все сняли шапки и перекрестились.

III

Прошка был против того, чтобы «хвататься», потому что бурлаки пойдут непременно на берег, — чего стоит украсть полупудовую штыку. Когда бросали сходню, он стоял у борта и осматривал каждого, кто шел на берег. Скоро на берегу запылало несколько костров, около которых собрались кучки бурлаков. На барке остались: Гаврилыч, Минеич, старичок с передней палубы и сестра Рыбакова. Она варила теперь ужин и вообще играла роль хозяйки. Странное дело, даже на барке, среди этого отчаянного сборища и подонков общества, одно присутствие женщины вносило с собой теплый семейный характер и сейчас сглаживало те резкости, которые прежде

всего бросались в глаза. Даже Прошка — и тот перестал ругаться, а сидя в тюках меди рядом с Окиней, терпеливо ждал варева. Впрочем, он зорко следил за берегом, и малейший шорох заставлял его вскакивать.

— Ведь и народец только, — ругался Прошка, — с живого кожу сдерут!..

— Ты, смотри, не сдери с кого, — спокойно заметила сестра Рыбакова; она держала себя очень степенно и плыла с исключительной целью «заробить» четыре целковых, то есть проплыть на барке, может быть, недели две да пройти обратно пешком верст триста.

— А ведь ты точно, Прошь, — говорил Окиня, подмигивая, — ежели тебе в лапы попасть, обломаешь...

— Освежую, как есть, — соглашался Прошка, скаля зубы.

Незамысловатое варево скоро было готово, и вся компания разделила его по-братски. Здесь все были равны и ели в каком-то благоговейном молчании, осторожно отламывая кусочки хлеба, чтобы не уронить ни одной крошки, и старательно облизывали свои ложки. Глядя на этот ужин, кажется, мертвый за-

хотел бы есть, так все выходило аппетитно. Варево состояло из разваренной поземины [37] пополам с просом. Когда котелок был пуст, все усердно помолились на восток и поблагодарили хозяйку, которая одинаково ответила всем: «Свое кушали».

Окиня ушел спать в балаган к Прошке, Гаврилыч свернулся клубочком тут же у огонька, на медных штыках, подостлав под себя рогожку и сверху закрывшись старым зипуном. Прошка бродил по палубам и от нечего делать вполголоса ругал кого-то: ему приходилось не спать целую ночь и караулить металл.

— Уж не знаю, идти на берег или соснуть здесь, у огонька? — размышлял Минеич, улыбаясь рассеянной, доброй улыбкой; он успел высохнуть около огня и согрелся варевом.

— А ты постой, — отозвалась сестра Рыбакова, мывшая в реке котелок и ложки. — У тебя на кафтане-то больно дыра велика… Сними, так я зашью.

— Будь такая добренькая, Савишна, — просил Минеич, снимая свою хламиду.

Савишна прибрала ложки и котелок, при-

несла из-под палубы свою котомку и добыла оттуда клубок ниток с иголкой и несколько лоскутков старого сукна и холста. Она широко растянула сюртук Минеича против огня и только покачала головой. Можно было подумать, что Минеич только что вышел из какого-то сражения, где его рубили саблями, кололи пиками и шальные пули рвали на клочья его одежду.

— Решето решетом, — проговорила Савишна, затрудняясь выбором зиявших перед ней дыр.

— Да, поизносился малость, — соглашался Минеич, с удивлением рассматривая свое одеяние.

Без сюртука, в старой, донельзя заношенной рубашке и коротких холщовых штанинах, Минеич имел самый жалкий вид: вваливавшаяся грудь, тоненькие ручки и ножки, сгорбленная спина и вытянутая тонкая шея являлись во всей своей непривлекательной видимости. Когда Савишна, наконец, выбрала самую опасную, по ее мнению, дыру и присела с иглой к огоньку, Минеич сел около нее на корточки и, подперев свою птичью голов-

ку высохшей рукой, с тупой покорностью совсем беспомощного человека внимательно следил за ее работой.

— Уж только эти и мужики: ничего-то у них толку нет, — думала вслух Савишна, быстро работая иглой. — Ведь вот прибежим, Минеич, в город, получишь ты целковых пять, — ну, и заведи себе одежонку.

— А назад, Савишна, с чем пойду? Ведь триста верст пешком.

— Ну, оставь целковый

— Дома жена, ребятишки… Им тоже надо.

— Так ты и принес домой жене денег… — покачивая головой, не в укор проговорила Савишна. — Ведь все до последнего грошика пропьешь в городе-то…

Минеич только поник головой, подавленный величием тех нужд и слабостей, из которых была соткана вся его мудреная жизнь.

— Все пропью… — глухим голосом проговорил, наконец, Минеич, махнув рукой.

— Я бы все до единого закрыла эти кабаки, — говорила тихим голосом Савишна. — Ну, чего ты придешь домой-то без грошика? А там жена голодом сидит, детишки… Эх ты, го-

ре лыковое!

— Знаю, сам все знаю!.. — глухо проговорил Минеич, ударив себя кулаком в сухую грудь. — И жаль ведь мне их...

— С горя и выпьешь?

— Да, выпью, а потом приду домой, взгляну на эту свою бедность, — так вот точно кто ножом полыхнет по сердцу. Жена примется меня корить, а я ее тиранить... Ей-богу! Зверь зверем... Ребятишки кто к соседям, кто под лавку, а я ее тираню... Возьму да еще на колени возле себя на всю ночь поставлю или веревкой свяжу ей назад руки да ноги к рукам притяну... так она и лежит другой раз целые сутки.

— Зачем же вы так делаете? — спросил я, возмущенный этим равнодушным повествованием о собственных мерзостях.

— Да как вам сказать... Я и сам не знаю, зачем ее тираню, а так... кажется, вот взял бы нож да на мелкие части всю ее и разрезал... Безответная она у меня какая-то, а меня это еще пуще бесит, потому как я все-таки муж, и хочется мне, чтобы она у меня на коленях прощенья просила. Ежели соседи кто засту-

пятся, я еще хуже делаюсь, потому жена ведь моя... значит, я в своем праве.

— Ишь, какой Аника-воин, — равнодушно проговорила Савишна, не поднимая глаз от своей работы.

Меня поразило ее безучастное отношение к этим гадостям.

Я внимательно смотрел на тирана: кажется, пальцем его ткнуть, так и душа вон, а между тем это ужас целой семьи, ее страх и трепет. Мне пришли на память те богословские и юридические тонкости, которыми опутан союз мужчины и женщины. Ведь этот же самый Минеич и не подумал бы тиранить свою безответную жену, если бы не сознавал себя вправе делать с ней что угодно; и вдобавок, если бы она ушла от него, он, по праву мужа, мог вытребовать ее по этапу и воздать ей сторицей. Удивительное дело!

— Ну, вот тебе и заплата, — говорила Савишна, возвращая Минеичу его сюртук. — Носи на здоровье...

— Спасибо, Савишна, — благодарил Минеич, влезая в свою систему дыр. — А ведь я раз совсем нагишом пришел было со сплаву, —

добродушно прибавил он, любуясь пришитой синей заплатой. — Ей-богу!

— Как не прийти нагишом: в кабаках кожу свою готовы пропить, — сквозь сон говорила Савишна, калачиком свертываясь около огонька напротив похрапывавшего Гаврилыча.

— Как же это вы ухитрились? — спрашивал я, раскуривая папиросу.

— Да самое простое дело... В Перми деньги все пропили с бурлаками, а ведь дорогой, с устатку, тоже выпить хочется; ну, дойдешь до деревни, что-нибудь и заложишь, а потом в одном кабаке и рубаху со штанами пропил. Ей-богу!.. Так нагишом и пошел. Добрел до первой деревни, мужики в поле, а бабы как увидали меня — бежать. Я вошел в избу, захватил какие-то лохмотья и ушел. Все-таки хоть и дыра на дыре, а не нагишом. Ох-хо-хо!.. Господи батюшка, прости ты наши великие согрешения!..

— Чистые псы эти мужики в другой раз, — отозвалась Савишна, подняв голову. — Только и заботы, чтобы глотку налить винищем, а наша сестра колотится хуже всякой лошади

двужильной, да ее же еще тиранят. Теперь взять мое дело: зароблю четыре целковых, один целковый проем в передний путь, а другой в обратный... значит, на руках останется всего два целковых. А одежа, а обутки — ведь носится все...

— Разве у вас на пристани нет другой работы? — спрашивал я.

— Да какая, голубчик, бабе работа, особливо при бедности? Тут хоть свою голову прокормишь да на обутки заробишь, а дома что — дома и этого не заробишь. Теперь взять хоть пряжу... В день напрядешь, ну, пасма четыре али пять, а за пасмо получишь по грошу, значит, две копейки на день придется. А ведь надо встать в четыре часа утром-то да до поздней ночи, не сходя с места, робить. А лен-то чего-нибудь стоит? Вот какая наша работа, голубчик. Зимним делом, когда уже совсем деваться некуда, ну, торчишь день-деньской за прялкой... В зиму-то цельную хоть на одежонку сколотишься, а поить, кормить кто станет? Ладно, у кого мужья хорошие, а наша сестра-бобылка много слез напринимается... Да еще бога благодаришь, что хоть и с пустым

брюхом ляжешь спать, зато ты не бита, ребятишки с холоду да с голоду не колеют около тебя. Мудреная наша бабья жисть, барин...

— Тоже всякие из вас есть, — говорит Минеич, выставляя голову из-под своих дыр. — Другие... хе-хе!..

— Чего другие? Ой, Минеич, Минеич, грешно так говорить!.. Вот хоть взять Лушку или Степаньку, — ты думаешь, сладко им живется?.. Нам тяжело достается, а им вдвое супротив нашего... Только ведь по молодости доводят себя до этого, по своей женской глупости и малодушеству...

Дождь немного перестал, но небо было темно, и желтоватые облака неслись над самой землей. Река тихо бурлила, слегка покачивая барку. Огонь освещал спавших да темную фигуру Прошки, который безмолвно сидел на передней палубе. На берегу горело несколько огней, освещавших деревья и темные фигуры бурлаков. Изредка доносились голоса разговаривавших. Где-то в лесу ухал филин. Мне не хотелось спать, и я пошел к ближайшему огню. Могучая, старая ель наклоняла над ним свои лапчатые ветви зеле-

ным шатром. Изредка пламя косматыми языками рвалось вверх и добиралось до самых ветвей, которые слегка трещали и долго светились медленно тлевшими иглами. Вокруг огня в разных позах расположились бурлаки. На первом плане лежали Мамко и Афонька. За ними виднелись фигуры Лушки и Анки — Анка сидела, прислонившись к стволу дерева, а Лушка лежала на брюхе.

— Можно погреться у вашего огонька? — спросил я.

— Известно, можно, — отозвался Афонька.

Я тоже прилег на сухую хвою. Мое появление, видимо, прервало какой-то интересный разговор. Мамко повернул свой бок к огню и наслаждался ощущением теплоты.

— Так что, говоришь, дядя-то? — спрашивал Афонька.

— Дядя-то... А дядя, братец мой, порешил жену-то, — повествовал Мамко. — А сам в скиты ушел, к старцам...После ее в проруби нашли. Страсть глядеть: чересседельник на шее, язык высунула. И как это рука только у человека поднимается на этакое дело! Да вон Васька или Рыбаков... только кажется чего-че-

го они не придумают, и все на пакость, все надо погалиться над девками! Как-то раз Васька и говорит: «Пойдем, Мамко, в лес с нами». «Пойдем»... Рыбаков был с нами. Приходим в лес, а там девки уж ждут. Водка была с собой, закуска, пряники. Выпили и девкам поднесли. У Васьки своя любезная, а у нас с Рыбаковым свои. Еще выпили, а Васька отчаянный, ежели и тверезый, а пьяный хуже черта. Вот и придумал. «Ходи на четвереньках!» — кричит Васька своей. Мы хохочем... Смех!.. Потом заставил ее на сосну залезть и оттедо лаять по-собачьему. «На кого лаешь?» — спрашивает Васька. «На тебя, Василий Маркыч»... «Слезай!» Он тут и давай колышматить и давай колышматить, а сам приговаривает: «Зачем на хозяина лаешь? Не лай на хозяина!» Уж он ее бил-бил-бил, а потом давай ногами топтать. Насилу мы ее у него отняли. «Проси прощенья у моих дружков!» — кричит Васька. Валяется девка у нас в ногах, а Васька хохочет. После они с Рыбаковым чего с ней сделали: увели тоже в лес, раздели, да голую на муравейник и посадили... Сами водку пьют, а она на муравейнике жарится.

— Ах, псы этакие! — возмущается Афонька, у которого в глазах видно сострадание. — За что же они так девок мучают?

— Да так, для своей потехи… А тут взяли да одной ворота дегтем вымазали, потому что была честная и им не давалась в руки. Так ту отец опять давай колотить. Раздел донага, привязал руки к коромыслу, привязал самое к столбу да хлыстиком и давай изуваживать… так всю кожу до пят и спустил. Терпела она, терпела — да в воду, а после, как ее дохтур стал потрошить, она как есть честная девка оказалась. Так отец-то волосы после рвал на себе…

— Ах, варнаки! — ругался Афонька. — Вот ищо варнаки-то!!.

— Отцу-то каково было, а? Ведь кому ворота взмажут, да тут глаза в деревню показать нельзя. Срам всей родне. А уж девке чтобы после этого замуж — ни в жисть! Кому охота на себя петлю-то надевать: одни дружки-приятели проходу не дадут… В другой раз этот же Васька поймал собаку, с живой кожу содрал да так по улице ее и пустил.

— Они вот еще что-нибудь устроят, — гово-

рил Афонька. — Долго ли штыку стащить.

— Это у Прошки? Ну, нет... Он насквозь каждого человека видит. Бе-едовый, двух жен уходил, теперь третью в гроб вколачивает... Еле живехонька бродит. Вот у него, у лешака, какие безмены-то: как поднесет раза — да тут пять раз другая бабенка помрет.

— Ну, только и народ... — задумчиво говорил Афонька, встряхивая рыжими волосами. — У нас заводские бойки, а ваши пристанские превосходнее... Прямые разбойники!..

— Да тебя как к нам занесло-то?

— Как... Известно, не от ума. Отец у меня мастером на катальной, ну, листовое железо где катают. В выписку, в две недели значит, рублей двадцать заробит. Мастерам житье. Ну, у нас дом и все это прочее — как следует. Богато живем... Утром встанешь, а мать уж всего наварит и настряпает... В достатке живем. Только отец как определил меня на фабрику, мне там и не поглянись. Конечно, глуп человек... Материн сынок. Больно уж тяжело в четыре-то часа вставать да до семи вечера на фабрике робить... Так бы вот не глядели глазоньки! Ну, попробовал было прикинуть-

ся, что захворал, мать лекарку привела, а отец смотрел, смотрел да как принялся меня супонью охолаживать — всю боль как рукой сняло. У меня отец, ежели рассердится, делается вроде как твой дядя — што под руку попало, тем и хватит. Ей-богу... Сердце у него больно горячее!.. Ну, походил я этак с полгода на фабрику, а потом и надумал бежать... Да вот второй год теперь и брожу.

— Без пашпорта?

— Какой тут пашпорт: ноги вместо пашпорта...

— Отчего же ты к отцу не воротишься?

— Ишь, гладкой какой! Ступай-ко сам к моему-то отцу, покажи ему рыло — да он разорвет, как кошку. Вот из-за своей глупости всю эту муку и принимаю... Так переколачиваюсь, где лето, где зиму. В Кушве, в Кыну, по пристаням... Теперь у меня такой расчет: поброжу этак годика с три, а потом к солдатчине, как жеребий брать, и объявлюсь прямо в волости. А к отцу все-таки не пойду.

— Спать пора, — говорил Мамко. — Окиня завтра поднимется... еще черти в кулачки не бьются.

IV

На другой день, когда я проснулся, барка давно уже плыла. В моем балагане было страшно холодно. На барке точно все вымерло, ни одного слова, только вода тихо бурлила у бортов да скрипели поносные. Даже не слышно было команды Окичи, из чего можно было заключить, что барка плывет по плесу, то есть по тихому месту реки, где вода стоит как зеркало. Прошки не было, и я окликнул его.

— Белые комары, барин, — заявил он, появляясь с кипевшим чайником. — Поди, цыганский пот пробрал? Вот ужо погрейтесь около чайничка-то...

— Какие белые комары?

— А вот поглядите сами на них.

Я выглянул. В воздухе тихо кружились белые хлопья снега. Они падали вместе с каплями дождя и покрывали барку тонким мокрым слоем. Бурлаки стояли на палубах молча, с тем тупым выражением чувства покорности, когда человек сознает, что ему нет выхода. Сестра Рыбакова и старик с носовой палубы

прикрылись рогожками. Остальные были в прежних костюмах. Дождь давно смочил на бурлаках все их жалкие лохмотья до последней нитки. Васька и Афонька стояли в одних рубахах, очевидно из хвастовства, не желая наряжаться в мокрые рогожи. Впрочем, последние едва ли могли спасти их от страшного холода. Минеич совсем съежился и только жалко хлопал глазами, как голубь, у которого вынута половина мозга. Издали было заметно, как пар поднимался над бурлаками, а Рыбаков и Мамко просто дымились. Даже Окиня, и тот заметно приуныл и с немым укором причмокивал губами. «Эх, дескать, уж и угораздило тебя, снежок»...

— Бурлаки замерзнут, — говорил я, возвращаясь под сень своего балагана, который казался мне теперь лучше всякого дворца. — Ведь это ужасно... Они стоят под снегом чуть не голые! Они непременно замерзнут.

— Не впервой! — утешал Прошка, для которого это заветное словечко был ответом на все вопросы.

— Тебя поставить бы на палубу-то в одной рубахе, так другое заговорил бы...

— Стаивал и я, барин. Хуже бывало… На вешнем сплаву барка как сядет на огрудок или обмелеет, тогда ее сымать-то потруднее, чем теперь стоять у поносного.

— Чем труднее?

— А тем труднее, что приходится в воду лезть, а вода в те поры как есть ледяная. Ты барку сымаешь, а по реке лед плывет… Вот тогда как? Часов пять другой раз в воде по брюхо стоишь…

— Как же это? Простудиться можно!

— И студятся… Как не студиться, ежели теперь лед. Другие совсем даже без ног остаются. У нас таких человек пять на пристани есть: отнялись ноги, и шабаш. Человек ищо молодой, а куда он без ног-то: калека — калека и есть, одно слово. Милостинку просить — только и всего ремесла.

— Да вон поставь Минеича в воду — он тут и умрет.

— А вот это ты не ладно говоришь, барин. Недаром старики-то сказывают, что скрипучее дерево два века живет… Я нарочно замечал, что который бурлак в прыску, тот и погинет. Верно говорю… А Минеич не то! Минеич

так в худых душах и останется, он отдышится, потому у него уж состав такой: кожа да кости. А вот скоро работа будет, согреются, — прибавил Прошка.

— Какая работа?

— Да к Кыну переборы пойдут, тут много работы будет... Еще попарят лоб-то, даром что снег идет.

Вид берегов днем, при ярком освещении, полон самых оригинальных красот. Даже под дождем эти красоты сохраняются, хотя перспектива исчезает и даль представляется мутным пятном. Но снег сразу меняет картину. Нет ничего печальнее вида еще зеленой травы, которую заживо хоронит слой снега. Вам кажется, что эти зеленые стебельки чувствуют собственное замерзание и напрягают последние силы, чтобы пробиться из него зелеными усиками. Березы, рябины, ивы — вообще лиственные породы — разделяют общую участь с травой, с той разницей, что листва давно пожелтела и значительно поредела, так что эта последняя борьба между жизнью и смертью не бросается в глаза так резко. Один хвойный лес ничего не теряет от этой

перемены, а даже выигрывает: омытая дождем хвоя так и блещет своей темной зеленью, а снег ей нипочем. Самая вода в реке казалась теперь темнее и зловеще шумела на переборах и под камнями. Я долго смотрел кругом на измененную снегом картину. Сколько в ней теперь печального!.. Что-то точно давило самую душу при виде этой умиравшей зелени.

Бурлаки с ходу переругивались, точно от этого можно было согреться. И по тону и по содержанию этой ругани видно было, что она ведется pour passer le temps: [38] не было настоящего огня. Последнее происходило, может быть, и оттого, что публика относилась к этой ругани совершенно равнодушно, а равнодушие может убить даже истинного артиста. Ваське надоело ругаться с солдатом, и он теперь изощрял свое остроумие на «заводчине» Афоньке.

— Жжены пятки, калёны носки! — кричит Васька. — Сидел бы лучше у матери на печке да перегребал золу, заводчика...

— А ты, бурлак-ершеед, лаптем подавился, — отвечает Афонька.

— У вас с солдатом одна вера-то: чужими руками жар загребать... Я, кабы был сплавщиком, беспременно велел бы утопить вас в первом переборе. Окиня, ты скажи нам только одно слово, мы с Федей завяжем заводчину и солдата узлом да в Чусовую. Пусть ершей половит...

— Эк тебе, Васька, неймется, — говорит старик. — Ведь сам околел, а все еще ругается...

— Мне тепло, — отзывается Васька, встряхивая волосами. — Вон заводчина зубами стучит, как в кузнице!..

Барка медленно скатывается под нависшие утесы. Скалы кажутся теперь еще выше и угрюмее. Поносные глухо вспенивают воду. Мы плывем под Оленьим камнем. По преданию, преследуемый охотниками олень бросился с высоты этой скалы прямо в реку. Это salto mortale, конечно, стоило бедному животному жизни, потому что скала здесь поднимается над водой сажен на сорок, если не больше.

В одном месте выглянула на берегу деревенька. Бурлаки выпросили у водолива лодку

и отправились за провизией, «за харчем». На корме лодки сидел солдат, в веслах — Васька и Степанька; на носу помещался Рыбаков.

— Только у меня чтобы без баловства, — говорил Окиня, отпуская бурлаков. — Ты уж, Федя, смотри, пожалуйста, тово...

— Не впервой, — угрюмо отвечал Федя, не поворачивая своей буйной головы.

— Ну, они так не приедут, — говорили бурлаки.

Лодка обогнала барку и пристала к мысику, на который высыпало десятка два домиков. Бурлаки скоро скрылись в ближайших избах. Снег продолжал падать мягкими хлопьями; в воздухе стояла пронизывающая сырость. Бурлаки попеременно грелись у огня и выпрашивали у Прошки котелок для варева. Десятка два ложек горячей жижы едва ли в состоянии согреть продрогших насквозь людей. Афонька посинел и стучал зубами, Минеич походил на мокрого цыпленка, который только что вылупился из яйца; припоминая вчерашние разговоры, я совсем не жалел этого несчастного служащего. Уж лучше бы ему умереть, чем вернуться обратно домой и ти-

ранить несчастную жену.

— Ах, псы!.. — ругался Окиня, высматривая из-под руки вверх по реке, по направлению к оставшейся назади деревушки, от которой отделилась черной точкой лодка. Да не ерники ли, не варнаки ли?..

— Чего ты ругаешься, Окиня?

— Да вон псы-то, остались в деревне... Только двое плывут, — один в веслах, другой на корме. Ах, варнаки, варнаки!..

Как я ни напрягал зрения, решительно невозможно было ничего рассмотреть в догонявшей нас черной точке. Только орлиный глаз Окини был в состоянии различить даже фигуры людей.

— Курва Степанька в веслах сидит, а на корме солдат... Да не мошенники ли, а тут сейчас работа!.. Ах ты, господи милостивый...

— Почему ты думаешь, что это плывут непременно Степанька с солдатом?

— Да ведь сразу видно... Эвона как веслом-то бултыхает, точно квашонку мешает, — известно, бабье дело! А лодка-то из стороны в сторону так и мотается, небойсь, у Феди с Васькой бежала бы как по струне.

Лодка нас догнала через четверть часа. В ней действительно сидели только Степанька и солдат; в носу помещалась закупленная провизия; картофель, ковриги хлеба, что-то завернутое в грязную тряпицу.

— Ничего, догонят, — успокаивал сплавщика Прошка.

— Знаю, что догонят, на берегу не останутся...

— А как они будут догонять барку? — поинтересовался я.

— А вот увидишь... Это уж их дело. Прошь, припаси-ка новенькую лычагу. Надо будет поучить ребят...

Прошка отправился в свой балаган и вынес оттуда свернутую вчетверо веревку из лык, какой были перевязаны медные штыки в тюках.

Я с нетерпением ждал этой науки «ребят», но барка плыла вперед, а их все не было.

— Вон за этим плесом сейчас перебор будет, — говорил Окиня, с беспокойством поглядывая назад. — Вода мала, как бы на таш не наткнуться.

Барка тихо катилась по неподвижно стояв-

шей воде. Мы огибали широкую излучину, в которой вода точно замерзла и не двигалась. Берега поросли дремучим хвойным лесом, из которого виднелись только вершины лиственниц. Где-то слабо посвистывал рябчик, нарушая царившую кругом мертвую тишину.

— Плывут!.. — пронеслось по барке, когда из-за мыса, пересекая реку, показалась узкая однодеревка, лодка-душегубка, как называют здесь такие лодки. Она так низко сидела в воде, что бортов совсем не было видно и люди, казалось, плыли прямо по воде. Теперь уж можно было рассмотреть массивную фигуру Рыбакова и Ваську; на корме сидел плешивый седой старик и с песнями бойко гнал лодку одним веслом.

— Ишь, как весело плывут! — любовался Прошка.

Лодка причалила к борту. Бурлаки вылезли; старик в лодке крепко стоял на ногах, — видно, что с детства вырос на воде.

— Весело плаваешь, дедко, — переговаривались бурлаки со стариком.

— Изуважить хотел бурлачков, — молодцевато отвечал старик, подмигивая глазом: —

Славные ребята...

— На што лучше, дедко.

— Ты чего тут торчишь? Отваливай! — кричал Прошка. — Еще штыку выудишь, пожалуй...

— Да вот мне расчет с молодцов надо получить.

— Какой тебе расчет? — отозвался Васька. — Тебе, старому черту, заплачено сполна, и проваливай....

— Как заплачено? Ах, разбойники!..

— Ты еще ругаться!..

Душегубку оттолкнули, а старика Васька на прощанье из ведра окатил водой. Бурлаки хохотали. Когда ругавшийся старик, наконец, отстал, Васька вытащил из кармана кисет с деньгами и красный бабий платок.

— Купил, Васька?

— Известно, купил... Пока баба Степаньке отпускала картошку, я платочек выудил.

— А кисет где господь послал?

— Кисет стариков... Вот этого самого, што нас с Федей привез. Верст десять нас пятил, согрелся, а как скинул с себя кафтан, я в кармане и нашел.

— Ну, долго будет вас благословлять старик, — смеялись бурлаки. — Теперь, поди, парит лоб-то, сердяга. Верст двенадцать надо ему подниматься вверх по реке, а приедет домой — хватится кисета... А там уж баба о платке, как корова, воет! Да не варнак ли ты, Васька....

За этой сценой началось учение. Первого вызвал Окиня Рыбакова. Гаврилыч и старик с передней палубы разложили его на тюках, первый сел на голову, второй на ноги, Прошка стоял с лычагой в руках.

— Ну-ко, Прош, отпусти ему десяток...

Лычага засвистела в воздухе и оставляла синие рубцы на голой спине Рыбакова. Получив свою порцию, Рыбаков поднялся и как ни в чем не бывало встал на свое место к поносному. Васька сам явился на экзекуцию. Ему отсыпал Прошка целых двадцать ударов, но Васька даже не пошевельнулся. Этим наука и закончилась.

— Спасибо, Окиня, за науку, — благодарил Васька, приводя в порядок свой костюм. — Теперь малость как будто согрелся....

— В другой раз я тебя так согрею, что неде-

ли две у меня не сядешь, — сурово говорил Окиня. — Не нашли раньше время-то: как работа, вас и нет, чертей... Посадил бы полубарок на таш, кто к ответе? С вас немного возьмешь...

Впереди уже шумели переборы, где ждала бурлаков работа. Река суживалась, и тихая поверхность плеса переходила в бурливший поток. Волны прыгали, как загнанное стадо овец. Струя подхватила сильнее нашу барку, и она начала вздрагивать. Я стоял рядом с Окиней и смотрел на приближавшиеся переборы. По моему мнению, никакой особенной ловкости не нужно было, чтобы пройти это пространство в несколько сажен: достаточно было знать, как идет русло. Окиня подтянулся и зычно покрикивал на бурлаков; я попросил его объяснить, в чем будет заключаться работа.

— А вот видишь первый перебор, — объяснял мне сплавщик: — тут мы пробежим по старице под левым берегом, а потом перекосим к правому... Вон на втором переборе, видишь, как посередине вода в двух местах маненичко взбуривает — это два таша лежат:

один повыше, другой пониже. Ежели мимо одного далеко пройдешь, попадешь на другой.

— Что же ты будешь делать?

— Я-то?.. А видишь, надо по перебору вкось пройти. Вот тут и беда: маненичко, на волос прошибся, на таш струей и снесет... Теперь понял?

— Да, понял.

— Держи нос-от!.. Направо, молодцы!.. Постарайтесь, родимые!.. Похаживай, бурлачки...

Барка бойко врезалась в первый перебор. Довольно большие волны с шумом разбивались у бортов. Поносные с особенной энергией падали в воду и распахивали ее на две широкие волны. Бурлаки прониклись одним общим чувством самого напряженного внимания. Барка не была уже мертвой посудиной, теперь она скорее походила на громадное живое существо, которое было преисполнено напряжения всех своих живых сил; даже эти неуклюжие поносные можно было принять за две громадные руки, которые судорожно взрывали воду. Нужно было видеть в это вре-

мя бурлаков. Я теперь только понял, чем славились утчане: едва сорвется команда с языка Окини, как все ударят поносным с таким напряжением, точно тяжелое бревно в руках восьми человек превращается в игрушку. Это называется «работать одним сердцем». Я просто любовался этой ничтожной кучкой бурлаков, которая в торжественном молчании пометывала поносное, как перышко. Подгубные работали за десятерых. Рыбаков и Мамко както особенно ловко срывали поносное, поднимали перо над водой и глубоко погружали его в волны. Можно пожалеть, что нельзя было срисовать эту кучку работавших «одним сердцем» бурлаков: они просились на полотно в своих энергичных позах.

— Шабаш нос-от! — крикнул Окиня, когда барка миновала первый перебор.

Теперь задача, которую предстояло нам разрешить, была очевидна и ясна: в самой средине второго перебора бурлившая вода обозначала лежавшие под водой таши, один немного выше, другой — ниже. Чтобы пройти мимо них, нужно было перерезать перебор вкось, между ташами, причем следовало как

можно более пройти к первому ташу, потому что водяная струя будет сносить барку на второй.

— Молодцы, ударьте нос налево!.. Нос налево! Сильно-гораздо ударьте, молодцы!.. Молодцы, не выдай! — кричал Окиня, взмахивая рукой. — Корму поддоржи!.. Корму... Корму!..

Сильная струя подхватила барку и стремительно понесла ее на первый таш. Мне показалось, что барка должна была разбиться вдребезги: так она близко прошла мимо холмика взбивавшей кверху воды. Нужно было теперь отбивать корму, которую сильно относило водой, но тут произошло что-то необыкновенное: в момент, когда я считал опасность уже миновавшей, барка с треском налетела на второй таш прямо своим правым плечом. Дно выгнулось, и барка, кажется, готова была сейчас переломиться пополам.

— Отуривайся! — скомандовал Окиня.

Барка отурилась, то есть повернулась кормой вперед, но этот маневр не мог ее спасти: она повертывалась на таше, как флюгер.

— Шабаш, — уныло проговорил Окиня, убедившись в невозможности сорвать барку с

таша; он бросил на палубу свои кожаные рукавицы и почесал затылок. — Эк, угораздило... а! Сила не взяла...

Бурлаки бросили поносные и громко разговаривали. Вода страшно бурлила вокруг нас. Прошка вылезал из-под палубы, куда лазил осматривать, не повреждено ли дно.

— Эк тебя, Окиня, угораздило... а! — проговорил Прошка, тоже почесывая затылок. — Прямо, как есть, на быка залезли!..

— Ослеп, старый черт, — ворчал Рыбаков в кучке бурлаков. — Надо было раньше отбивать корму...

— Ты не ослеп, — ругался Окиня. — Как бы ты ее стал отбивать, ежели струя...

— А мы в воду не пойдем! — кричали бурлаки в один голос. — Снимай, как знаешь...

— Ах, вы, собаки! — ревел Окиня, бегая с одной палубы на другую. — Да как вы не пойдете, ежели надо сымать барку... Не сидеть же на ташу!..

— А вот подождем, когда вода сверху подойдет, — отвечал Рыбаков спокойно: — Тогда сама барка сымется...

— «Подождем!» «Сама сымется»... — пере-

дразнивал Окиня и, не найдя что возразить, только обругался крупной мужицкой руганью.

V

— Дай мне отдохнуть, — советовал Прошка, когда мы вошли в балаган,

— Будь они от меня прокляты! — ругался Окиня.

— Сымем, Окиня, — утешал Прошка и, указывая глазами на небольшой дубовый бочонок, лежавший в углу, прибавил: — Вон силу-то раскубарим, так с головой в воду залезут... Пусть их поерошатся немного, отведут душу.

Мы напились чаю, Окиня с яростью отдувал пар с своего блюдечка и издавал время от времени какие-то неопределенные звуки. Бурлаки в это время собрались гурьбой около огня и ругали сплавщика; бабы суетились около котелков. Минеич грел руки над самым пламенем и морщил лицо; Рыбаков молча курил цигарку, заложив ногу на ногу.

— Меня хоть расколи, а я не полезу в воду! — кричал Васька, размахивая руками. —

Мне што: не полезу, и шабаш... Околеть што ли мне для Окиньки?..

— Полезешь, пё-ос! — певуче говорила Савишна, помешивая одной рукой в котелке, а другой заслоняя лицо от огня. — Не бабам же сымать барку...

— Ишь ты, больно слизкая: не бабам!.. А чем вы святее нас? Подол в зубы да и в воду...

— За четыре-то рубля да в воду — жирно будет, подавишься, Васинька! Ты вот получишь восемь целковых, так и полезай за них в воду. Вот Окиня подаст по стаканчику, так под барку залезешь.

Скоро из балагана показался Прошка. По его хитрой роже было видно, что он явился для переговоров, хотя и сознавал всю трудность возложенной на него Окиней дипломатической миссии. Бурлаки загудели, как рой пчел, при его появлении.

— И не говори, Прошка... Лучше и не говори! — орали голоса.

— Да я... ах, господи милостивый?!. Да я, што ли, ворог вам? Да разрази меня на месте... Вот сичас провалиться, с места не сойти!..

— Вре-ошь, Прошка!.. — галдела толпа. — Вишь, ребята, как он буркалами-то ворочает, как осетёр... Проваливай, Прош, в балаган, испей чайку с Окиней — может, вдвоем, как ни на есть, а сымете барку. Чайничков пяток охолостите, так с одного пару пойдет...

— Да я для вас же хлопочу, братцы...

— Ишь, братец какой выискался!. Нет, Прош, не тебе в воду-то лезть, так ты, тово, проваливай в палевом, приходи в голубом!..

— Да ведь вам же, дуракам, хуже, если будем сидеть на ташу. Ну, чего вы горло понапрасну дерете: не впервой! — Обсохнет барка на ташу — и ступайте домой без расчету...

— Так и пошли!.. Подставляй карман шире...

— Дело прямое, что без расчету уйдете... Мне ведь што, мне все равно, об вас говорю.

Эти переговоры не привели ни к чему, и Прошка удалился в балаган ни с чем; но его резоны произвели известное впечатление, главным образом, конечно, на благоразумный, рассудительный элемент. Первым отозвался старик с передней палубы, а за ним Гаврилыч и Мамко; бабы им вторили. Ма-

ло-помалу голос благоразумия начал брать перевес, особенно когда бурлаки отдохнули и наелись. Васька завернулся в мокрую рогожку и спал мертвым сном тут же на медных штыках, — только пар валят. Можно было подивиться этому железному здоровью.

— Первое дело, не надо, как вылезешь из воды, соваться к огню, — говорил Минеич, попыхивая крошечной сигаркой.

— Отчего же нельзя? — полюбопытствовал я.

— А это уж известно каждому бурлаку... Да. Примеры бывали. Кто этаким манером продрогнет в воде да к огню сунется, сейчас ноги как деревянные и сделаются. Так совсем и отнимутся: пропал человек. Надо исподволь... Обтерпишься где-нибудь под палубой, потом можно и у огонька погреться. Хорошо, если у кого переменка есть в запасе: рубашка, штаны... Чтобы, значит, сейчас в сухое переменниться.

— А у вас разве нет с собой другой рубашки?

— Другой-то нет...

— Тогда без рубашки лезть в воду?

— Оно, пожалуй, и так, да как-то не принято... Совестно одному-то голому быть, притом на барке вот женщины тоже. Нет, уж так, как господь пошлет: обсохнет понемногу на живом человеке.

Как могла обсохнуть мокрая рубашка на костях Минеича, для меня было такой же загадкой, как богатырский сон Васьки, который теперь был обсыпан поверх своей рогожки целым слоем мокрого снега. А дорогое время летело. Короткий осенний день был в середине. Еще несколько часов, и барке грозила серьезная опасность совсем обсохнуть на ташу. Снег продолжал валить мокрыми хлопьями. В воздухе стояла мертвая тишина, нарушаемая только всплесками и шумом бурлившего около нас перебора. Прошка раскупорил заветную посудину и вынес бочонок на палубу.

— Ну, братцы, подходи, — кричал водолив, наливая первый стакан. — Кому первому? Эх, хороша водка!.. Сам бы пил, да деньги надо...

— Ты уж в Перме отведешь душу, Прош, — дружелюбно говорили бурлаки, гуськом подходя к бочонку.

Первым подошел Минеич. Дрожащей ру-

кой взял он стакан из могучей лапы Прошки, перекрестился, разгладил рыжие усы и жадно прильнул синими губами к стакану, пока в нем не осталось ни капли.

— Ты уж, Минеич, тово, пожалуйста, постарайся, — шутил Прошка: — на тебя вся надёжа!.. Прикладывайтесь, ребята.

В этой обстановке, при работе в холодной воде, водка являлась, кажется, единственным спасительным средством, и, право, едва ли можно обвинять бурлаков в таком пристрастии к ней. Пили все с одинаковым удовольствием, и все одинаково крякали и пожимались от разлившейся благодетельной теплоты по измерзшему бурлацкому телу. Окиня тем временем хлопотал на корме, где разматывали снасть и готовили «неволю». Неволей, на образном бурлацком жаргоне, называется широкое, стесанное с двух сторон бревно; оно походит на обыкновенную доску, только чрезвычайно толстую.

— Сперва попробуем неволей, — кричал Окиня: — может, и сдернет с таша...

Неволю прикрепили комлем к носу, а другой конец свободно опустили на толстом ка-

нате.

— Кто из охотничков на неволю? — кричал Окиня.

Мамко и Васька молча выделились из толпы. Через минуту они были в одних рубашках.

— Мотряй, чтобы струей не сбило, Вась...

— Не собьет, — отозвался Васька уже из воды, которая ему доходила по грудь. — Ух, студяно!..

Мамко последовал его примеру, и с «чегенем», то есть длинным колом в руках, стал под плечом барки; Васька, цепляясь за неволю, перебрался до ее дальнего конца и обседлал ее.

— Прош, чегени! — кричал Окиня, бегая по корме. — Федя, ищо потуже...

Прошка и Рыбаков плотно подперли корму барки толстыми кольями с противоположной неволе стороны; но место было глубокое, колья трудно было установить правильно, и Рыбаков спустился в воду.

— Мамко, подчегенивай! — крикнул Окиня, держа в руках закрепленную на огниве снасть.

Мамко продернул свой кол в отверстие, сделанное на конце неволи, и как-то особенно ловко повернул бревно ребром, так что вода сразу образовала запруду и сильно наперла на неволю. Васька старался удавить прыгавший конец неволи глубже в воду. Канат натянулся. Барка задрожала. Бурлаки с шестами стояли на корме и не давали ей поворачиваться назад. Был один момент, когда барка, кажется, была готова сняться с таша, но одной неволи было мало, а другой не было в запасе.

— Видно, нечего делать, братцы... — уныло проговорил Окиня, почесывая затылок. — Берите чегени да в воду.

Минеич, солдат, Гаврилыч, Афонька, Прошка и старик с носовой палубы, ожигаясь, спустились по другую сторону от неволи и выровнялись с чегенями под левым плечом барки. Бабы стояли у носового поносного. Нужно было спустить неволю, а потом вдруг повернуть ее, и в то же время бурлаки должны были сдвигать барку чегенями. Васька затянул «Дубинушку». Когда дошло до «подернем», неволя зашумела, бабы ударили нос, на-

право, бурлаки приподняли левое плечо чегенями — барка немного подвинулась, но потом опять стала.

— Эх, ешь-те мухи с комарами! — ругался Прошка, бросая свой шест. — Точно руками кто ее держит.

— Маленичко подалась, братцы, — одобрял Окиня, и сам затянул «Дубинушку».

Что-то такое необыкновенное было во всей этой картине: эти люди, стоявшие чуть не по горло в воде, шум бурлившей воды, эта дружная песня, гулким эхом катившаяся вниз по реке... А снег продолжал все идти, точно белым саваном, покрывая все кругом. Несколько раз уж пропели «Дубинушку», у бурлаков давно стучали зубы. Прошка в эту критическую минуту опять появился с магическим стаканчиком и бочонком.

— По два стакана на брата, — распорядился Окиня.

Бурлаки, не вылезая из воды, выпили свою порцию. Грянула опять «Дубинушка», и на этот раз барка начала медленно сползать с камня, на котором видела.

— Сильно-гораздо, молодцы! Сильно, мо-

лодцы!.. — неистово орал Окиня, бегая по палубе как сумасшедший.

Бурлаки с дружным криком подхватили барку чегенями, и она, наконец, сползла с таша. Все бросились из воды и карабкались по бортам. Минеича при этом чуть не утянуло под барку, но Прошка вовремя ухватил его и, как мокрого котенка, выдернул из воды.

— Поживи еще, Минеич, — шутил Прошка, опуская свою добычу: — рано собрался ершей-то ловить.

— Чуть было не засосало... — шептал Минеич посиневшими губами; он теперь был рядом с другими бурлаками неизмеримо жалок и едва попал ногами в свои ветхие порты.

Барка точно обрадовалась своему освобождению и, казалось, плыла как-то необыкновенно легко и ходко. Бабы равнодушно смотрели на бурлаков, как они одевались в свои лохмотья, и ни на одном лице не промелькнуло ни улыбки, ни тени стыдливости. Да и чего было стыдиться, когда продрогшие, окоченевшие люди спасали себя от холода.

— Ну-тко, погрейся, братцы! — командовал Окиня, затягивая свое бесконечное «нос на-

право», «поддоржи корму», «наконь корму», «корму на порубень» и т. д.

Бурлаки с особенным усердием налегли на поносные и выбивались из последних сил, чтобы согреться. Этот маневр все-таки был лучше, чем дрогнуть где-нибудь под палубой. К огню никто не подошел, кроме солдата, который не знал приемов бурлацкой гигиены.

— Ступай ты к поносному, — говорил Прошка несчастному воину. — Охота человеку задарма пропасть... Вот согреешься, тогда и к огню.

Хорошо это было советовать, но каково терпеть!

— Шабаш! — скомандовал, наконец, Окиня и, сняв шапку, проговорил: — Спасибо, други сердечные... Вызволили!.. Прош, закати им ишо плепорцию!

Бурлаки выпили свою «плепорцию» и только теперь собрались вокруг огня, подставляя промокшие спины и бока под самое пламя. Водка на них не производила никакого опьянения, хотя на каждого выпало чуть не по полуштофу. В котелках варево было уже готово, и все принялись за него с особенным

ожесточением. Бабы суетились и помогали. Теперь барка походила на большую семью. Моралист мог еще раз убедиться в очевидности той истины, как страдания сближают людей.

— Ох, уж эти мне камешки! — говорил Окиня, когда мы пили чай в балагане. — Нет того хуже, как плавать по межени: в камнях таши, а выбежишь из камней, пойдут огрудки.

Вечером барка схватилась немного повыше Кыновского завода, потому что плыть в темноте дальше было опасно. Мне больше нечего было делать на барке: из Кына приходилось ехать в Пермь по гороблагодатскому тракту. Я распрощался с бурлаками, с Окиней и с Прошкой. Мой чемодан лежал уже в лодке, где ждали Васька, Афонька и Мамко, которые вызвались отвезти меня в Кын.

— Ты, барин, весной к нам приезжай, на Чусовую-то, — говорил мне на прощанье Окиня: — изуважим... Долго будешь помнить!

— И теперь не забуду.

— Теперь чего: раков давим.

На рубеже Азии
Очерки из захолустного быта

{3}

I

Мой отец был человек среднего роста, замечательно толстый, вспыльчивый, добрый и слабохарактерный. Последнее я понял, может быть, слишком рано, еще в том счастливом возрасте, когда люди всему на свете предпочитают сладкое, верят всем на слово и всякую книгу считают своим смертельным врагом. Бывало, отец сильно вспылит на что-нибудь, закричит, затопает ногами, и кажется, вот-вот возьмет да и переломит пополам своего собеседника, но как-то случалось всегда так, что именно в эту самую минуту появляется мать своими неслышными шагами, и отец вдруг стихнет и заговорит совершенно другим голосом; только изредка это быстрое затишье нарушалось очень резкими нотками, точно кто возьмет да и отрубит топором. Мать скромно садилась с работой куда-ни-

будь в уголок и все время самым сосредоточенным образом ковыряла какой-нибудь чулок, строго поджав губы. Я всегда с особенным любопытством наблюдал эту немую сцену и знал наперед, что, когда выйдет за дверь тот человек, который заставил отца сердиться, мать, не подымая глаз от чулка, проговорит своим тихим ласковым голосом:

— Вам, Викентий Афанасьич, очень вредно горячиться... и Январь Якимыч как-то это же говорил.

— Да я, Пашенька... ах, подлецы, подлецы!!. - разражался обыкновенно отец страшными проклятиями, но это был уже последний удар грома.

Схватившись за голову, отец долго ходил тяжелыми шагами, от которых дрожали половицы; его большое строгое лицо с косматой бородой и сердитыми серыми большими глазами скоро смягчалось, и он немного виноватым голосом проговаривал, не обращаясь собственно ни к кому:

— Чайку бы напиться...

Мать молча поднималась с своего места, не глядя на отца, брала со стола всегда бле-

стевший самовар и отправлялась с ним к печке: отец очень любил пить чай, и поэтому самоваром в нашей семье разрешалось очень много тяжелых минут, в которых не было недостатка. Я уверен, что не будь самовара, этих тяжелых минут в нашей жизни было бы несравненно больше.

Отец служил священником в одном из уральских горных заводов, на самом плохом месте, какое только было во всей ...ской губернии, куда он попал благодаря своей горячности. Этот завод называется по речке Таракановке — Таракановским или попросту Таракановкой; в нем было всего полторы тысячи жителей, половина которых уклонилась в раскол, значит, приход был самый последний и едва ли давал отцу в год и сто рублей дохода, кроме двенадцати рублей жалованья, на которые приходилось существовать целому семейству в шесть человек. Правда, у нас была готовая квартира, состоявшая из двух комнат: кухни и чистой комнаты; готовое отопление и освещение и, кроме того, ежемесячно от владельца заводов выдавалось по полтора пуда ржаной муки на душу, что на шесть че-

ловек составляло в месяц девять пудов.

Чистая комната служила гостиной, кабинетом отца, спальней; кухня была и приемной, и прихожей, и столовой, и детской. Я не понимаю, как моя мать могла ухитриться, чтобы эти две комнатки всегда были и чисты и опрятны; но это было так, по крайней мере я не помню, чтобы в этих комнатках когда-нибудь был сор или грязь. Чистота — это был культ моей матери, вторая натура. На всех вещах, которые были в наших двух комнатках, непременно лежала эта строгая печать: скромная чистенькая мебель, посуда, платье — все было очень скромно, даже, может быть, слишком скромно и, вероятно, казалось бы очень бедным, если бы чистота не скрадывала пятен, заплаток и той особенной полировки, которую получают вещи от долгого употребления.

Входивший в кухню не замечал, что он в кухне: русская печь, налево от двери, была замаскирована всегда чистенькой ситцевой занавеской, — направо от дверей, около стены, тянулась широкая деревянная скамья, перед ней стоял большой ломберный стол, на кото-

ром обедали, пили чай, а в свободное время работала мать с моими сестрами или я готовил свои уроки. Небольшой стенной шкафик, тоже замаскированный ситцевой занавеской, умещал на своих небольших пяти полках почти всю кухонную посуду, за исключением нескольких медных кастрюлей, которые хранились вместе с двумя серебряными ложками в большом деревянном сундуке, стоявшем за печкой, где была спальня и будуар моих сестер. На полу всегда были настланы чистенькие половики домашнего приготовления; около печки ярко блестел медный рукомойник с медным тазом; в переднем углу висел старинный образ в серебряном окладе; только одна картина, написанная масляными красками на железном листе, которая висела как раз против входа так, что всякому невольно бросалась в глаза,— одна эта картина представляла какое-то исключение из всей этой обстановки, а для меня — неразрешимую загадку.

Эта мудреная картина изображала знаменитую сцену, происшедшую между целомудренным Иосифом и женой Пентефрия[39], и,

нужно отдать ей справедливость, изображала очень плохо, хотя неизвестный художник не поскупился ни относительно красок, ни относительно фантазии. На первом плане была кровать, нечто среднее между эшафотом и комодом, а на кровати лежала совсем голая женщина с красным лицом и розовыми ногами, прикрытая какой-то сеткой, походившей на невод; она улыбалась и манила рукой Иосифа, который, оставив в ее руках часть своей верхней одежды, поспешно удалялся, неестественно загнув назад голову и как-то особенно смешно выворотив обе ноги, точно они были у него вывихнуты. Как попала эта странная картина в нашу скромную обстановку и зачем она висела прямо против входной двери, я до сих пор не могу объяснить этого себе, но картина висела несколько десятков лет и так всем нам примелькалась, что, кажется, никому и в голову не приходило, что она могла быть неприлична.

В чистой комнатке, в дальнем углу, стояла громадная двухспальная кровать, скрытая под шерстяным пологом; налево от двери стоял письменный стол отца; несколько деше-

вых стульев было расставлено вокруг стен; коричневый диван, перед ним «десертный» стол, а налево от дверей стоял громадный комод, оклеенный красным деревом. Этот комод составлял исключение в нашей скромной мебели, и я часто рассматривал эту диковинную вещь, лучше которой ничего не мог себе представить. Я гладил рукой полированное дерево, прикладывал к нему щеку, дышал на него, наблюдая, как пар от дыхания мокрым пятном ложился на политуру и быстро высыхал; но медные ручки ящиков приводили меня просто в восторг и своим блеском и своей изящной работой в форме переплетавшихся между собой змеек.

Отдельно от всей остальной мебели стоял высокий посудный шкаф, занимавший самое видное место: за его стеклами была собрана вся наша лучшая столовая и чайная посуда, две фарфоровых куклы, несколько кондитерских сахарных яичек и полдюжины ярко-расписанных фарфоровых тарелок, на которых в торжественных случаях подавалось варенье и десерт. Вообще, сквозь всю нашу скромную обстановку проходило несколько вещей ка-

ким-то исключением, и на них, кажется, сосредоточено было все внимание моей матери: она так всегда берегла их и каждый раз с особенным удовольствием вынимала их откуда-нибудь из глубины сундука потому, вероятно, что они безмолвно напоминали ей о лучшем времени. В числе этих вещей были знаменитый комод, рукомойник, две столовых и полдюжины чайных серебряных ложек, несколько разрозненных чайных чашек, медные кастрюли, полдюжины фарфоровых тарелок, и, кажется, к ним же принадлежала знаменитая картина, с которой, по-видимому, у матери связано было или какое-нибудь хорошее воспоминание, или, может быть, даже суеверная надежда, что существование этой картины тесно связано с существованием всей нашей семьи. Что такие фамильные суеверия существуют и передаются из одного поколения в другое, в этом, вероятно, убедился всякий мало-мальски наблюдательный человек.

— Это еще когда мы в Махнёвой жили, — неизменно приговаривала мать каждый раз, вынимая какой-нибудь медный подсвечник

или старинную фарфоровую чашку, причем непременно припоминалось с необходимыми подробностями какое-нибудь событие из жизни нашей семьи, так что по этим чашкам, тарелкам и ложкам можно было восстановить очень подробно историю нашего семейства — каждая чашка, каждое блюдечко говорили за себя.

— Вот эту чашку с розовыми цветочками подарил тебе твой крёстный, — говорила мать, повертывая перед моим носом небольшую красивую чашку. — Тогда Викентий Афанасьевич купил в городе кобылицу, приезжает домой и говорит: «Пашенька, посмотри, какую я лошадь купил в городе», — а крёстный-то из-за его спины выставил эту чашечку и говорит: «А я вот крестнику чашечку тоже купил»...

«Когда мы жили в Махнёвой» — это было началом и концом всякого разговора в этих случаях, потому что в Махнёвой остались лучшие воспоминания нашей семьи, когда у нас была знаменитая кобылица, которую не могла обогнать в Махнёвском заводе ни одна лошадь, и много знакомых; мать относилась с

каким-то суеверным чувством ко всякой вещи, которая напоминала жизнь в Махнёвой, за исключением небольшой изящной фарфоровой куклы, которая была известна в нашей семье под названием «секретаря» и которую сестры тщательно прятали от отца, потому что он уже несколько раз выбрасывал ее за окно; мать хотя не выбрасывала куклы, но всегда делала вид, что не видит ее или приговаривала между прочим: «Это так... дрянь разная!»

— Не-ет, мне она, эта кукла, вот где сидит, — говаривал отец, показывая на свой затылок. — *Он* тогда и подкатил ко мне с этой куклой.

«Он», вместилище всяких зол и источник всяких наших злоключений, Амфилохий Лядвиев, был секретарь ...ской консистории; он учился вместе с отцом в семинарии, а затем они рассорились из-за каких-то пустяков, отец сгоряча написал своему товарищу очень оскорбительное письмо, и секретарь устроил так, что отца немедленно перевели из Махнёвой в Тараканову, то есть из очень богатого прихода в самый бедный. Эта история повто-

рялась в нашем семействе тысячи раз, и отец каждый раз приходил в страшную ярость и кричал:

— *Он* хочет, чтобы я к нему с повинной пришел... взятку ему дал, консисторской крысе! Не-ет, шалишь... Викентий Обонполов расколотого гроша тебе не даст!.. *Он* думает, что я покорюсь: не-ет... Было время, когда *он* для Обонполова за водкой бегал, подлец...

Когда пароксизм гнева проходил, отец с какой-то тихой грустью прибавлял:

— А ведь когда-то из одной чашки ели, на одной скамье сколько лет высидели... А теперь попал в консисторию, и черту не брат? А что такое консистория? Мне плевать на их консисторию... Quid est consistoria? Consistoria est oblupatio poporum, diacanorum, diatschcorum cum prosvirhibus...[40] Ха-ха-ха!.. Вот что консистория... подлец сидит на подлеце, подлецом понукает! Ха-ха!

И отец смеялся нехорошим тяжелым смехом, точно он хотел заглушить им в себе того червячка, который день и ночь сосал его. Амфилохий Лядвиев, страшный призрак для нашей семьи, имя которого не произносилось в

нашем доме, был по всей вероятности самый обыкновенный консисторский секретарь; но с этим именем были связаны самые тяжелые воспоминания, и я не иначе представлял его себе, как «в образе зверином», каким-то полумифическим существом. Мой отец отлично окончил курс в ...ской семинарии и как один из лучших богословов получил место в Махнёвском заводе, где и зажил припеваючи; но ссора испортила неожиданно все, и день за днем наша семья приближалась к роковой нищете. Наших маленьких средств не хватало даже на содержание, и моей матери пришлось зарабатывать деньги иглой; она шила платья, пальто, шубы; сначала это делалось потихоньку от отца, потом делалось под предлогом помощи каким-то дальним родственникам; но никакая тайна не остается тайной: отец как-то узнал горькую истину и, вместо ожидаемой вспышки, заплакал, как ребенок. Это были первые слезы в течение этой семилетней войны.

— Пашенька, мне стоит съездить к преосвященному, — говорил отец, — он меня помнит и переведет на другое место... Я ведь не

за себя поеду просить, а за детей: зачем с детьми-то меня на старости лет пустили по миру?!. А?.. Зачем?

Но это были одни слова, звуком которых отец утешал и себя и нас; мать обыкновенно молчала и только ниже наклоняла голову, чтобы незаметно от всех вытереть невидимку-слезу. Эти роковые семь лет сильно состарили отца, волосы на голове и в бороде начали седеть, а главное, характер его сильно изменился; он начал ко всем относиться подозрительно, везде видел козни и интриги своего смертельного врага, Лядвиева, и сделался тем, что известно под именем «обозленного человека».

Нужно сказать, что чем сильнее одолевала нас бедность, тем больше вырастала наша семейная гордость, в жертву которой приносились последние гроши, причем не допускалось даже мысли, что можно было поступать иначе. Я очень хорошо помню, как наш обед делался все скуднее и скуднее, но стоило только навернуться чужому человеку в наш дом, — сейчас появлялось на столе вино и дорогая закуска, и начиналось самое усердное

угощение; гость пил, ел и уходил, а мы оставались при нашем скудном обеде, и никому даже в голову не приходило, что лучше было истратить деньги, которые шли на вино и закуску гостям, на те бесчисленные нужды, которые все сильней и сильней окружали нас. В семье мы могли чувствовать всю тяжесть бедности и скрепя сердце выносили большие лишения, но перед чужими людьми мы держали себя с большим гонором и бросали последние рубли с самым равнодушным видом, как будто совсем не нуждались в деньгах; эта мысль была наследственной, была каждому из нас понятна сама собою, и я уверен, что каждый из нашей семьи не мог представить себе другого порядка вещей. Самой страшной вещью для нашей семьи была мысль, что о нас скажут, и, боже сохрани, пожалуй, поставят на одну доску с заводскими лесообъездчиками или заводскими служащими, мелкой сошкой вообще.

— В прошлый раз у Сермягиных подали пирог с рыбой, а корка-то из второго сорта, — не поднимая глаз, проговорит иногда мать с такой улыбкой, что я, кажется, согласился бы

десять раз умереть, чем подать гостям пирог из второго сорта. Слушая тихий разговор матери с отцом о ком-нибудь постороннем, я часто испытывал большой страх за участь этих посторонних, у которых все было не так, как у нас, то есть неизмеримо хуже; мое детское сердце сжималось от страха за участь каких-нибудь Сермягиных, и я вместе с тем сам начинал относиться к ним с приличной строгостью и даже с известным презрением, потому что был глубоко убежден в нашем семейном превосходстве.

Странно то, что эта семейная гордость переносилась даже на вещи, которых у нас не было; может, тут действовала просто зависть, но, с другой стороны, все, что было в руках других, для меня решительно не имело никакой цены, потому что только у нас были действительно хорошие вещи, а у других — все дрянь разная; я жалею, что не могу привести даже образчика той критики, какую мать задавала каждой чужой обновке — одним словом, в результате такой критики вещь по меньшей мере оказывалась негодной, если только не вредной. А что происходило в на-

шей семье, когда нужно было что-нибудь купить, сшить, заказать, — это было целое событие, которое делало в жизни нашей семьи эпоху, так что не говорили, что это случилось в таком-то году, а говорили, что оно случилось как раз в то время, когда шили шубу тому-то или такое-то платье матери или сестрам; к сожалению, таких событий было слишком мало в нашей жизни, и вдобавок они уменьшались с каждым годом, поэтому, вероятно, мы особенно и дорожили ими. Но вот новая вещь выдержала искус и попала в наш дом, — с этих пор она уже не допускала ни сравнения, ни критики: достаточно было уже одною того, что она в нашем доме; эти вещи, имевшие честь сделаться нашими, как бы переставали быть вещами, а составляли часть нас самих.

Наша семья состояла, как я уже сказал, из шести человек: отец, мать, старший брат, я и две сестры. Сестры были подростки, одной четырнадцать, другой пятнадцать лет; старшую звали Надей, младшую Верочкой. Надя была красива, всегда весела, любила поесть, соснуть покрепче и заливалась таким звонким

девичьим смехом, что даже отец, глядя на нее, бывало, засмеется, что с ним случалось все реже и реже; Верочка на вид выглядела простенькой, но была с прижимистым характером и необыкновенно выдержанна, а главное, все делала в меру, так что мать постоянно ставила ее в пример Наде и стыдила последнюю, что сна уже невеста, а ума у ней все нет.

Сестры кое-как умели читать и писать, этим и ограничивалось их воспитание, зато по части хозяйства им было дано примерное образование: Надя любила рукоделья, Верочка помогала матери по хозяйству или, вернее сказать, — она одна вела все наше хотя и маленькое, но очень сложное хозяйство, потому что у нас была корова, а ходить за коровой, особенно зимой, для четырнадцатилетней девочки было очень трудно. Встать в пять часов утра, идти сейчас же из теплой комнаты на тридцатиградусный мороз, выносить пойло корове, задать ей сена, подоить — все это такие операции, которые для всякой другой девочки составили бы непреодолимые препятствия, только не для Верочки; она, бывало,

только раскраснеется с мороза, храбро подтычет юбки и с улыбкой в десятый раз идет во двор. Зато уж любо было посмотреть на корову Верочки, — так она была всегда чиста, так умно держала себя и давала всегда такое отличное молоко.

Но сестры и моя собственная персона, все это были только подробности, придатки к Аполлону Обонполову, первенцу и баловню всей семьи, моему старшему брату; он лет шесть уже учился в уездном духовном училище и приезжал домой только на святки и на летние вакации. Это был уже совсем молодой человек, ему было шестнадцать лет; высокого роста, очень сильный, с бледным выразительным лицом, серыми глазами, густыми черными бровями и чуть пробивавшимися усиками — он был для меня недосягаемым идеалом, перед которым все преклонялись в доме и который был и общей надеждой нашей семьи, нашей гордостью, нашим счастьем и нашей общей слабостью. Понятно, что для Аполлоши ничего не было заветного; отец тратил на него последние гроши с самым довольным лицом, мать проводила бессонные ночи над

работой «в люди», над которой потеряла глаза, — и все это затем, чтобы Аполлоша был, «как другие», в училище, то есть как дети богатых священников, благочинных и протопопов; у него было всегда приличное белье, приличное верхнее платье, книги и даже карманные деньги.

Нужно отдать справедливость Аполлону, что он не только не злоупотреблял своим исключительным положением, но платил большой любовью своей семье и с каждым годом делался тем, что желала в нем видеть мать (отец на все смотрел ее глазами); точно он отливался по ее рецепту: гордый, расчетливый, аккуратный, бережливый, считавший себя и свою семью выше всего на свете; отцу больше всего нравились в Аполлоне его физическая сила и прямота характера; сестрам — то, что он молодой человек, который хотя и обращался с ними свысока, но все-таки молодой человек, которым интересовались все заводские барышни.

Приезд Аполлона на вакации был для нас задолго предметом самых оживленных разговоров; последние дни ожидания были просто

тяжелы от чересчур сильного нервного напряжения; Аполлон являлся всегда такой свежий и довольный и всегда привозил что-нибудь в подарок мне и сестрам. Это, кажется, были единственные подарки, какие мне случалось получать в детстве, и воспоминание о них для меня неразрывно связано с приездом Аполлона. Бывало, с таким нетерпением юлишь около Аполлона, пока он здоровается со всеми, отвечает на вопросы отца и матери, но, наконец, эта скучная церемония кончается, Аполлон медленно запускает руку в карман голубого жилета, вынимает оттуда ключ и отворяет кожаный чемодан — тоже воспоминание о Махнёвском заводе. Как было все аккуратно уложено в этом чемодане, — кажется, не описать никаким пером: белье, книги, папиросы, разные безделушки точно так и родились вместе с чемоданом, по крайней мере я никогда не мог достигнуть такого искусства укладывать свои вещи в этот же самый фамильный чемодан, когда мне пришлось ездить с ним в училище. Грошовые подарки, которые привозил нам Аполлон, были так хороши, что я даже теперь, по прошествии дол-

гих-долгих лет, испытываю чувство невольного волнения при одном воспоминании о них; я уверен, что никакие елки богатых детей не доставят такого удовольствия, какое мне доставлял чемодан Аполлона, окруженный самой таинственной неизвестностью и всегда оправдывавший мои ожидания самым блестящим образом, потому что достаточно было уже одного того, что эти подарки привозил Аполлон.

Словом, Аполлон был для нас некоторым домашним божком, который все делал и говорил самым отличным образом, но у этого божка был один крупный недостаток — очень плохая память, так что, несмотря на все его усердие и самое отчаянное прилежание, он вместо двух лет сидел по четыре года в классе[41]; отец и мать смотрели на это довольно снисходительно, потому что Аполлон просто из кожи лез, чтобы учиться наравне с другими, и занимался с редким прилежанием даже во время каникул.

— Не лопнуть же ему в самом деле, — утешал себя отец. — Только я, бывало, всегда первым в классе сидел: загляну в книжку, прочи-

таю два раза, и кончен бал. Может, нынче труднее учиться стало, или учителя строгие; а как ты, Паша, думаешь, — не подводит ли Аполлошу тот?

Этот намек на консисторского секретаря казался матери совсем неосновательным, и она старалась успокоить отца чем-нибудь другим, рассказывала приличный случаю пример, как у какого-нибудь священника сын в младших классах шел плохо, а в семинарии кончил студентом. Отец успокаивался и, вздохнув всей своей могучей грудью, прибавлял: «Претерпевый до конца — той спасен будет».

В каждый такой приезд Аполлона на каникулы, после первых приветствий, отец всегда спрашивал брата:

— А что отец Марк?

— Ничего; кланяется вам, папа.

— Еще пуще разбогател?

— У него, папа, двадцать лошадей, да хлеба лежит в амбарах по три тысячи пудов.

— Что же, большому кораблю большое плавание, а мы поближе к берегу, — с подавленным вздохом говорил каждый раз отец и

обыкновенно прибавлял: — Только я так думаю: конечно, я получаю мало в Таракановке, а зато я не пойду кланяться каждому мужику, не буду клянчить сметану да масло... А все-таки отлично устроился отец Марк. Три тысячи пудов хлеба — это не баранья кожа!

— Дочери-то у отца Марка большие? — спросила мать.

— Большие, — коротко отвечал Аполлон.

— Отлично, поди, одеваются?

— Да, ничего.

— Ведь вот, подумаешь, какая, видно, кому судьба, — говорил отец: — вместе на одной парте сидели: я, Марк да Амфилошка... Мы Марка больше Маркушкой звали, и учился он так себе, середка на половине, а теперь... три тысячи пудов, а?.. А все-таки я не завидую отцу Марку, потому я получаю жалованье от заводоуправления и знать ничего не хочу... Отлично Маркушка устроился!

II

Наш домик выходил на небольшую четырехугольную площадь, упиравшуюся в заводской пруд; на берегу пруда стояла небольшая деревянная церковь, очень ветхая и когда-то очень давно выкрашенная сиреневой краской. Направо от церкви тянулась заводская плотина, под ней чернела фабрика, а за прудом белел каменный господский домик, в котором жил заводский управитель, француз Кабо; налево от церкви стояло несколько деревянных лавчонок, и сейчас за ними, на небольшом возвышении, красовалось «Пеньковское волостное правление» — большой новый пятистенный деревянный дом с ярко-зелеными ставнями. Завод Таракановка заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших горных речек, из которых река Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводский пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной кот-

ловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие находили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописнейшим местом на свете. Самое замечательное в Таракановке было то, что во всем заводе не было ни одной точки, с которой не было бы видно леса и недалеких гор; крайние домики стояли наполовину в лесу или отделялись от него небольшими «кулигами», так что, куда ни посмотри — везде лес, настоящий сибирский лес, полный для меня неизъяснимой прелести.

Основан Таракановский завод очень давно, лет полтораста назад, на месте небольшого раскольничьего поселка; раскольники, беглые из Сибири и разный иной сброд давно оценили р. Таракановку с ее дремучими лесами и свили здесь теплое гнездо; но один из русских промышленников «приглядел» это местечко под завод, выпросил его себе у правительства и выстроил фабрику. Первый владелец Таракановки, какой-то Коробейников,

основал еще несколько заводов на Урале, а затем умер; его наследники поделили заводы между собой, и в конце концов Тарakановка очутилась во владении графини Х. Сама графиня никогда не бывала на своем заводе, все дело вершили разные управители, управляющие и доверенные; последний из них, француз Кабо, пользовался плохой популярностью и больше всего заботился только о дивидендах своей доверительницы. Рабочие называли его «наш Кобель»; мой отец отзывался о нем с величайшим презрением, во-первых, потому, что Кабо был католик и никогда не ходил в церковь, а во-вторых, потому, что и «имя у него было собачье»; вообще Кабо принадлежал, по терминологии моего отца, к тому разряду людей, который был помещен под рубрикой: «чужая ужна».

— Приехал, нажил денег и уехал, — говорил отец: — такое ему и имя: чужая ужна и есть!.. И живет, яко пес: постов не соблюдает, жрет зайцев, голубей, воробьев...

Жителей в Тарakановке было до полутора тысяч, это были большею частью закоснелые раскольники, «кержаки», как называл их

отец; в окрестных лесах, особенно в верховьях речки Таракановки, было несколько раскольничьих скитов, где самым мирным образом проживали разные старцы и старицы. Отец не умел ладить с своей паствой, постоянно горячился в спорах и, наконец, махнул на непокорных овец рукой; кержаки относились к нему индифферентно и только изредка ради шутки косвенным образом давали заметить свое озлобление, отпуская выражения вроде того, что «вес не попова душа», и т. п.

Ядро таракановской аристократии составляли две фамилии заводских служащих: Сермягины и Портнягины; из представителей этих двух фамилий составился весь контингент заводских служащих: тут были и повытчики, и запасчики, и расходчики, и надзиратели, и дозорные — словом, как говорил отец, всякого жита по лопате. Замечательнее всего было то, что эти две фамилии страшно враждовали между собой, и эта фамильная вражда переходила из рода в род, так что происходило нечто вроде войны гвельфов и гибеллинов [42]: то повышались Сермягины и падали Портнягины, то начинали забирать силу

Портнягины, а Сермягины «захудали» и клонились к упадку. Только два человека из этих семей представляли собой исключение: Иван Меркулыч Сермягин и Январь Якимыч Портнягин — они не только не враждовали, а жили душа в душу; Иван Меркулыч, или попросту Меркулыч, занимал должность волостного писаря. Январь Якимыч «состоял на обязанности лекарского ученика», как он выражался. Обыкновенно Января Якимыча звали Январем или просто «учеником», но это не мешало ему быть замечательным человеком во многих отношениях, начиная с его наружности: маленький, сухонький, с маленькой седой головкой и какими-то забавными пукольками на висках, он резко отличался от всех остальных обитателей Таракановки, а для меня лично на «ученике» лежала видимая печать того замечательного обстоятельства, что Январь Якимыч, после Кабо, был единственный человек на заводе, который «был даже в Москве». Для меня последние слова имели магическое действие, я всегда смотрел на Января, как на выходца с того света; даже отец, и тот, хлопнув своей могучей рукой «ученика»

по плечу, не раз говаривал: «Ведь смотреть, братец, не на кого, а был в Москве... а?»

Жил Январь Якимыч одиноким старым холостяком в какой-то конурке, отгороженной им в заводской аптеке за большими шкафами; чрезвычайно добрый, по-своему умный, Январь Якимыч все свои досуги посвящал исключительно двум предметам: во-первых, рыжей корове, которую он ухитрялся держать тоже при аптеке, в каком-то чулане, а во-вторых, рыбной ловле, в которой не знал соперников. Практики у старика было очень немного, да и болезни были самые простые: мужики маялись головой и поясницей, бабы «скудались животом и зубами», и только изредка, для разнообразия, у кого-нибудь «подкатит под самое сердце». Январь Якимыч относился к своей обязанности очень серьезно и с самым трогательным усердием «пользовал от головы, живота, поясницы и от сердца», причем больные выздоравливали, кажется, больше благодаря доверию к «ученику», чем его микстурам. В каморке Января Якимыча все вещи были «из Москвы», хотя в Москве старик был лет сорок тому назад; ходил Ян-

варь мелкой дробной походочкой, «сыпал», постоянно улыбался, щурил глазки, поправлял пукольки на висках и любил уснащать свою речь двумя прибаутками, которые не сходили у него с языка: «А, чтоб тебя собачки заели! А, чтоб тебя кошки залягали!» Богомолен был Январь до неистовства и притом имел странную привычку молиться вслух; поздно вечером, стоя на коленях и откладывая земные поклоны, он громко молился «о коровушке-буренушке, гуляющей на зеленой муравушке».

Я уже сказал, что Январь и Меркулыч жили в большой дружбе между собой, и только раз эта долголетняя дружба чуть было не порвалась совершенно случайным образом: Меркулыч принес из лесу в корзинке «облако», а Январь просмеял его и доказал, что это «облако» Меркулыча какой-то сморчок или лишай. Как теперь вижу Меркулыча: небольшого роста, довольно плотной комплекции, с круглым и румяным, как спелое яблоко, лицом, с сильно напомаженными светло-русыми волосами, он, после брата Аполлона, всегда казался мне самым красивым человеком

в свете; небольшая русая бородка, усы, черные брови и два ряда удивительно белых, точно выточенных из слоновой кости зубов придавали его физиономии самое степенное благообразие, какое я только мог себе представить. Одевался Меркулыч скромно, но прилично; его казинетовое пальто было всегда чисто, по праздникам он надевал белые накрахмаленные сорочки и с необыкновенным искусством повязывал пестрый галстух на шее, в торжественных случаях надевал ярко-зеленые лайковые перчатки и носил с собой тоненькую камышовую тросточку, предмет сильнейшей моей зависти. В будни Меркулыч ходил в простых ситцевых рубашках и прятал казинетовые брюки за сапоги, что он делал не по недостатку вкуса, а из экономии. Скромность Меркулыча и его тихий, хотя и не без известной доли упрямства нрав делали его общим любимцем, тем более что он обладал секретом вечной веселости, самого ровного расположения духа и самым безобидным юмором, который разыгрывался с особенной силой в присутствии барышень; к последним Меркулыч питал большую слабость, но дер-

жал себя очень скромно. Меркулыч был доволен собой до глубины души, если ему удавалось сказать острое словцо; в разговоре, к месту и не к месту, он часто прибавлял две поговорки, которые находил очень смешными: «еще хуже» и «как дров». За этим прекрасным человеком во всех отношениях была одна слабость: он пил водку очень редко, но зато уж как попадало ему пять-шесть рюмок, он лез на стену и выделывал чудеса, причем обнаруживал крайне разрушительные наклонности — лез драться, ломал все, что попадало под руку, вообще держал себя самым непозволительным образом и совсем не походил на себя: делался бледен, как полотно, глаза наливались кровью, рвал на себе платье и даже, в один из таких припадков, сломал свою камышовую тросточку. Обитатели Таракановки, принимая во внимание общую сумму достоинств Меркулыча, великодушно извиняли ему его единственный недостаток, выражаясь довольно коротко: «Меркулыч у нас разрешил». По воскресным дням Меркулыч непременно являлся в церковь, и хотя очень недолюбливал дьячка Кинтильяна, самого отчаян-

ного скандалиста, какого мне только случалось встречать, но всегда становился на правый клирос и подпевал Кинтильяну довольно приятным тенором, вместе с Январем Якимычем, который тоже был не прочь спеть «пофигуристее»!

Волость была в двух шагах от нашего дома, и я постоянно бегал туда; в волости всегда был кто-нибудь, и непременно что-нибудь рассказывали. Правда, иногда здесь происходили, может быть, слишком откровенные разговоры для моего возраста, но с двенадцати лет я пользовался уже полнейшей свободой, и меня трудно было удивить откровенностью по части разговоров. В волости всегда можно было застать картину: Меркулыч вечно что-нибудь скрипит пером на бумаге, в углу комнаты непременно режется в шашки старшина Прошка с кем-нибудь из своих благоприятелей — с церковным старостой Емельяном Иванычем Рукиным, или с сидельцем Вахрушкой, или, наконец, с Январем Якимычем, который до страсти любил задать партнеру «воздушный или пароходный нужничек». Прошка сильно походил на медведя,

только что поднятого с берлоги: громадного роста, косая сажень в плечах, с большим зверским лицом и маленькими свиными глазками, совсем заплывшими жиром; всего замечательнее у Прошки был его могучий затылок — такие затылки можно видеть только где-нибудь на памятниках. Что касается до нравственного характера Прошки, то это был зверь в полном смысле этого слова, особенно когда он напивался пьян, а пьян он был на правах старшины с утра до вечера; в течение восьми лет Прошка своими десяти пудовыми кулаками отправил на тот свет две жены и теперь подыскивал третью. До толстых баб Прошка был большой охотник, и рабочие называли его за это Быком.

Интересная игра в шашки в волости кончалась всегда одним и тем же: как Прошка ни потел, как ни чесал затылок, а Январь Якимыч всегда непременно загонял его «в места злачные». Рукин был старик лет шестидесяти, благообразный и седой, но очень хитрый и постоянно улыбавшийся; у него на рынке была небольшая лавчонка, в которой он бойко торговал «панским товаром», то есть обувью,

чекменями, азямами, конской сбруей, рукавицами и разными другими товарами, в которых нуждался рабочий люд. Вахрушка, сиделец, красивый парень лет двадцати пяти, славился тем, что ежегодно «уносил круг о Николине дне», когда в Таракановке происходила борьба; Вахрушка «завязывал узлом» даже Прошку с его неизмеримым затылком и вообще пользовался репутацией отпетой башки. Прошка, Рукин и Вахрушка составляли «таракановскую троицу», как говорил отец, и были неразлучны: утром играли в шашки в волости, а по вечерам резались в стуколку у Рукина. Относительно этой троицы в Таракановке громко говорили все, что и Прошка, и Рукин, и Вахрушка «пошли жить от старцев»; именно, ходили всевозможные рассказы о том, как эта троица подсмотрела где-то в горах раскольничий скит, старцев и стариц передушила и забрала себе многое множество денег, меду, восковых свеч, дорогих икон и т. п.; между прочим, передавали, со всеми подробностями, как троице досталось одной медной монеты пять больших мешков, в каких продают муку. В подобных случаях ничего неверо-

ятного не было; случаи подобного рода в летописях Таракановки не были исключительным явлением: одной рукой подавали в скиты, а другой зорили их.

У Рукина и Прошки были отличные новенькие домики, стоявшие недалеко от волости; между ними приютилась небольшая избушка нашей просвирни Луковны. Эта маленькая на вид избушка внутри делилась на три комнаты: в одной жила сама Луковна с дочерью Олимпиадой, или попросту, как все ее называли, Лапой и даже Лапухой; в другой комнате жил сын Луковны, дьячок Кинтильян, а в третьей помещался Меркулыч. У избушки Луковны ворот не было, а стояли одни столбы; крыша давно прогнила, кирпичи в трубе выкрошились, и у окон недоставало нескольких кирпичей. Но это наружное убожество с излишком выкупалось тем, что находилось внутри избушки Луковны.

Комната Луковны отличалась полным отсутствием мебели, за исключением двух лавок и некрашеного стола; перед русской громадной печкой стояло несколько ухватов, полка с горшками, чашками и самоваром бы-

ла рядом — вот и все. Остальное имущество помещалось частью на печке, частью за печкой и состояло из какой-то невообразимой ветоши да двух-трех стареньких ситцевых платьев.

Луковна была вдова; ее муж был дьяконом в Таракановке. Это был очень добрый и очень умный человек, но вечно пьяный и не имевший совсем характера.

Если моему отцу тяжело приходилось жить в Таракановке, то дьякону приходилось вдвое тяжелее, потому что он получал вдвое менее жалованья и доходов, а Луковне в десять раз тяжелее всех, потому что муж пропивал половину жалованья и, главное, мешал работать и буянил. Однако, несмотря на все это, Луковна ухитрилась выучить старшего сына в семинарии; другой ее сын хотя и жил с ней вместе, но не только не помогал ей, а даже тащил в кабак из ее гардероба или убогой утвари, что попадало под руку. Когда у Луковны учился старший сын в училище и семинарии, каждый месяц нужно было посылать в город пять рублей за квартиру, нужно было белье, верхнее платье, сапоги, — я отказыва-

юсь понять, каким образом сколачивалась Луковна, когда в доме не было гроша. По смерти дьякона, которого Луковна горько оплакивала, она жила по-прежнему, с той разницей, что ее никто не ругал, но это не мешало Луковне часто вспоминать мужа, и чем больше проходило времени, тем воспоминания эти делались как-то живее, и дьякон являлся в них почти отличным семьянином. Забывала ли Луковна свои огорчения, вспоминала ли свою молодость, когда дьякон еще не пил, или смерть примирила ее с отцом ее детей, — трудно сказать, но Луковна никогда не говорила ничего дурного про своего мужа. Мой отец и все одинаково уважали эту женщину; сама Луковна держала себя всегда ровно и спокойно, была приветлива и не теряла этого равновесия души и часто смеялась сквозь слезы над какой-нибудь выходкой своего «заблудящего дьякона», как она называла мужа. В детстве я половину своего времени проводил в избушке Луковны, которую очень любил, и как теперь вижу ее: небольшого роста, широкая в плечах, с сильными загорелыми руками; смуглое скуластое лицо ее с

небольшими черными глазами, совсем черные волосы на голове, густые брови, немного приподнятые скулы, горбатый нос и большой рот, все это носило немного восточный отпечаток, особенно когда Луковна улыбалась. Здоровье у нее было железное, и это, кажется, было единственное богатство, каким наградила ее судьба.

Старший сын Луковны, кончив курс в семинарии, уехал в Петербург и там поступил в медицинскую академию; он очень редко писал матери, и эти письма были настоящим праздником для нее. Когда долго не было писем, она беспокоилась, вздыхала, часто плакала, начинала видеть дурные сны, а в сны она слепо верила, и, странное дело, эти сны почти всегда оправдывались; увидит Луковна печь — значит, будет печаль, увидит воду или хлеб — письмо от сына из Петербурга. Читать Луковна не умела, поэтому все письма ей читали другие — Меркулыч, иногда я или отец; Луковна во все время такого чтения обыкновенно стояла, склонив немного голову набок, с самой блаженной улыбкой на губах, а по смуглому лицу так и катились счастли-

вые слезы.

— Трудно ему, моему Сереже, — говорила Луковна, бережно складывая письмо: — город большой, все чужие... И в Тарака новке-то как трудно жить, а в Петербурге-то ихнем, поди, в десять раз труднее. Сколько я говорила Сереже, чтобы он не ездил туда, а поступал в священники; что в этом учении ихнем, когда до седых волос надо учиться. В семинарии Сережа проучился двенадцать лет да в академии этой надо проучиться шесть лет — ведь это восемнадцать лет, а там сколько еще прослужит доктором-то!

— Зато уж выучится, Луковна, так хорошо будет, — говорил отец: — полторы тысячи жалованья будет получать, дом тебе купит.

— Ах, отец Викентий, мне уж немного и жить-то осталось, как-нибудь дотяну и без дому, а помру — и дом будет, из которого не вылезешь.

Дочь Луковны Лапа была старше меня годом или двумя и была бела, как русалка; волосы у нее были, как лен, голубые глаза и смешные, совсем белые брови и ресницы — вообще она была полной противоположностью

своей матери и наследовала от нее только здоровое, сильное тело, так что в пятнадцать лет уже совсем сформировалась и выглядела невестой. По характеру это была девка сорвиголова, которая при матери была ниже травы, тише воды и ходила с опущенными глазами, а без матери выказывала самые козлиные свойства характера, дурачилась, хохотала и визжала самым необыкновенным образом, так что, бывало, даже вздрогнешь, когда услышишь нечаянно этот странный визг и смех.

Как я уже сказал, я «живмя жил» у Луковны и был в ее избушке как свой человек; когда не было Меркулыча или он был занят, я сидел с Луковной, особенно в бесконечные зимние вечера, когда дома была скука смертная, а в комнате Луковны горела в светце березовая лучина и она под мигающее пламя этой лучины пряла бесконечную нитку, сопровождая свою работу какой-нибудь песенкой. Но особенно тянуло меня в комнатку Меркулыча, никакой музей не представлял для меня такого интереса, как эта каморка, имевшая в длину шагов десять и в ширину

шагов пять и одним окном выходившая на площадь; деревянные стены ее были оклеены синими обоями и были, как в музее, увешаны всевозможными предметами: картинки, фотографии, два ружья, маленький револьвер, известный под названием «кулачка», которым Меркулыч гордился больше всего; всевозможная охотничья сбруя, несколько кинжалов, целый арсенал удочек, гитара, несколько птичьих чучел, оленьи рога; небольшой тюменский коврик над деревянной кроватью, полочка с книгами, счеты, стенные часы с кукушкой, коллекции бабочек и минералов — словом, всего не перечислишь; небольшой ломберный столик в углу был буквально завален разными интересными «штучками», в числе которых первое место принадлежало бронзовой чернильнице, имевшей форму «гробницы Наполеона», как уверял меня ее владелец. Три деревянных стула, деревянный диван и небольшой комод дополняли обстановку этой комнатки.

— Ну, Кирша, давай чаевать, — говорит, бывало, Меркулыч, облекаясь в пестрый халат; «чаевать», то есть пить чай, в каморке

Меркулыча было верхом блаженства, потому что в промежутки между стаканом чая и выкуриваемых папирос Меркулыч имел обыкновение играть на гитаре. Его репертуар был очень невелик, но я с новым удовольствием в сотый раз выслушивал неизменную польку «трамблям», какой-то «плач Наполеона», «вальс-казак» и еще несколько песен: «Гляжу я безмолвно на черную шаль»[43], «Хуторок», но лучшую часть репертуара составляли «Барыня» и очень смешная песня «Чепуха». Меркулыч, заложив нога на ногу и не выпуская из зубов папиросы, необыкновенно весело напевал «Чепуху», содержание которой я помню и теперь:

Поп надел чужой жилет
И наморщил брови,
Вдруг подъехал к нему дед
На седой моркови...
Чепуха, чепуха, чепуха... (bis),

Или:

Черт намазал мелом хвост,
Напомадил руки
И из погреба принес
Жареные брюки...

Эта замысловатая песня не имела конца, и Меркулыч даже приделал к ней некоторое продолжение «от собственного чрева», как он скромно выражался о своей авторской деятельности.

III

С двенадцати лет я пользовался неограниченной свободой, и мы провели с Меркулычем много отличных дней на охоте в горах; весной проводили целые ночи, лежа в закрадках на тетеревиных токах; после Петрова дня, когда поспевали выводки утиные и рябиные, ходили за свежей дичью, а глубокой осенью отправлялись за глухарями и, наконец, по первому снегу, били «поспевшую белку». В лесу Меркулыч был как у себя в квартире, отлично знал все хорошие места, где водилась дичь, а в ней недостатка на Урале не было, и особенно хорошо он знал нрав, привычки, все хитрости и уловки той дичи, с какой приходилось нам иметь дело. С неподражаемым искусством он каким-то чутьем распутывал все хитрости утиных выводков, глуповатых глухарей и увертливой белки, которая летом, ко-

гда шкурка на ней была совсем красная, преспокойно сидела над вашей головой, но зато с первым снегом, когда «поспевала» и делалась серой, она, как молния, забиралась в такие густые ели, откуда ее мог добывать только один Меркулыч; небольшая сибирская собачонка Лыско, принадлежавшая Меркулычу, хотя и походила на дворняжку, но отлично отыскивала дичь, облаивала глухарей, искала белку верхним и нижним чутьем и даже приносила из воды убитых уток; только относительно зайцев, которых Меркулыч стрелял только зимой, для шкурки, Лыско не мог выдержать характера и, задрав хвост кольцом, с визгом убегал от нас, несмотря ни на какие увещания. По зимам Меркулыч стрелял зайцев, а когда выпадет глубокий снег, мы ездили с ним на особенных охотничьих пошевнях с высокими копыльями стрелять тетеревей «с подъезду» или на чучело. О рыбе и говорить нечего — Меркулыч, кроме Января Якимыча, здесь не знал соперников и, когда не ходил на охоту, ловил щук, окуней, ершей и налимов с необыкновенным искусством.

По зимам я целые дни жил с салазками на

улице, где с товарищами по возрасту проводил время самым веселым образом, главным образом катаясь с горы; короткий зимний день промелькнет незаметно, не успеешь оглянуться, а уж кругом темно, значит, давно пора идти домой. У меня был дубленый нагольный тулупчик, в котором я ходил по зимам; этот тулупчик очень часто бывал причиной большого горя для меня, потому что после дня, проведенного в снегу, он получал самый жалкий вид, и мать говорила, что его хоть выжми, вода так и бежала с него. Понятное дело, что когда я являлся домой в таком печальном виде, мать читала мне длиннейшее нравоучение и часто наказывала: ставила в угол, оставляла без чаю, а главное — имела жестокость запирать меня в комнату на несколько дней, отдавая в жертву шуточкам отца, который обыкновенно говорил в этих случаях:

— Что, паренек, видно, в образе смирения... а?.. Видно, мать-то прижала тебе хвост... а?.. Ну, да твое не уйдет, бегаешь, как саврас без узды.

Отец совсем не вмешивался в мое воспита-

ние и предоставил его матери, а с меня требовал только твердого знания тех уроков, которые задавал мне; благодаря отличной памяти мне было достаточно прочитать по учебнику раз или два, и я отлично отвечал какой угодно урок. Между мной и отцом установились дружественные отношения, но мать держала со мной имя свое грозно, и я сильно побаивался ее, потому всеми силами старался не попадаться ей ни в чем предосудительном. Мой мокрый полушубок был причиной наших недоразумений, поэтому, подходя вечером к своему дому после веселого дня, я долго ломал голову над вопросом, как бы попасть в комнату так, чтобы мать не заметила бедственного положения, в каком я находился. Последнее было сделать очень трудно, потому что мать и сестры работали вечерами в передней, и как только отворишь дверь, мать и головы не подымает, а уж чувствуешь, что она видит все, и вперед краснеешь, и падаешь духом в ожидании головомойки. Надя всегда, бывало, пожалеет, а Верочка, — та, наоборот, еще подведет под грозу, потому что еще сильнее матери следила за неприкосно-

венностью моего полушубка. Были некоторые обстоятельства, которые давали мне возможность избегать справедливой кары: во-первых, когда бывали у нас гости, я шел смело, потому что на меня тогда никто внимания не обращал; во-вторых, если пили чай в гостиной, тогда я без шуму отворял дверь в переднюю, неслышно снимал полушубок и прятал его на печку и после некоторой паузы появлялся в дверях гостиной, пряча за спину красные, опухшие от мороза руки. Мать и сестра делали вид, что совсем не замечали меня, но отец всегда спасал меня в этих случаях, обратив все дело в шутку, и я, утирая нос рукавом рубашки, скромно помещался подальше от матери в ожидании горячего чая со сливками.

Однажды, как теперь помню, мы сильно заигрались с Пашей Сермягиным; вдруг на заводских часах пробило шесть часов — положение было поистине ужасное, потому что в восемь часов у нас ложились спать, и нечего было думать о спасении — спасения не могло быть. В глубоком раздумье брел я домой и издали увидел, что в гостиной огня не было и

все сидят в передней; в освещенное окно было видно, что мать и сестры сидят за работой у стола, а отец ходит по комнате — значит, все кончено, Кирша пропал. У меня упало сердце от страха, и в голове мелькнула мысль совсем нейти домой, а провести ночь на улице, но это было легко подумать: я давно чувствовал большую усталость во всем теле, хотел есть, как волк, и главное — промерз до костей, и ноги были давно мокры. Я остановился недалеко от дома, чтобы перевести дух и собраться с силами; в это время мимо меня шмыгнула маленькая старушка, в которой я сразу узнал Климовну: я был спасен и совершенно незаметно пробрался за Климовной прямо на печь, всегда представлявшую для меня самую неприступную крепость в свете. Климовна была старуха-повитуха и знала решительно все, что делалось в Таракановке, и тихим голосом по целым часам о чем-то рассказывала матери; когда входил в комнату отец, Климовна сразу меняла тон и слезливым голосом начинала жаловаться на разбойника-зятя. Отец сам догадывался уходить, когда Климовна заводила речь о разных щекот-

ливых новостях, а мать под каким-нибудь предлогом высылала сестер в гостиную...

Итак, я совершенно незаметно пробрался на печь и наслаждался живительной теплотой, которая согревала мое продрогшее, измученное тело; отец ушел в гостиную читать какую-то книгу, сестры ушли с работой за ним, а я остался на печи всеми забытый и наслаждавшийся своей безопасностью. Климовна с таинственным видом подсела к матери и торопливо заговорила своим шепотом, сильно жестикулируя. Я никогда не интересовался ее болтовней, но на этот раз сделался невольным слушателем, и притом самими обстоятельствами принужден был лежать совершенно тихо, так что до меня отчетливо долетало каждое слово тихого шепота Климовны.

— Бык-то наш как увязался за Лапой, — повествовала Климовна, отворачивая от огня свое сморщенное, как моченое яблоко, птичье лицо: — а она к нему так и льнет... Стыдобушка головушке, матушка моя! Луковна-то совсем ума решилась было с горя, а девка дурит, и кончено... Ведь сама бежит к Быку-то!

Мать была настолько поражена, что толь-

ко качала головой; мне хотя и было четырнадцать лет, но я уже понимал, о чем шла речь, и даже навострил уши.

— Да и мудреное дело Луковне возиться с девкой, — продолжала Климовна: — живут они с Быком сутыч огородами-то, где тут усмотришь за ней: вывернется из избы за каким делом, а сама к нему... И-и, какое мудреное дело!.. Бык-то нальет себе шары [44] да и ходит как очунелый...

Как-то напился, давай искать ее, а мать услала ее в соседи, он за ней, она от него. Так, слышь, на стену и лезет!.. Колотить хотел, только старуха Митревна пожалела девку да уж в подполье ее от Быка-то и спрятала. Такое дело, такое дело, что и думать не придумаешь, а сраму-то, сраму-то?!. Ведь Бык-то рассердится, да с Вахрушкой по бревнышку разнесут избушку у Луковны!

— Жаль, пропала девка-то.

— Чего и говорить, мать моя: совсем пропала, ни за грош... Надо бы ее замуж сейчас, как она заневестилась, а где их, женихов, в Тарaкановке-то возьмешь.

Я скоро уснул под этот тихий шепот, а ко-

гда проснулся, было уже утро; разговор, который я слышал вчера, конечно, забыл и вспомнил о нем только тогда, когда пришел к Луковне и встретил там жестокую баталию. Сначала я не узнал Луковны: она просто неистовствовала. Лапа безмолвно сидела у окна и только тихо вздрагивала полными плечами, когда удары сыпались на нее.

— Убью, своими руками убью! — с пеной у рта кричала расходившаяся старуха. — Я тебя родила, я тебя и убью... На цепь, как собаку, прикую!..

— Убейте, мне легче будет... — шептала Лапа, не подымая глаз.

Луковна схватила дочь за белую косу и потащила ее по полу: она не замечала меня, что я стою в дверях, и я поспешил отретироваться. После этого я несколько раз бывал у Луковны, она похудела и была совсем убита, но работала, не разгибая спины, точно хотела разогнать усиленным трудом свои черные мысли; Лапа с опущенной головой сидела тоже за работой с утра до ночи, и больше не раздавалось ее звонкого визга и смеха. Однажды отец послал меня за Луковной и, уведя ее в гости-

ную, долго с ней о чем-то говорил; когда Луковна ушла, отец сердито проговорил, обращаясь к матери:

— Я еще умной женщиной считал, а она уперлась, как пень, — хоть кол на голове теши... Ведь срам! Как я сказал ей, чтобы она прогнала от себя ту, куда тебе, сейчас на дыбы. Выжила совсем из ума старуха! Ведь ее же жаль: хорошая слава лежит, а худая по дорожке бежит...

— Ах, Викентий Афанасьич, — с упреком говорила мать, — разве так можно... Ведь она мать: умного жаль, а дурака вдвое.

— Что же мне-то делать? Я и раньше говорил ей: «смотри», а теперь уж поздно. А как начал я советовать ей, чтобы ту определила к отцу благочинному, опомнилась, подумаю, говорит.

Из этих слов и нескольких разговоров в том же духе я понял, что речь идет о Лапе, которую общим советом хотели отправить на исправление к благочинному; Климовна «частила» к нам и приносила каждый раз какие-то свежие новости, которые и передавала матери под величайшим секретом. Меркулыч

безвыходно сидел в своей волости, но, как я заключил по его поведению, совсем ничего не знал о случившемся событии; поэтому отчасти по терзавшей меня потребности непременно кому-нибудь выболтать лежавшую на моей душе тайну, отчасти из желания вывести Меркулыча из тьмы неведения, но без малейшего злого умысла я однажды, когда мы вдвоем сидели в волости, подробно рассказал ему все, что знал, и даже кое-что прибавил от себя. Меркулыч заложил перо за ухо и, выкуривая одну папиросу за другой, долго молчал, а потом, подняв на меня свои добрые глаза, проговорил изменившимся голосом:

— И ты, Кирша, поверил?

— Да ведь Климовна рассказывала, я своими ушами слышал...

— Так, Климовна рассказывала... Так. А если Климовна соврала, тогда как?

— А к благочинному ее зачем хотят отправлять?

— К благочинному?!. У Лапы есть отец?

— Нет.

— Так. Значит, заступиться есть кому за нее?

Я молчал, потому что был совсем поражен таким оборотом нашего разговора и даже немного обиделся, что моя новость не произвела надлежащего эффекта.

— Ты подумай-ко, голова с мозгом, — продолжал Меркулыч наставительным тоном, — чего стоит Климовне распустить про Лапу худую славу? Ничего... Девка совсем беззащитная, и говори, что хочешь. Так я говорю? Вот у тебя две сестры, отец жив, вот и хорошо все, а умри он — та же Климовна и сплетет такую штуку, что хоть в воду. Прошка давно глаза пялит на Лапу, только все это пустяки...

Меня даже пот холодный прошиб от слов Меркулыча, и в горле стояла слеза от одной мысли, что о Наде и Верочке могли говорить что-нибудь дурное, как о Лапе; этот разговор с Меркулычем запечатлелся навсегда в моей памяти, и с этого времени я научился не верить людям ни слова, когда они говорят о ком-нибудь дурно, и мысленно дал себе слово никогда не говорить ничего дурного о других.

IV

Спустя немного времени после истории с Лапой в Таракановке случилось целое событие, которое надолго составляло предмет разговоров и заставило забыть Лапу и ее историю. Однажды просыпаюсь ранним утром и слышу страшную возню во всем доме, соскакиваю с постели, одеваюсь наскоро и бегу к чайному столу. Отец с заложенными руками за спину ходил по комнате, что он делал всегда, когда был чем-нибудь взволнован; мать суетится около печи, Надя торопливо дошивает свое новое шерстяное платье, Верочка, с голыми ногами и высоко подтыканным подолом, домывает переднюю. Я сразу почувствовал, что случилось что-то необыкновенное.

— Так сколько он жалованья получает? — спрашивал отец.

— Две с половиной тысячи... — отвечала мать, подымая вспотевшее красное лицо. — Лапа прибегала давеча, просила взаймы сахару, так сама рассказывала...

— Ну, теперь нам, видно, у Лапы скоро

придется занимать сахар-то...

— Пока еще бог милостив, не занимали ни у кого, — обиженно отвечала мать.

— Мне утром не спалось, — заговорил отец, стараясь поправить свою неловкую шутку. — Часу этак в пятом утра, слышу — колокольчик, потом мимо нас тройка побежала и остановилась около церкви... Хотел посмотреть, кто едет, да поленился встать, думаю, к правителю кто или на земскую станцию. Ну, Кирша, к нам приехал целый доктор, — весело заговорил отец, обращаясь ко мне, — у Луковны сын приехал из Петербурга... Понимаешь? Две с половиной тысячи жалованья получает в год; мне двенадцать лет надо служить, а ему год, — понял?

Схватить шапку и стремглав броситься из комнаты — было для меня делом минуты; издали еще я заметил, что окна в избушке Луковны завешаны чем-то белым и у ворот на лавочке, покуривая коротенькую трубочку, сидит солдат, которого я сначала чуть не принял было за самого доктора. Это, как оказалось после, был денщик доктора; на дворе стоял отличный дорожный экипаж, в каких

ездили заводские управители. В дверях меня встретила сама Луковна, она выбежала босиком и, обняв меня, прошептала таинственно: «Спит». Появившаяся Лапа объявила то же самое не менее торжественно и, приподняв подол платья, показала щегольские польские сапоги, которые подарил ей брат.

— Утром сплю я и вижу сон, — шептала Луковна, утирая концом своего фартука катившиеся по лицу слезы, — вижу, что плыву по воде... везде воды, точно море, и я даже испугалась и проснулась со страху, а тут колокольчик, слышу, к нам.

— Нет, мама, это я первая услышала! — смело перебила мать Лапа, еще раз показывая мне сапоги.

— Ну... ты, пусть по-твоему, — соглашалась Луковна, — тебя разве переспоришь когда? Подбежала я к окну, вижу: повозка; я как стояла, так ноги у меня и подкосились, села на лавку, а сама слова не могу вымолвить. Лапа меня спрашивает что-то, а я и сказать ничего не могу — и обрадовалась, и испугалась, и плачу, и смеюсь: как есть дура дурой. А он, мой голубчик Сережа, входит, увидел меня и

говорит: «Здравствуйте, маменька»... Одиннадцать лет его, голубчика, не видала; он Лапу-то и не узнал совсем, а потом посмотрел кругом, как мы живем, на голые стены, сморщился, мой голубчик, обнял меня и ласково так говорит: «Трудно вам, маменька, жить... Погодите, маменька, бог даст, поправимся!» А сам смеется, и я смеюсь, и плачу, и говорю сама не знаю что. «Ничего, — говорю, — Сереженька, не надо нам, только ты был бы счастлив да здоров». А он смеется, потом опять сморщился: «Зачем водкой это у вас, маменька, пахнет?» А это Кинтильян где-то нахлестался вчера, от него и несет, как от бочки.

— А ведь Меркулыча-то нет у нас, — улыбаясь, объявляла Лапа. — Сереженька-то, как приехал, спать захотел, а положить его нам и некуда... Вот мама разбудила Меркулыча и попросила его на время опростать комнату; он сейчас согласился, взял одеяло, подушку и ушел в волость спать.

— Только постарел он, Сереженька-то! — печально заговорила Луковна, прикладывая руку к щеке. — Худой такой стал, и глаза мутные, заморился с дороги-то.

— А денщика-то, Кирша, видел? — спрашивала Лапа.

— Шш... он за воротами сидит, — предупреждала Луковна, дергая Лапу за платье.

— Пусть сидит, ведь я не съем его, — огрызалась Лапа.

Мы самым подробным образом осмотрели экипаж, в котором приехал доктор, и я остался от него в восторге; внутри он был обит красным сафьяном, кожаный откидной верх был украшен какими-то медными бляхами, назади был приделан железный ящик с острыми гвоздями на верхнем крае — словом, это было образцовое произведение sui generis, [45] и я по крайней мере десять раз влезал в него, садился на козлы и по пути обшарил все карманы, где лежали скомканные клочки бумаги, объедки сыра и колбасы. Лапа несколько раз убегала в избу и наконец вернулась оттуда, неся в подоле пару бронзовых подсвечников, головную щетку, металлическую пепельницу и еще какие-то мудреные вещицы, назначение которых мы никоим образом не могли угадать.

— Зачем ты вытащила это? — ворчала Лу-

ковна, с любовью рассматривая блестящие вещицы. — Вот Сереженька встанет, он тебе задаст... еще изломаешь, пожалуй. Этакие подсвечники, поди, рубля три пара стоят, а ты их таскаешь зря.

— Нет, они восемь рублей стоят, мама, — отвечала Лапа. — Я спрашивала солдата, он мне все рассказал.

— Маменька, маменька... где вы? — послышался из комнаты голос доктора. Лапа со страху выпустила из рук подол платья, и блестящие вещицы покатились по земле.

На крыльце показался небольшого роста белокурый господин, одетый в летний китель с армейскими пуговицами и офицерскими погонами; прищурив глаза от солнца, он внимательно посмотрел в нашу сторону, улыбнулся и проговорил приятным тенором:

— Здравствуйте, маменька...

— Ах, Сереженька, голубчик... — тяжело дыша и переваливаясь на ходу, бормотала Луковна. — Вы уж встали... Может, это мы вам помешали спать?..

— Нет, маменька, я выспался отлично, только какой-то страшный запах у вас в ком-

нате.

— От луку, Сереженька, от луку... Уж извините меня, лук вчера варили, так луком и воняет.

Доктор улыбнулся, поправил шелковистые белокурые усы и трижды поцеловался с матерью; я и Лапа чувствовали себя в это время очень скверно: я потому, что сидел на козлах чужой повозки; Лапа потому, что попалась на месте преступления и теперь не знала, что ей делать — идти здороваться с братом или поднимать раскатившиеся по двору подсвечники. Лапа кончила тем, что стремительно убежала в огород и спряталась за баню; доктор сильно поморщился от такой выходки и, указав глазами на валявшиеся по двору подсвечники, с упреком в голосе проговорил:

— Какая она у вас дикая, маменька.

— Она и людей-то не видела, Сереженька, вот и боится вас, — нерешительно защищала Лапу Луковна, заглядывая в глаза сыну.

Денщик, вытянувшись в струнку, стоял в воротах и совершенно безучастно, немигающим взглядом смотрел на происходившую перед ним сцену; доктор строго обратился к

нему:

— Иван, подбери подсвечники, вычисти их и поставь на место.

— Слушаю-с, ваше благородие! — певучей фистулой протянул Иван, сделал налево кругом и направился солдатским шагом в мою сторону.

— Какая-то гитара висит на стене, папиросы, окурки, — с легким раздражением в голосе заговорил доктор, закладывая руки в карманы темно-зеленых, с красной прошвой штанов.

— Это жилец у меня, Сереженька, это его гитара.

— А главное, маменька, этот ужасный запах!..

— Это тоже от жильца, Сереженька.

— Ах, маменька, маменька, ведь это очень неловко! Вот сестра совсем большая девушка, и рядом молодые люди.

— Сереженька, как же нам жить-то было?! — со слезами в голосе проговорила Луковна — Ведь с голоду приходилось умирать...

— Маменька, извините меня! — обняв мать, проговорил доктор. — Я не хотел вас

обижать, мы это устроим помаленьку. Успокойтесь, маменька... Иван, приготовь мне умыться.

— Слушаю-с, ваше благородие! — прежней фистулой протянул солдат и боком шмыгнул в двери, куда за ним прошли Луковна и доктор.

Небольшое бледное лицо доктора с выпуклым громадным лбом и красивыми серыми глазами нравилось всем, а также его небольшая стройная фигура и маленькие белые руки; но мне он не понравился с первого раза отсутствием той простоты, которую дети так любят. Возвращаясь домой, я думал больше о докторском экипаже и дорогих подсвечниках, чем о самом докторе. Дома меня засыпали вопросами о докторе, его денщике, Луковые, но я рассказывал больше о докторской повозке, так что на меня рукой махнули и оставили в покое; в наших двух комнатках было все прибрано, отец надел новый подрясник, мать и сестры были в новых платьях — словом, все приняло праздничную обстановку, и я понял, что все это делалось в ожидании докторского визита. Особенно хороша была Надя в своем

розовом барежевом платье и с канареечного цвета бантиком на шее; глаза у нее светились лихорадочным блеском, на полных щеках играл румянец, и я невольно засмотрелся на нее, точно это была совсем другая Надя, а не та, которая в стареньком, полинялом ситцевом платье вечно сидела за пяльцами; я только после понял, какое значение имело это барежевое платье в это утро и о чем думала мать, когда с чувством невольной гордости в сотый раз осматривала Надю, как художник смотрит на свое лучшее произведение. Вероч-ка была одета проще и громко роптала, что ей нельзя идти в новом платье в хлев; отец тоже был заражен томительным чувством общего ожидания и нетерпеливо ходил по гостиной, время от времени поглядывая в окно, не идет ли доктор.

Трудно описать то волнение, которое овладело нами, когда в конце площади показался наконец доктор в летнем кителе и с легкой тросточкой в руках: мать чуть не плакала, потому что на платье Нади отлетела где-то пуговица и никак не могли отыскать булавку; даже отец счел долгом что-то ощипывать на

своем подряснике, с растерянным видом гладил себя одной рукой по громадному животу и несколько раз расчесывал волосы гуттаперчевой гребенкой, которую всегда носил с собой в кармане. Пока доктор шел до нашего дома, на рынке и у волости собралась целая толпа, которая с любопытством дикарей смотрела на доктора и вслух делала некоторые замечания, относившиеся главным образом к форме доктора, производившей решительный фурор; впереди всех стоял Рукин и громко переговаривался с Прошкой и Меркулычем, физиономии которых виднелись в окне волости.

— На меня смотрят, как на дикого зверя, — с улыбкой говорил доктор, здороваясь со всеми.

— Совсем дикий народ, Сергей Павлович, — отвечал отец, крепко пожимая руку доктора.

Дорогого гостя провели, конечно, в гостиную, самовар давно кипел, и Надя подавала чай, краснея до ушей; отец оживился, шутил, смеялся, гость держал себя свободно, но с большой выдержкой. Я лежал на печи, которая для меня заменяла и обсерваторию и ка-

бинет, и внимательно вслушивался в разговор петербургского гостя, который во всем соглашался с отцом и постоянно говорил: «Да, да!» Появилась закуска и вино; доктор выпил полрюмки хересу, похвалил вино и особенно обратил внимание на закуску, причем необыкновенно кстати сказал несколько комплиментов матери, которая совсем растерялась и даже покраснела, как институтка. В три часа был подан обед; гость рассказывал о Петербурге, несколько раз обращался с вопросами к Наде, стараясь поддержать с ней разговор, но сестра конфузилась и отвечала невпопад; отец после нескольких рюмок совсем разошелся и подробно раскрыл свою душу относительно поведения Амфилохия Лядвиева и горячо изложил свои планы, надежды и огорчения. Доктор делал внимательное лицо и постоянно повторял: «Да, да! Скажите?.. Это возмутительно!.. Да, да!» Мать давно заметила, что отец надоедает гостю, и едва могла остановить его; обед вообще прошел самым оживленным образом, и, когда гость ушел, все, кроме бедной Нади, чувствовали себя самым счастливым образом.

— Столичная штука! — глубокомысленно соображал отец. — Умен, бестия... И все соглашается; у этих петербургских у всех такое обыкновение: во всем соглашаются с тобой и всего наобещают. Нашто Амфилошка пес псом, а как съездил с владыкой в Питер, тоже всем давай обещать: мягко стелют, да жестко спать. Подлец!

— Только Сергей Павлович здоровьем, кажется, слабоват, — заметила мать, чтобы замять разговор об Амфилошке.

— Какое здоровье: пальцем перешибить можно...

— И рост маловат, как будто.

— Да, недостает чуточку. Вот на меня бы мундир, Паша, надеть да эполеты прицепить... хе-хе!.. Я бы задал перцу Амфилошке несчастному!..

— А я думаю про Аполлошу, — задумчиво говорила мать, — если бы на него такой белый мундир надеть.

— В гвардию! Прямо в гвардию, — решил отец, подергивая плечами, точно на них чувствовал присутствие жирных эполет. — Будет хорошо учиться, и он может доктором быть.

Мать только вздохнула и сделала печальное лицо, а я лежал на печи и дал себе клятву, что непременно буду доктором, буду носить такой же белый мундир, как Сергей Павлович, а главное — у меня будет свой денщик, свой экипаж, подсвечники, подарю Наде отличные сапоги, так же заеду к знакомому священнику в гости, а за мной будут так же ухаживать, угощать меня, а я буду рассказывать о Петербурге и покручивать усы. «Вот, мол, вам и смотрите на меня, каков я человек есть, Кир Викентьевич Обонполов! Да-с»...

— А где у нас Кирша? — спросил отец.

— В своей канцелярии лежит, — улыбаясь отвечала мать.

— Хочешь быть доктором, Кирша? — спрашивал отец.

— Да, — отвечал будущий доктор.

— И отлично, мы с тобой, парень, тогда Амфилошку Лядвиева со всей консисторией в один узел завяжем. Верно?

— Верно. Я тебе, папа, подарю тройку лошадей тогда.

— О-го, спасибо, братец.

Понятное дело, что приезд доктора был

для Таракановки настоящим событием и надолго сделался предметом разговоров, а доктор между тем жил себе в избушке Луковны, ни с кем не знакомился и не бывал нигде, кроме нашего дома, что очень польстило всем нам! Когда по утрам доктор уходил купаться или гулять, я, пользуясь его отсутствием, проникал в избушку Луковны и с жадным вниманием осматривал все, что было в ней нового, — мягкие ковры, походную железную кровать, несколько книг, разложенных на лавке в величайшем порядке, а главное, письменный стол, на котором была целая коллекция самых заманчивых штучек; как будущий доктор, я очень внимательно присматривался к этой обстановке, хотя и не мог преодолеть чувства невольного страха при виде большого ящика с хирургическими инструментами. Избушка Луковны была теперь неузнаваема: стены были оклеены голубыми обоями, на полу настланы ковры, поставлен диван, стулья и круглый десертный стол; на стенах было навешено несколько олеографий, в комнате Меркулыча стояли дорожный умывальный прибор, дорожный чайный по-

гребец и шкатулка с столовым серебром. На окнах появились коричневые занавески и белые шторки, двор был выметен, даже поправлен покосившийся забор в огороде. У Луковны и Лапы появился целый ряд дорогих подарков, которые они тащили прежде всего показать к нам, возбуждая наше общее удивление, восторг и зависть. Странное дело, раньше я никогда не испытывал этого чувства, потому что хорошо было только то, что было в нашем доме; а тут вдруг появились подсвечники в восемь рублей пара, столовые ложки в полтораста рублей дюжина, золотые часы в двести рублей, бархатные ковры в пятьдесят рублей, денщик, почтительно покашливавший в передней; словом, мои глаза открылись, и я понял истинные причины нашей фамильной гордости и от всей души возненавидел художественные заплатки и все остальные проявления вопиющей бедности, в когтях которой так крепко сидела наша семья.

Все вещи, которые привез доктор с собой, мы знали наперечет, и в нашем доме происходили длиннейшие разговоры о сравнительном достоинстве какой-нибудь серебряной са-

харницы и дорожного томпакового самовара; мать принимала особенно горячо к своему сердцу все, что привез с собой доктор, так что отец даже рассердился на нее и каким-то обиженным тоном проговорил:

— Ну, пошли в чужом рте зубы считать... Разве это хорошо? Если есть что — и слава богу, на две с половиной тысячи можно завести, а вот если бы Сергей Павлович без этих денег завел все это, тогда бы другое дело. Дай мне две-то тыщи, так и я всего накуплю.

Отец мало обращал внимания на докторские вещи, он даже как будто был недоволен ими и все говорил о двух тысячах жалованья, которые положительно не давали ему спать; мать, наоборот, совсем увлеклась одними вещами и ни о чем другом больше и говорить не могла. Бедная мать, она теряла свой здравый смысл под блеском докторского серебра, и мне положительно делалось ее жаль, особенно раз, когда Лапа в пылу увлечения совсем расхвасталась и начала подробно описывать те вещи, которые остались у брата в Петербурге и которых она не видела; совсем позабывшись, Лапа начинала рассказывать, как

они поедут все в Петербург и как будут жить там.

— Нас тогда не забудьте, Олимпиада Павловна, — ядовито заметила мать, задетая за живое этим хвастовством. — Только я так думаю, что в Петербурге много людей, даст бог Сергей Павлыч женится на богатой невесте, пожалуй, и не уживетесь с богатой-то снохой.

Лапа только улыбалась, глубоко уверенная, что для них с матерью наступил теперь золотой век и что с этой позиции сбить их не в силах никакая богатая сноха; но ей вскоре пришлось жестоко раскаяться в своей излишней доверчивости. Луковна отлично знала жизнь и людей и не обманывала себя розовыми надеждами, по-прежнему оставаясь скромной и почтительной; доктор купил ей материи на несколько платьев и строго следил за ней, чтобы она не смела ходить в старых тряпках. Последнее обстоятельство и радовало и вместе смущало Луковну; ей до смерти хотелось спрятать все покупки в ящик на черный день, в который она продолжала верить по старой привычке; меня удивляла эта скромность Луковны, и я с детской

откровенностью высказывал ей занимавшие меня мысли.

— Ой, голубчик, голубчик, мало еще ты на белом свете жил, — покачивая головой, говорила Луковна. — Сереженька сегодня здесь, а завтра нет его, я и осталась опять в своей избушке. Так-то, Кирша.

Мы были уверены, что Луковна по крайней мере сейчас же откажется от должности просвирни, а когда мой отец намекнул ей об этом, она обиделась и горько заплакала, так что отцу стоило больших трудов успокоить ее.

— Зачем я буду, отец Викентий, чужой хлеб есть, когда еще свои руки работают, — говорила Луковна, утирая глаза кончиком белого носового платка, который она была обязана теперь иметь постоянно при себе, чтобы не обходиться с своим носом посредством пальцев, как это она раньше делала.

— Вот умная старуха! — говорил отец после ухода Луковны. — Ее, брат, не проведешь... Свои, говорит, руки работают. Молодец!

Я исправно посещал Луковну и делал свои

наблюдения, которые ставили меня в некоторое недоумение относительно доктора. Он даже смутил меня своим странным поведением. Утром он вставал часов в восемь, и боже сохрани, если что-нибудь будило его раньше времени: он вставал темнее ночи, бледный, с мутными глазами и придирался ко всему и ко всем; денщик Иван первый входил в комнату проснувшегося барина подать ему сапоги, умыться, чистое белье. Луковна стояла в это время в сенях и со страхом ожидала появления Ивана; если он шептал: «Благополучно!», — Луковна крестилась и переводила дух, а если Иван ничего не отвечал, значит, дело было плохо. Бедной Лапе доставалось больше всех в эти дурные дни, и доктор просто не давал ей проходу: не так вошла, не вовремя улыбнулась, говорит, когда не спрашивают, размахивает руками — словом, доктор находил в сестре тысячи недостатков, над которыми смеялся самым беспощадным образом, так что бедная Лапа через неделю совсем возненавидела своего брата и ворчала себе под нос:

— Уж скоро ли унесет от нас этого ворчуна... Подарил на платье да ботинки, так дума-

ет, и можно из меня жилы тянуть, как из каторжной. Да я лучше пойду полы мыть, чем слушать его... Все неладно! А где я возьму ладно, если меня не учили ничему!

— Лапа... Дура ты, дура набитая! — с укоризной останавливала Луковна дочь. — Разве так можно говорить про брата? Разве он худа желает, брат-от?

— Да что, мама, далась я вам такая несчастная, что всякой меня может день-деньской бранить... Ведь он, как пила, пилит меня! Ведь я не деревянная...

— А ты говоришь, дура, одни глупые слова; а того не подумаешь, что Сереженька болен... Краше в гроб кладут! Вон ему подашь кусочек какой, он обнюхивает его, попробует, сморщится и оставит: «Нет, маменька, я что-то не хочу сегодня есть»... Легко ему, моему голубчику? Ты вон зеленого луку как-то наелась да вошла в комнату, так он только ручками замахал и глазки закрыл...

— А я чем виновата? Не нравится — ударь меня, а не пили целый день... Ведь я тоже человек, а не бревно.

— Нет, ты бревно бесчувственное! — с

азартом уверяла Луковна. — В тебе нет жалости, ты наелась — сыта, и трава не расти... Как есть не понимаешь ничего!

— Куда уж нам, деревенщине, с образованными людьми знаться... Я вон похудела как. Право, хоть в воду сейчас.

— А это знаешь? — внушительно говорила Луковна, показывая Лапе кулак. — Кто ты есть за человек? Грязь, пыль и больше ничего.

Как ни защищала Луковна сына и как ни была терпелива, но и она несколько раз всплакнула втихомолку, потому что ей иногда приходилось невтерпеж. Доктор был чистоплотен, как кошка, и одевался по целым часам; бедный Иван по десяти раз подавал ему одну и ту же вещь, уносил ее чистить и снова приносил, пока доктор не оставался ей доволен. Если пуговица была пришита некрепко, на сорочке сидело малейшее пятнышко, где-нибудь давило или жало, — доктор выходил из себя и впадал в состояние полного малодушия. Раз Лапа починила ему военный галстук из черного атласа, который доктор носил под жилетом; доктор с четверть

часа примерял этот галстук перед зеркалом, а потом вошел в комнату, где жил Кинтильян и где мы теперь сидели, и без всякого звука, молча подал галстук Лапе, указывая рукой на какую-то черную ниточку, которая торчала из обрубленного края галстука. Я взглянул на доктора и даже испугался: его красивое, умное лицо было в эту минуту просто страшно, и на нем было написано такое внутреннее страдание, точно он приговорен был к смерти. Эта несчастная ниточка испортила доктору целый день, и он ходил из угла в угол все время темнее ночи, нервно покручивая усы и постоянно закладывая и вынимая из карманов свои белые руки. В другой раз на знаменитых бронзовых подсвечниках оказалось небольшое зеленое пятно от капнувшего стеарина, которое Иван не досмотрел и не уничтожил вовремя. Доктор молча указал рукой денщику на это пятно и опять посмотрел кругом таким убийственным мутным взглядом, от которого Иван, заложив руки за спину, даже попятился.

Я от слова до слова слышал любопытную сцену, которая происходила вслед за обнару-

жением пятна; доктор с полчаса ходил по комнате, а когда Иван поставил на прежнее место вычищенный подсвечник, он остановил его в дверях.

— Иван...

— Чего изволите, ваше благородие? — отозвался денщик, вытягиваясь в струнку у порога.

— Ты всем доволен, Иван?

— Очень доволен, ваше благородие!

— У тебя все есть, Иван?

— Все-с, ваше благородие!

— Может быть, у тебя денег недостает, Иван?

— Деньги есть, ваше благородие-с!

Доктор молча ходил по комнате; потом, остановившись, заговорил глухим, совсем упавшим голосом:

— Если ты доволен, Иван, зачем же ты сделал меня больным на целый день?

— Слушаю-с, ваше благородие...

— Дурак!.. Ведь ты знаешь, что я не выношу беспорядка в моих вещах... Да? Знаешь? Я люблю, чтобы у меня всякая вещь на своем месте лежала... Все было чисто, опрятно, при-

брано, а тебе лень вычистить подсвечник.

— Я, ваше благ...

— Молчи, болван! И еще оправдывается, каналья?!. - в каком-то отчаянии, заломив свои белые руки, заговорил доктор. — Виноват кругом, каналья, и оправдывается!

— Виноват, ваше благородие!

— Ты не понимаешь, как все это действует на меня: я не выношу беспорядок... Я для тебя все готов сделать, а ты... Третьего дня прихожу, — пепельница передвинута, чернильница открыта... Ты, Иван, кажется решился уморить меня.

— Слуш...

— Убирайся вон, дурак!..

После таких сцен доктор приходил в комнату Луковны, садился на стул и начинал ей жаловаться с какой-то детской наивностью:

— Вот, маменька, какие люди бывают!.. Да, маменька.

— Зачем же вы, Сереженька, так огорчаете себя, — утешала Луковна: — Позвольте я буду убирать вашу комнату, может быть, я сумею лучше сделать...

— Ах, маменька, маменька... Где же вам?!.

Вы не знаете, а Иван все знает: он не хочет, маменька. Он назло все делает мне, маменька...

В Таракановке, как в самом глухом медвежьем углу, не было места тайнам; поэтому скоро по всему заводу стали говорить о странностях доктора самые невероятные рассказы и даже делали предположения, что он немного «тово», «тронулся умом». До Луковны, конечно, доходили эти слухи через десятые руки, но она отмалчивалась и только покачивала головой; ее беспокоило больше всего то обстоятельство, что ее Сереженька никогда не молится; раз она решилась заговорить с сыном об этом щекотливом обстоятельстве.

— Смотрю я, Сереженька, что вы как будто не молитесь...

Обыкновенно Луковна очень осторожно относилась к сыну и даже побаивалась его, но когда речь зашла о его душе, сна держала себя даже строго.

— Некогда, маменька, — уклончиво отвечал доктор, улыбаясь своей загадочной улыбкой.

— Вот вы, Сереженька, говорите: «неко-

гда», а я так думаю: вам некогда, вот у вас нездоровье и привязалось... Помолились бы вы хорошенько, на душе спокойнее, выспались хорошенько — вот и здоровье. Я шестой десяток доживаю, а бог хранит, не помню, чтобы когда хворать... Оборони, владычица! Вот будет воскресенье, Сереженька, как бы это даже отлично было, если бы вы в церковь сходили... а? Помните, как маленьким были, тогда любили в церковь-то ходить, ни одной заутрени не пропущали и все, бывало, на клирос.

— И теперь, маменька, я с удовольствием встал бы на клирос, да вот все некогда... Право, маменька, совсем некогда.

Как доктор ни упирался и как ни было ему некогда, Луковна настояла на своем, и он в ближайшее воскресенье отправился в церковь во всем блеске своего армейского мундира и жирных эполет; густая толпа народу почтительно расступилась перед ним, он встал у самого амвона и, не пошевельнувшись, простоял, как вкопанный, целую обедню. После обедни ему поднесли просфору, которая заметно смутила его; мы с Меркулычем стояли

на клиросе и лезли из кожи, чтобы показать свое искусство; но легко себе представить наше удивление, когда Сереженька выразился о нас таким образом: «что это, маменька, за козлы у вас на клиросе поют?» Как истинный артист, я не мог простить доктору этого оскорбления; Меркулыч был тоже возмущен до глубины души таким отзывом и не без достоинства проговорил:

— Уж важничает очень… Идет к вам как-то по улице, а я смеюсь Прошке: «Точно с молоком идет, боится рукой шевельнуть».

Несмотря на это недоразумение, доктор был удостоен посещением Меркулыча, Рукина и Января Якимыча.

Меркулыч совершал свой туалет с особенным тщанием; Рукин одет был в длиннополый кафтан, а Январь Якимыч в темно-зеленый сюртук с узенькими рукавами и с широко отложенным воротником. Пукольки на височках были подвиты самым тщательным образом.

— Уж вы предоставьте все мне, господа… все. Я уж знаю, как с ним вести дело, — хитро подмигивая одним глазом, объяснял Январь

Якимыч: — Рыбак рыбака видит издалека... Я бы не пошел, пожалуй, да, знаете, как-то неловко. Подумает еще, кошки его залягай, что мы столичных порядков не понимаем. Не-ет, Сергей Павлыч, и мы кое-что видали. Ты, Меркулыч, пожалуйста, не крякай, это не принято в хорошем обществе, а ты, Емельян Иваныч, имеешь привычку сморкаться при помощи одних перстов, — это, батенька, уж совсем неприлично! Хе-хе!.. Относительно разговору вы уж надейтесь на меня, как на каменную стену... Мы и сами не левой ногой сморкаемся, кошки его залягай. Да-с.

После довольно продолжительного совещания депутация торжественно двинулась из волости к избушке Луковны: впереди шел Январь Якимыч, как-то особенно семеня ножками, за ним в молчании следовали Меркулыч и Рукин. Сергей Павлович был дома и сделал самое недовольное лицо, когда денщик доложил ему о желании каких-то людей непременно видеть его.

— Скажи им, что меня нет дома, — объявил Сергей Павлович.

— Сереженька, голубчик, зачем вы так де-

лаете… — вступилась Луковна: — ведь они хотят честь вам оказать.

Доктор несколько минут не решался, а потом велел деньщику впустить депутацию, проговорив: «Уж только для вас, маменька»…

Когда депутация показалась в дверях, мы с Лапой заняли наблюдательный пост в окне. Январь Якимыч не без ловкости расшаркался и проговорил:

— Граждане Таракановского завода имеют честь поздравить вас с приездом, Сергей Павлович…

Меркулыч и Рукин поклонились безмолвно.

— Очень рад, очень рад, господа… Садитесь, пожалуйста, — торопливо заговорил доктор, с изысканной любезностью подавая Январю Якимычу стул: — Я вас помню, Январь Якимыч.

— Конечно, мы маленькие люди… очень маленькие, — в прежнем торжественном тоне продолжал Январь Якимыч: — а ведь мы чувствуем. Да-с. Некоторым образом вы, Сергей Павлыч, составляете нашу гордость. А позвольте узнать-с, — совсем другим тоном

заговорил старик: — вы в каком заведении изволили довершить свое образование?

— В Медицинской академии.

— В Петербурге-с?

— Да.

— Отличный городок-с... Я так полагаю, что теперь там этакие разные чудеса понастроены: висячие мосты, пирамиды-с...

Январь Якимыч держал себя молодцом и все время не слезал с высокого тона, которым хотел запустить пыли в глаза; доктор был необыкновенно внимателен к своим гостям и старался занять их, но Меркулыч и Рукин упорно отмалчивались и только мычали и кланялись, когда доктор обращался к ним. Рукин долго смотрел на Сергея Павлыча умиленными глазками и, наконец, проговорил:

— А ведь я вас вот эконьким помню (Рукин показал от полу с пол-аршина), когда еще, можно сказать, вы без штанов по улице бегали... Гм!..

Этот визит продолжался около часу. Доктор был вежлив, внимателен, постоянно улыбался и постоянно повторял: «да, да... да». Январь Якимыч разошелся совсем и на проща-

ние таинственно сообщил доктору:

— Когда вы поедете отсюда, Сергей Павлыч, может быть, дорогой... могут на вас сделать нападение злоумышленники. Я вам дам маленький совет: как только злоумышленники приблизятся к вашему экипажу, вы выньте табакерку (Январь Якимыч достал из кармана серебряную табакерку, открыл ее и захватил двумя пальцами щепоть табаку) и вот таким образом прямо в глаза-с... табаком-с. Самое верное средство-с! Лучше всякого револьвера.

— Благодарю вас, только я совсем не нюхаю и, к сожалению, не могу воспользоваться вашим советом, — отвечал доктор.

— Жаль, очень жаль. Я в бумажку отсыплю вам табачку, Сергей Павлыч, а вы им в глаза, кошки их залягай!

— Нет, благодарю вас.

— Не желаете? Так я вашему камердинеру передам...

Этот знаменитый «визит к доктору» наделал много шуму в Таракановке, главным его героем был, конечно, Январь Якимыч, который доказал всем, что и «мы не левой ногой

сморкаемся». Оборотной стороной этого визита был неожиданный отъезд доктора. Случилось это таким образом. Кинтильян с приездом доктора был скрыт Луковной в бане и по причине сильнейшего винного запаха, которого доктор не переносил, совсем не являлся на глаза братцу; визит Января Якимыча, Меркулыча и Рукина задел Кинтильяна за живое, и поэтому в одно прекрасное утро, когда Луковна совсем забыла о своем блудном сыне, он появился в дверях комнаты Сергея Павлыча и молча вытянулся во весь свой богатырский рост у косяка. Для храбрости Кинтильян «дернул пенного» и посмотрел на доктора осовелыми, глупыми глазами. Луковны не было, денщик Иван был куда-то послан. Сергей Павлыч со страхом посмотрел на безмолвно стоявшего верзилу и проговорил:

— Вам... вам кого нужно?

Кинтильян слегка покачнулся, посмотрел на доктора мутными глазами и, сделав два шага вперед, проговорил:

— Здравствуйте, братец...

В этот критический момент в дверях показалась Луковна. Доктор, показывая пальцем

на Кинтильяна, глухо проговорил:

— Маменька, он убьет меня...

Луковна в шею выпроводила Кинтильяна, но доктор так был встревожен посещением братца, что никак не мог успокоиться целый день, не спал всю ночь, а наутро денщик Иван уложил вещи доктора в экипаж, и доктор уехал. Луковна долго стояла за воротами, провожая глазами удалявшуюся повозку и утирая концом передника слезившиеся глаза; она была убита и огорчена до последней степени, но не за себя лично, а за своего ненаглядного Сереженьку, которого «не грело красное солнышко и не кормил хлеб-батюшко». О себе, о своем личном счастье старуха не думала и теперь, как не думала об этом целую жизнь.

Луковна и Лапа остались в своей избушке, и обе вздохнули свободнее, точно гора с плеч свалилась. Доктор при отъезде говорил, что отслужит свой срок военным врачом, поступит куда-нибудь на службу в город и тогда возьмет к себе мать и сестру; Луковне он оставил сколько-то денег и дал слово высылать ежемесячно небольшую сумму. На другой же

день после отъезда доктора Кинтильян и Меркулыч заняли свои каморки, и колесо нашей жизни тихо завертелось своим обычным ходом; вечером опять мы собирались за самоваром в избушке Луковны и подолгу толковали о разных разностях.

— Хотел я Сергею Павлычу одно местечко показать, где утят хоть руками бери, — говорил Меркулыч, попыхивая папироской и сильно встряхивая своими напомаженными волосами. — Отличное место!

— Уж какие ему утята! — махнув рукой, говорила Луковна. — Ему жареного-то утенка не поймать на тарелке.

— Отчего он такой сделался? — спрашивал Меркулыч.

— От ученья, батюшка, все от ученья, — отвечала совершенно чистосердечно Луковна: — я как-то насмелилась и спросила его об этом, а он мне и говорит: «Трудно, маменька, учиться было...» — Что же, говорю, учителя, говорю, строгие были? — «А вот, говорит, маменька, бывало так: принесут покойника, учитель придет, возьмет нож и давай его пластать, а ты стоишь и смотришь. А как, гово-

рит, учитель-то рассердится, маменька, да ножом?» Вот от страху сердце-то, видно, издрожалось, он теперь и скудается здоровьем... Вышел как-то на полянку утром, прилег на травку, где маленьким еще валялся, погрелся на солнышке, а потом печально таково говорит: «Нет, маменька, видно, и солнце уж не греет меня...» Он ведь всегда так мудрено говорит, что не скоро его поймешь: такой уж мудреный вышел.

Этот «мудреный» доктор несколько поохладил мои мечты непременно быть доктором, а рассказ Луковны об учителе с ножом поверг меня даже в уныние, пока отец не убедил меня, что все это пустяки и что Сергей Павлыч просто пошутил над матерью. Вообще доктор не оправдал тех ожиданий, какими мы все жили в первую минуту его приезда; розовое барежевое платье Нади опять было спрятано в ящик, значит, была не судьба исполнить ему предназначенную роль.

V

После отъезда доктора курсы Луковны сильно поднялись, потому что, как-никак, а все-таки она теперь была «докторова мать», и все отлично помнили жирные эполеты доктора, его денщика и его экипаж; даже на Лапу перепала малая часть лучей докторского имени: все-таки и она была «докторова сестра», что в нашей захолустной иерархии имело большое значение. Сама Луковна осталась прежней Луковной, нимало не гордилась своим новым званием и по-прежнему работала без устали; я немало удивлялся такой скромности с ее стороны и не раз высказывал ей, что она теперь достигла полного и безмятежного счастья, которое ничто не в состоянии разрушить.

— Ах, Кирша, Кирша, какой ты глупый человек! — добродушно говорила мне Луковна: — как знать вперед: сегодня я докторская мать, буду зазнаваться, а завтра Сереженька умрет, тогда что?.. Нет, голубчик, он сам по себе, а я сама по себе: всяк сверчок знай свой шесток.

Меркулыч сильно изменился, сделался задумчив и рассеян; приходя к нему, я часто заставал его в таинственных беседах с Лапой, конечно, когда Луковны не было дома. Странное поведение Меркулыча скоро объяснилось: однажды Луковна явилась к нам и о чем-то очень долго и очень тихо разговаривала в гостиной сначала с отцом, а потом с матерью; когда она ушла, отец проговорил:

— Что же, — устрой, господи, на пользу; только нужно прежде посоветоваться с Сергеем Павлычем, что он скажет на это.

— По-моему, и писать не о чем, — отвечала мать: — разве так написать, для формы... Чего тут разбирать, дело самое подходящее, а для Лапы такого жениха днем с огнем поискать. Меркулыч человек обстоятельный; жалованье маловато, конечно, да Лапе-то жить не с жалованьем, а с человеком.

— Все-таки надо написать Сергею Павлычу и посоветоваться с ним, а то, пожалуй, еще обидится. Я напишу ему.

Отец долго сочинял письмо петербургскому доктору, несколько раз переписывал его, поправлял, читал матери и Луковне, наконец,

оно было отослано в Петербург вместе с фотографией Меркулыча, и настал длинный срок самого мучительного ожидания, а Меркулыч и Лапа числились как жених и невеста, искали уединенных разговоров, перекидывались таинственными улыбками, и взглядами, и полусловами, как это прилично жениху и невесте.

О той жизни, какую мы вели с Меркулычем раньше, конечно, не могло быть и речи; я отлично понимал, что Лапа отняла у меня Меркулыча, но отнесся к этому довольно равнодушно и даже холодно, потому что нужно было серьезно готовиться к поступлению в духовное училище и целые дни напролет зубрить латинские и греческие спряжения; мысль быть доктором произвела во мне решительный перелом, и я твердыми шагами шел к своей заветной цели и настолько увлекался своим будущим, что даже не обратил надлежащего внимания на такие выдающиеся факты, как получение разрешительного письма доктора на свадьбу Лапы и затем на самую церемонию этого торжественного события, в котором я принимал участие в каче-

стве шафера со стороны невесты. Как сквозь сон, помню целый ряд церемоний, которые происходили теперь в избушке Луковны: рукобитье, обручение, девичники — все это для меня казалось скучной церемонией; зато мои сестры жили самой лихорадочной жизнью, работая вместе с другими девушками-подругами в избушке Луковны над приданым невесты. Полосы холста, штуки ситца, полотно, какие-то цветные материи, дешевые ленты, кружева, песни с утра до ночи — все это мешалось в моей голове самым странным образом с латинскими спряжениями, катехизисом Филарета и тому подобными хитростями-мудростями бурсацкой науки, которая ожидала меня. Самая выдающаяся роль на этой свадьбе выпала на долю добрейшего Января Якимыча, он целые дни хлопотал без устали, суетился, бегал и всем страшно мешал. Расходившийся старичок помогал даже кроить, шил вместе с подругами невесты и тоненьким дребезжащим голоском пел с ними песни. В день свадьбы после «венца» Январь Якимыч, поздравляя молодых, выпил несколько рюмок лиссабонского и по непривычке к вину сразу

захмелел, что послужило началом целому ряду презабавных сцен: он пел петухом, показывал, как пьет воду курица, и каким-то бабьим голосом выкрикивал: «Слава тебе, господи!.. Слава тебе, господи!.. Устрой, господи, на пользу... Родимые мои! Олимпиада Павловна... Иван Меркулыч... Слава тебе, господи!..»

Итак, Меркулыч женился и зажил с молодой женой в небольшом домике, который купил на последние гроши, какие были скоплены им в течение десяти лет; а Луковна осталась в своей избушке одна и ни за что не соглашалась жить у зятя, как последний ни упрашивал ее об этом. Это странное упорство старухи сильно удивило всех, в том числе и меня, и все решили, что Луковна думает переехать к сыну в Петербург, но сама она ни слова не говорила об этих намерениях и продолжала вести в своей избушке прежний образ жизни, изредка навещая дочь.

— Настоящая медведица, не хочет расставаться с своей берлогой, — шутил иногда отец.

— Мне немного надо, — говорила Луковна: — корочку хлеба — вот и сыта, а в своем

углу все-таки спокойнее.

Наступило лето, брат Аполлон приехал на каникулы, и я стал заниматься под его руководством, потому что отец прихварывал и ему трудно было следить за моими занятиями. Эти каникулы были для нас очень тревожным временем. Аполлон кончил духовное училище и осенью должен был поступать в семинарию, где ему нужно было сдать вступительный экзамен.

Он сильно вырос и возмужал и старался держать себя совсем как большой, особенно с барышнями, говорил с ними загадками, старался смешить их и постоянно улыбался самодовольной улыбкой, немилосердно пощипывая верхнюю губу, на которой выступал черный пушок — гордость и слабость Аполлона. Мы иногда ходили к Меркулычу, но я находил эти посещения скучными, а Аполлон выбирал такое время, когда самого Меркулыча не было дома, и до слез смешил Лапу самыми смешными анекдотами. Мать хотя и косилась на такое поведение своего любимца, но молчала до поры, до времени, потому что видела в этом только развлечение для молодого

человека. Наконец наступил конец июля, роковой экзамен был на носу, и Аполлоша храбро отправился в губернский город, где была духовная семинария. Я остался дома до половины августа, мне торопиться было некуда.

Две недели неизвестности, которые мы пережили во время экзаменов Аполлона, показались мне вечностью, и в нашем доме царило самое тяжелое уныние, борьба между страхом и надеждой. Погода стояла дождливая, и в длинные темные вечера происходили бесконечные разговоры, догадки и предположения, предметом которых был Аполлон. Как теперь помню этот несчастный августовский вечер, когда мы сидели всей семьей за чаем; дождь лил, как из ведра, порывистый ветер дергал ставни и дико завывал в трубе. Мать была особенно задумчива и грустна, Надя и Верочка сидели смирно, не смея шевельнуться, отец ходил по комнате, заложив руки в карманы казинетового подрясника; в это время послышался шум подъехавшей телеги и легкий стук в окно. Мы переглянулись, мать побледнела и выронила из рук чайную ложку, которая неприятно зазвенела о чайное

блюдечко.

— Видно, с требой? — нерешительно проговорила мать; я видел, как ее рука дрожала на скатерти.

Отец молча подошел к окну, отворил форточку и как-то бессильно опустился на стул, точно у него подкосились ноги; я никогда не забуду выражения его лица, полного муки, гнева и отчаяния.

— Боже мой, боже... — тихо проговорил отец, хватаясь за голову.

Через минуту в комнату входил Аполлоша с своим чемоданчиком, весь мокрый, бледный, но с таким решительным выражением на лице, что я сразу не понял всей трагичности наступившего момента.

— Аполлоша, Апол... — крикнула мать и бросилась на шею к стоявшему с чемоданчиком в руке Аполлону.

— Обзатылили... — шептал отец, а потом так дико захохотал и с такой силой ударил кулаком по столу, что я отшатнулся от него. — Обзатылили... О, подлецы! — застонал отец, хватаясь за голову.

— Викентий Афанасьич... — тихо заговори-

ла мать, переходя к отцу. — Викентий Афанасьич...

— Паша... Паша... — бессвязно бормотал отец, не удерживая больше слез, которые ручьем катились по его лицу, усам и бороде.

— Успокойся, Викентий Афанасьич...

— Пашенька... ведь это устроил *тот!* — с искаженным лицом закричал отец, порываясь из рук матери. — Это Амфилошкиных рук дело... Это он, он, он!..

Матери стоило больших усилий успокоить убитого отца; сестры плакали, брат по-прежнему стоял с чемоданом в руках и щипал верхнюю губу, я смотрел на всех с открытым ртом, и у меня только теперь сжалось детское сердце за всю эту немую сцену, свидетелем которой я был.

С отцом сделался истерический припадок — он то дико хохотал, то плакал; едва к утру нам удалось привести его домашними средствами в более спокойное состояние, и он, наконец, заснул тяжелым, тревожным сном; мы все не спали целую ночь. Аполлон сидел безмолвно в углу, облокотившись на стол и положив голову на руки, точно теперь

это была для него совсем лишняя вещь, которая мешала ему; мать тихо плакала, сидя рядом с ним, я лежал в своей «канцелярии» и слушал, как о чем-то тихо шептались сестры, а потом Надя подошла к матери и проговорила:

— Перестань, мама... Ты плачешь... точно Аполлон умер. Ведь живут же другие люди, — не всем кончать курс в семинарии и быть священниками.

Мать была поражена этими словами, она совсем не ожидала этого от сестры, которой руководил теперь тот женский инстинкт, благодаря которому женщина всегда скорее найдется, что нужно делать в критических обстоятельствах, чем мужчина.

Я со страхом ожидал следующего дня, но он оказался легче, чем я думал. Рано утром брат ушел куда-то и вернулся вместе с Меркулычем, присутствие которого теперь очень обрадовало меня. Бывают такие положения, когда оставаться с глазу на глаз в своей семье делается невыносимым, и в эти тяжелые минуты присутствие постороннего человека снимает половину тяжести, хотя этот посто-

ронний человек ничем не может помочь вам и слова его утешения вы слушаете иногда из простой вежливости, а между тем, совершенно незаметно, именно это бесполезное слово участия воскрешает вас. Так было и теперь, и, как я узнал после, брата послала к Меркулычу та же простенькая Надя, догадавшаяся раньше других, чем помочь горю и как успокоить отца, когда он проснется.

Итак, Меркулыч явился к нам и, сидя на лавке, осторожно покашливал в руку, в гостиной слышались тяжелые шаги, глубокие вздохи и кашель, наконец, в дверях показался отец, постаревший за ночь на несколько лет.

— А, это ты пришел... — совершенно равнодушно проговорил отец, точно он был уверен найти Меркулыча здесь.

— Да-с, пришел проведать вас, отец Викентий...

— Да, братец, обзатылили отца Викентия, совсем обзатылили!

— Зачем-с, отец Викентий... Это вы даже совершенно напрасно-с... Ей-богу, так-с.

В затруднительных случаях Меркулыч имел привычку прибавлять к каждому слову

«с» и постоянно утирал лицо платком, как-то забавно отдувая свои розовые щеки. Один вид этого свежего, довольного человека подействовал хорошо на отца; он взял его под руку и увел в гостиную.

— Так ты говоришь, что напрасно? — спрашивал он Меркулыча то самое слово, которому он не верил.

— Совершенно даже напрасно-с, отец Викентий, — покашливая, отвечал Меркулыч: — Сгоряча оно точно иногда горячку порешь, а потом одумаешься… Вы рассудите так: вот вы сами отличный аттестат имеете, кончили курс в семинарии, а какое ваше положение?..

— А-ах, Меркулыч, Меркулыч! — застонал отец. — Ведь меня кто придавил: Амфилошка Лядвиев… Да!..

— Амфилошка Амфилошкой-с, отец Викентий, а и сами вы не правы, — вкрадчиво заговорил Меркулыч, раскуривая папиросу и усаживаясь на кончик стула, причем он бережно загнул фалды своего казинетового пиджака. — Да, вы сами не правы.

— Я? Не прав?!.

— Да-с, — по-прежнему кротко отвечал

Меркулыч, пуская с необыкновенным искусством колечко синего дыма. — Сделаемте такое рассуждение, отец Викентий: вам встал поперек дороги консисторский секретарь Лядвиев и не дает ходу, а вы бы собрались как-нибудь, да рыбки ему пудик послали, шишечек кедровых, чайку фунтик...

— Да я ему, подлецу...

— Позвольте, отец Викентий, — мягко остановил отца Меркулыч. — Я хочу сказать, что вы не хотите покориться под Лядвиева и оказать себя подлецом... Так-с?

Отец понял, к чему клонились подходцы Меркулыча, посмотрел на него и, улыбнувшись, проговорил:

— А ведь ты умным человеком оказываешь себя... Извини, брат, не ожидал... Ты, значит, только по виду-то прост кажешься?

— Уж как мать родила-с, отец Викентий, — нисколько не обидевшись грубоватой откровенностью отца, отвечал с улыбкой Меркулыч. — Без хитрости по нонешним временам даже совсем невозможно-с: курица, и та норовит заклевать тебя. А я, собственно, к тому веду речь, что вы напрасно изволите так

сокрушаться об Аполлоне Викентьиче: может, у них судьба такая. А я, грешный человек, иногда смотрю на вас, и вчуже мне жаль вас делается: человек вы образованный, с головой человек-с, и вдруг Лядвиев вас заключает в Таракановку... Вот я маленький человек, а я счастливее вас, потому я вольная птица: не захочу служить, буду торговать, и никто мне ее указ. И выходит, что при моей глупости мне не в пример легче вашего жить. Теперь возьмем Аполлона Викентьича: образование они для себя получили достаточное, поступят на завод, а лет через пять-шесть, глядишь, будут получать жалованья вдвое больше нашего. Человек он аккуратный, можно сказать, вполне самонадеянный, начальство увидит ихние труды, вот вам и отлично всем будет. Притом вот теперь Кира Викентьича тоже нужно в науку посылать, деньги нужны-с, а на двоих-то у вас, пожалуй, и недостало бы: и лета ваши не такие и здоровье слабое. А теперь что-с? Аполлон Викентьич поведут себя в лучшем виде-с и не только свою голову будут пропитывать, а и вам помогать станут за ваши заботы о них. Вот и выйдет

так, что и вам будет лучше-с, и Кир Викентьич будут происходить свою науку-с... Да-с! Вы уж извините меня, отец Викентий, а я вам даже откровенно скажу-с, что нынче быть молодому человеку священником даже не в моде-с...

— Ну, это, брат, положим, что ты и врешь, а все-таки не ожидал... Нет, не ожидал в тебе такой прыти! Ты молодец... В самом деле: черт с ними со всеми!.. Наплевать!..

— Совершенно верно-с. Ведь шесть лет нужно было тянуть лямку-то и на вашей шее при этом...

— Веррно!..

— Оно сначала и мне это обидно показалось, а потом обсудил я это самое дело: не стоит-с!..

— Не стоит шкура выделки?

— Так точно-с.

Мать слышала весь этот разговор и с веселым лицом вошла в комнату.

— А я ведь то же самое думала, Викентий Афанасьич, — проговорила она: — разве уж только и свету в окне, чтобы в священники поступить...

Мы все собрались в гостиной, явился самовар, и в комнате раздался веселый говор и самый беззаботный смех: туча прокатилась; Аполлон рассказывал о своей поездке, о пской семинарии, профессорах и экзаменах. Отец смеялся вместе с другими и рассказывал о том, как сам учился в семинарии. Повторяя вечную историю об Амфилошке Лядвиеве, отец говорил уже в шутливом тоне:

— Подлец он, Амфилошка... А ведь вместе двенадцать лет учились... на одной парте сидели! А вот теперь придавил меня ногой, и баста... Думает: задушу, а может, бог-то и не оставит меня именно за его, Амфилошкину, неправду... Так?

— Злохудожественный человек, отец Викентий, — прибавил Меркулыч, поправляя розовый галстучек на шее.

VI

В августе месяце я расстался с Таракановкой и поступил в четвертый (последний по прежним порядкам) класс уездною духовного училища, находившегося в заштатном уезд-ном городишке Гавриловске, при знаменитом Гавриловском монастыре. От Таракановки до Гавриловска было больше двухсот верст, и до губернского города Прикамска от Тараканов-ки считали четыреста верст; притом жизнь в Гавриловске была вдвое дешевле, чем в «гу-бернии», поэтому отец и отправил меня туда. Первое, что мне бросилось в глаза еще доро-гой, это то, что по мере приближения к Гаври-ловску местность все понижалась, делалась ровнее, вечнозеленый дремучий хвойный лес сменился лиственными породами с их блед-ной зеленью, к которой совсем не привык мой глаз, и, наконец, потянулись волнистые оголенные равнины Зауралья, в центре кото-рого стоял Гавриловск с своим монастырем. Этот город был просто деревня с несколькими церквами, и я сразу возненавидел его и в пер-вый раз горько заплакал о своей милой Тара-

кановке, потерявшейся в широком просторе Уральских гор. Все то, что раньше не имело для меня никакого значения, чего я даже не замечал, теперь тянуло меня с непостижимой силой к себе; особенно сильно тосковал я об уральских лесах, по которым бродил с Меркулычем; даже заводская фабрика с ее сажей, пылью, вечным грохотом казалась мне каким-то раем в сравнении с этими бесконечными полями, на которых глаз не находил ни одной высокой точки и которые шахматной доской зеленых озимей и только что сжатых полей уходили в бесконечную даль.

Самое училище помещалось в монастыре, за его толстыми стенами, видевшими башкирские бунты и пугачевщину. Прежде всего я явился к архимандриту Иринарху, настоятелю монастыря и смотрителю духовного училища; это был высокого роста, еще очень молодой и в высшей степени красивый монах с длинными, белыми, как молоко, руками и с полузакрытыми ленивыми глазами. Он принял меня с такой важностью, что у меня похолодело на душе от предчувствия чего-то недоброго; на экзамене я отвечал бойко, но

Иринарху больше всего не понравилась моя заводская развязность в сравнении с деревенскими поповичами, которые только потели со страху и дрожали, как в лихорадке.

— Как только приедешь в Гавриловск, сходи непременно к отцу Марку, — говорил мне отец на прощание: — Он славный парень был... На квартиру вставай к Ивану Андреичу, где Аполлон жил. Славный старик, хоть, не тем будь помянут, крепко нас дирал прежде.

Памятуя наставления отца, я отыскал в Гавриловске небольшой домишко Ивана Андреича. Это был совсем маленький домик, походивший на крестьянскую избу, с передней и задней половиной. В передней половине Иван Андреич держал кого-нибудь из учеников духовного училища, а в задней жил сам с своей женой Аришей. Иван Андреич выслужил сорок лет учителем уездного духовного училища и теперь жил на покое, получая двенадцать рублей пенсии в месяц. На вид это был крепкий старик с какой-то деревянной физиономией и щетинистой бородой. Одевался он зимой и летом в полосатый тиковый ха-

лат и в таком виде ходил по всему Гавриловску. Грубоватый на вид, Иван Андреич был собственно добрейшей души человек, и ему нужно было пройти сквозь огонь и медные трубы бурсацкой жизни, чтобы прославиться на целую губернию самой жестокой поркой. Ариша была как раз по плечу Ивану Андреичу: низенькая старушка со сморщенным лицом, не вылезавшая из ветхого ситцевого платья, любившая поворчать и воображавшая себя очень проницательной; главным ее достоинством было умение кормить своих постояльцев.

У Ивана Андреича был сын Антон, который жил в передней половине вместе с нахлебниками. Это был очень веселый и очень взбалмошный парень, который с первого же раза отнесся ко мне самым враждебным образом. Кроме Антона и меня, в передней половине поместился еще сын о. Марка, которого все звали Гришкой. Это был уж совсем отчаянный человек, обладавший притом здоровенными кулаками. Гришка и Антон встретили меня, как новичка, глухим ворчанием и к вечеру же отколотили наижесточайшим об-

разом. Таким образом, я был посвящен в тайны бурсацкой науки. Первую ночь, которую я провел под кровлею домика Ивана Андреича, я проплакал напролет; бессильная злоба душила меня, но вместе с тем я сознавал, что я теперь отрезанный ломоть, как говорил отец, и должен был испить чашу до дна. Далекая Тарaкановка встала передо мной в самых радужных красках, и я, задыхаясь от слез, до самого утра думал о ней, о матери, сестрах, Луковне, Меркулыче, Январе Якимыче.

Приемный экзамен я выдержал порядочно и поступил в высшее отделение, то есть в последний класс, где, к моему несчастью, мне пришлось учиться вместе с Антоном и Гришкой. Впрочем, я скоро освоился с ними и даже до известной степени привык к побоям: ощущения физической боли притуплялись, а чувство собственного достоинства я почти совсем утратил. Как это случилось, я не могу дать себе отчета в настоящее время, помню только, что я сначала потерялся, потом ушел в себя и, наконец, глубоко возненавидел бурсу и Гавриловск. О способе учения считаю излишним говорить подробно, потому что он

совершался самым ветхозаветным образом, и все дело в конце концов сводилось только на одно голое зубрение, мертвившее детский ум и парализовавшее всякое проявление самодеятельности молодой мысли.

Отец Марк жил в большом селе Заплетаеве, до которого было от Гавриловска верст десять, вниз по реке Ирени. В будни мне некогда было сходить туда, а в праздник я боялся встретить там Гришку с Антоном. Свободное время, которое у меня выдавалось в праздники, я посвящал уединенным прогулкам за город, особенно по течению Ирени, где было несколько отличных рыбных мест. У меня было несколько удочек, с которыми я забирался рано утром куда-нибудь подальше; там проводил целый день, предаваясь этим воспоминаниям, и подолгу лежал на траве с закрытыми глазами, вызывая в своей памяти дорогие мне лица, места и события. Я еще раз переживал здесь все то, что осталось в Таракановке.

Однажды — это было в начале августа — день выдался такой теплый да светлый, точно вернулось опять лето. Я забрался под иву с раннего утра. Рыба брала плохо, и я мог меч-

тать, сколько душе угодно, без ущерба делу. Накануне я получил письмо от отца, и хотя в нем ничего нового не было, я находился в особенно мечтательном настроении и совсем не заметил, как один из поплавков начал тревожно нырять.

— Тащите... клюет! — крикнул за моей спиной чей-то голос, и, прежде чем я успел оглянуться, маленькая белая ручка схватила одну из моих удочек и торопливо выдернула из воды пустую лесу.

— Ах, какая жалость!.. — сердито проговорил тот же голос. — Как вам не совестно так зевать?..

Я оглянулся и сильно смутился. Предо мной стояла красивая девочка лет четырнадцати в белом пикейном платьице и сердито смотрела на меня красивыми карими глазами.

Как во сне мелькнули пред мной гладко зачесанные светло-русые волосы, ярко-алая лента на белой шейке, маленькие белые руки с розовыми пальчиками и очень красивое, теперь нахмуренное личико с вздернутым носиком. Я совсем растерялся и молчал. Девочка

сердито топнула ножкой и, отдувая розовые пухлые щеки, капризно проговорила:

— Что же вы молчите, как пень? Я, кажется, с вами говорю... А как отлично клевала!

Девочка громко засмеялась. Доктор Обонполов еще больше смутился.

— Вероятно, из духовного училища? — спросила она. Я подтвердил это предположение. — А как ваша фамилия?

Я назвал себя.

— Так это вы и есть Кир Обонполов... — растягивая слова, проговорила девочка. — Отчего вы к нам не приходили?.. Пойдемте. Меня зовут Симочкой. Папа будет очень рад. А что ваш брат?

Не помню, что я отвечал на этот вопрос; об удочках я забыл и приготовился покорно следовать за незнакомкой, не спросив даже, куда она меня ведет.

— А удочки? — спрашивала моя незнакомка, когда мы сделали несколько шагов. — Как это глупо!..

Пока я вынимал удочки и сматывал лесу, к нам подошла большая барышня, одетая в изящное летнее платье из сурового полотка.

— Агничка, посмотри, какую я находку сделала, — весело говорила Симочка, кивая в мою сторону головой. — Имею честь представить: братец Аполлона, Кир Обонполов.

Агничка лениво посмотрела на меня, потом перевела свой взгляд на сестру и улыбнулась. Мне показалось, что она думала: «Хороша находка... какая ты глупая, Симочка! Ну, что мы будем делать с этим болваном?»

— Пойдемте, — проговорила Симочка, точно отвечая на мою мысль. — Мы скоро будем обедать... Ух, как я устала!..

Мы пошли по направлению к Заплетаевскому селу, которое виднелось верстах в четырех. Всю дорогу Симочка щебетала, как птичка, немилосердно тормошила меня и заливалась неудержимым, заразительным смехом, заставлявшим улыбаться меня, вероятно, самым глупым образом. Агничка жаловалась на усталость и несколько раз многозначительно проговорила:

— Он совсем не походит на брата... ничего похожего нет!

Меня осенило какое-то просветление, и я понял смысл этой фразы, то есть что Агничка

находила меня просто безобразным сравнительно с братом Аполлоном. Эта мысль произвела на меня гнетущее впечатление. Моему самолюбию был нанесен жестокий удар, потому что как я ни преклонялся пред совершенствами Аполлона, но в настоящую минуту я почувствовал мучительное желание быть красивым, ловким, любезным, по крайней мере, кавалером вроде Меркулыча. Ах, зачем у меня не было хоть частички достоинств моего друга! Я испытывал глубокое чувство унижения и страстно желал вернуться обратно в Гавриловск, чтобы выплакать свое горе где-нибудь в углу; но о бегстве нечего было и думать, — оставалось идти вперед. Все, что я пережил на пути от моей ивы до Заплетаева, можно сравнить разве только с тем, что чувствует утопающий человек.

Заплетаевское село было больше Гавриловска. Оно раскинуло свои крепкие домики тоже по берегу р. Ирени и весело глянуло на нас своей каменной белой церковью и широкой улицей. Недалеко от церкви стоял пятистенный деревянный дом в один этаж с красивым мезонином и широким двором. Это и

был домик о. Марка, куда мы шли, как я догадался.

— А вот и папа! — звонко крикнула Симочка, указывая головой на сухонького низенького старичка, который сидел на крылечке и стругал какую-то палочку. Он был одет в старый, разорванный подрясник, из больших прорех которого вылезли клочья грязной ваты. На голове была надета донельзя затасканная меховая шапка, на шее намотан пестрый гарусовый шарф. — Папа, отгадай, кого мы привели к. тебе? — кричала Симочка, подбегая к старику.

Старик повернул ко мне свое острое, изрытое оспой лицо, зорко оглядел меня с ног до головы своими бойкими карими глазами, сделал какую-то гримасу и с веселой улыбкой отвечал:

— Где вы такого зверя откопали?

Когда старик улыбнулся и заговорил, в его некрасивом лице мелькнуло то же добродушно-лукавое выражение, которое не сходило с личика Симочки, и я догадался, что это и есть тот знаменитый о. Марк, о котором отец всегда спрашивал Аполлона и которому мы все

завидовали.

— Что, не узнаешь меня, паренек? — весело заговорил о. Марк, бойко соскакивая с своего места. — А ведь мы с твоим-то отцом вместе учились... вместе. На одной парте двенадцать лет высидели. Понимаешь? А Иван Андреич, разбойник, бывало, вместе нас и драл... У, как драл, разбойник!

Как-то забавно привскочив на одной ножке и лукаво прищурив глаза, о. Марк продолжал:

— А ты, паренек, отведал березовой каши?.. а? Чик-чик-чик... а? Ничего, после спасибо скажешь... А Иван Андреич драл... у, как драл, разбойник! Бывало, разложит нас с отцом-то твоим и прогнусит: «А закатить Филемону и Бавкиде пятьдесят горячих»... Ух!.. Небо с овчинку! А я Ивану Андреичу и шепну: «Иван Андреич, гуська привезу...» Сейчас смилуется. «Ты у меня добрый парень, садись на место!» Вот как жили, паренек, а вы что — время даром проводите!..

Агничка ушла в комнату, а Симочка стояла и смеялась. Я покраснел, как рак, и окончательно растерялся, а о. Марк так и заливался

своим дребезжавшим безобидным смехом.

— Ну, соловья баснями не кормят, Серафима Марковна, — заговорил о. Марк, — ты у Ивана Андреича стоишь, паренек? Ну, значит, досыта не наедаешься и с голоду не умираешь... Так, так! Знаешь поговорку: держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле... Satur venter non studet libenter[46]. Ты с моим блудным сыном, значит, живешь... Колотит он тебя, разбойник?.. Он и меня скоро будет колотить... Да, да!.. Ты от него подальше, коли хочешь добра!

Пятистенный домик о. Марка был устроен внутри на славу, так что у меня даже глаза разбежались: мягкая мебель, дорогие обои, ковры, бронза и даже вазы. Особенно хороша была небольшая голубая гостиная с мебелью, обтянутой голубой шелковой материей, С голубыми драпировками на дверях и окнах, с голубыми обоями и небольшой бронзовой люстрой, спускавшейся с потолка. Зато кабинет о. Марка отличался большой простотой: в одном углу стоял трехногий стол с какими-то бумагами, в другом столярный верстак, два простых стула, и только. Я почувствовал

невольную робость в этих богатых комнатах и сразу понял всю разницу между ними и нашими убогими комнатками в Таракановке. Здесь же я понял источник нашей фамильной гордости, которая должна была вознаградить нас за те блага, каких нам недоставало. Я пришел даже в некоторый священный ужас, прикинув в уме, сколько могла стоить вся эта обстановка в доме о. Марка, особенно если сравнить с теми героическими усилиями, каких стоили нам наши жалкие вещи. Да, будущий доктор не умом, а всеми своими чувствами в первый раз испытал щемящее чувство зависти и подавляющую силу богатства.

— А ты, Кирша, умеешь бревна возить? — спрашивала меня Симочка, которая с двух слов поставила себя со мной на короткую ногу.

Я сознался в своем невежестве. Симочка подвела меня к небольшому столу из «мороженого» железа под малахит, наклонила головку и провела белым лбом по полированному железу. Получился дребезжащий звук, действительно походивший на то, как будто по улице ехали с бревном. Симочка несколь-

ко раз повторила эту штуку, а потом заставила проделать ее меня. Будущий доктор на этот раз вышел из затруднения самым блистательным образом: стол под моим лбом затрещал неистово, и Симочка с восторгом принялась громко аплодировать моим успехам. Эти похвалы настолько разожгли мое усердие, что на лбу у меня всплыла большая красная шишка, но это вышло еще забавнее, так что я совсем позабыл о своем желании провалиться сквозь землю или, по меньшей мере, удрать обратно в Гавриловск.

Нужно ли говорить, что мы отобедали самым веселым образом, весело играли долго после обеда — вообще провели целый день самым отличным образом благодаря удивительной изобретательности Симочки и еще более удивительной готовности Кира Обонполова исполнять все ее желания и капризы. Дело кончилось тем, что будущий доктор с ловкостью медвежонка очутился, наконец, на крыше и даже был согласен спрыгнуть прямо с высоты нескольких сажен, чтобы только заставить Симочку смеяться ее серебристым смехом. Совершенно излишне упоминать о

том, что когда Кир Обонполов возвращался в Гавриловск, — в его идеалах оказалось значительное приращение, именно, что он не только будет доктором, а еще должен жениться на Симочке.

Да, это была настоящая первая любовь «с окрыляющим жаром молитвы и с целомудренными восторгами», любовь, которая приносила много явных и тайных огорчений, мук и терзаний, выкупаемых светлыми полосами тайного счастья, — любовь, которая, как весна в году, не повторяется. Я очень часто бывал в Заплетаеве и проводил время отличным образом; но на горизонте моего счастья стояло уже черное облако — это архимандрит гавриловского монастыря и смотритель нашего училища Иринарх, который тоже очень часто навешал о. Марка и с которым Кир Обонполов, по некоторым обстоятельствам, меньше всего желал встречаться где бы то ни было, — сказать проще, будущий доктор боялся Иринарха, как огня. Впрочем, Иринарх посвящал свой досуги исключительно одной Агничке. О. Марк хлопотал по хозяйству и, повидимому, совсем не обращал внимания на

эти таинственные tete-a-tete, происходившие у него под носом. Раз, дурачась с Симочкой, я с разбегу влетел в комнату Агнички, и мне показалось, что она сидела на коленях у архимандрита и при моем появлении быстро отскочила. Мне, конечно, показалось все это, и я никогда не поверил бы в возможность такого случая между Агничкой и Иринархом. Эти таинственные уединения давали нам с Симочкой полнейшую свободу, чем мы и пользовались. Симочка была отличная девочка и держала себя со мной как товарищ. Чем дальше подвигалось время, тем сильнее любил я ее и страшно скучал, когда дня три мне не приходилось бывать в Заплетаеве. Симочка отвечала мне тем же и не раз приезжала за мной на квартиру к Ивану Андреичу на маленькой серой лошадке, которой всегда правила сама. Когда выпал снег, мы на этой лошадке устраивали отличные пикники.

Мне казалось, что Иринарх глубоко ненавидел меня и не упускал случая сделать мне что-нибудь «неудобосказуемое». На монастырском дворе, в двух шагах от училища, стоял знаменитый «каменный мешок», то

есть длинный каменный флигель, имевший форму мешка, в котором проживал «смиренный Иринарх», как официально подписывал свое имя наш смотритель. Снаружи трудно было представить что-нибудь безобразнее этого каменного мешка: штукатурка на стенах облезла, кирпичи выкрашивались, железная крыша во многих местах проржавела, маленькие окна с железными решетками смотрели неприветливо, как в тюрьме, и само здание походило на каменный гроб. Но какой резкий контраст находил каждый, кто имел счастье проникать вовнутрь этого склепа! Ряд щегольских, уютных комнат открывал восхитительный вид в тенистый садик, примыкавший к флигелю сзади; в этих комнатках стояла вечная весна из всевозможных растений, которые были собраны в них со всех концов света. Картины, фотографии, письменный стол, украшенный тысячью дорогих безделушек, библиотека — все это делало келью монаха самым уютным каменным гнездышком, в котором все дышало роскошью и изяществом. Летом это был настоящий райский уголок, отгороженный от остальной юдоли пла-

ча высокой и толстой монастырской стеной; небольшая терраса выходила в сад и вся тонула с ранней весны в чудесах экзотической зелени, и Иринарх любил нежиться на этой террасе, покачиваясь в вольтеровском кресле с последней книжкой какого-нибудь журнала. Небольшой квадратный садик, устроенный в углу монастырской ограды, представлял из себя чудный, затянутый зеленью уголок, но я не могу вспомнить о нем без невольного трепета... Я имел несчастье попасть в хор певчих, и поэтому мне очень часто приходилось бывать в покоях владыки Иринарха, который был большой знаток и любитель пения; бывало, призовет нас, певчих, и держит часов шесть. Сам Иринарх владел отличным бархатным тенором и любил подпевать нам; певчие были его фаворитами и любимцами, но его любовь была страшнее ненависти, и каждая улыбка заставляла нас дрожать. Иринарх баловал нас, закармливал сластями, и все-таки мы боялись его, как огня, потому что чем тише и ласковее становился его взгляд, чем чаще начинал он улыбаться, тем тяжелее была его рука, — и пока он сладко дремал на

своей террасе, полузакрыв глаза, в садике раздавались оглушительные вопли наказываемых розгами. Мы, певчие, должны были стоять вдали, у стенки террасы и терпеливо дожидались, когда владыка своим бархатным тенором протянет: «довольно». Кто побывал в бархатных лапках Иринарха, тот на всю жизнь не забудет звуков этого бархатного голоса, этих лениво полузакрытых глаз и выразительного бледного лица с матовой кожей.

Если бывают вообще загадочные натуры, то такой загадочной натурой был Иринарх: мучить других для него составляло утонченнейшее наслаждение, и ему нужны были детские слезы, мольбы и вопли, чтобы он мог спокойно дремать в своем кресле; что-то зловещее светилось в этих серых с поволокой глазах, когда они останавливались на вас своим долгим магнетизирующим взглядом, потрясавшим всю нервную систему. Иринарх действовал не столько на тело, сколько на душу, создавая целую пытку для нервов; некоторые падали в обморок от одного его взгляда. А между тем это был очень образованный человек, поступление которого в монахи окруже-

но было самой глубокой таинственностью; кроме того, глубоко художественная натура Иринарха сказывалась во всем и даже в том высокохудожественном зле, которое он сеял кругом себя. Жить он умел, как никто другой, и пока монастырская братия сидела на кислой капусте и горошнице, Иринарх имел самую изысканнейшую кухню и попивал двадцатипятирублевый рейнвейн. Слава об Иринархе гремела по всей губернии, и в гавриловский монастырь из-за сотен верст стекались благочестивые души, жаждавшие слушания «медовой службы» Иринарха и уединенных бесед с этим пастырем словесного стада в его игрушках-комнатах. Рассказывали, что богомольные красивые барыни приезжали за тысячи верст, чтобы посмотреть красавца-владыку и удостоиться поднести ему какой-нибудь ценный подарок на память. Иринарх очень благосклонно относился к этим «взыскующим града», и слава его росла вместе с рассказами о его тысячных рысаках, дорогих обедах и тонких винах.

Я не буду входить в подробности той тяжелой жизни, какая выпала на мою долю за мо-

настырской стеной; по приведенному типу Иринарха можно сделать приблизительное о ней понятие; но когда наступили первые летние каникулы в моей жизни, я обезумел от радости. Все, что было во мне напускного и взятого напрокат, — все это, как чешуя, отпало само собой, уступив место могучему чувству беспредельной любви к родине. Правда, мне очень тяжело было расставаться с Симочкой, но я сейчас же утешился, как отъехал от Гавриловска верст двадцать. Я равнодушно тащился между колосившихся нив и богатых деревень на крестьянской телеге вместе с другими товарищами и смотрел туда, на север, где волнистой линией в синеватой дымке горизонта вставали и все сильней выяснялись силуэты Уральских гор: там Тараканова, там отец и мать, сестры и брат... Как я обниму их всех!.. А Луковна? Меркулыч? Что-то они делают все и как встретят меня?.. Опять жить в лесу, на охоте и на целых полтора месяца забыть об Иринархе, о дежурстве в «каменном мешке», сценах «под колоколом», где по субботам драли учеников, о Гришке и Антоне, лупивших меня на все корки.

Что прежде всего и самым приятным образом поразило меня, так это то, что я сразу почувствовал, что в нашем доме как будто не стало прежней вопиющей бедности, — лучше ели и лучше одевались. Дело объяснилось очень просто тем, что Аполлон поступил на службу, и хотя получал всего пятнадцать рублей жалованья, но все эти деньги отдавал отцу. Эти сто восемьдесят лишних рублей в год были для нашей семьи якорем спасения, тем более что мое учение обходилось в год в сорок пять рублей, — цифра совсем невероятная в нынешнее время, а она имела значение действительности десять-пятнадцать лет тому назад.

Меня опечалило лишь одно обстоятельство, именно то, что Луковны не было в Таракановке; она уехала в Петербург проведать Сергея Павлыча, который сильно прихварывал весной или, как объясняли другие, хотел жениться и для этого выписал свою «маменьку». В избушке жил теперь один неукротимый Кинтильян, и я совсем не заглядывал в эту пещеру рыкающего льва; зато мы с братом каждый день бывали у Меркулыча. Лапа

теперь называлась Олимпиадой Павловной, она пополнела и сделалась рыхлой; спала даже на ходу и просыпалась только тогда, когда считала нужным обругать Меркулыча. Этот примерный муж выносил с примерным терпением от своей супруги все и только лукаво подмигивал, потому что Лапа, то есть Олимпиада Павловна, находилась в таком положении, которое требовало присутствия и самого деятельного участия Климовны, этой сплетницы-старушонки, распустившей о Лапе пред приездом доктора свои сплетни. Меня удивляло терпение Меркулыча, который позволял этой старушонке появляться в его доме.

В июле поспели всякие выводки, и мы с Меркулычем начали свой охотничий сезон. Олимпиада Павловна не только не удерживала Меркулыча, но сама гнала его и постоянно смеялась над Аполлоном, который, ссылаясь на ревматизм, совсем не ходил на охоту и оставался дома. Я отдавался этому удовольствию с полной страстью и был недоволен поведением Меркулыча, который относился к делу уже не с прежним самоотвержением, а, как кажется, с единственною целью поболь-

ше набить дичи; этот промышленный дух, который сменил прежнее поэтическое удовольствие, огорчал и даже оскорблял меня. Затем не было и помину о том, чтобы провести ночь где-нибудь в глухом лесу, как это мы делали прежде: Меркулыч рвался на свое пепелище и морщил лоб, когда мы запаздывали, — словом, это был другой человек, и я не скучал с ним только потому, что больше не с кем было ходить на охоту, а время бежало с поразительной быстротой, приближая роковую минуту отъезда в Гавриловск под высокое покровительство Иринарха.

Раз, в конце июля, подхожу ранним утром к домику Меркулыча, и только занес было руку, чтобы постучать в окно, и вперед отлично представлял себе, как в окне покажется заспанная физиономия моего друга с взъерошенными волосами, — руки сами опустились, и я простоял под окном несколько минут в совершенном оцепенении, точно по мне кто-нибудь выстрелил: новенькие ворота домика Меркулыча были вымазаны широкими полосами дегтя... В переводе это означало самую ужасную вещь, какая только существу-

ет в провинциальной жизни: вымазанные дегтем ворота — это вечный позор дома и несмываемое пятно на его репутации. Я долго не мог прийти в себя, а когда в окне показался Меркулыч, я ничего не мог выговорить, а только показал знаками, чтобы он сейчас же вышел на улицу. Когда Меркулыч показался в калитке, я молча указал ему на ворота. Бедный мой друг побледнел и слабо вскрикнул.

— Кирша, что это... Господи... — бессвязно бормотал растерявшийся Меркулыч, выпуская из рук полы своего халата.

Отворить ворота, снять вымазанные половинки с петель и убрать их на задний двор — было делом одной минуты; в следующую затем минуту Меркулыч в щепы разрубил эти несчастные половинки, и мы молча спрятали их в конюшне. Об охоте в этот день нечего было и думать, великолепное утро пропало, и я вернулся домой с «растрепанными чувствами»; пред моими глазами стоял убитый Меркулыч, который со слезами на глазах побелевшими губами шептал: «За что? Господи... Кому я сделал зло?» Лежа в постели, я долго думал, кто бы мог устроить такую

штуку Меркулычу, и решил, что это дело Прошки. Несмотря на свое огорчение, я заснул самым крепким сном, а когда проснулся, было уже часов одиннадцать утра, и в передней сидела с своим таинственным видом Климовна — значит, как я догадался, весть о скандале успела уже облететь всю Тараканов-ку, и наши усилия скрыть всякие следы остались тщетными. Мать была, видимо, огорчена и старалась не смотреть на меня, сестры шептались, отца и Аполлона не было дома.

— Жаль... как жаль! — шептала поблекшими губами Климовна. — Она-то последнее время ходит, пожалуй, чего бы не попритчилось... А сам-то сел в угол и сидит, как очумелый; из волости присылали за ним, не пошел.

Отец скоро вернулся, он был у Меркулыча, и только махнул рукой, когда мать вопросительно посмотрела на него.

— Ни за грош зарезали парня, — говорил он, когда Климовна вышла: — Меркулыч ни на кого не думает. Встретил сейчас Прошку на улице, улыбается, животное; так бы по толстой морде его и смазал...

— Викентий Афанасьич?!.

— Ах, матушка, что за церемонии! Если бы не сан мой да не старость, — засучил бы рукава и собственными руками... Понимаешь? Было время, когда лошадь за передние ноги поднимал... Да, был конь, да уезжен!

Эта история с Меркулычем наделала большого шуму; сам Меркулыч целую неделю никуда не показывался, Олимпиада Павловна заливалась слезами, как река, и несколько раз прибегала к нам в самом отчаянном виде. Дело кончилось тем, что Меркулыч жестоко запил, и все пошло вверх дном. Он походил теперь скорее на зверя, чем на человека, и несколько раз с ножом бросался на беременную жену, а когда приходил в себя, плакал и на коленях просил прощения. Отец несколько раз ходил к нему делать увещания. Меркулыч слушал его, обещал исправиться и запивал горше прежнего. Я не оставлял своего друга, но мое присутствие едва ли сколько-нибудь помогало Меркулычу: он пил рюмку за рюмкой, ломал все, что попадалось ему под руку, и по всей вероятности сошел бы совсем с ума, если бы в самую критическую минуту не явилась из Петербурга Луковна, торопившаяся к

«разрешению» дочери.

— Ну, и слава богу! — проговорил отец, когда услышал о приезде Луковны: — Луковна все устроит... Эта, брат, бывала в переделках!

Я сидел у Меркулыча, когда Луковна в первый раз заявилась к зятю. Меркулыч был по обыкновению пьян и сидел у окна. Луковна тихо вошла в комнату, помолилась и, оглянувшись кругом, прямо подошла к зятю.

— Грех тебе, Меркулыч, — тихо заговорила Луковна, в упор глядя на зятя.

— У-уди!.. — глухо зарычал Меркулыч, сжимая кулаки.

— Нет, я не затем пришла...

— Уди!..

— Мне с тобой нужно поговорить...

— А... со мной?!. Ты... нет, ты вот с ней, со своей змеей поговори! — яростно закричал Меркулыч, указывая на жену. — У-у... змея подколодная!.. Луковна, не подходи: убью!.. Зарежу!..

— Вре-ешь, не убье-ешь, — как-то нараспев ответила Луковна и смело подошла к зятю: — ну, бей...

Меркулыч метнулся, как дикий зверь, и за-

стонал; он испугался старухи, не сводившей с него глаз; эта немая сцена продолжилась несколько секунд, заставила вспотеть Меркулыча, и он только страшно водил выкаченными глазами.

— А мне, ты думаешь, легко... а? Мне легко? — задыхавшимся шепотом говорила Луковна. — Я ведь не оправдываю дочь...

— Я... я... любил! — скрежеща зубами и закрыв лицо, шептал Меркулыч.

— Ты младенца пожалей... безвинного младенца: вот зачем я пришла к тебе... В нем божья душа-то, отчаянный ты человек!.. О боге-то позабыл... А ты того не думаешь, что, может, это кто со зла сделал на тебя? Мало ли добрых-то людей?..

— Да ведь мне на улицу теперь показаться нельзя... пальцами будут все указывать... вот что!.. Это как, по-твоему? Лучше бы убили меня... легче бы мне...

— А по-моему, нужно богу молиться...

Луковна продолжала говорить в этом же роде, Меркулыч слушал ее и стихал, изредка озираясь по сторонам, точно он боялся какой засады; в этой сцене Луковна являлась для

меня в новом свете, в ней сказывалась какая-то не сокрушимая ничем сила жизни и умение стать выше самых критических обстоятельств. Самый тон ее голоса, вид ее энергичной фигуры, упорный взгляд небольших черных глаз, горевших огнем, — все это, вместе взятое, производило успокаивающее впечатление, как присутствие авторитетного доктора, один вид которого внушает больному надежду. Подавленный горем ум Меркулыча отказывался работать, но чувства жили с болезненной энергией, создавая воображаемые муки — вот против этого болезненного состояния присутствие Луковны было лучшим лекарством для Меркулыча. Ввиду таких исключительных обстоятельств Луковна на время рассталась даже с своей избушкой и поселилась у зятя. Меркулыч быстро начал поправляться, бросил водку, перестал буянить, и только по временам на него находили какие-то столбняки. По наружному виду это был совсем другой человек — о румянце не было и помину, глаза округлились и смотрели тревожным, напряженным взглядом, по лицу легкой тенью постоянно пробегало чув-

ство детского страха при малейшем стуке; о своем костюме Меркулыч больше не заботился: не поправлял галстука, не обдергивал на себе казинетового пиджака; из всех старых привычек у него остались две — нерешительное кряканье и надувание щек, точно ему постоянно было жарко.

Живя у зятя, Луковна совсем не замечала дочери и не говорила с ней ни слова; Климовна больше не появлялась. Это напряженное состояние, наконец, разрешилось появлением в домике Меркулыча четвертого действующего лица, отчаянные детские крики которого разогнали остатки накатившейся тучи, и Меркулыч даже повеселел, когда к нему потянулись красные детские ручонки; его доброе, любящее сердце все свои силы сосредоточило на этом маленьком существе, и он даже начал ходить опять в волость на свою службу, о чем раньше и слышать не хотел. Олимпиада Павловна тоже подняла голову и помаленьку опять начала забирать мужа в свои руки: она даже считала необходимым усиленно кричать на Меркулыча, когда он не так брал ребенка на руки, не умел его успокоить или не

просыпался ночью, когда ребенок кричал.

— А все-таки лучше бы им уехать куда-нибудь, — несколько раз говаривал отец. — Конечно, домишко у них свой, хозяйство, а все-таки лучше уж бросить все. Народ здесь зверь зверем, а Меркулыч — рубаха-парень, пожалуй, обидят, неровен час.

— Ехать-то некуда, отец Викентий, — отвечала Луковна, — и без нас тесно везде.

— Все-таки лучше, Луковна.

— Здесь свой угол есть, отец Викентий, а поехал отсюда — нанимай квартиру. Капиталов-то не накоплено, а тут дите на руках...

— А к Сергей Павловичу толкнуться бы... Может, он где-нибудь нашел бы подходящую службу.

— Ой, что вы, отец Викентий! Разве Сереженька такой человек, с ним ведь каши не сваришь. Он с своей-то головой не пособился: все стонет да морщится. Другой раз даже смотреть тошно: потемнеет весь из себя, глазки мутные такие сделаются. «Скучно, говорит, маменька»...

Раз мы сидели с Меркулычем в волости; Меркулыч писал какую-то бесконечную «бу-

магу», а я думал о Заплетаеве и заплетаевских поповнах; в окне звенела и жужжала большая зеленая муха; я сладко мечтал — в это время в передней послышались тяжелые неровные шаги, и в волость ввалились Прошка с Вахрушкой, едва держась на ногах. Они были сильно пьяны, Прошка посмотрел на нас налитыми кровью глазами и, шатаясь, подошел к столу. Вахрушка подошел за ним и с глупой улыбкой уставил глаза на Меркулыча.

— Ты... ты что же сидишь?.. — хриплым голосом заговорил Прошка.

— Не танцевать же мне пред тобой, — огрызнулся Меркулыч: — вишь, бумагу пишу.

— А ежели... значит... я твое начальство... должон ты мне али нет, со всяким почтеньем... а? Вахрушка... а Вахрушка... ты какое понятие в своей голове имеешь насчет этого дела?.. А?..

— А я так полагаю в своих мыслях, — отозвался Вахрушка, поправляя кумачную рубашку: — я полагаю, что Меркулыч... он в понятии затмился...

— Отвяжитесь, черти! — зарычал Меркулыч. — Вишь, налили шары-то... Убирай-

тесь!

— Над землей-то ты не больно страшен, — загремел Вахрушка: — разе тебя под землей-то много...

— А ты, Прош, не трогай Меркулыча, — вступился Вахрушка, оттаскивая Прошку за рукав: — Меркулыч теперь, брат, подобно тому, как помещик... Меркулыч, а Меркулыч! С новорожденным...

Меркулыч страшно побледнеет и какими-то остановившимися глазами посмотрел на Вахрушку; перо задрожало в его руках.

— С новорожденным, Меркулыч... — хрипло протянул Прошка: — с наследничком... только говорят, что от него деготьком припахивает...

Меркулыч молчал и только как-то весь выпрямился на своем стуле.

— Как здоровье Олимпиады Павловны?.. Чисто ходишь, бело носишь, кого любишь, с кем живешь!.. — При этих словах Прошка засмеялся хриплым наглым смехом.

— А вот мы дегтярника этого крестить скоро будем, — со смехом заговорил Вахрушка. — Кинтильяна в крестные отцы поставим... он

окрестил тебе ворота-то!..

Вахрушка не успел закрыть рта, как Меркулыч одним движением, как дикий зверь, прыгнул из-за стола прямо на Вахрушку, сбил его с ног и с диким, нечеловеческим воем впился в него; они покатились по полу. Меркулыч первое время одолевал своего врага, но потом могучие руки Вахрушки, как клещами, сжали ему спину, и он очутился на низу. Вахрушка сел на Меркулыча верхом, кумачная рубаха была на нем вся разорвана, по лицу текла кровь, и он начал наносить страшные удары Меркулычу по лицу и в грудь, точно кто молотил его пудовыми гирями, так что слышно было, как хрустели кости под этими ударами.

— Дуй его, Лапухина мужа — мазаны ворота! — хрипел Прошка, толкая Меркулыча своим сапогом прямо в лицо. — Задувай его...

Увидев это побоище, я опрометью кинулся из волости; отец и Аполлон были, к счастью, дома, они сейчас же побежали выручать Меркулыча. Когда мы входили в волость, Прошка и Вахрушка попались нам навстречу; они шли, как ни в чем не бывало.

— Что это вы делаете, разбойники? — закричал отец.

— А тебе какое дело? — глухо отозвался Прошка.

— Мне?!. Мне?!. Вы тут человека убили, разбойники!.. — закричал отец так громко, что я задрожал от страха. — Я вас под суд отдам... в Сибирь!..

— У тебя долги волосы-то, так я тебе их расчешу, — мрачно отозвался Вахрушка.

Я силой утащил отца в волость. Меркулыч буквально плавал в крови с посинелым лицом и стиснутыми зубами; это был кусок мяса, на который было страшно смотреть. Мы кое-как привели Меркулыча в чувство, потом я сбегал за Январем Якимычем, и только при его помощи мы возвратили Меркулычу несколько человеческий вид: обмыли кровь, привели в порядок одежду и смочили страшные синяки какой-то примочкой, какую захватил с собой Январь Якимыч. Я никогда не видел таких страшных синяков, какими было покрыто все тело Меркулыча: громадные синие пузыри с багровыми подтеками всплыли на груди, на плечах, на спине; нос распух,

глаз почти было совсем не видно под синими пятнами. Меркулыч все время молчал; его тело покорно принимало всякое положение, какое ему давали, как у мертвого.

— Ах, христопродавцы... ах, разбойники! — кричал Январь Якимыч, натирая спину примочкою. — Ах, кошки их залягай...

— В Сибирь мошенников сошлю! — кричал отец.

— Совсем изуродовали человека... отец Викентий, вы по пузырю трите сильнее... вот так... левее немного! Ах, господи, помилуй... ах, христопродавцы... Аполлоша, ты голову придерживай... Отродясь не видывал этакой страсти! Да не подлецы ли, отец Викентий... не лешаки ли! Прости ты меня, господи!.. Ах, заешь их собака...

Меркулыча замертво стащили домой, и он вылежал в постели две недели; он лежал тихо, не жаловался, не стонал и ни с кем не говорил. Луковна и Олимпиада Павловна ухаживали за ним с убитыми, заплаканными лицами; я несколько раз пытался утешать своего друга, но Меркулыч молчал и только раз, прощаясь со мной, глухо проговорил:

— Ты, Кирша, напрасно утешаешь меня… я не маленький… Ты *этого* теперь не поймешь… когда больше будешь… тогда…

Когда я взялся уже за скобку двери, Меркулыч еще раз остановился и, оглядевшись кругом, тихо проговорил:

— Пойдешь в лес, Кирша… в горы… Поклонись им от меня: и лесу, и горам, и траве… Не гулять мне больше…

В первых числах августа, рано утром, когда еще все спали в нашем доме, меня разбудил чей-то тихий плач и глухое причитание; я выглянул из-за печки и увидел Луковну, которая стояла у самых дверей и тихо плакала. Отец с бледным лицом торопливо надевал на себя казинетовый[47] подрясник и никак не мог застегнуть пуговиц, потому что руки у него сильно тряслись. Он с тяжелым вздохом несколько раз проговорил: «Ах, господи!.. Да что же это такое?» Вскочить с постели и одеться было делом минуты, а в следующую минуту я уже босиком летел по улице прямо к Меркулычу и далеко опередил отца, который при своей одышке не мог ходить скоро. Калитка в доме Меркулыча была отворена; во

дворе стояли два мужика, за ними виднелась какая-то баба с белоголовым мальчиком на руках.

— Вон там повесился, — проговорил один из мужиков, тыкая пальцем в сторону сарая.

Я опрометью бросился в двери конюшни и отскочил назад: в самых дверях висели чьи-то белые ноги. Прибежавший отец велел мужикам снять Меркулыча; они переглянулись, почесали затылок и неохотно вошли в конюшню; через минуту белые ноги мертвым движением опустились на пол. Точно вынырнувший из-под земли Январь Якимыч схватился за них и потащил из дверей. Меркулыч был в одном белье, посинелая голова с открытыми мутными глазами безжизненно стукнулась о порог, руки были вытянуты; Январь Якимыч припал ухом к груди Меркулыча, пощупал пульс и, перекрестившись, прошептал:

— Кончено-с… все кончено-с!..

Ребенок, сидевший на руках бабы, дико вскрикнул, когда увидал синее лицо Меркулыча, я точно проснулся от этого отчаянного крика и заплакал; отец стоял около меня и тоже плакал.

«НА РУБЕЖЕ АЗИИ» (стр. 227).

VII

Через неделю после смерти Меркулыча я уехал в Гавриловск; говоря правду, мне, пожалуй, уж наскучило жить в Таракановке, да и перспектива увидать Симочку сильно заманивала меня. Действительность жестоко обманула Кира Обонполова. В ближайшее воскресенье я отправился в Заплетаево, одевшись в новенький камлотовый[48] сюртучок, который мне сшила мать перед отъездом. С замиравшим сердцем я подходил к домику о. Марка, и первое, что неприятно поразило меня, это пролетка Иринарха, стоявшая у подъезда. На минуту во мне колебалось желание видеть Симочку, чтобы не столкнуться носом к носу с Иринархом, но потом мной овладела какая-то отчаянная решимость, и я смело вошел в переднюю. В зале никого не было, но из голубой гостиной доносился звонкий голосок и смех Симочки, что еще больше меня ободрило. Отворив дверь, я остановился в недоумении, так меня поразила представившаяся моим глазам картина: на небольшом голубеньком диванчике сидел Иринарх и держал

на раздвинутых руках моток ниток. Симочка стояла перед ним и с веселым щебетанием свивала нитки в клубок.

Мое неожиданное появление смутило и даже рассердило девочку, — нет, теперь уже не девочку, а целую барышню, которая ходила уже в длинном платье. Она взглянула на меня исподлобья и, вздернув носиком, совершенно равнодушно проговорила:

— А... это ты, Кирша... — И больше ничего, точно в комнату вошла кошка. Иринарх не только не смутился, но с своей неизменной улыбкой поманил меня к себе пальцем и, передавая мне моток ниток, певуче проговорил:

— Я, брат, поработал в свою долю, теперь твоя очередь.

Симочка сильно изменилась в течение лета — выросла, побледнела, отпустила длинную русую косу; на ней было надето шерстяное синее платье, в русых волосах чернела бархатная ленточка. Я покорно взял из рук Иринарха моток ниток и стал его держать, но в этот раз мне не было суждено угодить Симочке, — ей все не нравилось, она десять раз поправляла мои руки, сердилась и рвала одну

«НА РУБЕЖЕ АЗИИ» (стр. 228).

нитку за другой. Моя попытка занять ее рассказом о Меркулыче не только не привела к желанной цели, но даже, наоборот, вызвала сильное неудовольствие, и Симочка, надув пухлые губки, сердито проговорила:

— Очень мне нужно знать, как повесился ваш Меркулыч... Ты, Кирша, совсем поглупел и не придумал ничего лучше. Держи руки прямее, говорят тебе!..

Это было уже слишком даже для совсем влюбленного, и Кир Обонполов почувствовал, как что-то защипало у него в носу, сдавило горло и потемнело в глазах. Оставался один только шаг, и я расплакался бы самым глупейшим образом, но меня спасла в самую критическую минуту одна роковая мысль, которая, как молния, осветила всю картину... Да, я сразу понял все, и в моем детском сердце закипела сильнейшая ревность к моему счастливому сопернику, которым был, конечно, не кто иной, как Иринарх. Теперь я понял смысл той сцены, свидетелем которой сделался так неожиданно, понял источник звонкого смеха Симочки с Иринархом и ее коварное поведение относительно меня. Ослепленный

собственным своим чувством, я даже не сообразил того, что не имел никаких прав требовать что-нибудь и что вообще она держалась со мной на равной ноге, как мальчик; я никак не мог одолеть той мысли, что прежней Симочки уже нет, а есть другая Симочка, которая перешла в другой возраст и оставила меня сразу далеко назади.

По лицу Симочки я прочитал, как по книге, что она смотрела на меня с презрением, — значит, все было кончено; я холодно простился с ней и печально побрел к выходу. В зале я встретил Агнию Марковну, которая по своему обыкновению бесцельно бродила из комнаты в комнату и что-то жевала. Она остановилась и посмотрела на меня тем особенным взглядом, когда человек старается что-нибудь вспомнить; мне показалось, что она все знала и жалела меня. Она еще сильнее пополнела, точно распухла, но была по-прежнему неподвижно-красива, точно сейчас встала с постели; пухлые руки с пальцами, унизанными блестящими кольцами, висели совершенно бессильно в таком положении, как будто после самой тяжелой работы.

— Где Симочка? — спросила меня Агния Марковна, вероятно, затем, чтобы сказать что-нибудь.

Я ничего не ответил ей и как сумасшедший выбежал из гостиной: меня давила эта роскошь, эти трюмо, бархатные обои, мягкая мебель, бронза, ковры, мне страстно захотелось на свежий воздух, на берег Ирени, где бы я мог броситься под своей любимой вербой в густую траву, спрятать в ней свое лицо и здесь выплакать свое горе и приготовиться к тому, что меня ожидало впереди. Я был уверен, что Иринарх будет мне мстить, и мысленно прощался со всем, что было мне дорого. Когда я проходил уже под окнами, меня остановил голос о. Марка:

— Эй, паренек, постой!

Я остановился. Из окна кабинета выставлялась голова о. Марка в неизменной меховой шапке, и его изрытое оспой лицо с узенькими черными глазками смотрело на меня с веселой улыбкой.

— А что отец? — спрашивал о. Марк, свешиваясь из окна; он был в одной ситцевой рубашке.

— Кланяется вам…
— Спасибо; здоров?
— Здоров.
— Хорошо. А что Аполлон?
— Служит.
— На пятнадцати рублях?
— Да.
— Гм… не много. Ну прощай, паренек, учись хорошенько, а будешь писать домой, напиши от меня поклон отцу Викентию.

Итак, все было кончено, решительно все, и я в глубоком раздумье брел на свою квартиру, к Ивану Андреевичу; даже мысль сделаться доктором показалась мне совсем жалкой: стоило быть доктором, когда… Словом, я переживал все то, что переживают все отвергнутые любовники.

Против моего ожидания, Иринарх не только не преследовал меня, но даже был вежливее, чем раньше. Хождение в классы, спевки, пребывание у Иринарха — словом, колесо моей жизни завертелось своим обычным ходом, за исключением одного маленького обстоятельства, которое сначала меня сильно испугало. После одной спевки, которая происходи-

ла в келье архимандрита, Иринарх велел мне остаться. Сначала я подумал, что когда остальные певчие уйдут, Иринарх велит принести розог и задаст мне одну из своих художественных порок; но каково было мое удивление, когда вместо розог Иринарх начал угощать меня пряниками, конфетами и все время самым ласковым образом выспрашивал об отце, брате, нашей семье и нашей жизни. Особенно подробно Иринарх расспрашивал меня о брате Аполлоне.

— Так он служит в заводе, — в раздумье говорил Иринарх, — получает пятнадцать рублей жалованья... Это очень не много... да, не много... Как ты думаешь, Кир, «не царь персидский»?

«Не царь персидский» думал то же, что и архимандрит Иринарх, а пока последний в раздумье ходил по комнате, Кир таракановский успел, «тайно образующе», стянуть со стола в карман несколько горстей конфет, что сделал единственно в тех видах, чтобы доказать Гришке и Антону, что Иринарх не порол Обонполова, а угощал. Иринарх оставил меня даже ужинать и все время болтал со мной о

всевозможных пустяках; мне еще раз пришлось убедиться, как иногда меняются люди: Симочки не было, и точно так же не было прежнего Иринарха. Новый Иринарх был очень умный и очень веселый человек, который шутил и смеялся со мной, как Меркулыч, и даже раз спросил:

— А что, «не царь персидский», тебе нравится Симочка?

Я, конечно, растерялся, покраснел и даже, грешный человек, подумал, что вот теперь-то и начнется порка, как раз в средине отличного ужина, но еще раз ошибся: Иринарх только засмеялся своим загадочным смехом и проговорил:

— Ну, успокойся; она тебя тоже очень любит... Она мне сама рассказывала. Симочка очень умненькая девочка... Да?

Иринарх пил все время вино и заметно покраснел. Глаза у него сильно слипались, и он все улыбался, потирая свои белые руки; он несколько раз спрашивал меня, чем я хочу быть: попом или монахом. Я отнекивался и как-то случайно проговорился, что думаю быть доктором. Иринарх раскрыл глаза, вни-

мательно посмотрел на меня и в раздумье проговорил:

— Что же... отличная вещь. Не ходи, братец, в попы, это главное, а там на все четыре стороны — нынче везде дорога.

Когда я пошел домой, Иринарх остановил меня и заговорил:

— Вот что, Обонполов: у твоего брата хороший голос?

— Да.

— Так ты напиши отцу, что чем Аполлону глотать заводскую сажу за пятнадцать рублей, пусть едет сюда. Меня отец Марк просил похлопотать о нем... Сначала послужит псаломщиком, а там, глядя по заслугам, и если женится, мы его в дьяконы поставим... Понял? Так и напиши отцу.

В простоте своей души я так все и принял за самую чистую монету и даже был готов полюбить Иринарха, если бы он на время совсем не забыл обо мне, точно между нами не было никаких разговоров и точно он не знал, что я буду доктором.

Наступила зима, и город и Гавриловский монастырь замело белым пушистым снегом.

Время тянулось чертовски медленно, тем более что я не посещал уже о. Марка и только издали несколько раз видел заплетаевских поповен, когда они вдвоем катались на санках-беговушках. Моя любовь к Симочке начинала угасать, и я вполне углубился в недра мудреной бурсацкой науки, где каждый шаг вперед нужно было брать зубом, как говорил отец. Зато письма, которые я изредка получал из Таракановки, доставляли мне глубокое наслаждение, и я даже потихоньку плакал над ними, упрекая себя в неблагодарности, потому что имел глупость променять целую Тарakановку на одну Симочку. Правда, эти письма отличались большим лаконизмом, и их содержание больше вертелось около хозяйственных вопросов, вроде того, что корова Верочки отелилась пестрым бычком и т. д., но я умел по этому скудному содержанию восстановить жизнь в Таракановке в самых ярких красках.

Перед святками я получил очень длинное письмо, которое было написано рукой отца, его ровным твердым почерком, который я так любил. Между прочим, отец писал: «Брат

твой Аполлон зело огорчает нас с матерью своим поведением. Недавно Аполлон объявил нам с матерью, что он возымел намерение сочетать себя браком с женой Меркулыча; разумом помраченный сын не хочет слышать наших увещаний, упорствует и негодует, ради своей неистовой страсти и плотоугодныя любве… Сей злебеснующийся брат твой делает нас с матерью прискорбными даже до смерти.

Учись, Кир Викентьевич, уважай старших, люби своих начальников, иже, любя, наказуют; ты наш Вениамин, а наш Иосиф сам предался в руки новой жены Пентефрия. Кланяйся о. Марку; о предложении Иринарха подумаем, и проч.»

VIII

На святки я не ездил в Таракановку и проводил время самым печальным образом. Больше всего меня огорчило то обстоятельство, что после письма, в котором отец жаловался на Аполлона, я в течение целого месяца не получал ни одной строки, хотя сам писал исправно через две недели; когда святки прошли и наступили занятия, я даже обрадовался им, потому что мое одиночество надоело мне хуже тюрьмы. Однажды, в первых числах февраля, я зубрил из филаретовского катехизиса, Антон лежал на лавке и плевал в потолок, в это время дверь в комнату отворилась, и показалась лохматая голова кучера о. Марка.

— Тебе кого надо? — закричал Антон, запуская в кучера латинским словарем.

Лохматая голова на мгновение скрылась, и потом уже за дверями послышалось:

— Здесь квартирует таракановский попович? Отец Марк прислал за ним...

Я торопливо надел свой камлотовый сюртучок, шубу и вышел на улицу, где меня до-

жидались уже лубочные пошевни. Через полчаса мы подъезжали к домику о. Марка, и я никак не мог понять, зачем ему было нужно меня. В голове у меня даже мелькнула страшная мысль, что не умер ли мой отец, вообще предчувствие чего-то дурного не оставляло меня всю дорогу. Когда я вошел в переднюю и снимал галоши, какая-то девочка бросилась ко мне на шею и молча принялась целовать меня; в первую минуту я принял ее за Симочку; каково же было мое удивление, когда эта девочка заговорила голосом Верочки... Да, это была Верочка, а из гостиной доносился до меня веселый голос отца.

— Ну что, доктор, обрадовался? — говорил отец, когда я бросился обнимать его. — Вот, братец, тебя приехали проведать...

В голубой гостиной на диване рядом с Агнией Марковной сидела моя мать и улыбалась счастливой улыбкой; Надя в новом ситцевом платье «с лазоревыми цветочками по розовому фону» ходила, обнявшись с Симочкой, которая, кокетливо ежа плечиками, прищуренными глазками смотрела на Аполлона, мрачно сидевшего в углу комнаты. Словом,

вся наша семья была в полном своем составе, и я не знал, как разделить себя между ними. О. Марк, по случаю приезда гостей, облекся в лежалый подрясник табачного цвета, только что вынутый из сундука; он весело щурил свои маленькие глазки, торопливо бегал по комнате маленькими воробьиными шажками и несколько раз повторял одну и ту же фразу:

— Однако ты, Викентий Афанасьич, постарел... Сильно, брат, постарел!

— И ты, отец Марк, не помолодел, — добродушно отвечал отец.

— А ведь, подумаешь, давно ли мы с тобой на одной скамье сидели... а? Ведь и Иван Андреич жив... Помнишь: «Иван Андреич, гуська привезу»... Горячо порол... бывало, как засыплет лоз пятьдесят...

— Ах, папа, какой ты разговор нашел! — томно заметила Агния Марковна. — Неужели нет другого разговора...

Мать с замечательным искусством перевела речь с «березовой каши» на какой-то другой разговор. Аполлон все время просидел в углу, отделываясь односложными ответами;

он был не в духе и нервно покручивал небольшие черные усики. Я с первого раза заметил, что все наши были разодеты во все новое, и с удивлением рассматривал новые платья на сестрах и матери, новый подрясник на отце и новый суконный сюртук на Аполлоне. На эту поездку в Заплетаево, чтобы не ударить лицом в грязь перед о. Марком, был затрачен целый годовой доход отца и даже были взяты деньги в долг у Рукина. У Аполлона были новенькие серебряные часы, что по моим понятиям было верхом роскоши. Глядя на туалет сестер, никто даже и не подумал бы, что Верочка дома сама моет полы и сама доит корову, а мать с Надей просиживают целые ночи над работой «в люди». Смысл этого маскарада и таинственного превращения из художественно наложенных заплаток во все новое объяснился для меня только через несколько дней, в течение которых происходили какие-то таинственные совещания, обмен многознаменательными взглядами и улыбками — словом, целый ряд самых замысловатых поступков. Особенно меня удивляла мать. Она держала себя с большим гонором и

ничему не удивлялась; Верочка держала себя точно так же и не выдавала себя ни одним движением, только бедная Надя попадала впросак на каждом шагу и не умела скрыть своего удивления перед роскошью нарядов заплетаевских поповен, ощупывала мягкую мебель и постоянно спрашивала, сколько стоит такая-то вещь и где куплена. Вообще, Надя была неисправима, и мать каждый вечер читала ей длиннейшие нотации.

Отец с о. Марком ездили с визитом к Иринарху и приехали оттуда в самом блаженном настроении; о. Марк петушком забегал впереди отца и, показывая два ряда черных зубов, повторял: «Что я тебе говорил... а? Я тебе говорил... а? Это, брат, такой человек... такой человек»... Потом отец с о. Марком долго о чем-то беседовали в кабинете с глазу на глаз, туда же была приглашена мать, и опять совершилась та же таинственная беседа. Надя в обнимку с Симочкой ходили из комнаты в комнату. Верочка сидела с Агнией Марковной; Аполлон ходил по зале из угла в угол, безостановочно курил папиросы, постоянно вынимал из кармана часы, открывал их и, не

взглянув на циферблат, снова прятал их в карман. Наконец эти таинственные совещания кончились, отец и мать показались из кабинета с самыми торжественными лицами, о. Марк улыбался и утирал грязным платком глаза; все сели.

— Теперь нужно спросить Агнию Марковну, — торжественно заговорил отец, — теперь за ней слово... Я, Агния Марковна, учился с твоим отцом, жили мы душа в душу, поженились, и вот бог наградил нас детками. Детки подросли... нужно пристраивать... Вот мы говорили...

Аполлон бледный, как полотно, смотрел своими серыми глазами на отца. Агния Марковна закраснелась и одной рукой перебирала оборочку своего платья; мне было и совестно, и больно, и как-то неловко за всех.

— Одним словом, Аполлон Обонполов делает вам предложение, Агния Марковна! — отрезал, наконец, отец. — Дело это очень важное, поэтому вам следует о нем хорошенько подумать, а мы подождем...

— Я... я не думала... я... — заговорила Агния Марковна, опуская глаза. — Папа... если...

— Конечно, Аполлон не кончил курса в семинарии, — заговорила мать, — но у него отличный голос... Архимандрит обещает ему дьяконское место.

Агния Марковна как-то испуганно, широко раскрытыми главами посмотрела сначала на мать, потом на о. Марка, разом побледнела и, закрыв лицо руками, выбежала из комнаты.

— Вот оно какое дело-то девичье, — снисходительно заговорил отец: — разговору даже боится...

— Это даже очень хорошо, — строго заговорила мать. — Агния Марковна, как воспитанная девушка, и в мыслях, конечно, ничего не имели, а тут вдруг...

— По-моему, живи не живи у отца, а все замуж выходить придется, — как-то плаксиво затянул о. Марк. — Только Агния у меня добрая душа... она... тяжело будет мне расставаться с ней, старику...

— Дело житейское, — смеялся отец и рассказал приличный случаю анекдот о том, как одна дочь говорила матери, что «хорошо тебе, маменька, было выходить замуж за папеньку, а ведь мне приходится идти за чужого».

Мать вышла из комнаты и через несколько минут вернулась с Агнией Марковной, которая заметно успокоилась и изъявила свое согласие. Жениха и невесту заставили поцеловаться, потом все молились, вечером приехал Иринарх, веселый, любезный, красивый. Подано было шампанское, и все пили за здоровье жениха и невесты.

— Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, — певуче говорил Иринарх, отпивая маленькими глотками из своего бокала.

Все были очень веселы, улыбались и вообще чувствовали себя необыкновенно хорошо; даже Аполлон повеселел и снисходительно улыбался Агнии Марковне. О. Марк несколько раз принимался рассказывать о том, как его пороли, Иринарх улыбался и, полузакрывая глаза, говорил:

— Это было прежде... Ведь дети, разве можно с них требовать? Я так люблю детей...

Иринарх даже прослезился.

Вечером этого многознаменательного дня произошло некоторое событие, кончившееся для меня самым печальным образом. Когда я

вернулся из Заплетаева на свою квартиру, в моей комнате сидели Антон и Гришка, благодушествуя около графина с водкой. Они были сильно пьяны и недружелюбно посмотрели на меня мутными глазами; Гришка, как блудный сын, не присутствовал при сегодняшнем торжестве, но откуда-то уже все знал и встретил меня вопросом:

— Ну, будущий родственник, шампанское пил с Иринархом?

Я ничего не отвечал, предчувствуя что-то недоброе.

— Убили бобра... Ха-ха! — засмеялся Гришка, обращаясь уже к Антону. — Аполлон-то бельведерский пощелкал-пощелкал зубами в Таракановке и придумал: «Дай женюсь на богатой невесте»... Так я говорю, Антон?

— Та-ак, — соглашался Антон, как-то забавно поднимая брови кверху.

— Расчет самый верный... ха-ха! — продолжал Гришка, вышивая рюмку водки. — На голодные-то зубы и Агния Марковна сойдет за настоящую невесту... Убили бобра!.. Агния-то Марковна три года жила с Иринархом, надоела ему, да и Симочка подросла — вот дурака

подходящего и подыскали столкнуть Агнию Марковну... Живет старуха за барином! А то позабыли, что я наследник... Ха-ха!.. Я им всем утру нос-от... Думают, умрет отец Марк, мы все наследство и заберем. Как бы не так!

— Ты говоришь, Гришка, Агния-то три года с Иринархом жила? — спрашивал Антон.

— А то как же иначе, конечно, жила: я сам от нее записочки Иринарху возил...

— А теперь, говоришь, он Симочку к рукам прибирает?

— Верно... конфеты ей возит, улыбается... У-у, разбойник! Гришка, брат, все видит, да ему наплевать на них на всех, мне отдай наследство — а там черт с вами со всеми.

— А ловко Иринарх облапошил Аполлошку Обонполова.

— Еще как ловко: как сани подал, садись да поезжай. Во дьякона обещал поставить Аполлошку-то... Ха-ха... Сливочки-то отец Иринарх снял, а отец дьякон после него снятое молочко будет допивать... Ха-ха!.. Агния мне сестра, а я всем скажу, что она с Иринархом жила... И в рожу наплюю Аполлошке, зачем за чужим наследством гонится!

— Сокрушу зубы грешника, и возрадуются кости смиренные, — заключил Антон.

Вся эта сцена мелькнула предо мной в каком-то тумане; помню только, как во сне, как что-то сдавило мне горло, помню, как у меня от бешенства перекосило все лицо и как я бросился со стулом на Гришку. Затем я очутился на полу, кто-то меня таскал за волосы, плевал мне в лицо, и, наконец, послышался голос Антона: «Давай, Гришка, потопчем наследника»... Меня начали топтать ногами, давили грудь коленкой, и, наконец, все скрылось в каком-то тяжелом тумане. Когда я очнулся, в комнате никого не было, я по-прежнему лежал на полу, а в окно смотрела яркая луна; мне почему-то показалось, что я не Кир Обонполов, а Меркулыч, которого на моих глазах колотили Прошка с Вахрушкой... Меркулыч так же лежал на полу и гак же не мог пошевелить ни одним пальцем; припоминая разговор Антона с Гришкой, я позабыл о собственном положении и задрожал от подавляющего чувства унижения... Что они говорили о моем отце, об Аполлоне, об Агнии Марковне, о бедной Симочке!.. Бедная Симочка... Я

никогда так не любил ее, как в эту минуту, и мне невыразимо приятна была одна мысль, что я, вступившись за нашу фамильную честь, пострадал отчасти и за нее, даже пролил несколько капель крови.

Я кое-как дополз до своей кровати и здесь забылся тяжелым, ужасным сном; утром Иван Андреич пришел будить меня, но я мог только мычать. Старик испугался; явилась Ариша, вспрыснула меня холодной водой, но и это всесильное средство не помогало. Решили послать в Заплетаево. Помню, как вбежала в комнату моя мать, припала к моей постели и громко заплакала; потом явились отец, о. Марк, Аполлон. Все выспрашивали меня, но я не говорил ни слова о том, кто меня бил и за что; даже приехал Иринарх и тоже выпытывал меня, но я выдерживал характер и отказался рассказывать что-нибудь наотрез. Исчезновение Антона и Гришки было поразительно, но, кажется, никто не обращал на это внимания; только вечером, когда со мной сделался бред, я разболтал имена моих врагов, их схватили в кабаке у Катеньки и посадили в карцер. Мать целых три дня не отходила от

меня, пока я настолько не поправился, что мог обходиться без ее помощи; она больше ничего не спрашивала от меня и даже старалась плакать потихоньку от меня. Я долго не решался рассказать ей все, но мысль, что Антон и Гришка все равно попались и что они теперь для собственного спасения могут оболтать меня, — эта мысль наконец развязала мой язык, и я со слезами рассказал матери все. Мать молча выслушала меня и проговорила:

— Мало ли что говорят, Кирша... А если бы они тебя убили!

— Мама... зачем они так говорили о Симочке? Я зарежу Гришку... Возьму нож и зарежу.

Матери стоило большого труда успокоить меня; мне было четырнадцать лет, и я мало-помалу поддался ее ласковым речам, поцелуям и тихим утешениям. Между прочим, она обещала мне, что никому не скажет ни слова о моей истории, и я помирился с мыслью не резать Гришку.

— Нам сколько горя-то было с Аполлоном! — говорила мать. — Разве лучше будет, если он женится на Лапе? Агния Марковна —

воспитанная девица, напрасно говорят про нее разные пустяки.

Итак, я пострадал, пролежал три дня в постели, и на четвертый день меня перевезли в Заплетаево, где я целую неделю щеголял с перевязанной головой и пластырями на спине. «На молодом теле и не это износится», — утешал меня о. Марк, и, действительно, мои синяки и ссадины износились как раз к свадьбе, к которой происходили самые деятельные приготовления, так что в их шуме совсем позабыли обо мне, что меня сильно огорчало. В доме о. Марка происходила вдесятеро большая суматоха, чем на свадьбе Меркулыча: те же полосы всевозможных материй, те же песни, девичники, обручение и прочие церемонии, для которых выбивались из сил все до последнего человека. О. Марк метался, как мышь в западне, по всему дому с какими-то ключами, кричал, прискакивал на одной ножке и успевал сто раз рассказать о том, как его «кормили березовой кашей». Иринарх приезжал каждый день, привозил с собой конфект, певчих и подарил моим сестрам и Симочке по золотому браслету, а невесте аме-

тистовое колье. Это была такая роскошь, от которой у нас глаза разбежались; мы с каким-то удивлением смотрели на Иринарха, точно он был чародей, которому стоило тряхнуть рукавом своей рясы, и из нее, как из рога изобилия, посыплются дождем сотни браслетов.

Гришка и Антошка сидели все время в карцере; я по случаю свадьбы в училище не учился и несколько раз из любопытства проходил мимо карцера. Раз в узеньком окне с толстой железной решеткой я заметил лицо Гришки, он тоже увидел меня и закричал своим диким голосом: «Наследник, изведи из темницы душу мою!»

Несчастной женитьбе Аполлона решительно не везло, и она закончилась крупным скандалом. В самый день свадьбы к домику о. Марка, весело позванивая бубенчиками, подкатила совсем взмыленная тройка; из кибитки вышел худой старик небольшого роста с золотыми очками на носу. Это был такой славный и такой добрый старичок! Он весело поздоровался с нами, звонко высморкался в передней и прямо в своих мягких пимиках

неслышными шагами, как котик, прошел в кабинет о. Марка.

— Это дядя Симочкин, — решила Надя.

Я был очень доволен, что у Симочки такой славный дядя, и скоро совсем позабыл о нем. Да и было когда позабыть, потому что через час было назначено венчание, и во дворе стояло уже несколько троек из поезда жениха; я был шафером и совсем обезумел от радости, когда Симочка своими маленькими ручками приколола к борту моего сюртука прелестный розовый цветочек. Отъезд в церковь, обряд венчания, затем возвращение домой — все это проходило, как в тумане; помню, как отлично пели наши училищные певчие, как дьякон «отхватил апостола» и особенно налег на слова: «жена да боится своего мужа»; затем помню, что невеста была во всем белом, что Аполлон держал себя молодцом, что я бежал куда-то с небольшой иконой, и что меня сильно толкали, и что я тоже всех толкал и все старался быть непременно вместе с Симочкой, одетой в белое кисейное платье и походившей на ангела.

Когда мы вернулись из церкви, в дверях

домика о. Марка бойкая старушка-сваха встретила молодых с решетом в руках и обсыпала их хмелем, потом все прошли в зал, отец и мать стояли с иконами в руках, около них стоял о. Марк и тоже держал икону. Молодых благословили, певчие пропели «гряди от Сиона, невеста моя, гряди, голубица моя»... и явился Иринарх; все поместились за один длинный стол, поздравляли молодых и кричали: «Горько!» Молодые целовались, мне это очень нравилось, и я тоже кричал: «Горько!»

— Доктор знает свое дело хорошо, — шутил Иринарх на мой счет.

Под конец обеда, когда общее веселье было во всем разгаре, двери кабинета о. Марка растворились, и на пороге показался дядюшка Симочки в своих пимиках; я только что хотел крикнуть: «Горько, дядюшка!», как взглянул на отца и остался с открытым ртом. Отец страшно побледнел, молча поднялся с своего места и страшно посмотрел на сладко улыбавшегося дядюшку; мать схватила отца за рукав, а о. Марк заплетавшимся языком лепетал:

— Се что добро и красно, во еже жити, бра-

тие, вкупе...

— Подлец!.. — загремел отец и так ударил кулаком по столу, что рюмки и бокалы полетели с него на пол.

Дядюшка перестал кланяться и вопросительно посмотрел кругом; Иринарх уговаривал отца, о. Марк, как угорелый, метался по зале.

— Ты меня пустил по миру... — задыхавшимся голосом, с налитыми кровью глазами дико кричал отец: — Будь же ты от меня навеки подлец... Викентий Обонполов не будет тебе кланяться... Викентий...

Отец зашатался на месте и упал на стул; я понял, что сладенький дядюшка был не кто иной, как знаменитый консисторский секретарь Амфилохий Лядвиев.

Через два дня отец умер от апоплексического удара. Мать была до того убита этим страшным горем, что даже не могла плакать. Уже после похорон она как будто пришла в себя и в первый раз горько-горько заплакала. Эти слезы были вызваны словами Нади, которая припомнила, что перед самым отъездом из Таракановки без всякой видимой причи-

ны знаменитая картина, висевшая в передней нашей квартиры в Таракановке, упала сама собой на пол.

— Чуяло мое сердце, что это не к добру, — шептала мать, не вытирая слез.

Эпилог

Год смерти моего отца был последним годом моего учения в гавриловском духовном училище, из которого я перешел в ...скую семинарию. В семинарии я проучился четыре года «в качестве казеннокоштного»[49] и отсюда поступил в Казанский университет. Пока я учился в семинарии, брат Аполлон получил дьяконское место при гавриловском монастыре, прослужил здесь два года, спился и через два года умер от чахотки. Иринарха тоже давно не было на свете. Это случилось так: «во едину от суббот», когда в училище происходила экзекуция, Иринарх под колоколом запорол одного ученика. Как ни силен был архимандрит, он не мог замазать этого дела. Назначено было следствие, причем всплыли и подвиги Иринарха с заплетаевскими поповнами, а главным образом — богатая мона-

стырская казна оказалась совсем пустой, и даже была утрачена знаменитая архиерейская митра, осыпанная бриллиантами, сапфирами и аметистами. Скандал вышел совсем беспримерный, огласить который меньше всего было в интересах духовных следователей, которые, чтобы как-нибудь замять эту темную историю, «сплавили» Иринарха на покой, куда-то на север, в один из самых глухих монастырей. Об этой истории долго говорили в ...ской губернии, но, как и многое другое на свете, эта история была унесена рекой забвения, особенно, когда все узнали, что медовый владыка Иринарх отдал наконец свою мудреную душу богу. Доктора Сергея Павлыча тоже давно не было: он кончил свои дни в заведении душевных больных в Казани, где я, будучи студентом, несколько раз имел случай наблюдать его; болезнь — тихое сумасшествие от размягчения мозжечка — была безнадежна.

Моя мать по-прежнему жила в Тараканов-ке, у старшей моей сестры Нади, которая вскоре после смерти отца вышла за одного из представителей фамилии Портнягиных, бух-

галтера тарakановской заводской конторы. Верочка тоже была замужем. Она теперь носила фамилию Сермягиных. Моим сестрам выпала мудреная задача примирить эти искони враждовавшие между собою фамилии.

Прошло ровно десять лет после смерти отца, когда я в светлый июльский день на паре земских лошадей в какой-то таратайке подъезжал к Тарakановке. В моем дорожном чемодане лежал диплом на доктора, значит, мечты Кира Обонполова превратились в действительность, хотя на мне и не было военного кителя и на козлах не сидел денщик Иван, как я мечтал об этом когда-то. Я только что кончил курс в Казанском университете и ехал на службу в ...ское земство.

Тарakановский завод мало изменился за эти десять лет: те же прямые улицы, та же старая деревянная церковь, та же фабрика... Моя повозка выезжала на главную площадь. Вот и наш домик, вот волость, дома Прошки и Рукина, избушка Луковны. Попалось навстречу несколько рабочих,— физиономии совсем незнакомые, это уже другое поколение, которого я не знал. Расспросив, где жи-

вет Портнягин, мы остановились перед небольшим домиком в три окна, стоявшим позади волости. Вон идет какая-то старушка по двору с тарелкой в руках, она остановилась и внимательно смотрит на меня через большие очки.

— Мама...

Старушка выронила из рук свою тарелку, бросилась ко мне на шею и горько заплакала, не переставая шептать каким-то страстным, задыхающимся шепотом:

— Кирша, Кирша... Вот отец-то не дожил до радости... Как бы он порадовался... а?.. Как ты постарел, Кирша...

— Мама, я устал с дороги.

Старушка посмотрела пытливым взглядом мне в глаза, точно она сомневалась в моей подлинности и не доверяла своим собственным чувствам. Пока происходила эта красноречивая немая сцена, кто-то дико вскрикнул у меня за спиной и повис на шее: по голосу это была Надя, но по наружности это была почти старуха, с желтой морщинистой кожей на лице, выцветшими губами и озабоченным взглядом.

— Как бы папа был рад... — пряча у меня на груди лицо, шептала Надя.

Через пять минут я сидел в небольшой опрятной комнатке, окруженный целым роем молодых людей: был тут и Викентий, и Аполлон, и даже Кир; две загорелых, смуглых девочки стояли немного в сторонке и не решались подойти к своему дяде; отчаянный детский вопль слышался откуда-то из-за перегородки. Надя и смеялась, и плакала, и конфузилась за эту полдюжину ребят, на которых разрывалось ее доброе, любящее сердце и которые унесли у нее молодость, песни и смех.

— И все это Портнягины? — спрашивал я, лаская русые головки.

— Все Портнягины...

— А Верочка?

— У Верочки нет детей, — с гордостью матери объяснила Надя.

Один из молодых людей успел уже сбегать за Верочкой, и она входила в комнату розовая и свежая, но не бросилась ко мне на шею, не заплакала, а очень степенно облобызала своего братца и не вспомнила при этом об отце. Мать, кажется, ошиблась в своей умной доче-

ри, которая оказалась слишком расчетливой.

— О чем же вы плачете? — удивилась Верочка.

— Вот и Аполлоши нет... отца нет... — сквозь слезы говорила мать. — Не с кем и порадоваться... Когда горе, тогда не так тяжело без них, а вот ра... радость-то не в радость... Как-то обидно, Верочка... поднял бы их из могилы...

— А что Луковна? Январь Якимыч? — спрашивал я, чтобы перевести разговор на другой предмет.

— Живут... — с улыбкой сквозь слезы отвечала мать.

— А ты слышал про Лапу, что она замуж вышла? — спрашивала Верочка. — Вышла за Рукина, Емельяна Иваныча... Теперь купчиха, богатая стала. Дети у ней есть... При богатстве, конечно, дети хорошо, а при бедности не дай бог!

Верочка забросила камешек в огород Нади, но та только улыбнулась: «Дескать, из зависти это, матушка, пустяки говоришь».

Через час я знал уже все новости, какие были в Таракановке, и познакомился с му-

жьями сестер, которые мне очень понравились, как простые и добрые люди. Но это был чужой народ, — и эти хорошие люди и это второе издание Киров, Аполлонов и Викентиев; меня так и тянуло к Луковне и к Январю Якимычу, к этим друзьям моего детства, которых мне страстно захотелось видеть, говорить с ними, послушать их старческую болтовню и унестись в далекое-далекое прошлое.

Вечером я подходил к избушке Луковны, и при виде этой убогой лачужки у меня дрогнуло сердце, точно растаяла какая-то кора, которая наросла на нем за эти десять лет. Ворота были открыты, то есть не было уже столбов. Наклонившись, я вошел в темные сени и отворил дверь в комнату Луковны. Эта комната была так же убога, как десять лет назад. На деревянном кухонном столе стоял самовар и чашки с недопитым чаем. Сама Луковна сидела у стола на лавке и прищуренными глазами злобно смотрела на ходившего из угла в угол Января Якимыча. Старики сильно изменились: сгорбились, похудели и точно выцвели. Луковна от прежней силы сохранила только режущий взгляд небольших черных глаз да

твердый склад губ. Январь Якимыч, бедняга, совсем высох и походил на те «сухарины», то есть сухие деревья, которые иногда попадаются в лесу и среди живых деревьев кажутся такими несчастными. Старики настолько были заняты собой, что не заметили моего появления.

— Красивее… красивее! — повторял старик, вытягивая тонкую жилистую шею.

— А вот и соврал, — отвечала Луковна: — ежели хвост крючком у собаки, — это не хорошо, а когда опущен, — красиво.

— Это, Луковна, только у бешеных собак хвосты опущены… Прожила ты до преклонных лет, а этого не знаешь!

— Ну, и ты не молод, батюшка.

— Здравствуйте, — заговорил я, не понимая ничего в этой сцене.

Старики посмотрели в мою сторону; Луковна поднялась со своего места и с радостной улыбкой проговорила:

— Как же это… да это ты, Кир… вы, Кир Викентьич? Ах, батюшки…

— Он! Он! — радостно возопил Январь Якимыч и, поспешно заключив меня в свои объ-

ятия, с раздражением в голосе начал жаловаться: — Вот она-с, — Январь Якимыч кивнул головой на Луковну, — совсем из ума выживать стала... Ей-богу! Должно быть, при древности своих лет, в понятии мешается.

— И ты, батюшка, тоже хорош! — обиженно заявила в свою очередь Луковна.

Старики опять сцепились на тему, какая собака красивее — с опущенным хвостом или с загнутым крючком. Они настолько увлеклись своим спором, что не обращали на меня никакого внимания, точно мы расстались всего вчера, а не десять лет назад. Это превращение в состояние полнейшего детства сильно огорчило меня, а потом рассмешило, когда старики опомнились и законфузились, причем старались свалить вину один на другого.

Дверь в бывшую комнату Меркулыча была открыта. Комната была совсем пустая, и я напрасно искал хоть какой-нибудь вещи, которая напоминала бы моего погибшего друга. Я заглянул в дальний конец комнаты, там на куче тряпья что-то зашевелилось.

— Кто это там у вас? — спросил я.

— А Кинтильян, может, помнишь? — отве-

чала Луковна. — За свое буйство да за материны слезы господь и смирил.

— Как смирил?

— Это уж давно, года с два. Об рождестве Кинтильян где-то нахлестался водки да в снегу и уснул. Тут себе ручки и ножки отморозил... Вот Январь их ему и обрезал. Теперь лежит, как колода. Не под силу мне его таскать-то... Спать бы, так сна, говорит, нету. Так вот и маемся... Корочку подашь, из блюдечка чаем напоишь — вот и сыт. Может, Лапины слезы да Меркулычева кровь отливаются, — прибавила Луковна. — Помнишь Меркулыча-то? Ведь тогда Кинтильян ворота им вымазал. Прошка с Вахрушкой напоили да пьяного и научили, как это сделать... Ох-хо-хо! Господь-то батюшка все видит, кто кого обидит. Любя наказует нас многогрешных... Прошки тоже уж нет, от горячки помер, а Вахрушку в драке кержаки убили.

Я прожил в Таракановке целое лето в видах поправления сильно расшатавшегося здоровья, собственно нервной системы. Я часто посещал моих стариков, то есть Луковну и Января Якимыча, которые постоянно ссорились

между собой из-за разных пустяков и, как это случается, совсем не могли жить один без другого. Еще чаще, забрав своих племянников, я на целый день уходил куда-нибудь в лес и старался вести растительную жизнь по преимуществу. Молодое поколение было без ума от таких прогулок, и мы не пропускали даром ни одного светлого ведреного дня. Лежать неподвижно по целым часам в свежей, мягкой, душистой траве, чувствовать каждой клеточкой животворящую силу солнечной теплоты, по целым часам смотреть в голубое небо, — что может быть лучше этого!

Здесь, на любвеобильной груди природы, я уносился в свое прошлое, где вставали дорогие для меня тени отца, Аполлона и Меркулыча. Воспоминания об отце всегда наталкивали на «секретаря», который сумел довести отца до могилы своей системой замолчания: мой бедный отец именно был замолчен и забыт в медвежьей глуши, повторив участь, вероятно, очень многих талантливых и честных людей, не умевших покориться. История Аполлона тоже поднимала много горечи в моей душе. Я понимал, какая роль досталась ему

у Иринарха и почему он спился. Бедный Аполлон! А вот по этим горам, которые зеленеют теперь передо мной, купаясь в золотистом струившемся воздухе, по ним сколько раз мы ходили с Меркулычем... Счастливое, беззаботное время! Дети веселой гурьбой окружали меня, цеплялись мне за плечи, заглядывали в глаза и смеялись чистым детски-беззаботным смехом, в который жизнь еще не вплела ни одной злой или неестественной нотки. Неужели и вас, русые беззаботные головки, ждут те же секретари, Иринархи, Прошки и Вахрушки?

Пойте, резвитеся, дети.
Пойте, сплетайте венки!

Ведь и я когда-то, давно-давно, улыбался такой же беззаботной счастливой улыбкой, а теперь... Отдохнуть хочу, отдохнуть хочу каждой каплей крови, каждой клеточкой. Я вполне понял теперь состояние Сергея Павлыча, который по целым дням кипятился из-за какой-нибудь ниточки: это был вытянувшийся на работе человек, у которого не было места живого на теле. Я понял Луковну с ее смеш-

ными предчувствиями и верою в сны: не такими ли же предчувствиями и не такой же верой в сны живет и все человечество, — так же работает, радуется, ждет, плачет и обращается в состояние детства, где иллюзии создания воображения получают силу и смысл действительности и человек получает способность ждать даже то, чего никогда не случится?

«Все мы хлеб едим...» Из жизни на Урале {4}

I

— Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово, — говорил мой приятель Павел Иваныч Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. — То есть, я вам наивно доложу, после спасибо скажете!.. Ведь теперь какое время... а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь в N*, - пыль, духота, жар... Вы посмотрите, утра-то какие стоят — так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачка есть на примете: легашик, стойку держит и всякое прочее. Ей-богу! На левую ногу немного припадает, да это пустяки, со стороны даже и незаметно, а как пойдет по осоке... Ей-богу, поедемте в Шатрово?! Остановимся у попа, важнеющий поп, на всю губернию первый. Об отце Михее, может, слыхивали? Нет? Как же вы это так... Богатеющий поп, я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не

одно... Нет, завтра же поедем!

— Я с большим бы удовольствием, только на чем мы с вами поедем?..

— На чем?!. Да вы только скажите одно слово: завтра, в три часа утра, я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь.

— Да ведь у вас нет своей лошади.

— Сегодня нет, а завтра будет.

— И экипажа нет.

— И экипаж будет... У меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете.

— И лошадь, и коробок, и легашик — все на примете; когда же вы успеете все это собрать?

— Ах, господи, господи, да вам-то какая забота: вы только садитесь, и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо... Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно: раз я с одним чиновником на охоту ходил, — такой же жиденький из себя, как вроде вас, — так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его верст пять на своей спине тащил. Ей-богу! А мы отлично погостим у отца Михея... Я уж знаю, чем старику угодить: парочку свеженьких дупельков привезу — да он меня расцелу-

ет.

Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый и плотный, он был некрасиво скроен, да крепко сшит; в глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее; длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием; маленькие светло-карие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать лет сорок, в крайнем случае — сорок пять, а в действительности было шестьдесят с хвостиком. И ни одного седого волоска на голове; держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юношескому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой,

сильно потертый атласный жилет; туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок, шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой, в манжетах красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла Иваныча не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен и с некоторыми претензиями на солидность.

Глядя на свежую, полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит, ни больше, ни меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так: Сарафанов отслужил в суде тридцать лет, с пятнадцати до сорока пяти, и теперь около пятнадцати лет состоял в разночинцах, занимаясь «делами», как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отличалась замечательной разносторонностью: он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком драгоценных камней, мыловаром и т. д.

Он имел скверную привычку разом брать-

ся за десять дел и поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой: то начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и т. д. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности.

Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только где-то за городом клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холостяком и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, веч-

но находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете, — весь город ему был знаком и все было на примете: нужно вам козу — через час Сарафанов ведет ее за рога, нужна скрипка — и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес, как живая история и география N-ского уезда: он знал всех наперечет и пешком, с ружьем за плечами, исходил его вдоль и поперек.

Иногда он привирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, — он сам верил ей первый. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, он являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» — в переводе значило «серьезно»; в этом же значении он употреблял слово «сентиментально»;

«хаос» надлежало переводить — «глупость» и т. д. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял, я никак не мог привыкнуть и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии — эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно, слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда — «смелость», реже — «ум»; «цивилизация» попеременно обозначала то образование, то comme il faut. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова означали даже «мошенничество».

II

Мои надежды на то, что Сарафанов не успеет управиться в один вечер с довольно сложной операцией покупки лошади, коробка и сбруи, не оправдались: ровно в три часа утра Сарафанов ворвался в мою комнату и заставил меня оставить постель. Он был в своем обыкновенном костюме, только на ноги надел длинные охотничьи сапоги да поверх сюртука набросил татарский азям.

— Посмотрите-ка, какого рысака я завоевал, — говорил он, помогая мне одеваться. — Ах, батюшки, у вас и папиросы не набиты... Как же это? Ну да ничего, давайте-ка мне в сумку табак и гильзы, после набьем.

Сарафанов сложил табак и гильзы вместе с чаем и сахаром в свой «саквояжик», перекинутый на ремне через плечо, и еще раз проговорил:

— Нет, вы лошадь-то посмотрите...

Действительно, у ворот стояла поджарая киргизская лошадь с поротыми ушами и горбатой спиной; в новеньком с иголочки коробке сидел хромой легашик, на дрогах, впереди

и сзади коробка, были привязаны веревками какие-то сундуки. Сарафанов любил все устраивать хозяйственно, и без разных дополнений, вроде ящиков, узелков, сундуков, он был немыслим.

— Конь в езде, друг в нужде, — уклончиво отвечал я, осматривая лошадь.

— В две пряжки до Шатрова доедем.

— Сто верст в две пряжки, на одной лошади?..

— А вот увидите... Мы тут свернем с тракту в одном месте; оно проселком-то на двадцать верст ближе.

Через десять минут мы уже выезжали из города.

— Как N*-то наш обстраивается, — говорил Сарафанов, когда наш коробок, как по ковру, мягко катился в стороне от тракта, среди соснового бора. — Истинно можно сказать, что город с цивилизацией... И раньше некоторые светло жили, а как подвели эту железную дорогу — все точно на ноги встали. Ей-богу! Откуда что пошло: адвокаты, инженеры, немцы, жиды... очень грациозно!.. Прежде только бывало и свету в окне, что заводчики да золото-

промышленники... Ну, горные инженеры, которые поумнее, нечего сказать, светленько поживали. Только все это было вроде того, как в темноте: один скачет, а тысяча плачут. Теперь взять хоть богачей, — страшенные богачи были, а как жили: мужики мужиками, а захочет развернуться — глупость его мужицкая и объявится. Наивно вам говорю... То церкви устраивают, моленные, австрицких архиереев выписывают, то начнут шампанским дорогу поливать и гостей женским полом угощать. Всячины было, а настоящей цивилизации не было. Можно сказать, была одна темнота и хаос. Теперь и то взять: заведутся у кого деньги, они уж так из роду в род и переходят. Туго жили, всех богачей по пальцам пересчитаешь, а вновь никого.

— А нынче?

— Нынче залежных денег ни у кого нет, — сегодня беден, завтра богат... Богатство-то, как вода, так из рук в руки и переливается. Успевай ловить... Вчера в портерной сидел, пивом торговал, а сегодня едет: пара наотлет, на голове цилиндр, на носу пенсне. Вчера своими глазами видел такого хвата: иду от вас, а кто-

то едет на паре и кланяется... А потом и вспомнил: Пиньджаков, в портерной пивом торговал, а теперь золото моет. Вот какие дела-с! А пришел этот Пиньджаков откуда-то из Казани, извините, в одних портах. Наивно вам говорю! Одним словом, все поднялись на ноги, точно свет увидали, и свою дикость совсем оставили. Таких уж, пожалуй, и не найдешь, чтобы завелось лишних сто рублей, а он их в кубышку да в землю, да по двугривенному через год прибавлять, как ленивый раб; нет, нынче везде тонкость пошла: другому вся цена, ей-богу, полтина на ассигнации, а, глядишь, он водкой занялся, торговые бани открыл, номера с арфистками... Нет, не прежние времена!.. Прежде только и свету в окне, что горные инженеры, а нынче — шалишь, пороху супротив других не хватает. Теперь взять адвокатов или докторов: так на парах и зажаривают; или взять карты — ведь пустяки и даже грешно-с, а сколько у нас в N* этими картами живут... Очень малодушен нынче народ стал, особливо адвокаты: что сорвал, то и продал. Богачи-то, как пузыри после дождя: вскочит, покружится и лопнет.

А июньское утро вышло на славу: солнце не светило, а точно смеялось в голубом небе, где, как стада лебедей, бродили легкие серебристые облачка. Местность, по которой пылившей лентой вилась дорога, была слегка холмиста; по сторонам дороги давно тянулись бесконечные нивы, поля и луга вперемежку с светлыми, как транспарант, березовыми пролесками и кой-где еще сохранившимися гривками молодого сосняку. Озими колосились; яровые были еще зелены. Из густой зелени то и дело взлетали жаворонки; они несколько минут держались в струившемся благовонном воздухе на одной высоте, рассыпаясь звеневшими, как серебряные колокольчики, трелями, и камнем опять падали в траву. Попало несколько обратных почтовых троек; в стороне дороги, по утоптанным тропинкам, тянулись вереницы богомолок, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Что-то невыразимо патриархальное чувствовалось в этой картине: мелькали загорелые истощенные лица, повязанные темными платками головы, котомки за плечами и длинные палки, но на этих испеченных солнцем гру-

бых лицах лежала печать такого глубокого душевного спокойствия, глаза смотрели таким сосредоточенным, одухотворенным взглядом... Даже этот низкий поклон каждому встречному говорил сам за себя. Какие все славные русские лица!

— Ишь, как лопочут, — любовно говорил Сарафанов, раскланиваясь с богомолками. — По обещанию больше идет низменный народ, а кто побогаче, те на ярмарку или в гости. Монастырь в Екатеринбурге важнеющий, и игуменья молодца.

Часов в восемь утра мы сделали небольшой привал у одного болота, где Сарафанов, пока лошадь щипала траву, успел убить штук пять дупелей. Стрелял он без промаха, но легашик оказался плох, — не выдерживал стойки и горячился. Убитых дупелей Сарафанов, не ощипывая пера, как-то особенно искусно завернул в широкие листья болотной травы и зажарил в золе. Это охотничье кушанье оказалось великолепным, и мы с большим аппетитом разделили его в тени молодых липок.

— Грешный человек, — говорил Сарафанов, кладя широкий крест на свою могучую

грудь, — ни в среду, ни в пятницу, ни в пост скоромного в рот не возьму, а в поле не могу... И в грех себе этого не ставлю. Вы как насчет этого думаете?

Сарафанов отличался вообще большой воздержанностью, в рот не брал вина и не курил.

Дожидаясь, пока лошадь отдохнет, мы от нечего делать болтали; легашик свернулся клубочком под коробком и дремал самым мирным образом. Овод начинал одолевать нашего киргиза, и он старался держаться под прикрытием едкой струи дыма от огня. Над болотом столбом играли комары, что служило самым верным признаком установившегося надолго ведра; пахло свежей травой, где-то звонко ковал кузнечик, и изредка начинал скрипеть в ближайшей осоке коростель, заставляя собаку вздрагивать и поднимать голову.

— Вот мы теперь едем с вами в Шатрово, — говорил Сарафанов, — а что такое Шатрово? Деревня, и больше ничего. Прежде самый, можно сказать, несмятый народ жил, совсем озерный, а теперь в Шатрове — вы чего думаете — тоже цивилизацией пахнет. Везде

проснулся народ. А про заводы и говорить нечего: там голову-то, как гайку, отвинтят! Я замечаю про себя так, как эти самовары пошли по деревням, — ведь кажется, пустяки: самовар! — кончено, всю эту простоту, как рукой снимет. А как наладят чугунку на Тюмень, тут держись... Нам в N* эта самая чугунка много слез привезла, и, можно сказать, вышел чистый хаос: прежде все первый сорт крупчатку употребляли, а как она взыграла с шести рубликов за мешок на одиннадцать, — шабаш, даже попы — и те на второй сорт перешли. Некоторым чиновникам приходится совсем грациозно: жалованья в месяц двенадцать рубликов, семьища... Ох, не смотрели бы глаза!..

К вечеру, когда солнце уже заметно начало клониться к западу и дневной жар спал, мы действительно подъезжали к Шатрову, которое стояло немного в стороне от тракта.

— Так мы, значит, к попу махнем, — говорил Сарафанов, поощряя кнутиком своего киргиза.

— Нет, лучше у кого-нибудь другого остановимся.

— А зачем отца-то Михея обижать?

— Чем?

— Да он мне проходу не даст, потому как человек самый гостеприимный, хлебосол... Вроде того, как Авраам под дубом маврийским. Наивно вам говорю. Богатенный поп: свой конский завод, хлеба тысячи три пудов лежит и угостить любит. А насчет разговору: как труба, так и режет, так и режет. Живет князь князем. На сто верст кругом все знают шатровского попа.

Несмотря на всю убедительность этих доводов, я все-таки настоял на своем.

— Вон оно, Шатрово-то, точно на блюдечке раскинулось! — проговорил Сарафанов, заслоняя от солнца глаза ладонью.

Всякий, кто видал бесконечные равнины, тощие поля, болотины и убогие деревеньки средней России, взглянув на Шатрово с высоты, на которой теперь был наш коробок, вздохнул бы свободнее и подумал: «Вот где она, Сибирь — золотое дно!» Это была красивая картина: необозримая ширь полей волнами уходила на восток и тонула где-то далеко-далеко в синеватой дымке горизонта; на

западе замыкали картину ряды холмов, покрытых лесом. По извилистому течению Шатровки можно было насчитать до пяти деревень; в одном месте виднелась какая-то фабрика с высокими кирпичными трубами. Самое село рассыпало свои домики по обоим берегам реки по крайней мере на расстоянии трех верст; большая каменная церковь стояла, как мать среди детей, в самом центре села.

Наш коробок мягко катился по узкой дорожке, минуя огороженные поля и спускаясь к реке. Вот и первые избы, и широкая улица, и целая стая собак. Судя по наружному виду крестьянских построек, можно было вперед сказать, что народ живет здесь, как у Христа за пазухой, конечно не без исключений, в виде одиноких избушек, вынесенных к самой околице, где, вероятно, жили старики да солдатки-бобылки. Наш экипаж прокатился чуть не чрез все село, мимо каменной церкви, одноэтажного домика о. Михея, мимо волости и нескольких питейных; он остановился у старой, покосившейся избы, у ворот которой стояла высокая красивая девка в красном платке.

— Шептун дома? — спрашивал Сарафанов, с легким покряхтыванием вылезая из коробка.

— Дома.

— А что, Аннушка, как Шептун-то, здоров?

— Что ему делается... Не бойсь, не издохнет!

Анна была, что называется, девка кровь с молоком, с полными румяными щеками, крепкой загорелой шеей и могучей грудью; немного косой разрез карих глаз придавал ее лицу недружелюбное выражение, но оно смягчалось, когда она улыбалась, выставляя два ряда точно выточенных из слоновой кости зубов. Громадные красные руки и грязные босые ноги дополняли портрет этой деревенской красавицы, одетой в старенький ситцевый сарафан и розовую, тоже ситцевую, рубашку. На шее были надеты зеленые стеклянные бусы...

— А-ах, кошка тебя залягай... гладкая ты, а?!. - бормотал Сарафанов, заглядывая на Анну. — А ты как Шептуну-то приходишься, умница?

— Никак я ему не прихожусь... Чего при-

стал, как сера горючая?

— А ты, Аннушка, не тово...

В это время в воротах показался сгорбленный седой старик в ветхой пестрядевой рубахе; он из-под руки посмотрел на Сарафанова, и по его выцветшим сухим губам проползло что-то вроде улыбки.

— Это ты, Павел Иваныч? — медленно проговорил старик, не отнимая руки от глаз.

— Давай отворяй ворота да принимай гостей, — распоряжался Сарафанов, здороваясь со стариком. — А ты, умница, наставь самоварчик поскорее. До смерти заморились. Чистый хаос, Аннушка!

— Ишь, как лошадь-то пересобачили, — говорил старик, отворяя с тяжелым кряхтеньем ворота. — Никак, прямо из городу?

— На обыденку, Шептун.

Пока Сарафанов переносил наш багаж куда-то в заднюю избу, хозяин с каким-то шепотом медленно распрягал лошадь. Я только теперь хорошенько рассмотрел его. Он был гораздо сильнее, чем казался с первого раза, хотя ему, видимо, перевалило уже на восьмой десяток. Старческое лицо, совсем серого цве-

та, с большим носом и жиденькой бородкой, производило неприятное впечатление, особенно когда он медленно останавливал на одной точке болезненно пристальный взгляд своих ястребиных серых глаз и начинал беззвучно шевелить губами. В руках у Шептуна была длинная черемуховая палка, на которую он должен был опираться, потому что ноги сильно ему изменяли.

— Ишь, как его нашептывает, — говорил Сарафанов, кивая головой на старика. — От этого самого и Шептуном прозвали.

Широкий крестьянский двор был окружен низенькими бревенчатыми постройками: «стайки» (хлевы) для скота, амбары, сеновал; небольшая перегородка открывала вид на задний двор, где ходила хромая лошадь, и на длинный огород с низенькой совсем черной баней в глубине. Все пристройки и самая изба были крыты по-крестьянски драницами, а не тесом. Широкое грязное крыльцо, крытое соломой, сильно покосилось и немного отстало от корпуса избы; под ним что-то живое визжало и хрюкало. На всем кругом лежала печать разлагающейся старости, и видно было,

что некому приколотить отставшую доску и поправить покосившийся столб.

— А тебе кто будет Анна-то? — спрашивал Сарафанов, когда старик подошел к нам.

— Анна-то... А тебе на что?

— Да так я спросил. Раньше не видал, ровно, у тебя никого из баб-то...

— Анка работница мне будет. Хлебом кормлю, а она, стерва, за воротами все стоит...

— Та-ак... Такие ее годы, твоей Анки, что ей стоять, видно, за воротами!

III

Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли.

— А это у тебя что? — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшее на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казинетовый сюртук и старый патронташ.

— Это... А это Лекандра живет у меня, так его муниция, — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога.

— Какой Лекандра?

— Да учитель наш, Лекандра... Отцу Ми-

хею сын приходится.

— А, помню... Из лица немножко шадрив?

— Он самый... Лекандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете.

— А почему он у отца не живет, ваш учитель?

— Кто его знает, пошто он у отца-то не живет... Видно, у меня глянется лучше, — с улыбкой прибавил старик. — Ноне ведь все это мудрено пошло, не разберешь никак.

Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос:

— Анка, Анка, куда ты запропастилась?!. Собирай скорее чай господам...

— Чай, не рассохнутся твои господа: подождут, — откуда-то из глубины двора донесся голос Анки.

Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Лекандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно «шадрив», то есть его круглое добро-

душное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб; пушистая с красноватым оттенком бородка придавала физиономии Лекандры самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Лекандру».

— А, Никандра Михеич, сколько лет, сколько зим не видались! — приветствовал Сарафанов учителя. — Здоровенько ли поживаете?

— Прыгаем помаленьку, — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку.

— А отец Михей каково здравствует?

— У отца Михея чахотка, еле дышит...

— Ах, уж вы только и скажете... Ей-богу! А мамынька ваша?

— А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь.

— Конечно, пойду... Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандра

Михеич?

Учитель не заставил себя просить и сел за стол, рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах N-ской цивилизации, о людях с «грацией» и о всеобщем «хаосе». Мне очень понравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой и своим общественным положением, что не имел нужды ни прибавлять, ни убавлять ни одного вершка собственного роста.

— А я, Павел Иваныч, женюсь, — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу.

— Поди, на какой учительше? У вас ведь все это по-ученому делается...

— Нет, не на учительше, а на Анке. Вот та самая, которая самовар вам подавала.

Сарафанов даже раскрыл рот от удивления.

— Спроси хоть Шептуна, — продолжал учитель.

— Чего тут спрашивать, — ворчал ста-

рик. — Только ты, Лекандра, еще рылом не вышел, чтобы тебе на Анке жениться.

— Это уж не твоя забота.

— А то чья же? Не по себе дерево выбрал… Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать: ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл… У мужика изба своя, обзаведение, земля, скотина, а у тебя что? Куда тебе, такому, на Анке жениться…

— Вы все шутите, Никандра Михеич, — сказал Сарафанов, пытливо и в недоумении поглядывая на учителя.

— Нет, серьезно, женюсь. Осенью свадьба.

— Не может быть… — уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. — Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и три тысячи жалованья получает, другой — прокурор и тоже три тысячи, три сына в университете… Чистый хаос! Нет, уж ты, Никандра Михеич, пожалуйста, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой… Я тебе вот что скажу: есть у меня на примете одна поповна, — ну, отдай все, да и мало! Всем взяла: вроде как вишня

или малина.

— Вот ты и женись на ней, — предложил Лекандра.

— Ах, господи, господи... Вы все шутите, а как тятенька с мамынькой, ежели вы им этакой камуфлект подстроите? Ведь это, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с... Вы только то подумайте: один брат доктор, другой прокурор, три в университете... Люди все с грацией, образование... Да вы шутите?

— Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу.

Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно и «насекомисто», как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на полати.

Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаяла собака; неугомонные петухи перекликались че-

рез всю деревню; простучала на улице телега. Сеновал был покрыт полусгнившими дранницами; между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Лекандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня.

— Анка, Анка... чтобы тебя разорвало, окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос Шептуна.

Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи... Ночная ли птица шарахнет крылом оземь, ветер ли набежит — трудно разобрать. Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя деревня, настоящая русская деревня, деревенский здоровый воздух льется освежающей струей над этими полями, рекой, лесом, самый месяц освещает не многоэтажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворников, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной клеточкой — вот

единственное желание, которое теперь выражает желание большинства русских людей, не сеющих и не собирающих в житницы, не продающих и не покупающих. Да, отдохнуть...

— Вы не спите? — спрашивает Лекандра.

— Нет.

Небольшая пауза,

— Зачем Шептун так бранит эту Анку? — спросил я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам.

— Обыкновенная история: он стар, она молода.

— Этого еще мало.

— Они живут гражданским браком. Девку кровь душит, а старичонко еле на ногах держится. Вот и вздорят...

— Как же вы...

— Вы хотите сказать, как я решаюсь жениться на Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его поломает голову... Ха-ха!.. Анка еще не пойдет за меня. У ней от женихов отбоя нет.

— Ведь вы говорите, что она живет гражданским браком с Шептуном?

— Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем «образом звериньским, схождахуся межи сел». Мы смотрим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была «вроде как малина или вишня», а крестьянину нужна работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. Вы посмотрите, как целую жизнь работает деревенская баба, — именно как рыба о лед колотится... Все эти ошибки молодости не могут иметь здесь особенного значения.

Молчание. Учитель раскуривает папиросу.

— Скверно теперь у вас в городе?

— Как всегда.

— Одного не могу понять: зачем это люди лезут в эти города. Ей-богу! Скажите, пожалуйста: например, наш брат из семи кож вылезет, а все-таки добьется своего, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой палате нажить геморрой. Обыкновенно говорят про какие-то удобства цивилизованной жизни, про общественную жизнь, про удовольствия... Ведь врут, все врут до последнего слова! Какой-нибудь чиновник замурует себя в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока господь не приберет грешную душу.

Деньжонки завелись, — «винтит» ночи напролет. Тьфу!..

— Что же в деревне делать?

— В деревне... Во-первых, деревня деревне рознь. Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно.

— Именно?

— Да вот хоть я: землю пашу. Отличная статья. Я, право, так рад, что развязался со всей этой «цивилизацией» Сарафанова. Свет увидал, а то такая мерзость на душе стояла — хоть в воду. Видите ли, был я в университете... По слухам, уж очень хорошо там, значит, и нам туда же надо. Своего ума нет, так чужим живешь. Ну, и мода на образованного человека, и диплом, и этакой приличный оклад в некоторой туманной дали — все это имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел до третьего курса медицины, а потом все и похерил...

— Почему так?

— Плутовство одно, это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или

учителя гимназии. Кулак собственным лбом по крайней мере дорогу прошиб, а доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу!.. А какая была мода на этих докторов с легкой руки наших маститых беллетристов: каждый так и смотрит героем... Насмотрелся я на них, теперь — шалишь, знаем, чем подбиты эти все герои. И главное, заметьте, из тысячи человек один занимается, а остальные с грехом пополам только перелезают из курса в курс. Вот вам и все его геройство. По-моему, нужно поставить науку, как она в Англии или в Америке, а не тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой... Вот я, когда перелез на третий курс, и начал думать: к медицине я никакого влечения не имею, да она и сама существует только как искусство для искусства.

— Именно?

— Возьмите доктора, что он делает? Ведь он шарлатанит из ста случаев в девяносто девяти... Одна только хирургия и вывозит, а остальное все гиль и чепуха! Морочат только богатых купцов да нервных барынь. Например, приезжает доктор к больному... Если

больной — человек состоятельный, — он и без него поправится, если он бедняк — еще скорее помрет, потому что последние гроши снесет в аптеку. Один умирает оттого, что спился с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную болезнь; другой оттого, что вытянулся на работе, с холоду, с горя, с голоду... И в том и в другом случае доктор решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите в избу к богатому мужику, особенно к раскольнику: да всем этим немцам, которые придумывали гигиену, и во сне не снилось ничего подобного — такая чистота заведена, словно языком все вылизано. И посмотрите, какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. Да-с!..

Учитель заметно раздражился и говорил с таким выражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил.

— Все это хорошо, и, может быть, в ваших

словах много правды, — проговорил я, желая навести учителя на прежнюю тему, — но интересно, как вы дошли до мысли, что остается только землю пахать.

— Опять-таки не своим умом дошел, не беспокойтесь. У нас свой-то ум с семи лет отшибают... Был у меня один товарищ. В семинарии мы с ним вместе учились. Дело было в философии[50]. Крепкий был человек. Понимаете: сама натура. Учился, учился да однажды в классе профессору и начал отчитывать: «Чему вы нас учите? Вот я девятый год давлю парту, а ни аза в глаза не знаю... Мне на ваших классиков наплевать!» Взбесился человек совсем, а потом бросил все да в мужики и ушел, землю пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные ему рисовать, а он нам: «Дураки вы, дураки... Ничего-то вы не понимаете и не понять вам ничего. Я буду мужиком в сто раз счастливее вас...» Вот, когда я был на третьем курсе, на меня это самое раздумье и напади... Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее письмо и жду ответа. Пишет: «Приезжай, сам увидишь. Твой Африкан Неопалимое». Кое-как дождал-

ся я лета, а потом к Неопалимову, в деревню. Отыскал его. Живет как мужик, и все тут. «Брось-ко, говорит, свою ученую дурь да ступай в мужики, если добра хочешь». Пожил я у него лето, присмотрелся... Ничего, действительно хорошо. Неопалимое давно был женат на крестьянской девке, детишки были — отлично живут. Вернулся я в Шатрово и свою медицину по боку: совестно стало чужой хлеб заедать. Только сразу упроститься, как Неопалимов, у меня пороху не хватило. Придумал я, видите ли, поступить учителем и составить такую компанию, чтобы летом, когда у нас, учителей, нет занятий, сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек шесть. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко сделали и всякое прочее...

Лекандра замолчал и сердито сплюнул на сторону.

— Ну, и что же? — спрашивал я.

— Все прахом пошло.

— А теперь вы совсем упростились?

— Ну, этого еще сказать нельзя... Изволь-те-ка сразу расстаться со всей этой глупостью, которая наросла с золотых дней детства, —

нет, это не вдруг. Опять и то смущает: упростишься, а потом не вынесешь. Вот исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и землю у родителя арендую. Третий год свое хозяйство веду...

— Где же оно у вас?

— Верстах в семи отсюда. Там у меня и избенка огорожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете как-нибудь.

Наступило молчание. Упрощавшийся человек тяжело вздыхал. Очевидно, ему хотелось высказать еще что-то.

— Что же мешает окончательному упрощению? — спросил я.

— Вы не догадываетесь?

— Нет...

— Вот то-то и есть, а дело самое простое: разве мужицкое хозяйство можно поставить без бабы... Теперь поняли? Интеллигентный человек амуры да идеалы разводит и видит в жене... Ну, да черт с ним со всем, что он видит! Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, а когда дошло дело до бабы, — вот тут вся эта дрянь, которая накопилась в душе, и дает себя чувствовать. И себя загубить можно,

и другого человека... Ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать, — все-таки большая разница. А может быть, она будет счастливее за настоящим мужиком... Гм... это я вам скажу... Кажется, светает?..

IV

— Пойдемте купаться, — будил меня учитель ранним утром, когда солнце стояло еще в золотистом тумане. — Утро-то какое... а?..

Учитель лежал на животе, положив свою белокурую голову в широкие ладони. Мне ужасно не хотелось вставать, но желание с этого же дня начать настоящую деревенскую жизнь, наконец, превозмогло, и я быстро поднялся с своей импровизированной постели. Мы осторожно спустились с сеновала по ветхой, дрожавшей под нашими шагами лесенке. Так и хотелось вернуться обратно и додернуть часок. Во дворе мы встретили Анну. Она, с высоко заткнутым подолом, выгоняла подоенных коров.

— Анка, зачем ты на сарай к Лекандре ле-

зешь? — доносился из избы голос Шептуна. — Вот я возьму кол да колом тебя, стерву!.. Анка!..

— Отвяжись, старый пес, — ворчала девка, храбро шагая с хворостиной в руке.

Мы вышли через задний двор, где прыгала хромая лошадь, в огород. В двух шагах, теперь покрытая густым белым туманом, тихо катилась Шатровка, наклоняя прибрежные вербы и стоявшую в воде осоку. Где-то под берегом гоготали гуси. Учитель быстро разделся в ближайших кустах, и только глухой всплеск воды, распахнувшейся под его телом вспененной волной, показывал место, где он бросился прямо с берега. Несколько мгновений он не появлялся на поверхности, а потом только по фырканью и кряхтенью можно было определить, где он плыл в тумане. Я попробовал последовать его примеру, но после пяти минут, проведенных в холодной воде, у меня зуб с зубом не сходился. Оставалось вылезти из воды и одеться.

— Что, замерзли? — доносился голос учителя из тумана.

Он плавал еще с полчаса и вылез из воды

только тогда, когда все тело покраснело от холода и зубы стучали как в лихорадке. Прикрывшись рукой, на манер Венеры Медичейской, Лекандра скрылся в кустах, откуда все время его туалета доносилось какое-то забавное фуканье носом и кряканье. Солнце светило ярче и ярче. Туман начал ходить по реке белыми волнами, а потом белоснежной пеленой тихо поднялся кверху, открыв реку во всей ее красоте, — с живописными берегами, выложенными ярко-зеленой осокой и кудрявой вербой, с тихо скользившей водой, отражавшей в себе и небо и плававшие на небе облачка.

— На нашем солнышке греетесь... — под самым моим ухом произнес чей-то приятный басок.

Когда я оглянулся, то чуть ли не стукнулся лбом с высоким священником, облеченным в белоснежный пикейный подрясник и с широчайшей панамой на голове. Он с добродушной улыбкой протянул мне свою пухлую, как подушку, десницу и тем же баском проговорил:

— Честь имею рекомендоваться: шатров-

ский поп Михей... Чай, слыхивали про такого зверя?

— А... это ты, родитель? — отозвался Лекандра из-за кустов. — Купаться вышел?

— Да, немного нужно освежить свою грешную плоть...

Грешная плоть о. Михея представляла нечто совершенно особенное, вроде тех наливных яблок, которые вот-вот расколются, только пошевели пальцем. Его высокая фигура была необыкновенно развита в ширину, так что спина была выгнута совсем желобом, как у закормленной купеческой лошади. Плечи и грудь представляли какую-то вздутую массу, которая выпирала из-под пикейного подрясника, точно там были нарывы. Круглое обрюзгшее лицо было серого геморроидального цвета; около небольшого носа луковицей, как в масле, плавали два узких серых глаза. Щеки, походившие на подушки, обросли тощей бородкой. Из-под панамы выбивались две крошечных косички.

Заметив мой пристальный взгляд, о. Михей с неизменной добродушной улыбкой проговорил:

— Угадайте-ка, сколько мне лет?.. Нет, не угадать. Шестьдесят лет дней странствия моего в юдоли плача, а еще, кажется, ничего...

В подтверждение своих слов о. Михей молодцевато повернул сначала один бок, потом другой. После этой выходки он опустился на травку рядом со мной и заговорил таким тоном, точно мы вчера с ним расстались:

— Вот что, батенька, вы завертывайте ко мне чайку напиться... У нас попросту, без чинов. Мой нигилист вас проведет. Познакомились с ним? Ха-ха... Парень ничего, только немного дыра в голове... Так отсюда прямо ко мне. Я уж послал за Павлом Иванычем.

Я поблагодарил за приглашение и попробовал было отказаться под предлогом раннего утра.

— Да у нас город, что ли? У меня старуха давно уж скрипит по всему дому... Слышите, заходите. Покалякаем, побалагурим, а ежели меня рассердите — хуже будет.

— Мы действительно отправимтесь к родителю, — говорил учитель, появляясь из-за кустов.

— А... нигилист, будущий Анкин муж, —

встретил сына о. Михей и, обращаясь ко мне, проговорил: — Вот рассудите нас: один сын у меня доктором (о. Михей степенно отогнул на шуйце указательный палец, пухлый, как у новорожденного), второй — товарищ прокурора (о. Михей отогнул средний палец), три сына довершают свое образование в университете, а шестой сынок вздумал в податное состояние обратиться... А-а, вот тебя, дружище, и нужно! — закричал зычно о. Михей, завидев поспешно приближавшегося Сарафанова. — Иди, иди сюда, мы дадим тебе суд и расправу... На кого ты меня променял, Павел Иваныч? Не ожидал я от тебя этого, нет, не ожидал!..

— Наивно вам говорю, отец Михей, это все вот они, — оправдывался Сарафанов, указывая на меня. — Уж я знал, что мне попадет за это... Повинную голову и меч не сечет, отец Михей!

— Хорошо, хорошо: у Федорки везде отговорки, — добродушно гудел о. Михей, подхватывая Сарафанова под руку. — Пойдем купаться. Мне одному скучно... А слышал, мой-то нигилист женится...

— Хаотический человек, отец Михей, — проговорил Сарафанов, разводя руками. — Чистая грация!.. А только купаться не пойду, отец Михей: натура у меня не принимает. Я лучше на бережке посижу.

— Нет, вре-ошь, Павел Иваныч! — увлекая Сарафанова, гудел о. Михей. — Ты уж меня раз надул...

— Наивно вам говорю: ревматизм в ногах...

— Шалишь.

Пикейный подрясник и панама о. Михея скрылись за кустами. Мы с Лекандрой побрели к избушке о. Михея, которая стояла как раз против церкви и так приветливо издали глядела своими небольшими окошечками с белыми ставешками. Это был прелестный сельский домик с низкой зеленой крышей. Широкий двор был усыпан мелким песочком и делился на части изгородями. В этих загородках бродило несколько лошадей, помесь кровных киргизов с заводскими. Отец Михей был великий любитель и знаток лошадей; его конский завод пользовался большой известностью. В глубине двора виднелись целый ряд

конюшен, несколько амбаров, громадный сеновал и баня. Вид домика со двора был еще лучше, потому что он низенькой террасой, затянутой маркизой, выходил прямо в цветник. Эту мирную картину довершало кудахтанье голенастых кохинхинских куриц, бродивших по двору под предводительством горластого рыжего петуха. Из окна кухни выставлялась голова сотника Рассказа, который дружелюбно мигал в нашу сторону своим единственным оком.

— Рассказ — отличный наездник, — объяснял Лекандра, — всех лошадей выезжает у родителя. А вон и мамынька чаи разводит...

На террасе, около большого стола, накрытого белой камчатной скатертью и уставленного чашками и печеньями на маленьких фаянсовых тарелочках, суетилась небольшого роста дама с папироской в зубах. При нашем приближении она прищурила серые выцветшие глаза. Летнее из сурового полотна платье, какая-то накидка на плечах и шелковая сетка на голове показывали, что матушка не хотела быть деревенской попадьей и держала себя на городскую ногу. До этого времени мне

ни разу не случалось видеть матушек с папиросами, и я с удивлением посмотрел на сморщенное желтое лицо улыбавшейся дамы.

— Вот гостя привел, мамынька, — рекомендовал меня Лекандра. — А, да тут целый капитан еще сидит... Наше вам, Гордей Федорыч!

— Здравствуйте, господин нигилист, — отозвался сгорбленный, седенький старичок в кителе.

Я только теперь мог рассмотреть его съежившуюся фигурку из-за большого томпакового самовара, сильно походившего на о. Михея по своей тучности.

— Вы к нам погулять приехали? — спрашивала меня матушка.

— Отдохнуть...

— И хорошо сделали: у нас вон какие отличные места... Отец Михей, когда кончил курс в семинарии, был тоньше соломинки, а года три послужил в Шатрове и раздобрел. У нас здесь воздух очень хорош.

Мне оставалось только согласиться, потому что уж какого же еще можно было ожидать воздуха, когда о. Михей из соломинки

мог превратиться в настоящий свой вид. По правде сказать, мое воображение совсем отказывалось представить себе о. Михея, когда он только что кончил курс в семинарии. Капитан опять съежился на своем стуле и наблюдал меня мигающим, слезившимся взглядом. Это был совсем выдохшийся старец, с седыми нависшими бровями и щетинистыми, порыжевшими от табачного дыма усами, которые ужасно походили на старую зубочистку. Он имел такой вид, как будто долго где-то лежал в затхлом и сыром месте и теперь вынули его проветриться.

— А что ваша Тонечка? — спрашивала матушка, подавая капитану стакан крепкого чаю. — Я что-то давненько ее не видала...

— Нездоровится ей, нездоровится, Калерия Валерьяновна, — отозвался капитан, шамкая и пришепетывая. — Девичье дело, девичье... Хе-хе. Не побережется, не побережется, а теперь жалуется... жалуется, что голова болит... Молодость!.. Да!..

Самый голос у капитана был какой-то выцветший, с сухими безжизненными нотами, точно скрипело сухое дерево. Лекандра низко

наклонил свое розовое лицо над самым стаканом и, кажется, был исключительно занят процессом глотания душистого напитка. Мне показалось, что Лекандра с намерением избегал встречи с прищуренными глазками своей «мамыньки» и как-то странно поднял кверху свои белобрысые брови, когда она заговорила о Тонечке.

— Мир вам, и мы к вам, — загудел о. Михей, вваливаясь на террасу. — Посмотрите, как я выкупал Павла Иваныча. Ха-ха! Вот тебе и ревматизм...

— Чуть не утопили-с, ей-богу! Наивно вам говорю, — уверял Сарафанов, стараясь вылить воду из уха. — Ах, Калерия Валерьяновна... Здравствуйте!.. Сократите, пожалуйста, отца Михея, а то они меня совсем было того... уж захлебываться стал.

— Как это ты в самом деле неосторожно все делаешь! — проговорила матушка, покачивая кругленькой головкой, как детская фарфоровая куколка.

— Пошутил... Эка важность! Он меня тоже надул: на Шептуна променял. И следовало утопить, только до другого раза оставил.

— А... старичку, Гордею Федорычу, наше почтение! — говорил Сарафанов. — А я, право, даже не заметил вас с первого раза... Хе-хе!..

— Да где его заметишь... Ишь, какой карманный образ ему природа-то дала! — добродушно басил о. Михей, пока Сарафанов держал в своей лапище сухую, желтую ручку капитана.

Лицо о. Михея было теперь мертвенно бледно и скоро покрылось крупными каплями пота. Выпив залпом стакан чаю, он проговорил, обращаясь ко мне:

— Послушайте, батенька, не знаете ли вы какого-нибудь средства против геморроя?.. Совсем замучил, проклятый!

— Ах, отец Михей, ведь мы, кажется, чай пьем... — жеманно вступилась матушка, както забавно встрепенувшись своими коротенькими ручками. — Ты всегда...

— Что всегда: что есть, то и говорю!.. У кого что болит...

— Пожалуйста, перестань... Вон Тонечка идет... Ах, здравствуйте, Тонечка, легки на помине, — мы только что о вас сейчас говорили...

Тонечка была белокурая, грациозная девушка лет восемнадцати. Ее небольшое правильное лицо, с большими умными темными глазами, было красиво оттенено широкой соломенной шляпой с букетом незабудок на отогнутом поле. Она короткими шажками, едва прикасаясь к земле, вошла на террасу и спокойно поздоровалась со всеми. Сарафанов, как галантный кавалер, приложился мокрыми губами к ее миниатюрной ручке с просвечивавшими синими жилками, выгнув свою широкую спину, как это делают бильярдные игроки. Ситцевое простенькое платье красиво сидело на маленькой фигурке девушки и целомудренно собралось около ее белой шейки широкой розеткой.

— А я пришла к вам, Калерия Валерьяновна, за хиной, — проговорила девушка.

— И вы верите в эту латынскую кухню, Антонина Гордеевна? — вступился о. Михей.

— А то как же? Против лихорадки отлично помогает...

— Пустяки! Это только так кажется. Вот у меня...

— Ах, отец Михей, пожалуйста! — взмоли-

лась матушка.

— Ну, ну, не буду. Я пошутил... Ха-ха!.. Спроси вон у капитана, он испытал. Как заберет, — места не найдешь... Не буду больше, не буду. Вот мы с Павлом Иванычем относительно цивилизации побеседуем.

Тонечка просидела недолго. Она все время потирала свои маленькие ручки, как это делают с холоду, и ежила худенькими плечиками. Лекандра несколько раз с улыбкой посматривал на девушку и, наконец, проговорил про себя:

— Нервы...

— Вы этим что хотите сказать? — смело спросила Тонечка.

— А то и хочу сказать, что у всех барынь одна болезнь: нервы. Глаза этак закатит (Лекандра изобразил, как барыни закатывают глаза): «Ах, у меня нервы»...

— Вы, Антонина Гордеевна, не слушайте его, — вступился опять о. Михей. — Я вам дам отличный совет: ешьте сырое мясо, пейте сырые яйца... Вот я, — я был хуже вас!.. А теперь, кажется, слава богу, только вот... Ну, да это вас не касается. А вы слышали нашу послед-

нюю новость: Никандр Михеич женятся. Да-с. И знаете, на ком?

— На даме женюсь, — отозвался Леканд-ра. — Она будет в оборках да в бантах ходить, а я ее хлебом буду кормить.

— Нет, в самом деле женится... На работни-це Шептуна. Может быть, видали?

Все засмеялись. Сарафанов дергал капита-на за рукав и рассыпался своим дребезжа-щим, нерешительным смехом, откидывая го-лову назад. По лицу капитана проползло что-то тоже вроде улыбки, от которой вся кожа покрылась мельчайшими морщинками и за-шевелились под желтыми усами синие губы.

— Уж только и отец Михей, — умиленно шептал Сарафанов, — слово скажут — одна грация...

Девушка вопросительно вскинула свои темно-серые глаза на Лекандру и улыбнулась болезненной, умной улыбкой. Скоро она ушла своими короткими шажками.

— Вы не смотрите на него, что он карман-ный, — говорил о. Михей, обращаясь ко мне и тыкая капитана своим перстом в высохшую грудь, — у него в голове-то такие узоры наве-

дены, что нам и во сне не снилось.

— Какие там узоры, какие узоры, — шептал капитан, отмахиваясь от слов о. Михея, как от комаров.

— Вы спросите-ка Шептуна... Будут они помнить Гордея Федорыча.

— Чего помнить... нечего помнить. Дело полюбовное, по закону дело... Все по закону.

— Вот они и чешут в затылках-то от ваших законов. Видите ли, капитану, до освобождения крестьян, принадлежала половина Шатрова. Хорошо... Когда стали составлять уставную грамоту[51], капитан и уговорил своих бывших крестьян принять от него даровой надел[52] по осьмине на душу. Те с большого-то ума и согласись. А теперь у капитана же и должны арендовать землю по десяти рубликов за десятинку... Как это вам понравится? У нас землю-то продают по семи рублей за десятину.

— Зачем же они арендуют землю у Гордея Федорыча, если могут купить в собственность дешевле? — спрашивал я.

— Вот тут-то и есть корень вещей: земли-то покупные далеко, надо переселяться на

них, а капитанова земля под боком. У капитана всякое лыко идет в строку: он за выгоны берет отдельно, за потравы отдельно, за лес отдельно. То есть, я вам скажу, настоящий художник! Видели лес? Это все капитанов лес: мы ему за каждую жердочку платим дикую пошлину. А фабрику заметили? Ха-ха... Этакую штуку и самому Бисмарку не придумать; стоит здание, понимаете, одно здание — и больше ничего, а капитан ежегодно двадцать тысяч себе в карман да в карман. Вот как добрые люди живут, а не то, что мы грешные: по грошикам да по копеечкам.

Сарафанов умиленными глазами смотрел на капитана, как жаждущий на источник живой воды. Он преклонялся пред гением капитана.

— Я не принуждаю никого, не принуждаю... По добровольному соглашению, да, соглашению, — говорил капитан, совсем исчезая в облаках дыма.

— Хорошо соглашение, — ворчал учитель. — Тысячу человек пустил по миру, — вот и все соглашение.

— Что же я, по-вашему, по-вашему, фалан-

стерии буду устраивать на своей земле? — спрашивал капитан.

V

Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами. Да и невозможно было с головой не погрузиться в этот маленький мирок, который задыхался под веяниями времени. Рознь шла сверху донизу. Мечты о деревенском воздухе, о наслаждении природой, о равновесии элементов так и остались мечтами. Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину: современная деревня представляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты.

Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей по-

следовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня — это химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, спешная работа. Центр тяжести, искусственно привязанный нашей историей к жизни городов, сам собой переместился в деревню.

— Ну, что, Америку открываете? — спрашивал меня о. Михей каждый раз, когда мы встречались. — Не-ет, батенька, не те времена, чтобы лежать на боку да плевать в потолок. Перестраиваемся, голубчик, перестраиваемся... Послушайте-ка, что мужички-то калякают. Павел Иваныч ведь правду врет про самовары-то да цивилизацию. Умственный мужик пошел. Все сам хочет знать: как и что на свете делается. Газеты выписывает... Да и кулаки эти уж просвещают их на все бока: поневоле задумаешься.

Отец Михей был начитанный человек и следил за журналами. Голова у него была крепкая, только на все кругом себя он смотрел как-то не то сверху, не то со стороны. И,

главное, все ему смешно. Где он набрался этого добродушия — бог его ведает. Самой хорошей чертой в нем было то, что он и на себя смотрел тоже как-то со стороны, с подковыром.

— Вы возьмите-ка нашего брата, попов, — ораторствовал он, похаживая по комнате такими шагами, что половицы только гнулись и поскрипывали. — Прежде поп был притча во языцех, последняя спица в колеснице, а нынче и мы себе цену узнали, и мужика простецом считали, а вы пощупайте-ка хоть Шептуна!.. Это, батенька, министр...

Шептун и Рассказ были закадычными приятелями, вероятно потому, что трудно было подыскать двух таких противоположных людей. Шептун был крепкий старик и играл выдающуюся роль на сходах. Он не проговорит слово даром, и все у него выходило как-то особенно складно. Находчивость в ответах, живость, убийственная острота — вот чем он брал, и часто нужно было много подумать, чтобы добраться до истинного значения его речей. Главным образом, он в совершенстве владел искусством запутывать свою мысль,

как заяц путает свои следы. Сравнения, прибаутки, шуточки так и сыпались с его посиневших губ. «Шептун сказал», — говорили часто вместо ответа, или: «Спроси у Шептуна, он те скажет».

— Ну что, Шептун, как у вас с капитаном дело?

— Это от антиллерии-то? А ничего, милый, капитаном мы довольны... Бога за него благодарим. Да. Капитан у нас славный. Даровой осьмухой нас благословил. У нас и поп Михей тоже ничего. Супротив капитана ему не сделать, а славный поп. Вишь, как ему весело... В соху бы запречь, так, пожалуй, смеху-то убыло бы.

Рассказ был увлекающаяся, поэтическая натура, растворявшаяся в настоящем. Все, что он ни делал, было результатом порывистого желания немедленно осуществить свою мысль. Как истинный поэт, он был беднее Шептуна и часто выслушивал от него очень горькие истины относительно своего бесшабашного житья. К людям он относился доверчиво и с первого разу любил или ненавидел. Вообще рядом с Шептуном это был настоя-

щий ребенок. Поэтическая точка воззрения на весь мир заслоняла пред ним те пружины и внутренние мотивы, которые заставляли этот мир радоваться и плакать, мучиться и наслаждаться. Как все слабохарактерные люди, он слепо преклонялся пред успехом и удачей, забывал неудачи и оскорбления и постоянно нуждался в руководителе.

Интересно было наблюдать, когда Шептун и Рассказ выйдут вечерком за ворота и, сидя на завалинке, калякают между собой.

— Ну, чего ты слоны-то продаешь?! — корит Шептун своего благоприятеля. — Выездишь ты пятерых жеребцов у попа, а он тебе двугривенный в зубы... Эх ты, рухлядь!

— Ты умен, — пробует иронизировать Рассказ.

— С твое-то будет ума... Не пойду к полу за двугривенный-то лоб парить да вертеться, как бес перед заутреней.

— Ладно, рассказывай. Знаем... Тоже вот тогда, как от антиллерии-то...

Это обыкновенный исход всех подобных разговоров, потому что капитан был единственное слабое место, в которое можно было

уязвить Шептуна. При составлении уставной грамоты Шептун один из первых поддался на удочку капитану и теперь нес на себе кару за этот промах. Как это вышло, что Шептун опростоволосился, я долго не мог себе представить.

— Што капитан? Ну, што ты говоришь мне: капитан? Разве я у него был в те поры на уме? Чужая душа — потемки, известное дело. Да кабы знатье... то есть вот пополам перекусить его, прохиря[53], и весь разговор!

— Намеднись я иду мимо Прошкина кабака, — уже спокойно продолжает Рассказ, совершенно довольный, что уязвил Шептуна. — Попадаются моховики... [54] Трудно этак идут, артелкой. Афонька Спиридонихин, Микешка Гущин, Естюшка... Ну, идут, калякают промежду себя, а на дворе уж темнается. Я эдак маненичко притулился за угол и думаю: пусть, мол, пройдут своей дорогой. По разговору, значит, слышу, что они маненько тово, заложили за ухо-то... Еще, пожалуй, с пьяных-то глаз в загривок накладут. Стою эдаким манером за углом и слушаю. «Этих бы сивых чертей, — говорит Естюшка, — взять, говорит,

за бороды да оземь, потому самому, што они нас на веки вечные времена в раззор привели...» Это, выходит, они про нас так-ту разговоры разговаривают. А Микешка Гущин на это: «Тут дело не просто; подкупил их тогда этот самый капитан либо напоил, вот они и продали... Осьмуху-то немного укусишь! Вон у шаблинских али у болтинских — все по-божескому сделано. Только мы не в людях люди! Надо, слышь, этих стариков стряхануть когда ни на есть: сии заварили кашу, они и расхлебывай?»

— Ах, псы эдакие! — ругается Шептун. — По заугольям-то их много, а доведись до дела — так и нет никого... Естюшка и то было раз сцапал меня за бороду в кабаке у Прошки.

— Н-но!

— Верно. «Ты, говорит, такой-сякой, нас по миру пустил». Ей-богу! Тогда чуть меня отняли... Парень могутный, поднесет раз — и дух вон. Кабы помоложе был, я бы ему завязал язык-от. Тогда на сходе учали муторить — што не што до поленьев дело не дошло.

— А ты слышал, что посредственник к нам едет?

— Это насчет кого?

— Кулумбаевских да ирнабаевских башкир будут межевать. Верно тебе говорю. Поп Михей сказывал.

— Врет, поди?

— Чего ему врать. Сказано: едет, — значит, взаболь едет. [55]

— Лонись тоже приезжал посредственник-то, да што из этого толку вышло? [56]

— А ежели у него бумага вышла из Питенбурха? Соберет сход, бумагу заставит читать — тут, парень, слушай. Михей сказывает, кулумбаевским плохо придется: замежуют их. К заводам всю землю отведут, потому у них бумага.

Так сидят старики и балагурят. Невеселые разговоры у них, и всегда имя капитана появляется на первом плане. Капитан, действительно пустил с сумой половину Шатрова. Приняв даровой надел, крестьяне сидели в руках капитана, по выражению Шептуна, «все одно как рыба в неводу». Нищенский даровой надел приходился им теперь солоно. Арендную цену на свою землю капитан поднял на неслыханную высоту и, кроме того,

измором морил на каждом шагу. Только необыкновенно плодородная земля спасала их еще от конечного разорения, а впереди предвиделось самое худшее. С нарастанием населения на душу приходилось меньше осьминника. Молодые мужики, которых о. Михей называл умственными, не давали старикам проходу за даровой надел.

VI

Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда заходил к Лекандре, в его хутор. Этот хутор был верстах в пяти от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли у Лекандры было десятин восемь. Теперь она представляла волнистый ковер доспевавшей пшеницы, ржи и овса. Небольшая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее порога открывался чудный вид на реку Шатровку, красивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поемных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправильными кучками изб деревушки Моховая, Болтина, Шаблино и т. д. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все эти бревенчатые избы точно были на-

сыпаны какой-то исполинской рукой по речному берегу или сейчас только, как стадо утят, выползли из воды и греются в лучах летнего солнышка. Эту картину портило только полное отсутствие садиков и деревьев: хоть бы одно дерево на все это громадное пространство, которое охватывал глаз. Приятным исключением на этой оголенной равнине, когда-то славившейся дремучими сосновыми борами, была красивая капитанская роща. Она была разбита на несколько участков, и в ней велось правильное лесное хозяйство.

Изба Лекандры была устроена как все русские избы и состояла всего из одной комнаты, половину которой занимала громадная русская печь. Простой стол, деревянные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. Обед готовил себе Лекандра на керосиновой кухне, а хлеб привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено небольшое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие принадлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак оберегала хуторок вме-

сте с глухим стариком, который попеременно спал то на печи, то на завалинке. По вечерам часто приезжал сюда о. Михей напиться чайку на «благорастворенных воздусях» или забродил с охоты Сарафанов.

— Зачем же у вас еще квартира у Шептуна? — спрашивал я Лекандру.

— А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко, да и так, мало ли.

Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, отчасти из подмигивания о. Михея, отчасти по тяжелым вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, мешавшую Лекандре окончательно упроститься, как это сделал Африкан Неопалимов. «Где женщина?» — спрашивал какой-то французский адвокат в каждом процессе; мои догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. Были некоторые, правда, очень слабые, но все-таки заметные признаки существования такой женщины. В избушке Лекандры мне несколько раз попадались на глаза полевые цветы, искусной рукой собранные в маленькие букеты, пуговка от дамской ботинки и даже целая фильдекосовая перчатка. Это

была совсем маленькая перчатка, почти с детской руки. Если присутствие цветов можно было объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок и перчатки решительно нечем было объяснить.

Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу я направился к избушке Лекандры. Я брел по заросшей меже, между стенами пшеницы, которая стояла тын-тыном и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой пахучей струей, разбегался по нивам лоснившейся, как переливы атласа, волной и весело гудел в капитанском лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и любопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал коростель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют эти солнечные лучи, это дыхание матери-земли, эта кипучая жизнь, разлитая в воздухе, на земле и в земле. Каждая былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше других втянуть в себя

первую капельку дождя, солнечную теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, которая издали казалась бархатным ковром, — какая кипучая жизнь совершалась в ней!

Мне оставалось сделать до избушки Лекандры шагов двести. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что бросилось мне в глаза, было белое платье... Да, настоящее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. Но что она могла делать у Лекандры? Я искал глазами капитана, но его не было. Итак, мне приходилось сделаться невольным свидетелем и разрушителем tete-a-tete. Воротиться назад я не мог, потому что Лекандра уже заметил меня.

— А... здравствуйте, — как сквозь сон протянула девушка, подавая мне свою крошечную ручку.

Тонечку нисколько не смутило мое неожиданное появление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснениям того обстоятельства, как попала она сюда. Лекандра был с ней груб и суров сегодня особенно. Меня это

удивляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добродушием. Из разговора оказалось, что девушка была помощницей в школе Лекандры. Это было для меня новостью.

— Вас, кажется, это удивляет? — спрашивала девушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой.

— Да, отчасти...

— Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в первый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей учителя в Шатрове *дама*, то есть известная комбинация оборок, бантов и... нервов. Да?

Тонечка громко смеялась своей шутке, а Лекандра кусал губы и смотрел куда-то в сторону.

Мы очень весело провели несколько часов в обществе этой девушки, присутствие которой было именно тем, чего недоставало избушке Лекандры. Учитель вынес на траву свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить чай своими белыми детскими ручками.

— И вы пьете из этой гадости? — спраши-

вала она, заглядывая с ужасом в глубину медного проржавевшего чайника. — Вы когда-нибудь отравитесь...

— Нас не скоро отравишь, — грубил Лекандра. — Это если...

— Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно наговорили мне грубостей, — прервала учителя Тонечка, напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни. — Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас перчатку? — обратилась она к Лекандре. — Ручка у чайника расколота, жжет голую руку...

Лекандра был уничтожен и растерялся, как пойманный школьник. Но девушка, кажется, ничего не хотела замечать и все время держала себя непринужденно и просто, как сестра. Причина, мешавшая Лекандре окончательно упроститься, была теперь налицо и, право, была так мила и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никакого основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгорелось слабым румянцем, и на щеках, когда она смеялась, забавно дрожали маленькие ямочки. В темно-серых глазах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка, с легкими, гра-

циозными движениями, была сегодня необыкновенно хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сложенную ногу в крошечном прюнелевом ботинке.

— Я, кажется, сегодня очень много наглупила, — с милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои белокурые волосы шляпу. — Отчего вы не забредете к нам как-нибудь? — обратилась ко мне девушка, протягивая на прощанье руку.

Я поблагодарил за это любезное приглашение и обещал воспользоваться им при первом удобном случае.

— А вас не смею приглашать, — с улыбкой проговорила Тонечка, поворачивая свою головку к Лекандре. — Вы ведь тоже не приглашаете меня...

— Как не приглашаю: ходите почаще мимо-то, без вас веселее, — отрезал Лекандра, окидывая «оборки» Тонечки уничтожающим взглядом.

Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыбкой проговорила:

— Нет, уж вы, пожалуйста, останьтесь при одном вашем намерении... Я настолько ценю

его, что освобождаю вас от скучной обязанности тащиться с дамой по такому жару. Я привыкла везде ходить одна.

Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже и казалась издали с своим распущенным зонтиком каким-то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. Лекандра лежал на траве, что его приводило в некоторое созерцательное настроение, в котором он мог оставаться в одной позе по нескольку часов. Солнце палило. Не слышно было щебетанья птиц, которые теперь сладко дремали в пахучей тени капитанского леса. Над полями раскаленный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали изредка вставали над нивами легкие желтые облачка и долго тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила проселочная дорога, по которой проезжали крестьянские телеги.

— А что этот капитан? — спрашивал я, чтобы хоть чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Лекандры.

— Скотина!

— То есть?

— Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги посылает в Петербург сынку-гусару.

— А что, эта Тонечка, должно быть, умная девушка? — опрашивал я Лекандру, впадавшего опять в летаргию.

— Ничего... порядочная дура. С моей мамынькой ей ладно бобы-то разводить. И за каким лешим сюда таскается?!.

Лекандра окончательно «замкнулся в свое я», как выражаются семинарские записки по философии. Разговорчивость и мрачное настроение находили на него полосой, ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько времени в безмолвии, Лекандра вдруг расхохотался.

— Над чем вы смеетесь?

— Как над чем? Да вы разве не замечаете, что любезная мамынька задалась целью женить меня непременно на Тонечке. Ха-ха!.. Вот вышла бы примерная пара!.. Хоть сейчас картину рисуй: зять капитана от артиллерии. Ох-хо-хо-о!..

— Не знаю, по-моему, это не так смешно...

— Да? Отчего же... у всякого барона своя фантазия. Только, по-моему, жениться на То-

нечке, это — завести себе лазарет по конец жизни: смотреть на нее, как на красивую куколку — это еще я могу понимать, но представить ее во образе дражайшей половины... Только недостает, чтобы она начала курить папиросы, как моя родительница...

— А все-таки, Тонечка нравится вам?

— Пожалуй... Некоторое время даже питал к ней душевное и сердечное расслабление, а теперь ничего, прошло.

— Упрощаетесь?

— Да, упрощаюсь. Вы подумайте: я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут этакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней буду делать? Смотреть? Нет, уж боже избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде женщины.

— Бабы?

— Да, если хотите: бабы. Совершенно верно. Ведь нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и порты починить, а тут одни перья да банты.

— Тонечка в школе занимается, получает жалованье, следовательно, она может себя за-

менить другими руками.

— Ну да... конечно, можно и заменить. Только опять это совершенно особенная музыка... Ну, да не стоит говорить о пустяках. Вон посмотрите, никак цивилизация к нам катит... Да, она самая. Рассказ приклеился к новому дельцу, — вон волокет какой кузов. Ах, проказники, проказники!

— Вы про какое новое дельце говорите?

— А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал в Шатрово.

Я слышал от Павла Иваныча о «дельце», которое у него было в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. Раза два Сарафанов пытался вытащить меня на охоту в болото, но я откладывал это удовольствие под предлогом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.

VII

Сарафанов шел, с перекинутой за плечами двухстволкой, своим твердым, развалистым шагом, точно возвращался с прогулки, а не после двенадцатичасовой охоты. Издали он сильно смахивал на медведя, который умел ходить на задних лапах. Лягашик, прихрамывая, плелся назади. Рассказ, сильно вытягивая жилистую шею, тащил на спине чуть не целый воз из мешков и лубочных коробков. Все лицо у него было покрыто потом и волосы на лбу прилипали к коже мокрыми прядями.

— Одначе здорово парит, — проговорил Сарафанов, прислоняя ружье к углу избы.

— Что, устал, Павел Иваныч? — спрашивал Лекандра.

— Нет, не устал... Только поясница немножко тово... Должно быть, к ненастью ноет.

— А чаишку хочешь пошвыркать?

— Ежели такая ваша милость будет... А где у меня Личарда?

Рассказ растянулся в избе и не подавал го-

лоса. Он успел выпить не один ковш самой холодной воды и теперь едва дышал, закрыв единственное око.

— Какое у тебя дельце, Павел Иванович? — спрашивал я, пока Лекандра хлопотал около своей кухни.

— Дельце? А вот... — Он развязал один из коробков и достал несколько жестяных банок из-под монпансье. Крышки банок были плотно припаяны к стенкам. — Вот, изволите видеть, банка, а в этой банке двенадцать дупелей... Сто лет пролежат и хоть бы что!

— Консервы!

— Да, вроде как консервы, только получше.

— Как вы их приготовляете?

— А вот как: выберем болото, Личарда разведет на берегу огонь, приготовит паяльник, коробки и всякое прочее. Потом я иду в болото и начинаю крошить дупельков... Только успевай мигать. Десяток в полчаса погублю и сейчас их к Личарде. Он их ощиплет, сложит в коробки, зальет свежим салом и сейчас припаяет крышечку. Вот и готово-с. А у меня уж опять десяток готов... Наивно вам говорю.

Этого дупеля по здешним местам видимо-невидимо. Без полусотни штук мы еще не вылезали из болота.

— Куда же вы потом с этими консервами?

— Как куда: продавать... Помилуйте, да с руками оторвут, если на охотника. Первый отец Михей, — ну, ему, конечно, я даром презентую, — капитан, становой, доктор... Всем будет любопытно. Вы заметьте — это будет вроде только объявления: один попробует, пятерых угостит да десятку похвалит. Вот у меня целых пятнадцать заказчиков. Если считать за банку, значит за десяток дупелей, — ну, рубль — и то составит пять рубликов я зашибу в день. Поняли? Очень грациозно-с... Это я только пробу делаю, а на будущий год настоящим делом займусь. Тысячу банок приготовлю в лето!.. Это у меня в кармане останется семьсот рубликов. А если буду посылать в Петербург да в Москву — это опять другой разговор пойдет.

— Вы, кажется, посылали уж маринованных рябчиков?

— Ах, то опять особь статья. Там меня в одном магазине подвели: послал им на пробу

несколько банок, высылают требование на целую сотню. Послал сотню… Они, черти, эту сотню слопали или продали, а денег не выслали. Наивно вам говорю: хаос! Теперь уж не проведут. Своего комиссионера заведу. Недавно в газетах объявление такое прочитал.

Чай был готов, и мы напились с Лекандрой во второй раз, ибо пар костей не ломит.

— Ты, Павел Иваныч, компанию на акциях устрой лучше, — советовал Лекандра, — вот как железные дороги строят… Слыхал?

— Как не слыхать: и мы не левой ногой сморкаемся. Хе-хе!.. Только ведь это я так, между делами: и удовольствие получишь, и сам не в убытке.

— Может, опять какое-нибудь дельце затеваешь?

— А то как же: волка ноги кормят. И еще какое дельце-то: каламбур, пальчики оближешь.

— Именно?

Сарафанов огляделся по сторонам и заговорил вполголоса, точно боялся, что его может подслушать даже трава.

— Третьева дни иду это я по Шатрову от

капитана, — чай у них пил, как вот сейчас с вами, — иду, а навстречу едет башкир из Кулумбаевки, Урмугуз. «А, знаком, селям малику»... Ну, то-се, разговорились...

— Это ты, значит, хочешь взяться за дело ирнабаевских и кулумбаевских башкир с Локтевскими заводами?

— Даже всенепременно-с... Послезавтра поеду с Рассказом в Кулумбаевку, а потом в Ирнабаевку. По пути возьмем Иртяшское болото, — слыхали? В ширину семь верст да в длину двенадцать... Тут настоящий момент дупелей!

— Какое это дело у башкир с заводами? — спрашивал я.

— Один хаос и больше ничего! Наивно вам говорю: хаос, — отвечал Сарафанов, отдувая пар с своего блюдечка. — Локтевские заводы принадлежат Бухвостову, то есть принадлежали. Сам-то Бухвостов умер сто лет назад. Так-с. После его смерти его супруга в тысяча семьсот девяносто втором году предъявляет в земский суд купчую крепость, будто бы написанную еще в тысяча семьсот семьдесят шестом году. А по этой купчей кулумбаевские

башкиры продали заводам двадцать тысяч десятин. Понимаете? Почему же сам Бухвостов не явил эту купчую и не просил о вводе во владение?.. Это раз. Второе: прошло шестнадцать лет, значит, земская давность. Третье: часть якобы проданных кулумбаевскими башкирами земель принадлежит ирнабаевским. Все-таки, несмотря на все это, земский суд утвердил эту купчую.

— Да ведь туг надо знать все законы, как пять пальцев, — говорил Лекандра.

— Хорошо-с, дойдем и до законов. Подождите. Через десять лет, значит в тысяча восемьсот втором году, приезжает для проверки межей правительственный землемер. Хорошо. Башкиры ему жалобу, а Бухвостова заявила в оренбургскую межевую контору, что по спорным землям устроила с башкирами мировую сделку. Межевая контора посылает другого землемера: башкиры ему жалобу, а он их бунтовщиками обозвал. Приехал третий землемер; только этот совсем не стал разговаривать с азиятами, а взял да ночью замежевал лучшие угодья и земли да, кроме того, внутри межи оставил целую деревню Ирна-

баевку. Башкиры опять жаловаться. Тогда Бухвостова предъявила свою полюбовную сказку, дескать, так и так, обмежеванную землю башкиры уступили ей, Бухвостовой, а что-де касается замежеванной деревни, так у нас есть условие, по которому ирнабаевские башкиры обязываются оставить свою деревню, когда это нам будет угодно. Башкиры объявили и полюбовную сказку и условие подложными.

Сарафанов допил чашку, вытер рот платком и, пожав руку Лекандры, продолжал:

— Ну-с, таким манером дело это уж дошло до Гражданской палаты, которая признала, что Бухвостова владеет кулумбаевскими землями правильно, а ирнабаевскими неправильно. Бухвостова давно уж умерла, а дело вели наследники. Хорошо. Они не унялись и пошли хлопотать дальше: жаль было, вишь, уступить ирнабаевские-то земли. В тысяча восемьсот пятьдесят шестом году это дело попало в московскую межевую канцелярию, которая и вырешила: замежеванные у ирнабаевских башкир две тысячи десятин оставить за заводами, а вместо них отмежевать у кулум-

баевских башкир эти две тысячи десятин и передать их ирнабаевским.

— Да ты выучил это дело наизусть, Павел Иваныч?

— По бумажке учил, как «верую». Ну-с, теперь рассуждение должно быть такое: во-первых, московская межевая канцелярия не имела права отводить заочно способные земли; потом, наследники в течение целых пятнадцати лет не приводили его в исполнение, значит, оно опять потеряло силу за давностью. Так? Хорошо. Это самое дельце и выплыло на днях: едет мировой посредник уговаривать ирнабаевских башкир уступить заводам эти две тысячи десятин. Вот я услыхал это от Урмугуза и спрашиваю, что они хотят делать. «А не будем, говорит, отдавать, и кончено». «Да ведь вас, говорю, азиятов этаких, засудят...»

— Отчего же они не обратятся к кому-нибудь из присяжных поверенных или опытных адвокатов?

— Обращались, голубчик, не один, не два раза: адвокат сдерет с них дикую пошлину, а дельце лежит. Потому одно слово: азияты.

Всякий ладит с них сорвать, что можно. Не любят, где плохо лежит. Да-с.

— И ты туда же?

— Ах, господи, господи! Ведь я не обязан даром за них хлопотать... Все мы хлеб едим!

— Смотри, Павел Иваныч, тово...

— Чего тово...

— А понимаете: возьмут этак за хвост да в окошко.

— Ну, это еще старуха-то надвое сказала. Это еще мы посмотрим. Ежели за мной ничего нет, да я чист перед богом... Ах, господи, неужели уж и суда праведного не найдем?!. Вы, может, думаете, что заводы смазали колеса кому следует, ну, и пусть их. Мы пойдем напрямик.

— Где ваше не пропадало!

— Хоть бы и так... Я даже пострадать готов. Наивно вам говорю.

Сарафанов действительно, по своему обыкновению, горячо взялся за новое дельце и уехал к башкирам. Мне нужно было пробираться уже восвояси, хотя было немного и жаль расставаться с Шатровым.

— Мне Тонечка говорила, что вы обещали

зайти к ним, — проговорила однажды матушка, когда мы с Лекандрой ели у нее какие-то пирожки.

— Это еще что за китайские церемонии, — окрысился Лекандра, но потом стих и даже отправился вместе со мной к капитану. — Ведь вот, подумаешь, какова сила инерции, — резонировал он дорогой, стуча палкой по заборам, — спросите меня, зачем я иду...

— Ведь вы обещали, — уговаривал я.

— Что же из того, что обещал: велика важность!

Домик капитана стоял на пригорке. Это был обломок доброго старого времени: с мезонином, с какой-то колоннадой, с широким подъездом. Время изрядно поработало над этим произведением помещичьего вкуса, и везде проглядывала мерзость запустения: колонны покосились, крыша прогнила, мезонин стоял с выбитыми стеклами.

— По Сеньке и шапка, — говорил Лекандра, поднимаясь по шатавшимся ступенькам развалившегося крыльца.

В пустой передней пахло сыростью, и на всем лежал толстый слой пыли. В гостиной

нас встретил сам капитан, путавшийся в длинном халате и с длиннейшей трубкой в руках.

— А, господа, очень рад, очень рад... — прошамкал он, усаживая нас в старинные кресла с выгнутыми спинками и удивительно тоненькими ножками.

Гостиная представляла лавку старых вещей: мебель, картины, часы, какие-то мудреные предметы, назначение которых трудно было угадать, — все это точно было нарочно подобрано. На одной стене висели неизбежные пастух и пастушка, вышитые по канве шелками; нос у пастуха походил на лестницу, нога пастушки на пилу, какой пилят дрова. Скоро показалась Тонечка.

— Не ожидала от вас такой любезности, — чистосердечно и просто проговорила она.

— У нас редко кто бывает, — шамкал капитан. — Разве отец Михей когда заглянет.

Подан был неизбежный чай. Капитан вытащил откуда-то заплесневевшие бутылки с какими-то мудреными старинными винами, даже завел баульчик с музыкой — вообще хлопотал ужасно, чтобы угодить своим го-

стям, то есть, вернее, своей Тонечке.

— Зачем вы тревожите так свой «восемнадцатый век»? — шутил учитель. Он сегодня, к моему удивлению, уже не грубил, а даже с ловкостью ручного медведя старался помочь хозяйке в ее хлопотах. Результатом этих благородных усилий было два разбитых чайных блюдечка и отломленная ручка у кресла.

— Ничего, это ему полезно, — отвечала Тонечка, кивая головой в сторону отца.

Девушка была сегодня в ударе. Она рассказывала о своих занятиях в школе, о том, как она сначала трусила, а потом понемногу привыкла. Разговор зашел о будущем. Тонечке хотелось со временем открыть вечерние классы, чтобы учить девочек рукодельям. Когда вопрос зашел о профессиональных школах, она проговорила:

— У Никандра Михеича был отличный план относительно добавочных ремесленных классов... Не знаю, в каком положении он теперь.

— На точке замерзания, — отвечал Леканд-ра.

— Потом мы думали устроить образцовую

ферму, — продолжала девушка уже во множественном числе, что немного передернуло учителя. — Только это еще в проекте...

— Образцовая ферма имеет для крестьян такое же значение, как школа плавания для щук, — сгрубил Лекандра.

Капитан все время ходил в своем халате по комнате и, отмахиваясь маленькой ручкой, повторял: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания!.. Пожалуйста, не обращайте!» Он пускал густые облака дыма из своей трубки и по временам улыбался. Несколько раз он подходил к нам, наводил ухо и с улыбкой говорил:

— Вот и отлично!..

Что было «отлично» — я никак не мог понять, только капитан являлся для меня совсем в новом свете. Глядя на его высохшую маленькую фигурку, никто бы не подумал, что капитан способен был пустить по миру сотни людей. Теперь это был чадолюбивый отец, счастливый тем, что его дочь весело говорила и щебетала, как птичка. Этот громкий говор и смех представлял такой контраст со всей окружавшей нас обстановкой почтен-

ной старины: сердитые генералы очень сурово смотрели на нас из своих старинных рам, а шелковые красавицы делали совсем томные глазки своим пастушк*а*м.

— Главное, что обидно, — ораторствовала Тонечка, — за какое вы дело ни возьметесь, вы встретите прежде всего глухой отпор даже со стороны людей, на которых, кажется, можно было рассчитывать. Потом, это отношение свысока ко всему, это желание... как бы вам сказать?.. желание быть маленьким оракулом.

— Если это в мой огород камни летят, то совершенно напрасно, — с улыбкой говорил Лекандра. — Все мы люди, все человеки...

— Ну, вот и всегда так: скажет человек жалкую фразу, и доволен.

Тонечка рассердилась, хотя никто и не думал ей возражать. Видно было, что у ней давно что-то накипело на душе и теперь выливалось порывистыми горячими фразами. Капитан заботливо моргал глазами и не говорил больше своего «отлично».

— Как жаль, что вы так скоро уезжаете, — говорила мне Тонечка, когда вышла прово-

жать нас в переднюю.

— В самом деле, останьтесь, — упрашивал капитан. — Ей-богу, останьтесь! Мы устроим отличное катанье на реке... Понимаете, этакая луна, звезды...

— Ай да «восемнадцатый век», как он разошелся сегодня, — говорил дорогой Леканд-ра. — И ведь странная вещь, как это иногда случается... Просто, черт его знает!.. Этакое дворянское гнездо в некотором роде, и вдруг в нем вырастает какая-нибудь Тонечка. Ведь посмотреть не на что, а в голове уж и вопросы разные и этакая чуткость... Она, пожалуй, и славная бы девка, только вот эти фалборки да банты... А у меня в голове шумит. Этот «восемнадцатый век» нам подсунул чего-то самого анафемского...

На другой день я уехал из Шатрова. Матушка успела сунуть в мой экипаж какую-то коробку с пирожками, о. Михей долго пожимал мою руку и самым добродушным образом говорил:

— А ведь, право, остались бы еще погостить... Ну вас там, с вашим городом. Вот скоро грибы поспеют, наливки будем скоро про-

бовать...

Когда мой экипаж — простая деревенская телега — тронулся в путь, он еще раз остановил меня:

— Послушайте, батенька, если вам где-нибудь в газетах попадется этакое средствие от геморроя... Настрочите как-нибудь цидулочку! Просто, понимаете, как сядешь на диван или на стул... Хе-хе!.. Ну, прощайте. Дальние проводы, лишние слезы.

— Ну, оммороШная! — крикнул Шептун, дергая вожжами. Он взялся отвезти меня до ближайшей станции.

Я возвращался один, потому что Сарафанов уехал в Кулумбаевку. Наша телега бойко покатилась по мягкой дороге, и Шатрово скоро осталось назади. Опять кругом потянулись пашни, поля и нивы, а вдали серебряной чешуей отливала на солнце река Шатровка.

— А это все пашни нашего змея, — проговорил Шептун, указывая кнутиком на желтевшие поля пшеницы.

— Какого змея?

— А от антиллерии-то...

VIII

Вернувшись в город, я несколько времени находился в самом странном расположении духа. Стараешься делать все так же, как раньше, напрягаешь все усилия, чтобы войти в прежнюю колею, а нет-нет и унесешься мыслью в избушку Лекандры, в лес капитана. Несколько раз мне казалось, что в передней слышатся шаги о. Михея, но это было иллюзией. Мысль об упрощении представлялась в самых радужных красках. Так прошло месяца три. Начались осенние дожди, и наш N потонул совсем в непролазной грязи, но все-таки осенью город несравненно лучше самой красивой деревни. Я с нетерпением поджидал появления Сарафанова, но он точно в воду канул. Перебирая всевозможные догадки относительно причин его исчезновения, я просто не знал, что думать о нем.

Проходил уже и сентябрь В воздухе изредка появлялись «белые комары», то есть снежинки. Добрые люди начинали думать о теплых шубах, двойных рамах, дровах и дружбе. Известно, что холод заставляет собираться в

одну стаю даже и волков. Раз, сижу за самоваром и пробегаю большую столичную газету, как вдруг слышу в передней осторожное покашливание... Я даже вздрогнул: это был Сарафанов. Да, это был он...

— Здравствуйте!..

— Очень рад. Не хотите ли чаю?

— Даже с большим удовольствием.

Сарафанов осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел на стул. Мне показалось, что во всей его фигуре было что-то особенное, а маленькие глазки смотрели уныло и покорно. «Уж не схватил ли он куш?» — мелькнуло у меня в голове, но начать разговор прямо с этого было, конечно, неловко.

— Что вас давно не видать, Павел Иваныч?

— Как вам сказать...

— Да вы давно ли сюда-то приехали?

Павел Иваныч поднял брови и сказал:

— Я-с... я уж больше двух недель здесь.

— Что же вы ко мне-то не зашли? Были нездоровы?

— Нет, ничего...

— Да говорите толком, пожалуйста: ну, что вас задержало?

— Я... я, видите ли, сидел в заключении.

Если бы раздался удар грома, — и то не удивило бы меня в такой степени, как последние слова Сарафанова. Я даже не знал, о чем его спрашивать.

— Да-с, высидел две недельки... Наивно вам говорю!

— Да как вы туда попали?

— Привезли-с... Под конвоем привезли и подвергли заключению.

— А где же у вас лошадь? консервы? лягашик?

Сарафанов только махнул рукой и многозначительно улыбнулся, как это делают драматические актеры.

— Нужно вам рассказать это дело с самого начала, — заговорил он, вытирая лицо платком. — Ах да, была где-то вам записочка...

Сарафанов начал рыться в своих карманах и показал молча вырванную подкладку своего сюртука. Я ничего не понимал.

— Вам Тонечка посылала со мной писулечку, и Никандра Михеич... они, того, в законе-с... Да, благодарение создателю!..

— Этого можно было ожидать.

— По нынешним-то временам?!. — При последних словах Сарафанов сделал такой жест, как будто кого-нибудь отталкивал от себя обеими руками. — Что вы!!. Что вы!!. Да нынче... Последние времена и хаос! Нынче не то что неопытную, невинную девушку, этакой бутончик вроде Тонечки, обмануть — это что: можно сказать, людей закаленных истязают и подвергают муке... Чистая грация!.. Неблагодарность и зверство!..

От волнения Сарафанов несколько времени не мог говорить. Мне было жаль старика.

— Я уж сначала вам расскажу, — заговорил он после небольшой паузы. — Помните, как я уехал тогда в Кулумбаевку с Рассказом? Хорошо. Приезжаем, а там уж все на ногах, и посредника ждут с часу на час. Хорошо. Поговорил я кое с кем; Урмугуз, Урукайка и другие — все в ногах валяются. «Павел Иваныч, заставь вечно бога молить и не оставь нас, дураков. Посредник едет, он нас замежует». «Хорошо, говорю, ребята, только, чур, делать по-моему. Согласны?» «Согласны, согласны...» Хорошо. «Первое дело, говорю, не подписывайте у посредника никакой бумаги». Ну, это я так, для

острастки, потому они всякой бумаги боятся хуже черта, потому обучены, значит. «Второе, говорю, если он вас будет приводить в соглашение или склонять на мировую сделку, скажите, что „подумаем“. А там мы все разжуем и дадим ответ». Все согласны. Отлично. Приезжает посредник. И что же бы вы думали? Дворянин, получил высшее образование, человек с грацией вполне — и вдруг начинает склонять кулумбаевцев на мировую сделку с Локтевскими заводами… Да разве это честно? Он должен, как посредник, беспристрастно отнестись к делу и даже защитить башкир, потому темнота, хаос… Башкиры на дыбы, шум, гвалт, столарня!..

Сарафанов не мог больше сидеть и забегал по комнате.

— Так башкиры и не пошли на мировую, хоть ты что хошь. А посредник живет, и я живу. Думаю, какую еще он мину будет подводить. И действительно, подвел… Собрал сход и на сходе предлагает кулумбаевцам объявить ирнабаевцев припущенниками[57]. Башкиры-вотчинники имеют надел в тридцать десятин на душу, а припущенники всего

пятнадцать. Вот посредник и говорит кулумбаевцам: «Объявите ирнабаевцев припущенниками, значит, с каждой души отойдет по пятнадцать десятин, мы из них выделим две тысячи десятин заводам, а остальная земля достанется вам». Понимаете? А на сходе целых пять волостей, — тут можно и крупы и муки намолоть. Посредник сейчас вытащил лист: «Подписывайтесь!» Ни одна живая душа не подошла... Хе-хе... Как бараны, так и пятятся, даром что азияты. Только посредник и этим не унялся, а вечером пошел по избам и давай стращать, что если-де не подпишут листа, то всех в остроге сгноят и землю отымут. Башкиры осатанели и сейчас ко мне. Я говорю им: «Врет посредник, ничего вам не будет, — закона такого нет, чтобы силой заставить подписывать мировую сделку». Ведь правильно я рассуждал?.. Хорошо. А посреднику уж донесли, что башкиры бегают ко мне. Он послал за мной. Прихожу. «Вы кто такой? Поверенный от башкир Кулумбаевской волости... Ага, мы с вами еще увидимся. До свидания!..» Уехал. Я пожил денька два и тоже поехал. Думаю про себя, нужно еще с от-

цом Михеем посоветоваться.

— Ну что, отец Михей здоров?

— Ничего, кланяется... Заложил Рассказ мою лошадку, — помните, киргиз, на левой лопатке тавро, одно ухо короткое; выехали мы этак к вечерку, чтобы по холодку-то доехать до иртяшского болота и взять там утро. Ружье у меня было с собой, лягашик тоже, коробки, припай, сало, — ну весь снаряд, как следует. Приехали, разбили стан, закусили, легли вздремнуть. Лошадь стреноженная ходит в двух шагах, лягашик под телегой спит. Лежу это я, и такой сон меня одолел, такой сон, что вот словно кто железной доской придавил: не могу пошевелить ни рукой, ни ногой... А тут сквозь сон и слышу, что лягашик как залает. Я вскочил, бросился к лошади, а там Рассказ ухватился за какого-то человека, да так по траве мешком и тащится. Я тоже сгребся за него, а он, извините меня, весь голый и притом салом намазан. Ведь вырвался... Так лошадь и угнали, а лягашик мой лежит кверху ножками, и мордочка вся в крови. Вы думаете, кто это угнал лошадь? Башкиры... кулумбаевские башкиры... Я за них по-

ехал в город хлопотать, а они у меня лошадь украли. Это уж у них такая воровская замашка: вымажется салом, подползет, — только и видел. Ведь я его в руках держал, — нет, выкрутился, как живой налим.

— Что же вы и Рассказ стали делать?

— Что стали делать... — в раздумье повторял мои слова Сарафанов, проводя рукой по лбу, точно смахивая что-то, мешавшее ему припомнить обстоятельства дела. — Мы пешком пошли в Кулумбаевку и прямо к Урмугузу. Я вошел в избу, он дома. Рассказал ему, что так и так, — удивляется, азият, и чуть не плачет от жалости. А я знаю ихнюю натуру и попросил Рассказа пошарить по двору. Урмугуз начал и угощать меня маханиной, это значит, жареной кобылятиной, — мне это просто к сердцу пришло: думаю, да что это я дурака-то с азиятами разыгрываю, ведь на мне крест. Только это я собираюсь обругать Урмугуза за его угощение поганое, Рассказ шасть в избу и тащит за собой кожу с моего киргиза. Еще свеженькая... Ах, аспиды! Урмугуз угнал мою лошадь, заколол да ее же мясом меня и угощает! Как это вам понравится? У них уж обы-

чай такой: украдет у соседа лошадь, да ей же и угощает. Даже не сердятся... Ну, народец! Поругался я, поругался да с тем и уехал в Шатрово.

Мне было жаль Сарафанова, но эта история с «рысачком» заставила меня хохотать до слез. Сарафанов и сам хохотал вместе со мной.

— Ведь чистый хаос вышел, — говорил он, вытирая слезы. — Чего с них, азиятов, возьмешь? У меня собака лучше живет, чем они. Наивно вам говорю... Натрескаются своего кумысу да маханины и спят всей деревней. Хоть трава не расти! А уж если украсть, — кожу с живого сдерут да тебе же ее продадут.

— Ну, а дальше?

— Дальше-то... Приезжаю это я в Шатрово, отец Михей чуть на руках не ходит: «Нигилист женится...» — «Да на ком?» — говорю. «Ах, говорит, какой ты непонятный человек: на Тонечке». Ну, я даже перекрестился, потому что, помните, какие слова Никандр Михеич выговорил касательно Анки.

— А что Шептун?

— Шепчет да Анку ругает. Ведь умный ста-

ричонко, а вот, поди ты, какую слабость в себе имеет. Да-с. Так вот-с мы этаким манером, честным пирком да и за свадебку. Отец Михей и меня не пустил. «Кожу, говорит, с тебя сниму, как башкиры с твоего киргиза... Освежую!» Большие шутники отец Михей. Ну, горе-то у меня свое, да и обидеть не хотелось — я и прохлаждаюсь на свадьбе. А нужно вам сказать, что Никандр Михеич очень грациозно сделали: «Никакого мне, говорит, вашего приданого, ни денег за женой, чтобы ни боже мой...» А капитану это и на руку: в одной юбочке отпустил Тонечку-то. Это дочь-то родную, да еще какую дочь: и умненькая-то, и хорошенькая-то, и добренькая... Сюперфлю!.. Никандр-то Михеич хотел было и свадьбу сыграть по-нонешнему: обвенчаться между первым и вторым стаканом чаю, да не тут-то было, — отец Михей и думать не велел. Ну, хороводимся этаким манером на девишниках да на столованье, а тут мировой посредник со становым да с урядником — шасть на свадьбу. Отец Михей радехонек: ему бы только человеческое обличье было да пить мог — вот и дорогой гость. Я сижу этак в уголке, а

посредник, как увидал меня, сейчас становому: «Шу-шу-шу...» А я опять сижу да еще этак про себя думаю: «Видно, мол, солоно я тебе пришелся». Наивно вам говорю: сижу это и думаю... Потом, знаете, при всей честной компании взяли меня, раба божия, под ручки, — прямо меня в повозку. Отец Михей и капитан заступились было за меня: куда тебе — и приступу нет! Ну, думаю, пришло мое доконча-ние; а все-таки я прав и готов пострадать. Ничего не дали даже захватить с собой, так и волокут в город. По деревне едешь — даже совестно, все пальцем указывают... Наивно вам говорю! И сижу я таким манером за решеткой и слушаю себе всякое поношение. Кто говорит, что поджигателя поймали, кто нигилиста... Всякий, значит, свое мелет. А я жду только одного, скоро ли меня к прокурору... И что бы думали: отсидел я две недели, потом ведут меня к полицмейстеру... Читал, читал он мне, а потом этак пальцем погрозил и говорит: «Ты у меня смотри, художник... Я тебе пропишу таких дупелей, что позабудешь дорогу к своей избушке, не то что к башкирам!» Ну-с, вышел я... Значит, опять вольная птица.

Дождичек этак моросит, где-то к обедням перезванивают, люди бегут по своим делам… И так мне это тошно стало, так тошно. Думаю, хоть бы умереть. Вот к вам и пришел…

— А консервы ваши где?

— Казачки скушали… Грация!

В горах
Очерк из уральской жизни {5}

I

...Мне пришлось сделать еще шагов двести, как до моего слуха явственно донеслись сдержанное, глухое ворчание и отрывистый, нерешительный лай; еще сто шагов — и лес точно расступился передо мною, открывая узкий и глубокий лог. На правой стороне его виднелся яркий огонь, который освещал небольшой палаустный[58] балаган, приткнувшийся к самой опушке леса; группа каких-то людей смотрела в мою сторону. Из высокой травы показалась острая морда лохматой собачонки; она лаяла на меня с тем особенным собачьим азартом, который проявляется у собак только в лесу. Не было сомнения, что я попал на стоянку каких-нибудь «старателей»[59], заведенных в эту глушь жаждой легкой наживы и слепой верой в какое-то никому не известное счастье.

— Кто там, крещеный? — сердито оклик-

нул меня мужской голос, когда между мной и балаганом оставалось всего шагов тридцать.

— Охотник... Сбился с дороги. Пустите переночевать, — отозвался я, защищаясь от нападавшей на меня собаки прикладом ружья.

— Какая ночью охота... — проворчал тот же мужской голос. — Тут, по лесу-то, много бродит вашего брата...

Сердитый бас, вероятно, прибавил бы еще что-нибудь не особенно лестное на мой счет, но его перебил мягкий женский голос, который с укором и певуче проговорил:

— Штой-то, Савва Евстигнеич, пристал ты... Разе не видишь — человек заплутался? Не гнать же его, на ночь глядя. Куфта, Куфта, цыц, проклятая! Милости просим... Садись к огню-то, так гость будешь!

Я подошел к самому огню, впереди которого стоял приземистый, широкоплечий старик в красной кумачной рубахе; серый чекмень свесился у него с одного плеча. Старик был без шапки; его большая седая борода резко выделялась на красном фоне рубахи. Прищурив один глаз, он зорко осматривал меня с ног до головы. Лохматая, длинная Куфта, не

переставая рычать на меня, подошла к женщине, которая сидела у огня на обрубке дерева, покорно положила голову к ней на колени. Лица сидевшей женщины невозможно было рассмотреть, — оно было совсем закрыто сильно надвинутым на глаза платком.

— Здравствуйте! — проговорил я, вступая в полосу яркого света, падавшую от костра. — Пустите переночевать, — сбился с дороги...

— Мир, дорогой! — певуче ответила женщина, стараясь удержать одною рукой глухо ворчавшую на меня собаку. — Ишь ты, как напугал нас. Да перестань, Куфта!.. Мы думали, лесной бродит... Цыц, Куфта!.. Садись, так гость будешь...

Я хотел подойти к балагану, чтобы прислонить к нему ружье, и только теперь заметил небольшого, толстенького человечка, одетого в длиннополый кафтан и лежавшего на земле прямо животом; подперши коротенькими, пухлыми ручками большую круглую голову, этот человечек внимательно смотрел на меня. Я невольно остановился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах этого круглого и румяного лица, едва тронутого жиденькой чернова-

«В ГОРАХ» (стр. 287)

тою бородкой.

— Да это ты, Калин Калиныч? — нерешительно проговорил я наконец.

— А то как же-с?.. Я-с самый и есть, — растерянно и вместе радостно забормотал Калин Калиныч, вскакивая с земли и крепко сжимая мою руку своими маленькими, пухлыми ручками. — Да, я самый и есть-с...

— Да ты как попал сюда, Калин Калиныч?

— Я-с? Я-с... я-с... вот с Василисой Мироновной, — забормотал Калин Калиныч, почтительно указывая движением всего своего тела на сидевшую у огня женщину. — А вы на охоте изволили заблудиться?.. Место, оно точно, глуховато здесь и лесная обширность притом... Очень пространственно!

Калин Калиныч смиренно заморгал узкими глазками, улыбнулся какой-то виноватой, растерянной улыбкой и опустился опять на землю, пробормотав: «Да, здесь очень пространственно!»

— Я вам не помешаю? — спросил я, обращаясь ко всем.

— Известно, не помешаешь... Куда тебя деть-то, на ночь глядя, — отвечала Василиса

Мироновна, не двигаясь с места. — Только ты, смотри, не заводи здесь табашного духу... Место здесь не такое. А ты чьих будешь?

Я назвал свою фамилию. Раскольница, Василиса Мироновна, известная всему Среднему Уралу, как раскольничий поп, посмотрела еще раз на меня и заговорила уже совсем ласково:

— Знаю, знаю! Слыхала... А в лесу-то как заплутался?

Я присел к огню и в коротких словах рассказал свою историю, то есть как я рано утром вышел на охоту с рудника Момынихи, хотел вернуться туда обратно к вечеру, а вместо того попал сюда.

— Одначе здоровый крюк сделал! — проговорила Василиса Мироновна, обращаясь к старику.

— Ему бы надо было обогнуть Черный Лог, а потом Писаный Камень... Тут ложок такой есть, так по нему до Момынихи рукой подать, — отвечал старик.

— А отсюда до Момынихи сколько верст будет? — спросил я старика.

— Да как тебе сказать, чтобы не соврать...

Вишь, кто их, версты-то, в лесу будет считать, а по-моему, в двадцать верстов, пожалуй, и не укладешь.

— А как этот лог называется, где вы стараетесь?

— Да кто его знает, как он называется... — с видимой неохотой отвечал старик. — По логу-то, видишь, бежит речушка Балагуриха, так по ней, пожалуй, и зови его...

— А ты, поди, есть хочешь, сердешный? — ласково спросила Василиса Мироновна и, не дожидаясь моего ответа, подала мне большой ломоть ржаного хлеба и пучок луку. — На-ка, вот, закуси, а то натощак спать плохо будешь... Не взыщи на угощеньи, — наше дело тоже странное[60]: что было, все приели, а теперь один хлебушко остался. Вон Калин говорит: к чаю привык, так ему сухой-то хлеб и не глянется.

— Ах, уж можно сказать-с: слово скажут-с, как ножом обрежут! — умильно говорил Калин, крутя головой и закрывая глаза.

Охотники знают, как иногда бывает вкусен кусок черного хлеба; я с величайшим удовольствием съел ломоть, предложенный мне

Василисой Мироновной, и запил его кислым квасом из бурачка Калина Калиныча. Когда я принялся благодарить за этот ужин, раскольница опустила глаза и скромно сказала:

— Не обессудь, родимый. Чем богаты, тем и рады, — не взыщи с нас. — Помолчав немного, она прибавила: — Ты, поди, совсем смотался со своей охотой: ступай в балаган, там уснешь с Гришуткой... Мальчик тут есть с нами, так он в балагане спит. Калин любит в балагане-то спать, — ну, да сегодня с нами уснет у огонька, а твое дело непривычное...

Мне было совестно отнимать место у Калина Калиныча, но пришлось помириться с этим, потому что Василиса Мироновна и слышать не хотела никаких отказов, а Калин Калиныч отворачивал от меня голову, корчил какую-то гримасу и делал руками такой жест, как будто отгонял от себя мух. Сон валил меня с ног, глаза давно слипались, и искушение было слишком сильно, чтобы продолжать отказываться дальше, — я согласился.

II

Простившись с новыми знакомыми, я отправился в балаган, где спал под овчинным тулупом Гришутка, мальчик лет тринадцати. Против Гришутки, у самой стены балагана, была устроена из травы постель Калина Калиныча. Я расположился на ней и протянул уставшие ноги с таким удовольствием, что, кажется, не променял бы своего уголка ни на какие блага в мире. Я надеялся уснуть мертвым сном, как только дотронусь до постели, но ошибся в своем расчете, потому что слишком устал, и сон, по меткому выражению русского человека, был переломлен. От нечего делать принялся я рассматривать балаган, в котором лежал. Сначала было трудно разглядеть что-нибудь, но мало-помалу глаз привык к темноте. Прежде всего выделились стены и крыша балагана; они были сделаны из свежей еловой коры, настланной на перекрещенные между собою жерди. Вверху жерди соединялись перекладинами. В одном месте концы жердей разошлись и образовали небольшой просвет: виднелся клочок синего

неба с плывшей по нему звездочкой. В балагане от свежей еловой коры стоял острый смолистый запах. Извне ползла в балаган свежая струя ночного воздуха, пропитанная запахом травы и лесных цветов. Около балагана, в густой, покрытой росой траве, копошились какие-то насекомые, звонко трещал где-то кузнечик; со стороны леса время от времени доносился смутный и неясный шорох. Где-то далеко ходила спутанная лошадь; слышно было, как тяжело она прыгала и звонко била землю передними ногами.

В воздухе стояла торжественная тишина, и эти отрывистые и разрозненные звуки ночи не могли нарушать ее, точно они тонули в ней, как в воде. Из моего уголка была отлично видна вся площадка перед балаганом. Калин Калиныч лежал по-прежнему на земле, время от времени поворачивая к огню то один бок, то другой. Рядом с ним сидел старик; он поправлял горевшие дрова и прибавлял новых. Когда старик бросал в огонь несколько полен сразу, целый сноп искр взлетал кверху и обсыпал сидевших огненным дождем, причем Калин Калиныч закрывал лицо руками и

улыбался, Одна Василиса Мироновна оставалась неподвижной, продолжая сидеть на обрубке дерева. Огонь отлично освещал всю ее фигуру и лицо, и я мог из своего уголка рассматривать знаменитую раскольницу, сколько хотел.

Ей было лет за сорок. Это была высокая, коренастая женщина, смуглая и немного худощавая, но с могучею грудью и сильными руками. Лицо у ней было большое, с крупными, неправильными чертами, с большим, широким носом и толстыми губами, открывавшими два ряда ослепительно белых зубов. Всего лучше в этом лице были карие светлые глаза; они настойчиво и пытливо смотрели своим ласковым взглядом насквозь и придавали лицу какое-то особенное выражение самоуверенного спокойствия. Одета Василиса Мироновна была в синий кубовый сарафан с желтыми проймами и ситцевую розовую рубашку; на голове повязан по-раскольничьи темно-коричневый платок, сильно надвинутый на глаза и двумя концами спускавшийся по спине.

Наружность Калина Калиныча была совер-

шенно противоположного характера: низенький, толстый, немного сутуловатый, с короткой шеей, короткими ножками и непропорционально длинным туловищем, он точно был составлен из нескольких человек: у одного взяли руки, у другого — ноги, у третьего — туловище. Только голова у Калина Калиныча была своя собственная, потому что ни у кого другого такой головы и быть не могло: она была совершенно круглая, круглая, как шар, толстая и жирная, с подстриженными в скобу и сильно намазанными деревянным маслом волосами. Пара узеньких черных глазок смотрела из-под густых бровей с боязливо-напряженным, детски-вопросительным выражением. Ходил Калин Калиныч на своих кривых, маленьких ножках развалистым, бесхарактерным шагом, как закормленный селезень, имел странную способность постоянно потеть и постоянно утирал лицо бумажным платком, на котором было нарисовано сражение. Только когда Калин Калиныч улыбался, его лицо точно светлело каким-то внутренним светом.

— Говорят, к нам на Старый завод нового

станового пришлют, — говорил старик, глядя на огонь.

— Врут! — резко ответила Василиса Мироновна. — Все врут. Теперь, почитай, третий год пошел, как говорят про нового станового, и все зря болтает народ. Да хоть и нового пришлют, так не легче: к новому еще привыкать надо, да приедет он голоден и холоден; пока набьет карман, не знаешь, с которой стороны к нему и подойти... А старый уж насосался, — ему и шевелиться-то теперь лень...

— А больно он смешон попервоначалу-то был, — улыбаясь, говорил старик.

— Кто это?

— Ну, Пальцев-то. Я тогда на Пристани жил, и пали до нас слухи, что новый становой назначен, а тут, как на грех, у нас на Пристани человека порешили... Оно, пожалуй, и не человека, а бабу-солдатку, — ну, да начальство не разбирает, и сейчас к нам станового. Приехал... Так и так, понятых, следствие, всякое прочее. Тогда на следствии баба одна, Анисьей звали, заперлась — и шабаш: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — а сама все знала. И мы это знали и ждем, как Пальцев примет

ее. Дело было в волости. Пальцев сидит за столом, по сторонам — казаки, сотские, все, как следовает. Привели Анисью... «Ну, ангел мой, — говорит Пальцев, — говори все, что знаешь по этому делу». Бабенка со страху заперлась во всем, конечно. Бился, бился с ней Пальцев, а потом и говорит: «Побеседуйте-ко с ней», — это он казакам своим, — ну те, известное дело, охулки на руку не положат, увели Анисью и всыпали ей, сколько влезет. Привели, ревет, а все запирается. «Нет, ангел мой, — говорит Пальцев, а сам смеется, — тебя, видно, посеребрить надо!» Мигнул казакам, — ну, те и посеребрили, всю спину спустили нагайками. Все рассказала баба-то после этого, а Пальцев опять смеется: «Давно бы так, говорит... А только ты, говорит, помни мое серебро и благодари бога, что не велел позолотить...»

— Пальцев крут, а сердце у него отходчивое, — говорила Василиса Мироновна.

— Да, как на него взглянется: один раз посмеется только, а другой — так посеребрит, что небо с овчинку покажется... Раз на раз не приходит... Зимой как-то я его вез на Старый

завод (я тогда ямщину гонял), а он кричит: «Пошел, ангел мой!» Ну, коли, думаю, пошел, так уважу я тебя, а ехали мы на тройке, которую завсегда под станового ставил, — звери, а не лошади. Вышло под гору ехать, слышу, кричит Пальцев и в шею меня толкает... Пустил я коней, дух инда захватило, а когда оглянулся — Пальцева в кошевой как не бывало; его в нырке тряхнуло да прямо в сторону, в снег. Вижу, он там по снегу валандается, воротился, посадил опять в кошевую и думаю: «Быть, мол, мне у праздника: приедем на завод, так посеребрит...» Приехали, подкатил его к крыльцу, а сам сижу ни жив ни мертв. «Погоди, — говорит Пальцев, — мне с тобой, говорит, рассчитаться надо». Ну, думаю, пришел мой конец, — знаю, мол, какой у тебя расчет бывает. Сижу этак на облучке, пригорюнился, а Пальцев выходит на крыльцо и стакан водки из своих рук мне выносит. Чудной барин!.. «Я, говорит, вас всех насквозь вижу: ты, говорит, еще не подумал, а уж я, ангел мой, вперед знаю, что ты меня надуть хочешь».

Все немного помолчали. Старик подбросил

в огонь дров и заговорил с кроткой улыбкой:

— Тут, в позапрошлом году, возил я в Махнево мирового... Вот где страсти набрался: думал, он меня совсем порешит...

— Это Федя-то Заверткин?

— Он самый. Был он у нас на Старом заводе в гостях у приказчика. Спросили лошадей, работники все в разгоне, — пришлось мне ехать самому. Подаю лошадей, а он и выйти сам не может, потому грузен свыше меры. Так его на руках и вынесли и свалили в кошевую. Поехали. Свернулся он калачиком на донышке и лежит. Ну, думаю, только привел бы господь живого до дому довезти, а от него винищем так и разит, точно с сороковой бочкой еду. Проехали этак верстов с десять, он и проснись... «Стой! — кричит. — Где едем?» — «Так и так, ваше благородие...» — «Ах ты, говорит, такой-сякой, да разе я, говорит, туда тебе велел ехать?» — «Никуда, говорю, вы мне не приказывали ехать, ваше благородие...» — «Так ты, говорит, со мной еще разговариваешь?» — а сам как запалит меня в загривок. У меня так и заскребло на сердце, — обидел он меня, — так бы вот его взял да перекусил по-

полам... А он догадался, вынял леворвет и говорит: «Вот где твоя смерть сидит, только пошевелись!..» Вот, думаю, какой мудреный барин попал, а сам говорю: «Зачем, говорю, ваше благородие, меня обидели?» — «Поворачивай назад в Махнево!» — кричит Заверткин. Нечего делать, повернул, а то, думаю, пристрелит с пьяных-то глаз, Приехали мы на завод, он прямо к одной солдатке — так, совсем бросовая бабенка, — посадил ее с собой в кошевую и цепь на себя надел, да с песнями по всему заводу и покатили... А что дорогой было, так, кажется, и пером этого не описать! Что этого вина выпили — страсть!.. Этак, на половине дороги, как мировой выскочит из кошевой — да плясать, да вприсядку, только цепь трясется. И мировой пляшет, и солдатка пляшет, а мне и смешно, и смеяться боюсь... Потом сел мировой в кошевую и давай солдатку поправлять с одной щеки на другую... И этого показалось мало: взял ее ногами в передок затолкал, так она, сердешная, там до самого заводу и пролежала... Ведь он у меня в те поры порешил тройку-то, — прибавил рассказчик.

— Как порешил?

— Загнал всех лошадей начисто.

— Заплатил?

— Какое заплатил! Я же две недели отсидел в темной... И с ямщины согнал.

— Этакой пес! — ворчала Василиса Мироновна. — Хуже станового будет...

— В тыщу раз хуже: становой што? Становой — человек все-таки с рассуждением, а это просто разбойник, — того гляди, убьет... Становой обнакновенно возьмет свое и острастку задаст, а таких безобразиев я не видывал.

— Оно точно, что Федор Иваныч большие безобразники, — вставил свое слово Калин Калиныч, хранивший все время молчание. — Как-то намеднись у старшины в гостях были, так они чуть мне вилкой глаз не выткнули... Ей-богу-с! И беспременно бы выткнули, если б я не исполнил все по-ихнему: налили мне полрюмки водки, наклали туда горчицы, перцу, карасину налили, — ведь выпил-с!

— Кто выпил?

— Да я выпил-с, — с невозмутимой улыбкой отвечал Калин Калиныч. — И после этого ничего худого со мной не было, только очин-

но вспотел-с... Так уж господь-батюшка пронес меня за родительские молитвы...

— Ишь ведь, гнус какой завелся! — сердито ворчала Василиса Мироновна.

— А вы это напрасно, Василиса Мироновна, — вступился Калин Калиныч. — Ей-богу-с, напрасно... Федор Иваныч точно что большие озорники и любят удивить, а душа у них добрая... Ей-богу, так-с!..

— Ах, Калин, Калин, — качая головой, строго говорила раскольница, — дожил ты до седого волоса, а все у тебя нет разума... Разе есть душа у пса?

— А вот и скажу, и всегда скажу! — с азартом протестовал Калин Калиныч. — Теперь возьмите хоть Аристарха Прохорыча: человек богатеющий, а нынче меня в воду с плота столкнул, так я совсем было захлебнулся, да спасибо кучер ихний меня вытащил... И ведь я бы не обиделся, как бы это делалось не с сердцов. Это он, Аристарх-то Прохорыч, с сердцов все делают, а Федор Иваныч — другое: он — от души, для смеху. Они и стул выдернут, и карасином напоят, и подколенника дадут, а я не обижаюсь... Ей-богу, не обижа-

юсь! Мне что? Лишь бы я кого не обидел, а там — бог с ними.

Василиса Мироновна молчала, а потом, повернув свое строгое лицо к Калину Калинычу, резко проговорила:

— Ну, а дочь у тебя где, Калин?

— Дочь?.. Дочь на месте... Учительшей служит, — не без робости проговорил Калин Калиныч, а потом неожиданно для всех прибавил: — А ведь я ее проклял-с... Ей-богу, проклял-с! Да ведь еще как: в самый прощеный день на масленой проклял-с... Стал пред образом и говорю: «Будь ты, Евмения, от меня проклята... Я тебе больше не отец, ты мне — не дочь!»

Василиса Мироновна только покачала головой, и старик тяжело вздохнул.

— А ведь она меня обидела как, — продолжал Калин Калиныч, садясь на землю и складывая ножки калачиком. — Сели мы в прощеный день обедать, она и давай меня донимать... «Ты, говорит, тятенька, хлеб только даром ешь». Ей-богу-с!.. «Какой в тебе, говорит, толк? Вон, говорит, у нас корова-пестрянка, так она хоть молоко дает; я, — про себя гово-

рит, — жалованье из школы получаю, а ты, говорит, все равно, как сальный огарок: бросить жаль, а зажечь нечего». Как она мне это самое слово сказала, уж мне очень обидно это показалось, потому все-таки я ей родной отец, и она мне прямо в глаза такие слова выговаривает... Слезы у меня на глазах, а она надо мной же хохочет. «Какой, говорит, ты мне отец? Ты бы мне хоть рост настоящий дал, так я бы, говорит, в актрисы пошла... Всякий урод, говорит, женится, наплодит уродов, — это она меня и себя уродами-то крестит, — а потом, говорит, и живи, как знаешь». А я ей и говорю: «Это, мол, Венушка, не от нас — и рост и детки, — от бога, мол, все это, а на бога приходить[61] грешно!» Она посмотрела этак на меня да как захохочет... Ну, я ее и проклял, а она все хохочет. Уж в кого она такая уродилась, и ума не приложу, — во всей нашей пароде не было таких карахтеров.

— Нехорошо это, больно нехорошо, — говорила Василиса Мироновна, строго глядя на Калина Калиныча.

— И сам знаю, что нехорошо, да уж сердце у меня такое... Не могу удержаться, — точно

там порвется! Ей-богу-с, себе не рад другой раз. Только оно у меня отходчиво, и даже совестно бывает после.

— А с дочерью-то помирился? — спрашивала раскольница.

— Помирился и проклятие снял-с... У Венушки сердце тоже доброе, — она вся в меня сердцем-то; только уж карахтер у ней — и в прероде нашей никого не было таких!..

Старик только покрутил головой и с каким-то отчаянием махнул рукой.

Все замолчали. Огонь горел яркими косматыми языками, жадно лизавшими холодный воздух; темная струя дыма столбом уходила вверх, откуда изредка падала одинокая светлая искорка и скоро потухла в покрытой росой траве. Василиса Мироновна сосредоточенно смотрела в огонь; старик дремал, завернувшись в чекмень; Калин Калиныч подкладывал в огонь дрова, но, очевидно, это было для него непривычным делом, потому что он несколько раз обжег себе руки, и искры фонтаном сыпались на него каждый раз, когда дрова падали в костер.

— А что Аристарх Прохорыч? — спрашива-

ла раскольница, когда Калин Калиныч, как собачка, свернулся калачиком у огонька.

Калин Калиныч энергично махнул рукой и заговорил:

— У них, можно сказать, дрянь дело, потому теперь пошло оно в суд, а Евдоким Игнатьич говорят, что двадцать тысяч не пожалеют, только бы сделать неприятность Аристарху Прохорычу... Адвокатов наняли, свидетелей человек сорок вызвали. Беда!..

— И ты в свидетелях?

— И меня запутали, грех их бей!..

— Чего же ты показывать будешь?

— А так и скажу, что знать ничего не знаю, и кончено! Ведь я тогда точно что ездил с Аристархом Прохорычем в Москву, а все-таки про их дела ничего не могу сказать-с. Адвокат-то Аристарха Прохорыча намеднись приезжал ко мне, пытал меня, да с тем и уехал, с чем приехал.

— А ты слышал, что Евдоким-то Игнатьич твою дочь в свидетельницы выставил?

— Нет-с... Только этого не может быть, потому Венушка хоть и бывала у Аристарха Прохорыча, а ихних делов не знает.

Калин Калиныч, видимо, смутился, но потом успокоился, и прибавил:

— Это все их адвокат мутит...

— Адвокат адвокатом, только ихнее дело нечистое.

— А кто же, по-вашему, виноват?

— А по-моему — оба виноваты... Вор у вора дубинку украл, вот и завели суд. Это два слепца, которых привязали к одной жерди... Понял?

III

Я с любопытством прислушивался к этим отрывочным разговорам, которые вертелись все на знакомых лицах: и становой Пальцев, и мировой судья Федя Заверткин, и Аристарх Прохорыч Гвоздев, бывший сначала сидельцем в «заведении», то есть в кабаке, потом сделавшийся купеческим приказчиком, затем золотопромышленником и, наконец, винным заводчиком, — все это давно знакомые лица, хорошо известные на Урале, по крайней мере в округе Старого завода. Рассказы о подвигах этих героев могли бы составить целую Одиссею, но меня лично интересовали

не эти рассказы, а Василиса Мироновна и Калин Калиныч сами по себе, потому что трудно было бы подыскать других двух людей, более противоположных и по наружности, и по характеру, и по уму. Первую я хорошо знал по слухам, а со вторым познакомился совершенно случайно в доме того самого Аристарха Прохорыча, который чуть не утопил Калина Калиныча. Гвоздев любил задавать семейные вечера и маленькие закуски, которые обыкновенно заканчивались трехдневным пьянством и теми безобразиями, на какие только способен загулявший российский тысячник. Случайно мне пришлось быть свидетелем одной такой закуски, на которой собрались по какому-то делу в доме Гвоздева человек пять — шесть. «Дела» в Старом заводе без водки не делаются, а где водка, там, конечно, присутствуют и Пальцев, и Заверткин, и остальная братия, одержимая бесом вечной жажды. Калин Калиныч тоже был в числе гостей, и его присутствие послужило неистощимым источником самых остроумных шуток и забавных сцен. Сначала его поили всякой дрянью. Старик пробовал отказываться, но это

было совершенно напрасно, — приходилось покоряться своей участи, то есть пить, потеть, утираться неизменным бумажным платком и улыбаться. Когда половина гостей уехала, а другая изъявила непременное желание провести ночь в доме радушного хозяина, Калин Калиныч долго стоял с картузом в руке, не решаясь уйти.

— Да ты-то чего мнешься? Оставайся! — говорил Аристарх Прохорыч, отнимая картуз у Калина Калиныча.

— Я-с... я-с с моим удовольствием, — лепетал старик, — только мне нужно домой-с... Дело есть, как же-с!

— Э, пустяки... Какие ночью дела?! Ты вот оставайся лучше. Куда собрался? Домой? А дома чего не видал? Ведь жена знает, где ты...

— Это точно-с, только-с оно неловко-с.

— Чего же тут неловко? Кажется, люди все порядочные, компания приличная, а ты брезгуешь.

— Нет-с, зачем же-с... Я только насчет того, что я человек все-таки семейный-с...

— Да что с ним говорить попусту, — вступился Заверткин. — Ты, Калин, говори уж

прямо, что твоя Матрена Савишна в подполье тебя посадит, если опоздаешь.

Все засмеялись. Смеялся Пальцев, смеялся земский доктор, смеялся директор старозаводского технического училища, смеялись два управителя. Этот смех задел Калина Калиныча за живое, и он остался.

— А что же-с, я и останусь, — говорил он, потирая маленькие ручки. — Матрена Савишна, оно точно, будут сердиться, а я скажу: в гостях воля хозяйская... Хе-хе-хе!..

— Молодец, Калин Калиныч! — орали пьяные голоса. — Браво, Калин Калиныч! Будь же мужчиной, голубчик, а то ты совсем обабился.

Через час вся компания расположилась спать в той же комнате, где происходила «закуска». Калину Калинычу было отведено место где-то под столом; он уже разделся и готовился снимать сапоги.

— А ведь, Калин Калиныч, если рассудить это дело, так ты не совсем хорошо это делаешь, что остаешься спать здесь, — заговорил Пальцев. — Ты, ангел мой, не холостой человек, а оставляешь дома жену одну. Она, ангел

мой, будет о тебе думать, что ты бог знает куда забрался. Нехорошо, ангел мой!

Это было сигналом, и все разом начали уговаривать Калина Калиныча идти домой. Старик сначала недоверчиво смотрит на всех, но потом начинает быстро одеваться. Когда совсем одетый Калин Калиныч хочет прощаться, Гвоздев загораживает ему дорогу и говорит:

— Ну вот, какой ты бесхарактерный человек!.. Тебе сказали, что нехорошо в чужих людях спать, ты и поверил. Да ведь ты сказал, — значит, нужно оставаться. Вот у Федора Иваныча тоже есть жена, и у других, да ведь не бегут от хорошей компании. Ты просто срамишь меня.

Эта забавная сцена, в которой Калин Калиныч то начинал прощаться со всеми, чтобы идти домой, то снова раздевался и ложился на свое место, продолжалась слишком долго и, наконец, надоела всем, так что старика на время оставили в покое.

— А ведь ты, Калин Калиныч, боишься своей Матрены Савишны? — спрашивал кто-то в темноте, когда уж все готовились заснуть.

Старик крепился и ничего не отвечал; но это не удовлетворяло гостей, которым хотелось еще потешиться над старым чудаком.

— А ведь признайся, ангел мой, она иногда лупцует тебя? — послышался голос Пальцева, вызвавший сдержанный смех публики. — Ведь ты, ангел мой, говорят, сильно боишься ее? Конечно, ангел мой, я этому не верю, но все-таки...

— Что же мне их бояться? — отозвался, наконец, старик, терпение которого прорвало. — Они не медведь...

— Э, да что тут пустяки говорить! — послышался голос Феди Заверткина, временно потерявшего сознание и теперь снова получившего способность выражаться членораздельными звуками. — Не-ет, бр-рат, нет!.. Ты нам р-расскажи, как жена тебя в подполье столкнула...

— Калин Калиныч, голубчик, расскажи! — послышались умоляющие голоса. Кто-то черкнул спичкой о стену, и зажгли свечу.

— Что же-с, дело самое обнакновенное-с, — заговорил Калин Калиныч, усаживаясь на своем месте по-детски, скрестив под себя свои

коротенькие ножки. — Вечером поужинали-с, как следывает-с, легли почивать-с и всякое прочее... Хе-хе-хе!

— Браво!.. Молодец, Калин Калиныч! — орала вся компания.

— Ну-с, лежим это мы на постели и начали промежду собой разговаривать-с, а Матрена Савишна возьми и рассердись... У них уж такой карахтер: как зачнут со мной разговаривать, так и сердятся-с... Я и говорю им: «Перестаньте, говорю, Матрена Савишна, гневаться, потому, говорю, первое дело, это грешно-с, а второе, говорю, я вам муж, говорю...» Так прямо и отрезал-с, ей-богу-с! Как ножом отрезал да еще прибавил: «Надо, мол, это самое дело оставить...» Только это слово я вымолвил им, они, можно сказать, из себя вышли и вступили в большой азарт... Да я рассказывал вам, господа, — взмолился было Калин Калиныч.

Но публика не хотела и слышать об отказе и, как говорится, пристала с ножом к горлу.

— Ну, вот-с, как Матрена Савишна вышли из себя и начали кричать, — продолжал старик: — «Так вот, говорит, какие ты поступки

со мной поступаешь!» — да этак меня ногой маненечко как толканут, — ей-богу, маненечко! — я с постели и опрокинулся на пол, а голбец был открыт, — я туда... Так вниз головой и сверзился, а все сам виноват — со страху-с!.. А Матрена Савишна — добрейшая женщина, ей-богу-с!

Снова все хохотали, — хохотали нехорошим, пьяным хохотом. Вместе с другими смеялся и Калин Калиныч своим детски добродушным смехом, от которого забавно вздрагивали его полные, румяные щеки и колыхался круглый живот.

— Так ты, ангел мой, прямо в голбец, турманом?.. О-хо-хо! Уморил, ангел мой! — заливался Пальцев, схватившись за бока.

— Она нарочно и голбец отворила, чтобы столкнуть тебя туда, — уверял Заверткин.

— Ну, уж это неправда, Федор Иваныч! — вступился Калин Калиныч. — Это вы напраслину говорите-с...

После этого вечера мне несколько раз приходилось сталкиваться с Калином Калинычем, и мы встречались уже как старые знакомые. Добрый старик настоятельно приглашал

меня к себе в гости, извиняясь очень подробно, что он живет в простой избушке. Меня очень интересовал этот странный человек, но побывать у него все как-то не удавалось.

Василису Мироновну я знал только по слухам, но и по этим отрывочным сведениям, какие имелись у меня, я, кажется, сразу узнал бы ее, — настолько ее портрет резко отличался от всех других людей.

По своему общественному положению она была раскольничья начетчица, но это было, так сказать, ее официальное звание, а в действительности через ее ловкие руки проходило многое множество самых разнообразных дел, которые даже невозможно было отнести к какой-нибудь определенной профессии. Жила она в Старом заводе, на краю селенья, в новеньком деревянном домике с зелеными ставнями. По семейному положению она была христова невеста, бобылка. Почему не вышла замуж Василиса Мироновна, это составляло загадку. И по красоте, и по здоровью, и по своему уму, и по характеру она была завидной невестой, и любой заводский парень женился бы на ней, только стоило ей повести

бровью; но она осталась старой девой, ревниво сохраняя свою самостоятельность, девичью волю и скрывая от посторонних глаз истинные причины своего девства.

Самыми главными достоинствами знаменитой раскольницы были ее характер и язык, — она умела со всеми «ладить» и заговаривала своей ласковой, медовой речью каждого. В ее характере было что-то неотразимо привлекательное, и с ней мирились даже такие люди, которые явно были предубеждены против нее. Василиса Мироновна сумела поставить себя так, что служила соединяющим звеном между раскольниками и православными. Она была везде, все ее знали, и все были рады ее видеть: от раскольника золотопромышленника она шла к православному попу, от попа — к исправнику, от исправника завертывала к матушке дьяконице, от матушки дьяконицы шла к знакомому мужику. И везде у ней было дело, везде ей были рады, и везде она оставалась одной и тою же Василисой Мироновной — доброй, ласковой, остроумной. В характере этой женщины соединялись энергия и предприимчивость мужчины

с любящим сердцем женщины, в чем, вероятно, и заключался главный секрет ее влияния на всех.

Что касается рода занятий, то Василиса Мироновна бралась за все, что попадало ей в руки: читала по покойникам, утешала страждущих, навещала больных, вела торговлю хлебом, покупала на ярмарке лошадей, меняла и перепродавала их; но, без сомнения, ее главным делом были нужды и интересы раскольничьей общины, к которой она сама принадлежала. Чуть кто позапутается из раскольников, накроет исправник моленную, поймает австрийского архиерея, — Василиса Мироновна идет к становому, без ропота, покорно выслушивает всю ругань и распеканья, угрозы и топанье ногами; а кончится дело тем, что тот же становой потреплет Василису Мироновну по плечу и проговорит: «Ну, смотри, ангел мой, чтоб это было в последний раз... Слышишь? Только для тебя это делаю... Понимаешь, ангел мой? Потому, тебе бы не по покойникам читать, а министром быть!» Низко поклонится Василиса Мироновна и смиренно отправится в свою избушку. Поговарива-

ли, что она вела торговлю золотом и исправляла должность раскольничьего попа, но это еще требовало подтверждения.

На рассвете Куфта что-то заворчала, — вероятно, на подошедшую очень близко к балагану лошадь. Я проснулся. Небо было совсем серое; звезды едва теплились; все кругом точно оцепенело и замерло в ожидании солнечного восхода. Холодный воздух заставлял вздрагивать, и я напрасно закрывался халатом, которым прикрыл меня, вероятно, Калин Калиныч. Огонь перед балаганом едва тлелся. Калин Калиныч спал около него мертвым сном, свернувшись клубочком; Василиса Мироновна лежала тоже около огонька; один старик сидел и что-то тихо рассказывал своей слушательнице. Я насторожил уши.

— У меня есть кошка, трехшерстная, ребятишки откедова-то добыли, — тихо рассказывал старик. — Вот она и окотись... Я велел было утопить котят-то, да ребята больно заревели, я их и оставил. Пусть поживут, думаю, а там раздадим по соседям, — больно уж любопытные котятки-то, все в мать... Только это я

на той неделе лежу у себя в избе, сплю, значит, на полу, да спросонков-то и раскинул руками, да так инда подскочил с войлока: думал, меня домовой за руку-то схватил али змея в избу заползла... А это кошка своих котяток ко мне на постелю стаскала, я это их руками-то и задел. Я взял их да под печку и снес, а сам лег опять спать. Только мне чего-то не спалось в ту ночь, а уж дело к утру, — заря занимается. Вот лежу это я и вижу: кошка крадется, крадется ко мне, а чуть я глаз открою, она и остановится и глаза зажмурит. Думаю, мышь видит, — дай посмотрю, как ловить станет. Притворился, что будто сплю, а сам на нее смотрю, что, значит, будет она делать. И дошлая же эта тварь, кошка, только вот не говорит! Увидала, что я сплю, живо под печку, котенка в зубы — и ко мне его на войлок, а сама под лавку, как молынья, и глядит оттедова, не проснусь ли я. А я лежу — будто сплю. Так она мне всех котят и перетаскала, потому под печкой-то им жестко спать, а на войлоке мягко... То ли не дошлый зверь!.. И так мне в те поры жаль стало котяток, точно вот малых детей... Пошел в сенки, принес им шубу,

устроил гнездо, а наутро велел ребятишкам кудели им натаскать под печку-то.

Василиса Мироновна выслушала этот рассказ, не проронив ни одного слова, а потом, зевнув и перекрестив рот, проговорила:

— Что-то ноне, говорят, больно шалят на Старом заводе...

— А вот дошалят! — коротко отвечал старик.

— Ты смотри, Савва, поберегай лошадь-то, — неровен час...

— Куда им, — руки коротки! — самоуверенно отвечал старик, задумчиво глядя на огонь.

IV

Когда я проснулся, солнце уже было очень высоко, и его лучи начинали заглядывать в мой балаган, в котором теперь, кроме меня, никого не было. Я долго наслаждался моим одиночеством, лежа с закрытыми глазами и припоминая все виденное и слышанное мной вчера вечером и ночью. Со стороны леса доносился глухой шум и голоса каких-то птиц. Время от времени по густой траве, которая зеленым ковром покрывала весь лог, волной пробегала лепечущая струя легкого ветерка; она доносила до меня человеческие голоса и какие-то неопределенные звуки, происходившие, как я догадывался, от ударов лопаты по камням. Раннее утро, лучшее время для охоты, я проспал самым бессовестным образом, и мне теперь ничего более не оставалось, как только брести на Момыниху; но мне хотелось остаться пока здесь, среди этой оригинальной группы старателей, — хотелось познакомиться на месте с знаменитыми хищниками, добывавшими золото самым первобытным способом, как добывали его, может быть, еще ар-

гонавты[62], ездившие на край света за золотым руном.

Старатели — своего рода кроты; они портят, по словам ученых инженеров, лучшие места своею хищнической выработкой золотоносных песков. Дело в том, что старатель обыкновенно работает в одиночку, много втроем или вчетвером, очень редко целою семьей; все золото или платину, которую он намоет в течение недели, он обязан сдать на ближайший прииск, где помещается контора арендатора, взявшего на откуп известную местность. Старатели обыкновенно люди очень бедные и поэтому не могут делать серьезных разведок и, кроме того, вырабатывают только лучшие места и то кое-как; такою работой они загораживают дорогу серьезным разведкам специалистов и систематической разработке больших компаний. Старатели иногда разом открывают несколько отличных россыпей, но, не имея собственных средств для их разработки, скрывают их от разведочных компаний с замечательною ловкостью, распускают ложные слухи и не чуждаются даже подкупов; разведки производят-

ся при помощи этих же старателей.

Вред старательских работ, о котором громко прокричали горные инженеры и о котором мы сейчас только говорили, вещь еще очень сомнительная и требует серьезного исследования. Между старателями и крупными золотопромышленниками происходит такая же борьба, как между кустарями и крупными фабрикантами, с тою лишь разницей, что и самые крупные золотопромышленники находятся в полной зависимости от старателей.

Выйдя из балагана, я принужден был на время совсем закрыть глаза, — так ослепительно светило солнце, стоявшее над головой. Саженях в двухстах от меня, на берегу маленькой речки, терявшейся в зелени осоки, лопушника и кустов ивняка, мои вчерашние знакомые били шурф. Куфта лежала на небольшом бугорке и подозрительно следила за мной. Ей очень хотелось броситься ко мне с оглушительным лаем и даже, может быть, вцепиться своими белыми зубами, но, посмотрев вопросительно на хозяина, она оставила свое намерение и с легким ворчаньем улеглась на прежнее место, продолжая на-

блюдать за мной на всякий случай. Эта картина глубокого лога, с группой хищников-старателей в центре, точно была вставлена в темно-зеленую раму густого сибирского леса, из-за зубчатой линии которого на севере подымались волнистые силуэты Уральских гор, подернутых синеватою дымкой. Я долго любовался этой чудной картиной далекого севера, так и просившейся на полотно, и затем отправился к старателям.

Василиса Мироновна стояла по грудь в какой-то яме, имевшей форму могилы, откуда и выкидывала железною лопатой песок серого цвета. Кудрявый, русоволосый мальчик отгребал песок от краев ямы и накладывал его в тачку. Калин Калиныч тоже не оставался без дела; пот с него катился градом, лицо было красное, как только что отчеканенный пятак. Но толку от его работы было, вероятно, очень мало, и он только мешал другим работать. Смешно было видеть, как эта хлопотливая фигурка то тащила какую-то доску, то заглядывала в яму, то петушком забегала вперед старика, катившего тачку с песком, и все это делалось от чистого сердца, с искренним же-

ланием помочь, принять участие в работе других.

— Бог на помощь! — поздоровался я.

— Спасибо на добром слове, — отозвался старик; он с легким напряжением катил свою тачку по узкой дощечке и с особенною ловкостью вываливал из нее песок, точно вся эта работа была для него игрушкой.

— Ты, барин, поздно же помогать нам пришел, — заговорила своим певучим голосом Василиса Мироновна. — Только ты в нашу работу не годишься, — работа тяжелая, а ножки у тебя тоненькие: того гляди, надломятся. Помоги лучше вон Калинычу, — он, сердешный, совсем замаялся, с самого утра мешает нам работать...

— Уж можно сказать-с, — вступился Калин Калиныч, отирая пот с лица, — уж точно-с, ежели Василиса Мироновна что скажут-с... Хе-хе-хе... — и Калин Калиныч только развел ручками, с умилением посмотрел на всех и неожиданно добавил: — Оченно жарко-с!..

— А ты бы, Калиныч, угостил барина-то, чем бог послал, — заговорил старик, делая мне смотр своим единственным оком. — От-

пустил бы я Гришутку, да работой тороплюсь, — надо пробу сделать...

— Хорошо, я это все мигом оборудую-с...

Гришутка, мальчик лет тринадцати, был отлично сложенный ребенок: ширина плеч и высокая грудь, так и вылезавшая из-под ситцевой рубашки, красноречиво говорили о завидном здоровье; но смуглое лицо с серыми глазами было серьезно, даже строго не по летам. Он продолжал свою работу с сосредоточенным видом, как большой, точно не замечая, что говорили о нем.

V

Немного постояв, мы с Калином Калинычем направились к балагану. В моем ягдташе лежал рябчик. Старик, усевшись на корточки, не без искусства принялся жарить его прямо в золе, не ощипав перьев и не выпотрошив. Эта операция требовала известной ловкости, потому что рябчик, завернутый в широкие листья какой-то травы и зарытый в золу, все-таки мог сгореть самым незаметным образом.

— Ты когда, Калин Калиныч, научился ряб-

чиков-то жарить? — невольно спросил я.

— Я-с?.. А Савва Евстигнеич научили-с, то есть собственно у Гришутки-с... Очень смышленый мальчик!..

— А кто этот Савва Евстигнеич? Я что-то не припомню.

— Савва Евстигнеич?.. Они-с, допреж этого, больше извозом занимались, а теперь вот лет с десять так живут, отдыхают, а вот теперь надумали искать платину... Такой уж неспокойный старик и есть!

— Савва Евстигнеич из Старого завода?

— Точно так-с, все старозаводские-с.

— А Василиса Мироновна зачем здесь?

— Так-с, у них дела-с... Можно сказать — удивительная женщина! — с одушевлением заговорил старик и, разведя ручками, прибавил: — Душа у них — золотая душа-с!

Я видел, что Калину Калинычу строго-настрого заказано было развязывать язык, поэтому и не стал продолжать дальнейших расспросов. Рябчик тем временем поспел, и мы его разделили по-братски, а затем, запив его кваском, растянулись в тени балагана, отдавшись каждый своим думам. О чем думал Ка-

лин Калиныч, трудно было догадаться, тем более что на его говорливые уста наложена была печать молчания самой Василисой Мироновной, каждое слово которой было для него законом. Я старался ни о чем не думать и просто любоваться синевою неба, зеленью леса, блеском солнца, отдыхая душой среди этого простора живой чудной природы севера. Но такое желание оказалось решительно неосуществимым. И пыхтевший рядом Калин Калиныч, видимо, угнетаемый обетом молчания и сгоравший от желания поговорить со мной по душе, как со старым знакомым, и мелькавшая невдалеке группа старателей — все нагоняло вереницу мыслей.

Среди самой глуши леса неожиданно натолкнулся я на самую странную комбинацию человеческих существ, тайну которой чем дальше, тем сильней хотелось разгадать, и вместе с тем не хотелось вмешиваться в жизнь этой кучки людей, нарушать их покой. Одно только было для меня ясно, как день, именно, что не простая случайность соединила этих людей между собою, что какая-то тайная причина связывала их и не имела ничего

общего с их старательством. В самом деле, какие интересы могли соединить эту энергическую женщину, раскольничьего попа, с простяком, светлою душой, Калином Калинычем, и, далее, какая связь могла быть между ними и Саввой Евстигнеичем, этим загадочным стариком-старателем? Наконец, зачем у этого мальчугана Гришутки такое преждевременно серьезное лицо? Пока я напрасно ломал голову над этими вопросами, солнце поднималось все выше и выше, и, наконец, его лучи добрались и до нас с Калином Калинычем. Я старался выдержать характер и терпеливо жарился на солнечном припеке. А Калин Калиныч даже наслаждался солнечною теплотой, которую с таким обилием посылало ему само небо.

— Этакая благодать-с, — заговорил он, наконец, поворачивая другой бок на солнце. — Ей-богу-с, истинная благодать-с! Эко, подумаешь, у господа простору-то, воли-то, а нам все мало, все грешим, все недовольны... Эх, грехи, грехи!.. Вон пташка поет, козявка всякая стрекочет, а солнышко!.. Больно уж я люблю его. Господи, помилуй! Господи, помилуй! И в пи-

сании говорится: «Воззрите на птицы небесные: не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает их. Воззрите на полевую лилию: и Соломон во всей славе своей не одевался лучше ее». Чудны дела твои, господи, вся премудростию сотворил еси!..

Слушая эту странную одушевленную речь, я с невольным удивлением посмотрел на моего собеседника, лицо которого дышало неподдельным, искренним одушевлением. Этот смешной Калин Калиныч теперь был в моих глазах совершенно другим человеком, точно он, в соприкосновении с матерью-природой, переродился и просветлел каким-то внутренним светом.

— А что, Калин Калиныч, — заговорил я, воспользовавшись паузой, — у Гвоздева, кажется, теперь дело с Печенкиным?

— Да-с, дело, и преказусное дело-с. Можно сказать, что отливаются медведю коровьи слезы: плохое дело у Аристарха Прохорыча-с! Хотя они мне и много надсмешек сделали-с, а все-таки жаль их. Это дело, видите ли, у них тянулось очень давно, когда Гвоздев был в компании с Печенкиным по приискам. Вы

помните исправника Хряпина? Ну, так это было еще при нем-с. Хряпин-с был гроза грозой, особливо кто приисками занимался, потому тогда за краденое золото оченно строго судили, не как по нонешнему времю. Только поговаривали-с на Старом заводе, что Аристарх Прохорыч жить пошли от Хряпина-с, потому он видел — не видел ихние дела-с, а они ему платили. Я так полагаю-с, что все это сущий вздор, ей-богу-с! Из зависти люди говорят-с.

Калин Калиныч посмотрел на меня, повернулся животом вниз и, положив голову в свои ладони, как тыкву, продолжал:

— А ведь вы знаете карахтер у Аристарх Прохорыча-с? Бе-едовый!.. Они, Аристарх-то Прохорыч, зашибли таким манером на приисках деньгу не малую, а Хряпин начал уж над ними дерзкие слова говорить и обещал в остроге сгноить, ежели они ему не будут дань платить. Аристарх Прохорычу это и не поглянись, потому как они в силу вошли и свое понятие о себе стали иметь, то захотели себя держать высоко. Тогда этот акциз вошел в моду, Аристарх Прохорыч от приисков совсем и

отстали, стали водкой заниматься, — это дело в беспример безопасное и прибыльное, — а о Хряпине не забывали, потому он горько им приходился. Вот они-с, Аристарх Прохорыч, и придумали фортель. Ей-богу-с! Евдоким-то Игнатьич, Печенкин то есть, уж старички-с, а карахтер у них нестерпимый, огненный карахтер, можно сказать-с. Вот они где-то и соберись на именинах: Хряпин, Печенкин и Аристарх Прохорыч. То-се, пятое-десятое, выпили и закусили. Печенкину в голову попало, а Хряпин и захоти покуражиться над ними. «Что, говорит, подлецы...» Это он Аристарху-то Прохорычу с Печенкиным. «Вам, говорит, надо свечи передо мной ставить». Аристарху Прохорычу это и не поглянись, они и шепни на ухо Печенкину словечко, а тот подошел да Хряпина в ухо как запалит!.. А Хряпин в это время ели пирог с осетриной да так рот растворили и смотрят, а изо рта вязига, крошки, рыба — все на пол и сыплется. Очень им это обидно показалось, Хряпину-то, потому они исправником тогда состояли и при исправлении их собственной должности им такой позор нанесли.

Тут и заварилась каша: Печенкин было и на мировую, а Хряпин и слышать ничего не хочет, потому — при исполнении обязанности. Тогда у нас еще старые суды были, — ну, по старым судам Печенкина на высидку и приговорили на год в темную, а он к Аристарху Прохорычу: «Выручай, ничего не пожалею». А Аристарх Прохорыч им условие: так и так, сменю всю полицию и Хряпина к черту в подкладку, и тебя ослобоню, только за мои труды мне подпиши вексель в тридцать тысяч. Печенкин с горя-то возьми и подпишись, а Аристарх Прохорыч в Петербург. И сменили, всех сменили! Я тогда с ними до Москвы ездил. Ну-с, теперь прошло этак лет с пять-шесть, разные дела промежду ними были, только они чего-то повздорили между собой, из-за сущего пустяка-с, а Аристарх Прохорыч и захоти наказать Печенкина да вексель ко взысканию и предъявили. Печенкин, как услышал это, еще больше в азарт вошел да прямо в суд: так и так, векселя не давал Гвоздеву, — вексель подложный. Аристарха Прохорыча и потянули в суд. Теперь дело третий год тянется. И я попал в свидетели-с! Да-с... Са-

мое казусное-с дело-с!..

Помолчав немного, Калин Калиныч поднял на меня глаза и проговорил:

— А ведь Хряпин-то нынче почитай в приказчиках у Печенкина служит-с... Ей-богу-с! А прежде, бывало-с, хуже страшного суда его боялись все. Большую силу имел-с...

Солнце начинало уже палить нещадно; огонь у балагана давно потух, только две упрямые головешки продолжали еще упорно дымиться на остывавшем пепелище. Стреноженная лошадь с трудом подскакала к нам, надеясь найти защиту от облепившего ее овода.

— Ишь, окаянные, съели совсем лошадь! — заговорил Калин Калиныч, поднимаясь с земли, чтобы снова развести огонь.

Он соорудил небольшой костер из старого пня, нескольких полен и дров и дымившихся головень, закрыл его сверху и с боков хворостом и зажег; а чтоб он давал больше дыма, принес целую охапку свежей травы и бросил на огонь сверху. Стоявшая около нас лошадь умными глазами следила все время за этой операцией, усиленно отмахивалась своим

хвостом от висевшего над ней столбом овода; когда густой белый дым клубами повалил от костра, умное животное встало в самую струю. Калин Калиныч опять лежал в любимой своей позе, животом на земле, и смотрел на меня своими прищуренными черными глазками.

— А ведь мы скоро собираемся церковь новую святить, — заговорил он, болтая ногами.

— Какую церковь?

— А в память освобождения крестьян-с... Как же-с! Вот теперь пятнадцать лет исполнилось, как хлопочем-с. Оченно много было хлопот, а теперь, слава богу, все дело к концу подходит, — купол выводить зачали-с...

— На чьи же деньги эта церковь строится?

— Как на чьи-с? — На мирские-с... Тогда, как только ослобонили нас, я прихожу к отцу Нектарию, а он мне и говорит-с: «Так и так, говорит, теперь как выходит всем освобождение-с, так ты, говорит, уж послужи миру-то...» Я поблагодарил их, да с тех пор пятнадцать годов и собирал на построение храма-с!.. Ведь по копеечкам-с собирал, а что этого греха на душу принял, так, кажется, и не замолить по

конец жизни... Ей-богу-с! Всякий указывает тебе, всякий усчитывает, всякий ругает: и то не так, и это не так, а отец Нектарий говорит: «Потерпи, потому не для себя стараешься, а для господа бога...» А со стороны сколько напринимался — страсть: и вором-то ругали, и выгоняли с кружкой, только не заушали-с!.. А вот и довели до конца, благодарение создателю, — долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневался на нас, многогрешных.

— А когда будут святить церковь? — спросил я довольно громко.

— Шш!.. — зашипел Калин Калиныч, многозначительно кивая в сторону лога. — Не любят они меня за эту церковь, гложут-с... Особливо Василиса Мироновна. Она женщина, можно сказать, божественная-с, потому от писания у них разумение большое, а вот этого не выносит-с... Слышать не могут-с, потому как к старой вере большое прилежание имеют, и построение святого храма для них большой соблазн. Василиса Мироновна как об этом предмете начнут с отцом Нектарием разговаривать-с, все равно как книга-с... Ей-богу-с! Как по печатному, так и отчитывают-с,

так и отчитывают-с... Отец Нектарий спорит, спорит с Василисой Мироновной, да и скажет: «Вы, Василиса Мироновна, необнакновенная женщина-с!.. Оченно свободный разговор имеете и большую смелость».

Мы немного помолчали. Вспомнив рассказ Калина Калиныча об его дочери, я спросил его:

— У вас, Калин Калиныч, кажется, есть дочь?

— Да-с... А то как же-с? — спрашивал в свою очередь старик таким тоном, точно у каждого человека непременно должна быть дочь. — Только много с ней хлопот, с дочерью-то...

— Какие же с ней хлопоты, Калин Калиныч?

— А как же-с? Ведь она — женщина, а я в ихнем женском деле ничего не понимаю-с, вот и хлопоты-с... Я одно говорю, а она — другое, да еще скажет: «Вы бы уж, родитель, лучше молчали!» Ей-богу-с! И замолчишь, потому как я мужчина и не могу понимать по женской части. Да и карахтер у Венушки какой-то необнакновенный-с, совсем какой-то

неукротительный-с... Да-с. Еще при жизни Матрены Савишны-с это стало заметно. А покойница имела сама карахтер, можно сказать-с, жестокий, так другой раз возьмут Венушку-то, голову защемят-с промеж ног, загнут-с подол-с, да и оштрафуют посредством крапивы-с... Из своих собственных, родительских рук-с! А все из-за чего? Венушка сызмала всем дерзкие слова говорила... Мать-то ее дерет, дерет, а она, как вырвалась, сейчас заскачет на одной ноге, матери высунет язык и свои слова выражать: «Что, натешилась, а? Что, взяла?» Ей-богу-с...

Горох у нас в огороде-то был, для Венушки же больше и садили его, так нет-с, не хочу своего гороху, а подавай чужого-с... Подберет себе компанию мальчишек, да и подобьет всех к соседке горох воровать. Облепихой звали соседку-то, большущая женщина из себя была, а в разуме не тверда-с... Возьмет палку-с, эта самая Облепиха, да с палкой в борозду и завалится, — это ребятишек караулить-с, — а тем это и любопытно-с. Даже до смеху доходило-с... А как мать умерла, Венушка от моих рук совсем отбилась, поступила в

учительши, а насчет дерзких слов только слушай-с!.. А ведь я ей что постоянно говорю: «Венушка, удержи ты свой вострой язык, Христа ради! Посмотри ты на меня, ведь я тебе отец...» А она еще хуже от этих моих слов — и пойдет-с, другой раз и меня, старика, до слез доведет. Ей-богу-с! Хоть взять отца Нектария: человек, кажется, божественный и старички, а Венушка выдумала звать их сладчайшим... Разе хорошее это дело-с? Необнакновенный карахтер-с... И другие-то ругают меня, что такую дочь вырастил и что она неукротимо себя держит, а я ихнего дела-с совсем не могу понять-с. Ведь не могу же я голову меж ног да крапивой-с: первое — Венушка на возрасте-с, девица вполне-с, а второе — мужчине это совестно делать с женским полом...

Намеднись какой-то съезд был у учителей, — продолжал Калин Калиныч, опять болтая ногами, — множество их собралось на Старом заводе, одолели нас с Евменией, да и народ какой-то оголтелый!.. Были у них там какие-то собрания, начальство приезжало-с. Вот одинова на собрании-то ихний начальник и говорит-с: «А что, говорит, ежели, гово-

рит, я приезжаю в школу раз и застаю учителя не в себе, значит пьяного, приезжаю в другой — опять застаю не в себе, в третий — не в себе, — что, говорит, я должон тогда делать с ним?» А Венушка не сробела, да и говорит: «А что, говорит, делать, к примеру, учительнице, ежели, говорит, приезжает к ней начальство в школу раз не в себе, в другой — опять не в себе, и в третий раз не в себе?..» Натурально, этакие слова не понравились, и Венушке был большой выговор-с, а она только смеется-с. Ей-богу-с!..

Стоявшая над дымом лошадь, сивой масти, с разбитыми ногами и отвислыми ушами, точно хотела сказать, что она принадлежит не кому другому, как самому Калину Калинычу. Чтобы проверить это предположение, я спросил старика, и лошадь действительно оказалась его. Спустя несколько минут на дым пришла другая лошадь, худая, изморенная, с болтавшейся головой на тонкой шее и с волочившеюся длинною цепью, которая тянулась за ней, как змея. Мне невольно бросилась в глаза эта цепь, а затем тонкие, сильные ноги лошади и особенно ее широкая

грудь, как-то неестественно переходившая в подобранный живот, какой бывает у загнанных кляч. Это была чистокровная киргизская лошадь по всем признакам — и по большой горбоносой голове, и по длинным, мохнатым, поротым ушам, и по выступавшим углами широким костям передних лопаток и зада.

— Изволили засмотреться на лошадку-с? — прервал мои наблюдения Калин Калиныч.

— Да, странная лошадь!

— Нет-с, она не странная, а золотая лошадь, да-с! — с какою-то гордостью заговорил Калин Калиныч.

— Почему золотая?

— Да так-с... Потому что цены ей нет — вот какая это лошадь! Мало ли лошадей на Старом заводе, на всех других, на ярманках, а такой нет!.. Нет — и делу конец! Вы теперь, ежели случится вам быть на Старом заводе, спросите первого мальчишку: знаешь «Разбойника»? — непременно скажет, что знает. Это такая лошадь, такая лошадь... Еще ни на одном бегу ни одна лошадь не обошла ее; а зимой в санях — да она горит, еретица, в оглоблях-то, огнем горит... Ей-богу-с! А почему ей цены

нет?

Я сознался в своем неведении.

— Ах, господи, да неужели не слыхали-с? — с каким-то укором заговорил Калин Калиныч, с сожалением глядя на меня. — «Разбойник» — двужильная лошадь, у ней двойной дух — вот в чем вся сила-то!

— Что это значит двужильная?

— Двужильная-то? Это-с... это, к примеру, выходит так: проехали вы на «Разбойнике» полсотни верст, да ведь проехали вы их в три часа, сейчас остановились; она сейчас дохнет этак тяжело-тяжело раза два, и опять катай на ней пятьдесят верст — стрела стрелой летит! Вот это и значит по-нашему двужильная лошадь. А силища у ней — ужасти, ей-богу-с!.. Сто пудов семьдесят верст везет без отдыха... Двойной дух — одно слово!

Я с удивлением посмотрел на «Разбойника» и в душе не поверил словам Калина Калиныча.

— А где он достал эту лошадь?

— Достал он ее, сударь мой, в степи, в киргызах, а как достал, не умею вам сказать-с. Ему тут же, на месте, давали за нее целый ко-

сяк лошадей, — не отдал. «Разе я, говорит, сам себе враг?..» Вот он какой, Савва-то Евстигнеич!..

«Разбойник» стоял под самым дымом, полузакрывши глаза и слабо отмахиваясь коротким хвостом от жужжавших насекомых, и сколько я ни рассматривал его, решительно ничего не мог найти, кроме несоразмерно сильно развитой грудной клетки и несоразмерно тощего живота. Таких киргизских лошадей я видал очень много на Урале.

VI

Полежав еще немного у балагана, я отправился опять к работавшим у шурфа. Василиса Мироновна оставила свою работу и теперь отдыхала, лежа на траве; Гриша лежал тоже, заслонив глаза от солнца рукой; Савва Евстигнеич, в двух шагах от них, сидел на берегу речки, с громадным ковшом в руках, в котором промывал содержащий платину песок. Он делал пробу. Промывание песку совершалось очень просто. Старик погружал ковш с песком в воду и там долго мешал в нем песок рукой, отчего муть шла по воде кругами, а

собравшиеся наверху камушки старательно выбрасывал вон. В ковше становилось все больше свободного места, так что он во второй половине операции прямо зачерпывал ковшом воды, мешал ее с песком и затем образовавшуюся мутную воду сливал. Через полчаса такой работы на дне ковша осталось только немного песку; старик с особенною тщательностью начал отделять его от появившегося черного песочка, так называемого «шлиха», содержавшего платину. Еще несколько минут работы — и на дне ковша остались одни «шлихи»; их старик промыл так же, как песок, и затем долго рассматривал на дне ковша какие-то крупинки

— Ну, что? — спрашивала Василиса Мироновна, по обыкновению не поворачивая головы.

— Да кто его знает, — уклончиво отвечал старик, — как будто маненько есть...

— Одна платина? — опять спросила Василиса Мироновна.

— Нет, есть и золото, только больно мало.

Я подошел к старику. На дне ковша лежала платина вместе с крупинками золота. Всего

было около четверти золотника. Проба самая богатая, но старик просто притворялся, что платины «как будто маненько есть»... Это общая раскольничья черта — не высказываться сразу; но, с другой стороны, старик, видимо, был недоволен, — значит, он ждал золотой пробы.

— Наврал, страмец! — сердито буркнул он, собирая платину в бумажку. — Проклятый Шинкаренко опять подвел... Золото, говорит, лопатой греби... Ах, он... — И старик завязал очень крепкое словцо и почесал затылок.

— А ты и поверил ему! — равнодушно говорила Василиса Мироновна. — Кто ищет золота по таким местам? И лес не такой, и земля не такая.

Мы вернулись все к балагану. Я опять наблюдал всю компанию, особенно старика, который меня интересовал очень сильно, потому что, очевидно, он был головой в этой странной компании. Василиса Мироновна принесла из балагана маленькую котомку, из которой достала ковригу ржаного хлеба и белую тряпочку с крупно истолченною солью.

Медленно и с покойною важностью отре-

зала она несколько ломтей во всю ковригу, постлала на траву небольшую синюю скатерть, развернула тряпочку с солью, поставила небольшой зеленый бурачок с квасом, и обед был готов. Старик выбрал самый большой ломоть хлеба, круто его насолил и свистнул резким, далеко раскатившимся свистом. В ответ донеслось радостное ржание, послышался топот, и «Разбойник», подняв голову и раздув ноздри, показался в высокой траве. Не добежав до балагана несколько шагов, он оглядел всю компанию блестящими, горячими глазами, а затем, как ручная собака, подбежал к старику и дружелюбно положил ему свою голову с поротыми ушами прямо на плечо. Старик ласково потрепал лошадь по шее и начал ее кормить хлебом, отламывая от ломтя, небольшие кусочки. Съев хлеб, «Разбойник» поднялся было на дыбы, точно хотел обнять старика, а потом мгновенно опять скрылся в лес, откуда донесся только его звонкий топот.

— Балуешь ты лошадь, — заметила Василиса Мироновна.

— Не могу сам есть, пока его не накорм-

лю, — улыбаясь, проговорил старик, видимо, довольный и счастливый.

Старик вымыл руки; все встали лицом к востоку и помолились. Все трое принялись обедать, с каким-то благоговением откусывая хлеб и боясь уронить на землю малейшую крошку дара божия. Я залюбовался этою безмолвною трапезой и в душе завидовал аппетиту вкушавших в поте лица хлеб свой; глядя на них, кажется, мертвый захотел бы есть. Хлеб был запит квасом, затем все снова помолились, и торжественный обед кончился. Василиса Мироновна отправилась в балаган вздремнуть малую толику, Калин Калиныч зачем-то побрел с Гришуткой в лес, а я остался один с Саввой Евстигнеичем.

— Что, Савва Евстигнеич, будешь работать здесь али нет? — полюбопытствовал я.

— Да как тебе сказать, и буду и не буду, — охотно заговорил старик, теперь относившийся ко мне с полным доверием. — Проба, пожалуй, и хорошая, да за платину-то нам платят по-сиротски... Ведь золотник-от всего по двугривенному обходится, — какие это деньги?

— Да ведь работают же, значит — выгодно?

— Как не работать — работают, только ведь эта платина для нас распоследнее дело. Есть такие лога, где платина гнездами, — ну, это другой, разговор: тут, пожалуй, и деньгу зашибешь. Тоже вот жилой она попадает — тоже из-за хлеба на квас можно биться, а здесь идет россыпью, да и глубоко пески.

— Вы давненько этим занимаетесь?

— Чем это?

— Ну, старательством-то.

— Старательством? — Старик задумался, потом усмехнулся и, посмотрев на меня, заговорил: — Да вот на второй десяток перевалило, как землю рою... Только все это пустяки!

— Почему так?

— Так, — коротко отвечал старик и замолчал, — не стоит говорить... Может, слыхал, такая поговорка есть: «Золото роем, а сами голосом воем». Через это самое золото много наших мужицких слез льется.

— Значит, прежде за барином вам лучше жилось? — спросил я, пользуясь случаем. — Ведь барин хлебом кормил и одевал иногда

даром.

Старатель долго молчал и потом проговорил:

— Это дело мудреное, а вот я расскажу тебе одну побасенку: она пустая, побасенка-то, а все дело как на ладони. От старых людей она до нас дошла, значит, недаром она была сложена. Видишь, жила у барина одна собака в холе и во всяком довольстве. Пришла зима. Холод, вьюга, а вокруг деревни волки стаями так и ходят, так и ходят... Воют, сердечные, с холоду и голоду, а взять нигде нечего.

Вот однажды собака и пошла в лес, а навстречу ей как раз матерой волчище и с голоду зубищами лязгает. Собака посмотрела на него и говорит: «А зачем вы, волки, так по ночам воете?» — «А с голоду воем», — отвечал истощенный волк. А собака опять волку: «Отчего же вы не идете в деревню? Стерегли бы двор у какого барина, а он бы вас кормил. Ты теперь, волк, вон как отощал, а тогда бы растолстел, как я...» Волчище усмехнулся и спрашивает: «А на шее у тебя что?» — «Ошейник». — «А для чего он тебе?» — «А когда меня на цепь сажают, так для этого и ошейник». —

«Ну, так прощай! — сказал истощенный волк. — Хоть у твоего барина и хорошее житье, а мне все-таки лучше голодному по лесу ходить, чем сытому сидеть на цепи».

Старик замолчал. Эта побасенка очень понравилась мне: она слишком много говорила за себя, и я понимал, что передо мной сидел один из тех «истощенных волков», каких создало крепостное право. «Да, именно истощенный волк, — думал я, со стороны рассматривая своего оригинального собеседника. — Старатель — это именно и есть истощенный волк, который хищником бродит по лесам, отыскивая свою добычу...»

— Говорят, у вас на Старом заводе много конокрадов развелось? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Да где их нет, мошенников!.. И наши старозаводские больно пошаливают.

— Тебе не случалось с ними дело иметь?

— Мне?.. Нет, раз побывал я в ихних руках. — Немного помолчав, старик заговорил: — Была у Василисы Мироновны буланая лошадка, рублей шестьдесят давана, — тогда еще на ассигнации считали, — вот эту лошад-

ку и стянули, да таково ловко, как в воду канула. Василиса Мироновна туда-сюда, ко мне, выручи... Думаю, дело мудреное, а пособить бабе надо, потому дело женское, необычное. Пошел по знакомым мужикам, толкнулся, — думаю, не пали ли слухи до них. «Нет, говорят, не знаем, а в Куляшево наведайся...» Подумал, подумал, сел на «Разбойника» да в Куляшево. А Куляшево, надо тебе сказать, чисто разбойничье гнездо, разбойник на разбойнике, разбойником понужает, того и гляди, середь белого дня зарежут... Приезжаю в Куляшево, к знакомому мужику: «Пособи, родимый, лошадка потерялась». — «Не знаю, говорит, ничего не знаю». У них у всех такая привычка: все «не знаю». А я думаю: «Врешь, негде быть лошади, окромя вас, долгоспинников». Мы их долгоспинниками зовем, потому все до единого так медведями и глядят, точно вот с берлоги сейчас подняли. Пожил я этак денька два в Куляшеве, а толку нет. Купил вина, угостил хозяина и говорю ему: «Скажи, говорю, дядя, где лошадь?» — «Да, ведь не твоя, говорит, о чем печалуешься?» — «Это уж, говорю, мое дело, а твое — скажи, где лошадь».

Посмотрел он на меня: «Так и быть, говорит, уважу по старой дружбе; ступай, говорит, к Тишке». Прихожу. «Ладно, говорит, знаю, где твоя лошадь, только, говорит, за труды мне четвертную». — «Ах ты, думаю, разбойник этакий», а делать нечего. «Бери, говорю, синенькую». Поторговались маненько и порешили на ней. Повел он меня во двор: «Ищи, говорит, лошадь, — она здесь». Я поглядел, походил, в конюшне стоит лошадь да не та, а больше негде ей быть. «Разе, говорю, под полом спрятана?» — «Нет, говорит, ищи». Смотрю, стоит амбарушка махонькая-размахонькая, в какой овец держат, — ну, и дверь проделана тоже махонькая. Я раньше поглядывал на эту дверку, да думаю, буланка — большая лошадь, а тут и овце едва пролезть. Смотрел, смотрел на меня Тишка, усмехнулся, толкнул дверь ногой. «Вот, говорит, твоя лошадь, получай». Я нагнулся, заглянул в клетушку: точно, буланка Василисы Мироновны стоит и сено жует. «Ах вы, разбойники, думаю, куда этакую лошадь затащили, а вот как, мол, вы ее оттедова добывать будете». Так они, подлецы, что сделали: взяли ее повалили, связали да из

хлева-то на катках и выкатили. Взял я эту самую буланку, да подобру-поздорову домой скорей, а этот еретик Тишка и говорит: «Напредки, говорит, не объезжайте мимо-то». — «Ладно, мол, добрый человек, как ни на есть, ежели доведется, так десять верст околицы мимо вашего проклятого гнезда». — «Хорошо, — говорит Тишка, — не больно закаявайся, — к нам и получше тебя ездят, — а то, говорит, мы шутить не любим».

Старик задумался, а потом улыбнулся и, подняв единственный глаз на меня, проговорил:

— А ведь эти долгоспинники тогда чуть-чуть меня не порешили...

— Это как?

— Самым простым манером, только «Разбойник» вынес, — не без гордости проговорил Савва Евстигнеич. — Как выручил я от Тишки лошадь, сейчас же и собрался в дорогу, а был уж час девятый на дворе, по летнему делу смеркаться начинало. Уговаривал было меня хозяин остаться переночевать, да уж больно было мне муторно глядеть-то на них, разбойников! «Не пришлось бы воротиться, — гово-

рит мне хозяин, — дорога-то больно плоха, своротов много». — «Нет, мол, видно не доведется воротиться, а дорогу, мол, лучше тебя знаем». Еду. Отъехал верст с пять — стемнело. Опустил поводья, думаю, «Разбойник» сам дорогу найдет, потому ночью видит, как все равно кошка, и по духу знает, куда ехать. Только задумался я этак маненечко, а дорога шла под гору, да такая скверная, только чертям ездить, — вдруг из стороны прямо к «Разбойнику» двое за повод хвать!.. «Ах вы, еретики этакие! — кричу им. — Что вы, кричу, окаянные, делаете? Я вот вам!» А у самого и оборонки-то никакой в те поры, как нарочно, не случилось... «Разбойник» сейчас на дыбы да одного ножкой — чук! — тот кубарем и скатился под гору, а сам вперед. Только гора крутая-прекрутая, и ходу нам, окромя шагу, нет, да и то гляди в оба, шею как бы не сломать. Спустились мы этаким манером в лог, — глубокий такой лог, — опять из стороны кто-то как хлопнется под ноги «Разбойнику». Другая бы лошадь десять раз сбросила, а «Разбойник» только перескочил и опять вперед. Думаю, дело плохо, — пожалуй, ни за грош поре-

шат. Пригнулся я к самой шее «Разбойника» и думаю: «Ну, теперь сослужи мне службу, вынеси, — озолочу». Только стали подниматься в гору, опять на дорогу: хлоп! — опять «Разбойник» перескочил, а я слышу, начинает лошадь сердиться, храпит, дрожит. Только бы, думаю, на гору подняться, а там поминай как звали! А они, еретики, догадливы были: как только стал я подъезжать наверх-то, слышу, точно в стороне опять что-то потрескивает, а сам лежу на «Разбойнике», прильнул, сердце так и бьется. Вдруг поперек дороги двое на лошадях: значит — ни взад, ни вперед. Делать нечего, сотворил про себя молитву, погладил «Разбойника» по шее, а сам по-разбойничьи на один бок свесился да как свистну. «Разбойник» — вперед, да и полетел, что твой ветер, а они нам вдогонку давай палить. Так ты не поверишь, эти двадцать верст до Старого завода мы сделали в полчаса, даже меньше, чем в полчаса. Погнались было за нами, да на двух верстах отстали. Приехали мы домой целы и невредимы и буланку привели. Привязал я «Разбойника» к столбу, — весь в мыле, сердечный, — снял шапку да в ноги ему, ей-богу, так

и повалился в ноги. «Спасибо, говорю, сослужил ты мне службу верой и правдой! По конец жизни буду помнить твою службу!»

Старик замолчал и, низко свесив голову, о чем-то задумался; вероятно, пред ним протянулись другие воспоминания долгой, полной приключениями жизни. Он в теперешней своей позе так и просился на картину: ворот красной рубахи был расстегнут и открывал могучую, обросшую волосами, грудь; загорелая широкая шея точно была отлита из бронзы; седая окладистая борода и седые брови несколько смягчали эту ничем не сокрушимую силу в образе человеческом. Старик долго и сосредоточенно смотрел своим одиноким глазом, пока я не прервал этого молчания вопросом, где он достал свою лошадь.

— Это было лет семь тому назад, — заговорил старик, — я тогда с гуртовщиками ходил в степи. Гнали из-под Семипалатинска косяков пять лошадей в Старый завод на ярмарку. Дело было на полдороге. Стали нас больно обижать кыргызы, все ладили отбить лошадей, да не удавалось... Больно уж один надоел: и день и ночь так и вертится у нас в гла-

зах. Мы уж думали, что это дьявол, а не человек, потому то назади нас, то впереди, и не о дву-конь, а все на одной гнеденькой лошаденке, как бес перед заутреней, вертится... Уж мы его ловить пытались, пытались, — куда тебе! Гикнет по-ихнему, да как сквозь землю и провалится... Ищи его по степи-то. Скорее ветер догонишь, чем его, окаянного... А хозяин над нами потешается: «Куда-де вам, вахлакам, кыргыза ловить». И так это мне обидно стало, что даже ночью, проклятый, снился, а под конец я из-за него и пищи-то лишился: есть не могу, спать не могу, тоска напала, и все думаю о лошади, каким бы ни на есть манером добыть ее из-под кыргыза.

Старик замолчал, а потом совершенно другим тоном добавил:

— А ведь я этого самого кыргыза пристрелил...

Я долго рассматривал выражение лица Саввы Евстигнеича: хоть бы малейшая тень, хоть бы одна морщинка, — нет, такое же доброе, хорошее выражение на лице, как ночью, когда старик рассказывал Василисе Мироновне о котятах.

— Тебе не жаль его?

— Кого это?

— Ну, да киргиза, которого...

— Которого я убил?.. Да чего мне его жалеть-то? — с удивлением заговорил старик.

— Как чего жалеть?.. Да ведь он — человек?

— Ну, уж это ты, барин, напрасно, — заговорил старик, обидевшись и с некоторым сожалением глядя на меня. — Какой же он человек? Я лошадь пожалею, собаку пожалею, потому они хозяина знают и добро помнят, а кыргыз — што? Кыргыз — нехристь, погань, значит, туда ему и дорога!.. Они нашего брата не больно жалеют... В степи-то один бог да Никола, — твори, чего хочешь!

Я несколько успокоился, потому что подобное рассуждение походило хоть немного на логику, но расспрашивать дальше об обстоятельствах, сопровождавших приобретение лошади, я не имел желания.

Солнце начинало уже клониться к горизонту, зной летнего дня заметно спадал, — значит, пора было отправляться в дорогу. Еще раз расспросив старика подробно о дороге, я

начал с ним прощаться.

— Погоди, востроногой! — послышался из балагана голос Василисы Мироновны. — Опять, пожалуй, заплутаешься... Нам с Калинычем тоже пора отправляться, — дойдешь с нами до поворота на Момыниху, а там уж слепой выйдет.

Мне пришлось только согласиться на это приглашение.

Лошади были скоро оседланы, и, простившись со стариком, мы втроем двинулись в путь. Балаган со стариком и мальчиком скрылся из наших глаз на первом повороте едва заметной лесной тропинки, по которой мы взяли наш курс. Василиса Мироновна ехала настоящею амазонкой на своей буланке, — вероятно, той самой, о которой рассказывал старик. Сидела она в высоком киргизском седле по-мужски, молодцом, хоть это и не совсем гармонировало с ее кубовым сарафаном и темным платком на голове. Калин Калиныч, видимо, никогда не ездил верхом и сидел на своей убогой сивенькой лошадке как мешок, набитый травой. Василиса Мироновна ехала впереди, я старался держаться с нею

наравне, а Калин Калиныч замыкал эту торжественную процессию.

— Вы куда же это едете, Василиса Мироновна? — спросил я свою спутницу.

— А тут есть в горах одна могилка, старца Антония, так вот мы туда едем.

— Зачем?

— А на поклонение, — весело отвечала Василиса Мироновна. — Там наших об эту пору, под Петров день, видимо-невидимо собирается, тыщев до трех.

Всю дорогу до Момынихи мы проболтали самым веселым образом, так как у нас нашлось очень много общих знакомых. Калин Калиныч иногда вмешивался в наш разговор, но больше молчал, потел, вздыхал, кашлял, постоянно утирался своим платком с изображением сражения, сморкался прямо в физиономию какому-то сердитому генералу и не пропускал случая в приличных местах посмеяться дребезжавшим, с проскакивавшими детскими нотками смехом.

— Вот и Момыниха! — заговорила Василиса Мироновна, когда наша тропинка начала огибать какую-то гору и направо отделила

другую дорожку. — Вот ступай направо, — прямо на Момыниху и выйдешь.

— Спасибо, Василиса Мироновна! Прощайте.

— Ладно, не поминай лихом, а когда будешь в Старом заводе, не проходи мимо моей-то избушки! — весело прощалась со мной Василиса Мироновна.

Я свернул на новую тропинку, а моя мужественная спутница продолжала путь в сопровождении своего мешковатого рыцаря. Я остановился и долго провожал глазами эту странную пару, пока она не скрылась в лесу, смешанном из елей, сосен и берез.

VII

Старый завод облепил своими бревенчатыми домиками подножие двух высоких гор, которыми заканчивалось одно из бесчисленных разветвлений восточного склона Уральских гор. Небольшая, но очень богатая водой река Старица образует между этими горами очень красивый пруд, уходящий своим верховьем верст за пятнадцать, внутрь Уральских гор, занимая глубокую горную долину, обставленную по бокам довольно высокими горами и дремучим лесом. Около этого пруда столпились главным образом заводские домики, точно все они сейчас только вышли из воды и не успели еще вытянуться в длинные и широкие улицы.

Эти скучившиеся по берегу пруда домики, собственно, и составляли ядро Старого завода, около которого постепенно отлагались позднейшие наслоения построек, образовавшие уже правильные длинные улицы, пока крайние домики не уперлись совсем в линию синевшего невдалеке леса, а другие совсем вползли на гору, точно их вскинуло туда ка-

кою-нибудь сильною волной.

Издали вид на Старый завод очень красив: зелень леса, синева неба, пестрота строений — все это смешивается в оригинальную картину, которая целиком отражается на блестящей поверхности пруда, особенно рано утром, когда еще ни одна волна не поднята ветром и вдали пруд подернут туманною дымкой. Одна из гор, у подножия которых раскинулся Старый завод, стоит еще наполовину в лесу, от которого на самой горе остался лишь небольшой гребень; эта гора составляет главную силу и источник богатства Старого завода, потому что почти вся состоит из богатейшей железной руды.

В настоящее время знаменитая гора представляет из себя что-то вроде громадной цитадели с полуразрушенными бастионами и высоким желтым валом кругом. Под горой стоит несколько высоких труб, вечно дымящихся и по ночам выбрасывающих целые снопы ярких искр: это — преддверие знаменитого рудника, бесчисленными галереями раскинувшегося под землей, на глубине восьмидесяти сажен, точно нора какого-то под-

земного чудовища. Длинная плотина соединяет обе горы; к ней прислонилась громадная фабрика со множеством черных высоких труб, пять доменных печей и несколько отдельных заводских корпусов, издали смахивающих на казармы. Несколько глубоких и длинных сливов проводят воду из пруда на фабрику, где, повернув бесчисленное множество колес, шестерен и валов, эта живая сила природы, наконец, вырывается из железной пасти чудовища и с глухим рокотом катится далее, разливаясь в зеленых берегах и принимая прежнее название Старицы.

Мне несколько раз случалось бывать на Старом заводе, и всякий раз меня преследовала мысль о том будущем, которое должно определиться для его населения, о тех рамках, в которые должна будет вылиться его жизнь с отменой крепостного права, введением новых судов, земских учреждений, народного образования и другими условиями новой жизни. Процесс Гвоздева и Печенкина обещал раскрыть много интересных бытовых сторон в жизни Старого завода, поэтому я, закинув маленькое заделье, воспользовался

удобным случаем еще раз побывать в нем.

Мне пришлось остановиться в небольшой гостинице с номерами для приезжающих. Эта гостиница носила многозначительное название «Магнит» и составляла часть заводского клуба, в котором по вечерам играла плохонькая музыка; под нее местная публика танцевала, а главным образом — коротала свое время около буфета и за зеленым полем, на котором процветал в полной силе знаменитый сибирский вист с винтом и даже с каким-то «перевинтом». Это скромное времяпрепровождение нарушалось только более или менее сильными скандалами. Героями их периодически бывали то золотопромышленник Печенкин, то мировой судья Федя Заверткин. При магическом посредничестве общего миротворца Пальцева эти скандалы обыкновенно кончались ничем, скоро совсем забывались и тонули в общей скуке монотонной заводской жизни.

Мой номер выходил одним окном в сад, упиравшийся тенистыми аллеями прямо в пруд; из другого окна я мог сколько душе угодно любоваться видом Нагорной улицы,

проходившей под самыми окнами «Магнита». Наведя справки, я узнал, что процесс Гвоздева отложен еще на несколько дней, — значит, оставалось или сидеть в своем номере и плевать в потолок, или идти в общую залу «Магнита», он же и заводский клуб, или отыскивать кого-нибудь из старых знакомых. Мой сосед по номеру, какой-то свидетель по делу Гвоздева, с первых же часов моего пребывания в «Магните» сделался моим явным врагом, так как имел прескверную привычку так громко сморкаться, чихать, вздыхать и охать, что хоть бери другой номер или беги на улицу. Я выбрал последнее, вспомнив Калина Калиныча, навестить которого теперь выпал такой удобный случай. Адреса Калина Калиныча у меня не было, но я кстати вспомнил его рассказ о строившейся под его надзором новой церкви и решил идти туда.

Нагорная улица одним концом своим подходила к самому пруду, образуя большой рынок, по-заводски — «базар». Отсюда я увидел на противоположной стороне пруда, на небольшом возвышении, строящуюся церковь, покрытую доверху лесами, по которым,

как муравьи, ползли рабочие взад и вперед. Пройдя длинную заводскую плотину и миновав громадную площадь, с угольными валами и бесконечными поленницами дров, я начал подыматься к возвышению, на котором строилась церковь. За паутиной лесов трудно было разглядеть все детали этого храма свободы, но по форме уже выведенного купола и по фигуре высокой колокольни можно было вперед сказать, что это была церковь самой обыкновенной формы неуклюжего корабля, по образцу которой выстроены почти все храмы по широкому лицу земли русской и дальше которой не поднимались мечты Калина Калиныча и о. Нектария. Войдя в черту дощатой ограды, я спросил первого попавшегося рабочего, где мне найти Калина Калиныча.

— Он в кунполе, — бойко отвечал разбитной вятский каменщик.

Пришлось подниматься по сколоченным на живую нитку переходам в самый «кунпол», но делать нечего, — не идти же назад в «Магнит», чтобы снова слушать сморкание и кашель моего врага-соседа. Благополучно минуя первый этаж церкви и осторожно обойдя

попадавшихся рабочих с тяжелыми ношами кирпича, извести и песку, я, наконец, добрался до «кунпола», где действительно и нашел Калина Калиныча. Старик обрадовался мне, как родному, и чуть не бросился меня обнимать, так что я даже был смущен до некоторой степени детскою радостью этого «простеца».

— Ах, батюшка, да как же это вы-с, можно сказать, вот досюда... уважили-с!.. — говорил Калин Калиныч, указывая своей коротенькой ручкой на свою шею, обмотанную шарфом, хотя стояли еще последние числа августа и было очень тепло. — Вот-с, господь привел, и кунпол вывели по грехам нашим-с... Изволите видеть, какая махинища-с!..

Я похвалил постройку. Старик как-то растерялся и смущенно залепетал:

— Да, да-с, все ругают-с, все подсчитывают-с, а вы — посторонний-с... И отец Нектарий говорили недавно, чтобы как ни на есть еще потерпеть, потому дело к концу подходит... Не для себя трудимся, да-с... А я сейчас домой собрался, — вот и отлично-с... Мы и чайку попьем и покалякаем-с! Очинно вами

благодарен, что не забыли старика...

Я присел на доску и просил Калина Калиныча не торопиться; но старику не сиделось на месте: он пропал на несколько времени в амбразуре громадного окна, кубарем покатился по лесам вниз, через минуту снова спускался уже откуда-то сверху, по доске, гнувшейся под его тяжестью.

— Как можно-с, как можно-с? — бормотал старик, засовывая в карман засаленную тетрадку. — И днюем, и ночуем здесь... Как же можно-с: бывает и свинье праздник, можно сказать-с... Как же не торопиться-с!..

Через четверть часа мы уже шли по одной из широких заводских улиц по направлению к руднику. Калин Калиныч не переставал говорить всю дорогу, по временам забегая немного вперед и заглядывая мне в глаза.

— А вы к нам на дело Гвоздева-с? — спрашивал он, усиленно семеня своими коротенькими ножками. — Преказусное дело-с... Одних свидетелей человек полсотни вызвали, адвоката из столицы выписали-с... Какой-то Праведный... Ей-богу-с! Фамилия такая-с: Праведный...

С грохотом прокатившаяся мимо пролетка заставила Калина Калиныча снять свой картуз и низко поклониться; я едва успел рассмотреть плотного седого старика с вросшею толстой головой в плечи и высокого, красивого мужчину лет под пятьдесят с кудрявыми волосами. Отличная серая, в яблоках, лошадь неслась вихрем, и пролетка на лежачих рессорах скоро скрылась из вида.

— Знаете, кто это проехал? — спрашивал Калин Калиныч. — Это Евдоким Игнатьич-с...

— Печенкин?

— Да-с, они самые-с... А с ними Хряпин.

— Это тот Хряпин, из-за которого вышло дело?

— Они самые-с... Только они теперь служат у Евдокима Игнатьича-с и вместе по свидетелям объезжают, значит. А вот мы и дома-с... Милости просим!..

VIII

Мы остановились у небольшого деревянного домика в три окна. Калин Калиныч отворил калитку и вежливо пропустил меня, как гостя, вперед. Небольшой запущенный двор, с старыми службами назади, не представлял ничего привлекательного; везде сор и «мерзость запустения». Выскочила какая-то хромая собака, повиляла хвостом, посмотрела на нас слезившимися глазами и побежала обратно, под старое крыльцо. Одно окно избушки выходило на двор и было отворено; из него доносились треньканье гитары и женский контральто, напевавший балладу Гете:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит...

Калин Калиныч успел уже взбежать по покосившимся ступенькам своего ветхого крылечка и, приотворив двери в темные сени, ждал меня с сияющей улыбкой. Заметив мой вопросительный взгляд, он поспешил меня

успокоить:

— Это Евмения моя балуется-с! Уж извините-с!..

Нагнувшись, мы вошли в низкую, но довольно светлую комнату, разделенную тонкою перегородкой на две половины. Стены были оклеены дешевенькими обоями; мебель была сборная; на стенах висели лубочные генералы и архиереи, сердито оглядывавшие друг друга; в переднем углу стоял деревянный простой стол; над ним чернели старинные образа и слабо теплилась лампада. На небольшом диванчике, стоявшем у перегородки, лежала с гитарой в руках белокурая девушка. Она даже не повернула головы, когда мы вошли в комнату.

— Вот, Венушка, господь гостя нам прислал-с, — заговорил старик, рекомендуя меня. — Да встань же, Венушка, так нехорошо-с...

Евмения медленно поднялась с своего дивана, несколько раз потянулась, так что у ней хрустнули пальцы, и, кивнув мне головой, как старому знакомому, скрылась за свою перегородку. Одета эта странная девушка была

в черное платье, которое облегало ее сухую, невысокую фигурку тощими складками и совсем печально болталось около ног, потому что ношение юбок Евмения считала положительным предрассудком. Слегка подстриженные волосы и широкий кожаный монашеский пояс, перехватывавший довольно тонкую талию Евмении, довершали портрет учительницы, обладавшей «необнакновенным карахтером».

— А уж вы извините-с меня, старика, — вкрадчиво заговорил Калин Калиныч, пожимая мою руку. — Я оставлю вас на минутку-с, всего на одну минутку-с!.. Наставить самоварчик надо-с... Уж вы извините за наше убожество-с! Венушка, а ты занимай гостя-с, пока я в сенцах самовар наставлю.

— Вот это мило! — послышался из-за перегородки голос Евмении. — Что я тебе за говорильная машина, которую только завести, она и пойдет молоть... Ты привел гостя, так и занимай сам.

— А это ты напрасно такие слова выражаешь, Венушка, — мягко отвечал старик и, подмигнув мне, прибавил: — Они ведь петер-

бургские-с, образованные-с...

Сняв небольшой медный самовар с печи и не переставая улыбаться и подмигивать мне, старик вышел из комнаты. В дверях перегородки появилась Евмения и пытливо, даже нахально, посмотрела мне прямо в глаза.

— Так вы действительно из Петербурга? Были студентом? — спрашивала она, продолжая глядеть в упор, а когда я ответил на ее вопрос утвердительно, прибавила: — Идите сюда, в мою комнату, — здесь удобнее.

Я повиновался и, сделав три шага, очутился в крошечной комнатке в одно окно. У наружной стены стояла небольшая железная кроватка, прикрытая белым, безупречной чистоты покрывалом; подле окна помещался письменный стол, заваленный какими-то бумагами, книгами и фотографиями разных знаменитостей политики и литературы. Над кроватью висела этажерка, туго набитая книгами; на полу лежал тоненький ковер, сильно истерзанный «зубами времени». В этой комнате было всего два стула, из которых на один Евмения села сама, а на другой указала мне. Я только теперь хорошенько рассмотрел

лицо девушки, на котором резко выделялись большие темно-серые глаза и широкий рот с чувственными губами, сложенными самой природой в какую-то вызывающую улыбку. Само по себе лицо Евмении не было ни особенно красиво, ни особенно безобразно, но в нем чувствовалось что-то особенное, оригинальное, что трудно было определить с первого раза. Это особенное выражение лежало на лице легкой, едва заметною тенью; а когда Евмения улыбалась, оно переходило в злобную и язвительную улыбку, открывая два ряда блестящих зубов и зажигая глаза зловещим огоньком.

— Венушка, Венушка! — послышался голос Калина Калиныча. — Где у нас угли-то стоят?.. Уф!.. Совсем задохся с этим самоваром, раздувал, раздувал...

— Ах, отстань, пожалуйста: надоел! — сдвинув густые брови, проговорила Евмения. — Гостеприимство одолело, а толку нет самовара поставить.

— Вот как ты отвечаешь отцу-то! — заговорил Калин Калиныч, выставляя из-за перегородки свою круглую, как арбуз, голову. — А

разе барышни принимают гостей в спальнях?.. Разе это порядок?

— У меня кабинет, а не спальня! — резко отвечала Евмения. — Ты вот ступай к самовару-то, — лучше будет.

Голова Калина Калиныча исчезла, а Евмения закатилась неудержимым смехом, откинувшись на спинку стула и вздрагивая всем своим маленьким телом. Нахохотавшись до слез и закусив нижнюю губу, она несколько времени смотрела на конец своей ботинки, а потом заговорила:

— Вот подите, растолкуйте старику, что я совсем не барышня и совсем не нуждаюсь в соответствующем этикете. Ха-ха-ха!.. Вы не знаете, над чем я так глупо хохочу? Есть здесь один мировой судья, Заверткин, да еще судебный следователь, какой-то хохол шести футов роста и глупый, как индюк... Вот эта почтенная компания и ввались в одно прекрасное утро в нашу избушку в гости... Дело было вечером, гости засиделись и порешили даже остаться у нас совсем... Конечно, пьяные были, лыка не вязали, — следовало бы просто выпроводить их в шею, и делу конец! Так

нужно было видеть моего папеньку, как он защищал меня... Ха-ха-ха... Этот шестифутовый хохол завалился на мою постель и заснул... Что делать? Я, конечно, сейчас же ушла к подруге и провела там ночь, а папенька — в слезы: главное, что скажут про нас, что у нас Заверткин с хохлом выспались... Вот подите со стариком, с этим воплощением всевозможных предрассудков! Точно и без того не скажут, и точно я нуждаюсь в том, что будут обо мне говорить...

Пока Калин Калиныч возился около самовара, Евмения успела закидать меня тысячью вопросов, на которые я едва успевал отвечать. Этот разговор вертелся главным образом около Петербурга и студентов, этих двух магических слов, при одном звуке которых у Евмении загорались глаза каждый раз, и она начинала тяжело дышать.

— Хоть бы одним глазком посмотреть, как люди-то живут на свете, — говорила она, ломая пальцы. — А то все равно сгниешь здесь заживо... Как маятник, ходишь из дому в школу, из школы домой. Ведь есть же счастливцы, которые могут жить иначе! Я иногда про-

сто схожу с ума от тоски и злости, а время бежит...

Я с своей стороны поспешил разочаровать Евмению в ее розовых взглядах на петербургскую жизнь; но мои слова были горохом к стене, — Евмения недоверчиво качала головой.

— Нет, нет, это неправда! — заговорила она, раскачивая ногой. — Ведь сюда каждое лето приезжают студенты, и вот когда бывает весело-то... А как на нас здешние дамы злятся, что мы, учительницы, отбиваем у них студентов, — кажется, разорвали бы нас! Ездим в горы, катаемся на лодках, танцуем по восьми часов сряду... Даже жаль вспомнить. Спектакли любительские устраиваем...

Заговорив о театре, Евмения вдруг притихла и замолчала, точно ей было больно говорить об этом предмете. Оживленный разговор вдруг прервался, и девушка, пытливо взглянув на меня, проговорила:

— Вот я болтаю с вами всякий вздор, а вы, наверно, думаете: «Вот еще, в Петербург захотела!..» Ведь думаете, да?.. Я и сама иногда также думаю и даже плачу со злости.

— А вот и поспел-с, кипит-с! — докладывал Калин Калиныч, подавая самовар на стол. — Венушка, ты что же посуду-то не приготовила?.. Ах ты, юла этакая, все у тебя одни разговоры на уме-то да разные пустяки-с!

Евмения встала с своего места и, напевая какую-то бойкую песенку себе под нос, начала доставать чайную посуду из маленького шкафчика. Калин Калиныч был, кажется, особенно в духе и говорил без умолку, только в его разговоре совсем не встречались имена Саввы Евстигнеича и Василисы Мироновны, и он совсем не упоминал о нашей встрече на Балагурихе; зато имя о. Нектария не сходило с языка и служило для старика в одно и то же время и авторитетом, и средством доказательства, и каким-то всевидящим оком. Я понял, что жизнь Калина Калиныча текла именно между этими полюсами — о. Нектарием, с одной стороны, и Василисой Мироновной — с другой.

— А ведь меня притянули в свидетели-с! — говорил Калин Калиныч, добродушно улыбаясь и поглаживая одною рукой свое круглое колено. — Для счету, надо полагать... Гвоздев

говорит: «Я представлю десять человек свидетелей», а Печенкин: «А я пятнадцать»; Гвоздев: «Двадцать человек», а Печенкин: «А я тридцать...» Так до полсотни человек и добились-с!.. О-о-хо-хо! Согрешили мы, грешные, перед господом богом-с! Истинно сказать, согрешили... Последние времена пришли: сын восстает на отца, брат на брата. Да вот хоть мое дело: я — свидетель со стороны Гвоздева, а Венушка — за Печенкина-с... Вот до чего дожили!.. Она будет одно говорить, а я должен говорить другое.

Калин Калиныч тяжело вздохнул и, налив чаю на блюдечко, припал к нему всею физиономией, точно хотел залить в себе горячим кипятком всякое сокрушение сердечное. Было что-то трогательно умилительное в этом человеке, — так сильно он отличался от всего остального мира по своей кротости и полному отсутствию «хватательных и достигательных инстинктов», как выражался один мой хороший знакомый. Как-то хорошо чувствовалось, сидя рядом с ним и слушая его бесконечную болтовню. Крохотная комнатка, добродушное ворчание самовара на столе и Ка-

лин Калиныч с его тяжелыми вздохами и отдуванием пара с блюдечка — все это приводило мысль в идиллическое настроение, которое портила только Евмения: время от времени она начинала бегать из угла в угол и фукала как-то носом, точно кошка.

— А Гвоздев чем занимался раньше? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Я Аристарх Прохорыча еще вот эконьким мальчиком помню-с, — заговорил Калин Калиныч, продолжая в одной руке держать на растопыренных пальцах блюдечко с чаем, а другой отряхивая в него крошки сахара после каждого угрызения маленького кусочка. — Он в мальчиках жил у одного купца-с, так его и звали Аристашкой-с, ей-богу-с!.. Смышленый был мальчик-с... Потом он был приказчиком у другого купца, торговал красным товаром-с, а потом бросил это занятие и в кабак сел сидельцем... На моих глазах все это было-с! Только все это было до воли; а как дали нам волю, тут Аристашка-с и пошел в гору-с, — да так пошел, что всех за пояс заткнул. Теперь их, можно сказать, рукой не достанешь; а уж если они чего захотят, конечно,

будет по-ихнему, — весь свет произойдут насквозь! Тогда полицию сменили всю, это по делу Печенкина с Хряпиным, а легкое ли это дело — сами, чай, знаете.

Я уж рассказывал вам, что они на золотых приисках нажились, Аристарх-то Прохорыч, — продолжал Калин Калиныч. — А теперь они это занятие совсем бросили, потому хлопот очинно много; водкой не в пример способнее заниматься, потому — прибыль большая-с... Теперь возьмите один Старый завод: на нем одном что этой водки выйдет; а на других заводах, на приисках... И все Аристарх Прохорыч орудуют, все в ихних руках! Пятьдесят тысяч в месяц, говорят, одного акциза уплачивают... И тонко свое дело знают, потому как сами в заведении сидели и всю эту механику в тонкость произошли. Теперь у нас в заводах хоть взять: заработки большие, — другой в одну выписку, это в две недели, рублей сорок заработает, особливо мастера на катальной, в огненной работе, в горе, — так как же тут не пить?.. И пьют-с, очинно пьют! Парнишки в пятнадцать лет — и те пьют. А про рудники и говорить нечего: там

что заработают, то и пропьют, — такое уж обнакновение-с, потому совсем избаловался народ!.. А Аристарх Прохорычу все это на руку-с... Ах, батюшки, да никак они это сами приехали-с!.. Вот легки на помине-с, — залепетал старик, подбегая к окну. — Так и есть-с... И Праведный с ними-с... Венушка, Венушка!.. Ах, батюшки, вот пожаловали неожиданно!.. Венушка, Венушка!..

IX

Старик без шапки выбежал на улицу, где остановилась пара наотлет. Из легкой колясочки быстро соскочил мужчина среднего роста с длинною бородой, лет сорока пяти, и вежливо посторонился, давая дорогу громадного роста господину в шелковом цилиндре и золотых очках, еще очень молодому, но чрезвычайно тучному; он едва вылезал из коляски, которая только гнулась и трещала под этим десятипудовым бременем. Первый был сам Гвоздев, а второй, как я начинал догадываться, вероятно, г. Праведный.

— Вот нелегкая несет! Чистая свинья этот Праведный, — ворчала Евмения, нервно ло-

мая пальцы и сдвигая брови.

— Пожалуйте-с, сюда-с!.. Тут потолок-с, Аристарх Прохор... Ах, пожалуйста, нагнитесь сильнее, господин Праведный!.. Не знаю, как вас по имени и отчеству назвать-с, — лепетал Калин Калиныч, отворив дверь пред гостями и почтительно пятясь у них под самым носом.

— Марк Киприяныч, — пробасил г. Праведный, заглядывая в дверь и точно не решаясь войти в избушку.

— Вот и отлично-с. У меня дядю с матерней стороны тоже Марком звали-с. Только он, царство ему небесное, сильно зашибал-с водкой-с... Вы, Марк Киприяныч, вот о полати головкой не стукнитесь... Все собираюсь их как-нибудь убрать-с...

— Ну, здравствуйте, дядюшка! — здоровался Гвоздев с Калин Калинычем и искоса взглядывал в мою сторону.

— Мы, кажется, знакомы? — заговорил Гвоздев своим вкрадчивым, мягким тенором, протягивая мне руку. — Если не ошибаюсь, я имел честь принимать вас в своем доме?

В последний раз я видел Гвоздева лет пять

назад, и за эти пять лет он, кажется, нисколько не изменился, по крайней мере не постарел ни на волос, а даже, пожалуй, помолодел и выглядел свежее, только волоса на верхушке головы значительно поредели и образовали довольно почтенную лысину. Широкое лицо Гвоздева, с окладистой длинною бородой, с выдававшимися скулами и широким носом, принадлежало к тому типу русских лиц, которые Островский в одной из своих комедий называет «опойковыми» и «суздальского письма»; но в этом лице была одна резкая особенность: густые сросшиеся брови и глубоко ввалившиеся небольшие глаза горели напряженно и болезненно и придавали физиономии какой-то неприятный оттенок отчаянной решимости. По своей небольшой фигуре Гвоздев был очень приличен и даже изящен и уж совсем не походил на сидельца, а плавные, мягкие движения придавали ему какое-то особенное чувство собственного достоинства. Когда он начинал говорить, то совсем опускал глаза и старался подвинуться к вам как можно ближе. Эта кошачья вкрадчивая манера и особенно плавные мягкие движения вну-

шали невольное чувство инстинктивного отвращения, точно он все подкрадывался и выжидал только удобного момента, чтобы запустить в вас когти.

— Мой поверенный! — коротко отрекомендовал Гвоздев своего адвоката, который только засопел тяжело носом и вопросительно, нагло навел на меня свои навыкате серые глаза; оплывшая, неестественно красная физиономия г. Праведного не обещала ничего доброго, и на ней была отпечатана невозможная смесь какого-то странного добродушия и невообразимого нахальства.

— Кандидат прав, Марк Праведный, — рекомендовался защитник Гвоздева, протягивая мне свою медвежью лапищу, впору любому бурлаку.

За перегородкой послышалось сдержанное хихиканье, заставившее Калина Калиныча вспотеть лишний раз; но Гвоздев поспешил вывести старика из неловкого положения, проговорив с мягкою улыбкой:

— А где же, дядюшка, моя сестричка?

— На что вам меня? — отозвалась из-за перегородки Евмения.

— Да вот, Марк Киприяныч желают с вами, сестричка, непременно познакомиться...

— А вы в адвокатах, что ли, у Марка Киприяныча? Я полагаю, что у господина Праведного и свой язык есть.

Калин Калиныч лукаво и многозначительно подмигнул мне: дескать, послушайте-ка, какие дерзкие слова Венушка умеет говорить.

— Марк Киприяныч непременно желает видеть вас, сестричка, — продолжал Гвоздев, на носках подходя к самой перегородке.

— А если я не желаю видеть господина Неправедного? — бойко отвечала Евмения, и за перегородкой послышался ее вызывающе сдержанный смех.

— Силой милому не быть, Евмения Калиновна, — добродушно забасил Праведный, стараясь тоже заглянуть за перегородку.

— Вы исповедовать опять меня приехали, так я же вперед вам говорю, что ничего вам не скажу: ничего, ничего, ничего!.. Понимаете? У вас есть свой свидетель, так и целуйтесь с ним...

Калин Калиныч благочестиво сложил губы ижицей и покачал своей круглой головой на

манер тех фарфоровых китайцев, которых выставляют на окнах чайных магазинов.

— Да мы совсем не по этому делу приехали, сестричка, — уверял Гвоздев, балансируя на своих коротких ножках.

— Я вам такая же сестричка, как ваш Неправедный мне братец, — заговорила Евмения, выскакивая, наконец, из своей засады.

— Имею честь представиться: кандидат прав Марк Праведный! — рекомендовался защитник Гвоздева.

— Ах, довольно, довольно! — говорила девушка, задыхаясь от душившего ее смеха. — Где вы, Аристарх Прохорыч, отыскали такое чудище?

— Из Москвы-с, нарочно выписал, чтобы вам показать, — проговорил Гвоздев с самой утонченной вежливостью, не выпуская руки Евмении. — Даже привез его к вам в дом...

Пока Калин Калиныч суетился около самовара, Праведный без церемонии подвинул стул к Евмении на такое близкое расстояние, что задевал ее своим толстым, как у слона, коленом; а Гвоздев опять обратился ко мне:

— А вы, вероятно, приехали на суд, да?.. Слушать, как будут меня судить?..

Тяжело вздохнув и опустив глаза, он заговорил взволнованным голосом:

— Да, да, вот до чего дожил, до какого позора! А все из-за чего? Из-за того, что хотел помочь человеку: тонул — топор сулил, а вытащил — топорища жаль... А я думаю так, — заговорил еще тише Гвоздев, придвигаясь ко мне ближе, — я думаю так: отчего же и не претерпеть за правду? Ведь вот будет суд, будут свидетели, — все будет видно как на ладони, всю подноготную выворотят; а если я ни в чем не виноват, кому будет стыдно, как вы полагаете?.. И я совсем не жалуюсь на Евдокима Игнатьича, потому что он, можно так выразиться, действует совсем в ослеплении... Что же? — я не ропщу, я даже рад, что все это дело дойдет до суда и мне дадут законную возможность восстановить свое доброе имя... Ведь они какие слухи про меня распускают, стыдно слушать... Ведь можно, конечно, обмануть одного человека, двух, наконец, трех, а ведь тут будет пятьдесят человек одних свидетелей, — им всем не заткнешь рта. А суд?..

Тут одних юристов человек пятнадцать будет, — все разберут. Все люди образованные, развитые, законы знают, как свои пять пальцев, — от них не увернешься... Это не то, что наш брат мужик, человек темный: куда ведут, туда и идешь, — что сказали, тому и веришь. Не так ли, дядюшка?

— А ведь действительно-с, Аристарх Прохорыч, — умиленно согласился старик, с каким-то благоговением заглядывая в рот «племянничка», откуда вылетали слова самой мудрости. — Я так полагаю-с, по своему глупому разуму, что Евдоким Игнатьич действительно обижают вас в ослеплении-с...

— Да еще как, дядюшка!.. Вы сами посудите, какую я теперь муку принимаю из-за каких-нибудь тридцати тысяч... Это из-за своего-то капитала я должен мучиться все равно как в аду... Ну, есть ли тут какой-нибудь смысл, дядюшка?

— Истинная ваша правда-с, Аристарх Прохорыч, — говорил со смирением Калин Калиныч, который в присутствии Гвоздева чувствовал себя, кажется, совсем уничтоженным. — А вот чайку-с, Аристарх Прохорыч?

— Отчего же, можно и чайку, дядюшка, — соглашался Гвоздев.

Праведный во время нашего разговора, кажется, успел обделать в исправности все, за чем приезжал, — по крайней мере по смущенному лицу Евмении и по ее опущенным глазам можно было прочитать довольно ясно: «Я — ваша; делайте со мной, что хотите». Разговор с Праведным, приправленный пикантными анекдотами и bon mot[63], привел Евмению в какое-то опьянение, от которого она не могла проснуться; время от времени она вся вздрагивала и заливалась своим неудержимым заразительным смехом, делая Праведному глазки. Калин Калиныч одним ухом тоже вслушивался в этот разговор и пришел от него в такой восторг, что, кажется, совсем позабыл о том, что его Евмения — барышня и что она сидит чуть не на коленях у Праведного. Старик усердно утирал платком свое вспотевшее лицо и, задыхаясь от смеха, шептал одну и ту же фразу: «Вот, можно сказать, уморили-с, с первого разу уморили-с!»

— Марк Киприяныч, стаканчик чайку-с? — предлагал старик.

Праведный вместо ответа продекламировал из «Коробейников» Некрасова четверостишие:

Ах ты, зелие кабашное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное!
Бродим сами не свои.

— И впрямь: бродим сами не свои, — согласился Калин Калиныч. — Откуда это вы, Марк Киприяныч, так складно говорить только научились?

— Ученье — свет, почтеннейший Калин Калиныч! — скромно отвечал Праведный, полузакрывая свои бесстыжие глаза.

— Стаканчик чайку-с прикажете-с?

— Отчего же и не побаловаться китайской травкой, почтеннейший Калин Калиныч! Благодарствуйте.

— И вы будете уверять меня, что были студентом? — спрашивала Евмения Праведного, кокетливо улыбаясь и делая глазки.

— Даже самым убогим студентом был, — уверял Праведный, выпивая уже второй стакан с замечательным аппетитом. — Да, да... Был беднее самого Иова в дни его несчастия,

и представьте себе, какой однажды вышел со мной преказусный случай. Жили мы, трое студентов, на Петербургской стороне, на Малой Дворянской улице, — и как это случилось, право, теперь не умею сказать, — только в одно прекрасное утро у нас на троих осталось из всей одежды всего-навсе только старые калоши, поповский подрясник и старая поповская шляпа... Даже самых необходимейших принадлежностей мужского туалета недоставало, — уж извините, Евмения Калиновна, за мою откровенность! Представьте себе, что происходило, когда одному из нас нужно было куда-нибудь выйти из дому... Но это еще ничего: выходили обыкновенно по вечерам, а история в том, что у меня была невеста, девушка из очень порядочного семейства, которая, не видя меня долго, понятно, очень скучала о моей особе и в один прекрасный вечер вздумала мне сделать небольшой сюрприз: отыскала мою квартиру и явилась, так сказать, на крыльях любви... Представьте теперь мое положение, господа!

— Ах, довольно, довольно! — стонала Евмения, хватаясь за бока. — Довольно!.. У-мо-ри-

ли…

— Нет, уж позвольте досказать, — настаивал Праведный, раскуривая сигару. — Вы ничего не имеете против моей сигары, почтеннейший Калин Калиныч?

— Нет-с, помилуйте-с, — лепетал старик. — Я ведь православный-с…

— Ну, дядюшка, есть грех, немного прикержачиваете[64], — мягко шутил Гвоздев.

— Ах, Аристарх Прохорыч, вам, ей-богу-с, грешно-с надо мной смеяться…

— Ну, дядюшка, не обижайтесь, я пошутил, — успокаивал Гвоздев огорченного Калина Калиныча.

— Господа, позвольте же мне анекдот-то докончить, — лениво заметил Праведный, попыхивая синим дымком дорогой сигары. — Согласитесь, господа, что моя невеста все-таки была женщина.

— О… ха-ха-ха! — со слезами на глазах хохотала Евмения. — Да, конечно, не мужчина же…

— Нет, я не то хотел сказать, — поправлялся Праведный. — Я хотел высказать ту мысль, что моя невеста, как женщина, конечно, была

немного ревнива и могла заподозрить меня, по меньшей мере, в том, что у меня в комнате сидит какая-нибудь соперница и что я именно поэтому не отворяю ей двери... Кажется, ясно я выражаюсь? Ну-с, как вы думаете вышел я из этого чертовски затруднительного положения?

— Ах, довольно, довольно, Праведный, — кричала Евмения, кокетливо делая рукой такие движения, как будто отмахиваясь от комаров. — Понятно, что было дальше...

— Нет, уж позвольте докончить, Евмения Калиновна! — упорно настаивал Праведный. — Видите ли, у нас полкомнаты занимала братская кровать, на которой мы все вместе спали, вот я на нее и положил моих друзей, прикрыл их для приличия одеялом, а сам надел калоши и подрясник... Теперь представьте себе такую картину: на кровати из-под одеяла выставляются головы моих друзей, я стою посреди комнаты в поповском подряснике, а в отворенную дверь с изумлением смотрит моя невеста... Понятное дело, что все разрешилось смехом, и моя невеста только лишний раз убедилась, что я невинен,

как сорок тысяч младенцев, так как мои товарищи меньше всего походили на женщину: у одного гусарские усы, у другого борода, как у Аарона.

В комнате Калина Калиныча несколько минут стоял заразительный смех: смеялся Гвоздев, с достоинством поглаживая свою бороду, смеялся до слез Калин Калиныч, схватившись за бока и порываясь выскочить из-за стола, а Евмения, закатив глаза, только тяжело дышала, как загнанная лошадь.

— Ну, не желала бы я быть на месте вашей невесты, господин Праведный, — заговорила Евмения, когда общий припадок смеха немного прошел. — Хоть вы и оказались невиннее сорока тысяч младенцев, но все-таки... Где вы, Аристарх Прохорыч, откопали такого адвоката?

— Москва — очень обширный город, — скромно отвечал Гвоздев. — Там умных людей все равно, как у нас дров...

Посидев еще немного и поговорив о каких-то пустяках, Гвоздев поднялся из-за стола и, обращаясь к Калину Калинычу, проговорил:

— Ну-с, дядюшка, сидят-сидят да и домой ходят... До приятнейшего свидания!..

Праведный долго держал в своих красных лапищах руку Евмении и довольно фамильярно шепнул ей на ухо что-то такое, от чего даже Евмения вспыхнула вся до ушей, а Калин Калиныч строго сложил свои губы ижицей. Простившись, гости вышли в сопровождении Калина Калиныча. Он все время стоял у ворот, пока Праведный влезал в экипаж. Усаживаясь рядом с Праведным, Гвоздев вопросительно посмотрел на своего адвоката.

— Каши маслом не испортишь, — многозначительно проговорил Праведный, не зная, куда деваться с своим ужаснейшим животом, упиравшимся ему в колени.

Когда лошади тронулись, Праведный не менее многозначительно указывал пальцем на свой лоб, кивая головой в сторону избушки Калина Калиныча. Евмения сейчас же скрылась за перегородкой, а вошедший Калин Калиныч был очень встревожен: обычное неизменное добродушное настроение, казалось, совсем оставило старика.

— Приехали и уехали, — думал он вслух,

позабыв о моем присутствии. — Венушка, о чем с тобой шептался этот Праведный?

— Анекдоты, родитель, рассказывал, — отозвалась Евмения усталым голосом из-за своей перегородки.

Я скоро простился с Калином Калинычем. Старик вышел провожать меня на крыльцо и, пожимая мою руку, заговорил:

— Ведь вот какой у меня карахтер сумнительный: ночь не буду спать, а все буду думать, зачем приезжал этот Праведный... Они, может, и с добром приезжали ко мне, а я все буду сумлеваться, потому больно ноне народ мудреный стал-с. Вот хоть Аристарх Прохорыч: ведь уж знаю-с, что он виноват, во всем как есть виноват-с, а вот поди со мной, совесть уж такая подлая, — как заговорил он давеча жалобные слова, так вот у меня слезы и стоят в горле... Ей-богу-с... О-о-хо-хо! Горе душам нашим. Заходите напредки-то, милости просим! А я сейчас схожу к отцу Нектарию, — надо будет поговорить с ним, а то уж очень сумнительно-с.

X

Вечером в клубе слышалась музыка и говор. От нечего делать я пошел в общую залу, чтобы посмотреть на заводскую публику. Помещение клуба состояло всего из четырех комнат, меблированных с трактирной роскошью. Около стен неизменные диванчики, покрытые темно-красным трипом, венская мебель, затасканные драпировки на окнах, захватанные двери и бронзовая люстра в общей зале.

Главную массу публики притягивала к себе карточная комната, а затем буфет. Около девяти часов обычная клубная публика, кажется, была в полном сборе; явились скучающие дамы и кавалеры; последние прежде всего летели, для подкрепления сил, в буфет. Музыка пиликала какую-то чепуху, под которую вяло толклось в общей зале несколько пар.

По дороге в буфет я неожиданно встретил самого Федора Иваныча Заверткина, который тащил под руку Пальцева и издали кричал мне:

— Вот так пьет!.. Отроду ничего подобного

не видал: как воду пьет!

— Кто и что пьет? — спрашивал я, не понимая Заверткина.

— Ах, господи!.. Да все он же, Праведный, пьет... Представьте себе такую картину: он без бутылки водки не садится завтракать и подсидит ее один на один, за обедом выпивает таким же образом другую, а вечером еще шампанское душит, и ни в одном глазу... Понимаете: ни в одном глазу?! Это просто какой-то феномен... Да ведь вы только поймите: бутылку за завтраком, бутылку за обедом, вечером шампанское... Да, да, это решительно феномен. В спирт, прямо в спирт бы его следовало посадить, да ведь, каналья, спирт-то весь выпьет... Феномен, решительно феномен!..

Эти два друга представляли и вместе и порознь нечто очень замечательное: Федя Заверткин был тонок, вихляст и высок, горбился и раскачивался на ходу и постоянно вздергивал голову, как взнузданная лошадь; Пальцев, наоборот, был небольшого роста, некрасиво скроен, да плотно сшит, и выглядел кочнем, а когда шел, то имел привычку сильно размахивать руками и слегка переваливал на

своих коротеньких ножках, точно откормленный селезень.

Физиономия Заверткина носила на себе ясные следы непроходимой глупости, пошлости и задора; его небольшие слезившиеся серые глазки смотрели нахально до мерзости, а по сморщенным губам ползала отвратительная улыбка, какою смеются только люди глубоко и безнадежно развратные. Круглое румяное лицо Пальцева с рыжими щетинистыми усами было некрасиво, но приятно своим умным выражением; особенно хороши были его насмешливые глазки, юлившие под густыми рыжими бровями, как пара мышей.

Пальцев вообще был очень умный человек, но его губил один недостаток: очень добрый и простой человек по душе, он имел удивительную способность врать, — врать до того правдоподобно, что вводил в невольное заблуждение самых осторожных людей, хотя все заранее знали, что верить Пальцеву нельзя. Как добряк и чудак, Пальцев пользовался репутацией доброго малого, которому многое сходило с рук, хотя он своими шуточками часто высказывал горькую правду прямо в гла-

за.

Поговорив немного с нами, Федя Заверткин неудержимо полетел дальше, вздергивая плечами и вытягивая длинную шею вперед; физиономия его дышала счастьем и довольством, и он, ероша свою козлиную бородку, кричал всем встречным: «Феномен, феномен... Решительно феномен!»

— Пустой колос голову кверху носит, ангел мой, — лукаво заговорил Пальцев, подмигивая в сторону Заверткина. — Совсем на чердаке-то пусто...

Тут Пальцев соврал что-то совершенно невероятное и побрел в буфет. Музыка продолжала пилить какую-то невозможную польку местного произведения под довольно громким названием «землетрясение». Нетанцующие дамы шпалерой поместились на бархатных диванчиках или парами бродили из комнаты в комнату с безнадежным выражением лиц; танцующая часть прекрасного пола обмахивалась кокетливо веерами и очень походила на тех «живых стерлядей», которые плавают в трактирных аквариумах, с тупым отчаянием стукаясь о толстые стекла. Без

крайнего сожаления нельзя было смотреть на этот «букет из полевых цветов», как выразился Пальцев о старозаводских дамах, козырем выступая под руку с одним из таких полевых цветов, который был чуть не вдвое выше своего кавалера и имел большое сходство с каланчой.

— Вы слышали? — говорила толстая дама другой, тощей, как щепка. — Согласитесь, ведь это ужасно, ужасно!..

Разговор шел о предстоящем процессе.

— Говорят, она подкуплена, — отвечала дама-щепка.

— Да, да... Стриженые волосы, пенсне на носу, учительница и вдруг подкуплена!.. Как это вам понравится? Я думаю, что нынче уж нигилизм не в моде, так вон пошли какие вещи...

— Это ужасно, — шептала дама-щепка, покачивая своей маленькой головой. — Ведь у ней есть отец-старик... Смешной такой, ню очень честный старик. Хоть бы она его пожалела: ведь это убьет его!..

Дама-геркулес только махнула рукой.

Этот букет полевых цветов скоро зашеве-

лился во всем своем составе и зашумел, как листья на осине, когда в общей вале появилась Евмения с своими стриженными волосами, тощими складками платья и пенсне на носу. Все многозначительно улыбались и печально кивали головой, но Евмения, по-видимому, привыкла к подобного рода сценам и шла с замечательным равнодушием сквозь строй косых взглядов, презрительных улыбок и обидных пожиманий плеч. Она кого-то искала глазами и, проходя мимо меня, спросила:

— Вы не видали Праведного?

— Нет. Его, кажется, нет здесь.

Евмения пошла дальше, по направлению к буфету, и толстая дама опять принялась шептать своей соседке настолько громко, что мне было слышно каждое слово.

— Она сначала жила с одним учителем и бросила его, потом связалась с писарем, потом с Гвоздевым...

— Это ужасно, ужасно! — шептала тощая дама, едва шевеля поблекшими губами.

Это было действительно ужасно, если только все это была правда. Мне хотя и не бы-

ло никакого дела до Евмении, но все-таки было жаль и вместе обидно не столько за эту странную белокурую девушку, сколько за несчастного Калина Калиныча, которого общественное мнение казнило так безжалостно. Как бы вознегодовал старик, услышав подобные отзывы о своей Венушке!.. А Евмения, обойдя все комнаты, снова подошла ко мне и села рядом на стул; взглянув на меня, она, кажется, догадалась о характере моих мыслей и желчно заговорила:

— Вы, вероятно, довольно наслушались на мой счет здесь, да?.. О, они все точат на мне свои языки... Я всем им — бельмо на глазу. Вот посмотрите на эту толстую и на эту тощую: они от одной скуки рады человека живьем съесть. Эта сухонькая исправно дует своего благоверного башмаком прямо по зеркалу души, а толстая имеет свою довольно пикантную историю, только не стоит говорить, чтобы не быть похожей на них... Знаете, я видела сейчас Пальцева, и он меня уверяет, что Праведный сошел с ума и его приковали на цепь... Ха-ха-ха! Вот уж у кого в зубах не завязнет... Однако Праведный — порядочная сви-

нья: обещал сюда прийти и надул. Посмотрите, вон идет жена Заверткина... Не правда ли, какая красивая женщина? А рост какой, а цвет лица? Хоть сейчас на сцену.

Жена Заверткина действительно была хороша: высокая, полная брюнетка с темными глазами и ленивыми движениями, она резко выделялась из всей толпы своей статной, красивою фигурой. Она шла в сопровождении какого-то довольно плюгавого молодого человека с небольшой темной бородкой, длинным носом и зеленоватыми глазами.

— А это, знаете, кто с ней? — спрашивала Евмения меня. — Это — директор нашего старозаводского технического училища... Какой-то грек, Димитраки по фамилии. Этот Димитраки получает ни больше, ни меньше как пять тысяч в год. А за что? Только за то, что умеет кланяться заводским управляющим... А вот подите вы, человек всего только три года как кончил курс в Петербургском университете и теперь загребает деньги совершенно даром, губит целое училище, слывет у нас передовым человеком. Вы представьте себе только, этот Димитраки получит в год, ничего не

делая, столько, сколько я должна буду зарабатывать целых семнадцать лет, считая по триста рублей в год, а помощник учителя или помощница, получающие двенадцать рублей в месяц, должны работать целую жизнь. Где только таких берут... Ведь он в училище забрал на себя все предметы и ровно ничего не делает, в класс даже не ходит, а все пьянствует с Федькой Заверткиным. Не правда ли, хороши гуси? Какая здесь отчаянная публика!.. Вон земский доктор: посмотрите, пожалуйста, ведь это целый Олимп, и сам Зевс ему в подметки не годится... А вон еще лучше экземпляр,— пожалуйста, обратите на него все свое внимание: это наш министр народного просвещения. Да, целый министр...

«Министр народного просвещения» в это время с важностью проходил мимо нас вместе с земским доктором. Это походило на триумфальное шествие каких-то двух неведомых божеств или на вступление счастливого победителя в завоеванную провинцию. «Министр» был высокого роста, худой и белокурый человек, лет сорока пяти, с выцветшим деревянным лицом и заложенными, по-ми-

нистерски, руками за спину. Доктор, черноволосый мужчина с длинным, как огурец, лицом и маленькими глазками, ковырял пальцем в носу и смотрел кругом каким-то убийственно равнодушным взглядом.

— Посмотрите же вы, пожалуйста, на Митрошку нашего! — шептала Евмения, указывая глазами на «Министра». — Из волостных писарей попал в гласные, потом избран был членом земской управы и теперь заведует всеми школами в уезде. Под его ведением находится семьдесят учительниц и столько же учителей; он всем нам говорит «ты» и заставляет дожидаться в передней по нескольку часов. Раз мне нужно было получить жалованье, и я довольно прозрачно намекнула ему на его министерские замашки, а он мне: «Хлее-б за-за бррю-хо-ом нне ххо-одит!» — «Извините, говорю, я не знаю, что вы — хлеб, а мы — брюхо». А вы бы посмотрели, как он себя держит в школе, какие нотации читает всем, и главное, придирается к преподаванию, а сам своего имени не умеет подписать. Вместо Митрофан Белохвост пишет Мирофан Белофост… Скотина ужаснейшая и вообще и в

подробностях.

— Что же председатель управы смотрит?

— У нас председатель — отличный человек и в такие мелочи не вмешивается. Он — музыкант и играет, кажется, на всех инструментах, какие только существуют. Очень образованный и очень честный человек, но музыка загубила... У нас уж другой такой председатель-музыкант; а пока они играют, Митрошка всем и орудует.

— А я вас давно ищу, Евмения Калиновна, — говорил Праведный, вваливаясь из боковой комнаты.

— А я вас давно жду, Марк Киприяныч, — бойко отвечала Евмения. — Вероятно, нагружались в буфете... для безопасности?

— По человеческой слабости испиваем сию горькую чашу...

Праведный подал руку Евмении, извинился предо мной, что некоторым образом лишает меня дамы, и эта оригинальная пара направилась к дверям в сад. Евмения гордо откинула свою белокурую головку назад и блестящими глазами смотрела на своего кавалера, который, вероятно, опять рассказывал

анекдоты, потому что девушка громко смеялась и недоверчиво качала головой.

XI

Старозаводская jeunesse doree[65] в полном своем составе находилась в буфете, где происходили оживленные разговоры, сопровождаемые самыми обильными возлияниями. Кроме Пальцева, Заверткина, Димитраки, «Министра» и земского доктора, тут присутствовал и сам Печенкин, сопровождаемый, как адъютантами, бывшим исправником Хряпиным и своим поверенным. Среднего роста, приземистый и широкоплечий, с толстою головой и опухшим красным лицом, на котором резко выделялись хитрые маленькие глазки и седая борода, Печенкин был коренным типом русского обстоятельного купечества с сильной азиатскою закваской.

Хряпин — очень высокий и когда-то очень красивый человек, с большой кудрявой головой, могучею грудью и тяжелою рукой, от которой, как говорила молва, много пошло туда, где нет ни печалей, ни воздыханий. Около стола, за которым сидел Печенкин, собралась

почти вся публика, слушавшая что-то, что рассказывал сам старик, распивая и угощая всех шампанским.

— На той неделе поехали мы с «Мамочкой» в Загорск, — рассказывал старик, кивая головой на Хряпина, которого он почему-то называл «Мамочкой». — Город большой, мы и загуляли, а вечером — в трактир «Плевну». Ну, там арфянки, всякое прочее. Спели нам, поужинали, побезобразничали, а все скучно... Я и говорю: «„Мамочка“, скучно... Устрой, говорю, „Мамочка“, какое-нибудь безобразие». А он молчит, а потом как сгребет салфетку да об пол всю эту музыку, арфянки бежать, а «Мамочка» поймал хозяина «Плевны», завязал его в салфетку да под стол и затолкал. Арфянки визжат, хозяин под столом орет караул, а мы с «Мамочкой» давай бог ноги... О-ох-хо, согрешили мы, грешные!

«Мамочка» сидел как ни в чем не бывало, jeunesse doree хохотала до слез, а подгулявший Заверткин от восторга даже полез целоваться с «Мамочкой».

Появившийся Праведный привалил, конечно, прямо к буфету, где около этого сто-

личного светила сейчас же собрался кружок, ожидавший тех удивительных анекдотов, которые умел рассказывать только один Праведный. Оставленный всеми, Печенкин вылил две оставшихся бутылки вина на салфетку и побрел в сопровождении своих адъютантов в общую залу, где происходили танцы. Заверткин заглядывал прямо в рот своему идолу и глупо хохотал, как человек, которому щекотят подошвы; Пальцев поместился рядом с Праведным и, подмигивая одним глазом, говорил:

— А ведь, ангел мой, отлично вам живется на свете: сколько одного вина, ангел мой, выпьете. Вот про нас одних разговоров сколько: становой, говорят, черту брат, и еще прибавят, ангел мой, такое что-нибудь, что сквозь землю провалиться... Всякий на тебя пальцем указывает: становой, с живого и мертвого дерет!..

— Ну, и у нас это бывает, — хладнокровно отвечал Праведный, выпивая свою вечернюю порцию водки. — Желал бы я вас поставить на мое место... Мне недавно, например, пришлось защищать одного субъекта, который

обвинялся в убийстве. Дело в том, что двое крестьян убили третьего, который умер дома от пролома головы, и мне нужно было доказать только то, что мой доверитель в момент убийства находился на другом конце деревни, чем убитый...

В этот момент со стороны танцевальной залы послышался какой-то шум, крик и визг; все бросились из буфета.

— Ах, это опять Печенкин бушует, ангел мой, — озабоченно говорил Пальцев, направляясь на шум вместе с другими.

Скоро вся публика собралась в общей зале, где кучка дам боязливо столпилась в одном углу, а мужчины стеной окружили небольшую деревянную эстраду, на которой помещался оркестр.

— Руськую!.. Я говорю: руськую! — кричал Печенкин, стуча кулаком по столу. — Всех вас одним узлом завяжу... Руськую!..

— Нельзя-с, мы играем по расписанию-с, — вежливо отвечал капельмейстер.

— Ах, ангел мой, так нельзя! Нельзя, ангел мой! — кричал Пальцев, продираясь сквозь толпу к Печенкину. — Здесь общественное

место, ангел мой, дамы...

— А мне наплевать на ваших дам! — кричал старик. — Я весь бал за себя переведу... Сколько стоит все: получай и гуляй в мою голову, почтенная публика. Руськую!..

Пальцев немного пошептался с распорядителем и махнул музыкантам рукой; музыка грянула «Камаринскую», публика расступилась, и неистовый старик начал откалывать свою «руськую» так, что седые волосы раззевались на его голове да летели по воздуху длинные полы сюртука. Окончив пляску, Печенкин побрел опять в буфет. «Мамочка», как ручной медведь, лениво поплелся за стариком, покачиваясь на каблуках и расправляя свои могучие плечи.

Публика, кажется, привыкла к подобным сценам, потому что сейчас же музыка заиграла прерванную кадриль, и дамы принялись дотанцовывать четвертую фигуру. Димитраки танцевал с женой Заверткина, и по его наглой, улыбавшейся физиономии было видно, что он говорил своей даме какие-нибудь пошлости. Я хотел отправиться в свой номер, как в углу одной комнаты заметил Евмению,

которая сидела в каком-то полузабытьи и не слыхала, кажется, ничего, что происходило вокруг нее. Я назвал ее по имени.

— Ах, это вы!.. Как вы испугали меня, — заговорила девушка, точно обрадовавшись моему появлению. — Что вы стоите? Садитесь... Вы, вероятно, удивились, что я могу задумываться, да?

Евмения улыбнулась печальной, больной улыбкой, и мне показалось, что на ее больших глазах блеснули слезы.

— Вы слышали, как бушевал Печенкин?

— Когда?

— Да вот сейчас только.

— Ах, да... Нет, я не слыхала, но ведь это слишком обыкновенная история, и нас этим не удивишь, — усталым голосом говорила Евмения, нервно ощипывая какую-то ленточку на своем платье. — Ведь это же скучно, наконец... Скучно, скучно, скучно!.. Иногда думаешь про себя, — продолжала Евмения, опустив глаза, — стоит ли жить на свете... Ведь все равно как в берлоге живешь!.. Вот бы на сцену поступить...

Девушка искоса взглянула на меня и про-

должала уже взволнованным голосом:

— Можно бы полжизни отдать, чтобы другую половину прожить по-человечески... А как взглянешь на себя в зеркало, будто холодной водой и обольет: и мала, и суха, и безобразна... Такое отчаяние нападет, что не глядел бы на свет! Ах, если бы мне рост, — понимаете, всего бы несколько вершков прибавить росту, — прямо бы на сцену поступила... Когда я бываю в театре, со мной просто дурно делается. И ведь чувствую, что сыграла бы, очень хорошо сыграла, особенно в драме, — знаете... в «Грозе» Островского ту сцену, где Катерина мечтает, и, потом, когда она начинает сходить с ума. Вот что я сыграла бы, если бы не проклятый мой рост!

Я, как умел, разуверял Евмению, что недостаток роста на сцене делается незаметным благодаря длинным шлейфам и большим каблукам, но что для сцены нужно очень серьезное образование и специальная подготовка, которой недостает даже лучшим русским актрисам.

— Да разве можно сделать из меня какой угодно подготовкой купчиху Катерину, ба-

бу — кровь с молоком? — говорила Евмения, с презрением оглядывая себя.

— Ведь есть роли и кроме Катерины...

— Да, да... И вы думаете, что найдутся такие роли для меня?

Евмения не слушала меня. Она думала о чем-то другом и, по своему обыкновению, неожиданно захохотала.

— Вот, я думаю, вы потешаетесь-то надо мной, — говорила девушка, ломая пальцы: — ведь прямая провинциальная дура, а еще захотела на сцену... Ха-ха-ха!.. Дочь Калина Калиныча и — на сцене: ведь это так же невозможно, как жареный лед, да?.. Вы смеетесь надо мной, как над сумасшедшей, но я ведь нисколько не обижаюсь этим: по Савве и слава... У нас в Старом заводе бывают иногда любительские спектакли, — немного успокоившись, рассказывала Евмения. — Только они без скандала никогда не обходятся. У нас есть здесь немец-управляющий, Штукмахер; он придет на спектакль всегда вместе с Димитраки, и всегда пьянее вина, и начинают ругать актеров вслух всякими словами. Однажды дело дошло до того, что они во время

действия бросились на сцену и давай колотить актеров и актрис. Штукмахер тогда сильно избил одного учителя, Младенцева. Впрочем, он уже не в первый раз его колотил: раз, на пожаре, этого же Младенцева Штукмахер до полусмерти избил палкой.

— Что же, Младенцев жаловался?

— Как же... Только ведь жаловаться приходилось Заверткину, а Заверткин всегда оправдывает Штукмахера, потому вместе безобразничают. Младенцев подал на Заверткина жалобу в съезд мировых судей, а съезд отказал, потому что там все благоприятели Заверткина насажены, а Митрошка, «Министр»-то наш, за это Младенцева из учителей в три шеи.

— Ну-с, а публика что смотрит, когда Штукмахер с Димитраки актеров колотят?

— Публика?.. Да ведь они и публику не хуже нас ругают, так уж мы привыкли к этому. В последний раз у нас спектакль был назначен в заводских конюшнях. Устроили сцену, места для публики. Только является Штукмахер, взял да комнату, из которой должны выходить актеры на сцену, и велел запереть, а

нам на сцену и пришлось лазить со стороны публики... Ей-богу! А Штукмахер кричит: «А, такие-сякие, пусть лазят, как собаки!..» Однако прощайте, — проговорила Евмения серьезным голосом, поднимаясь с места. — Мне пора домой... Вон адвокат Печенкина высматривает меня, чтобы душу тянуть. Ведь я свидетельница по этому дурацкому делу Гвоздева с Печенкиным, вот и пристают с ножом к горлу. Прощайте! Я сегодня страшно устала, — говорила разбитым голосом Евмения, протягивая мне руку. — Вероятно, увидимся на суде.

Я проводил девушку до передней. Она молча кивнула мне головой и, быстро одевшись в какое-то ветхое пальто, исчезла в дверях. Вернувшись в клуб, я еще долго толкался между остальною публикой, продолжая думать об этом странном маленьком существе, по-видимому сгоравшем от избытка сил.

У меня еще стоял в ушах ее дикий смех, резкая интонация голоса и те печальные ноты, которые прорывались так неожиданно сквозь эту бравировку и отчаянную веселость; в этом странном, злобноподвижном лице учительницы скользило общею тенью

что-то недосказанное, что-то, что давило ее и просило выхода. Маленькая комната с полками книг, фотографиями знаменитостей, кипами бумаг и гитарой в углу, затем сцена с Праведным и, наконец, этот разговор в клубе — все это освещало Евмению с совершенно противоположных, ничего не имевших между собой общего сторон: то учительница, считающая верхом блаженства носить стриженые волосы и говорить дерзкие слова; то куртизанка, делающая глазки и кокетничающая с первым встречным; то будущая Рашель... Это были такие противоречия, которые никак не укладывались в голове.

Этому клубному дню суждено было закончиться крупным скандалом, героями которого явились Заверткин и Димитраки. Еще с самого начала вечера Заверткин заметил шашни Димитраки, но, как истинный европеец и образованный человек, он смолчал; а когда Димитраки, сидевший рядом с женой Заверткина, дошел до непозволительных вольностей, Заверткин уже не мог этого перенести и влепил греку полновесную затрещину. Эти неожиданно обострившиеся отношения быст-

ро перешли в драку, а затем в ужаснейшую свалку, так что недавние друзья, цвет и краса старозаводской jeunesse doree, долго катались по полу, испуская дикие вопли, пока Пальцев не вылил на них три графина холодной воды.

— Нет, Пальцев, ты понимаешь, зачем он с моей женой шашни заводит? — кричал Заверткин, поправляя съехавший на горло жилет.

— Нельзя, ангел мой... Общественное место, ангел мой, — успокаивал Пальцев, стараясь увести расходившегося супруга в буфет.

— Нет, ты скажи, что бы ты сделал, если бы... если бы твоей жене... а? Жене, а?!. Ведь я сам видел!..

— Я, ангел мой, на твоем месте выпил бы стакан холодной воды...

Димитраки во время этого разговора успел улизнуть с порядочной царапиной на носу в буфет, где спешил привести в порядок некоторые подробности в своем туалете, — они нуждались в серьезной ремонтировке.

Эта буря в стакане воды так же неожиданно улеглась, как и возникла. Через каких-нибудь полчаса благодаря стараниям Пальцева

недавние враги не только помирились, но даже расцеловались и по требованию публики исполнили «Стрелка». Димитраки и в пении хитрил: нет-нет — и сфальшивит; но зато Заверткин был решительно неподражаем. Правда, он пел козлиным голосом и жестоко врал, но зато свое пение сопровождал такими красноречивыми жестами, так уморительно вздрагивал плечами и головой, что вся публика хохотала над ним до упаду. Даже сам «Министр» не избег этого воодушевления, так неожиданно охватившего все общество, и побрел из клуба на свое пепелище, напевая себе под нос:

О-он им было
То и се, то и с-се,
Н-но напр-расно было все,
Бы-ыло все-се…
Да!

Публика в буфете сильно поредела; оставались только клубные завсегдатаи.

Печенкин давно нагрузился и сидел в буфете, опустив на грудь свою седую буйную голову. Что-то вроде раздумья накатилось на этого неистового сына природы, и трудно бы-

ло сказать, о чем он думал: вставало ли перед его глазами его прошлое, или заботило его неизвестное будущее, или, может быть, царь-хмель клонил долу эту седую голову. «Мамочка» тоже дремал, потягивая шампанское.

— «Мамочка», а «Мамочка», — тихо говорил Печенкин, не подымая головы. — Скучно, «Мамочка»... Спой, «Мамочка», «Воробышка».

«Мамочка» откашлялся, поправил усы и приятным баритоном запел известную песню:

У воробышка головушка болела,
Да, ах, болела, болела!..

— О-о-хо-хо! Болела, — шептал Печенкин, покачивая своей большой, как пивной котел, головой. — Спасибо, «Мамочка», утешил старика...

На одну ножку он припадает.
Да, ах, все припадает!..

Выслушать знаменитое дело Печенкина с Гвоздевым мне не удалось, потому что оно было отложено за неявкой какого-то очень важного свидетеля.

XII

Осенью я уехал в Петербург, где разные неотложные дела задержали меня года на два. Однажды, во время зимнего сезона, мне случилось быть на любительском спектакле в клубе художников. Бывая в театре, особенно на любительских спектаклях, я никогда не покупаю афиши и совсем не справляюсь ни о названии пьесы, ни о фамилиях актеров, дабы не испортить впечатления разными ожиданиями и предвкушениями. Я выбираю какой-нибудь дальний уголок и стараюсь представить себе, что передо мной проходят не герои и героини известной пьесы, не известные актеры и актрисы, а развертывается страница за страницей сама жизнь, какой создала ее мать-природа, время и обстоятельства. Если эта иллюзия удается, я совершенно неподвижно просиживаю всю пьесу и ухожу домой в отличном расположении духа, унося в голове большой запас сцен и характеров, наталкивающих мысль на множество новых вопросов и освежающих ее приливом новых сил.

На этот раз публики было немного; когда занавес поднялся, сцена представляла небольшую, бедно меблированную комнату, в которой сидел седой старик, нетерпеливо поглядывавший в окно, ожидая возвращения дочери с уроков. От нечего делать старик мечтал вслух, и в этих старческих мечтах автор вложил живую сердечную нотку, которая невольно подкупала в пользу этого размечтавшегося старика, переносила на его точку зрения и заставляла вместе с ним терпеливо поджидать возвращение дочери.

Но вот знакомый стук в двери, старик с радостным лицом бросается навстречу своей любимице, которая издали кричит ему веселым молодым голосом, что она хочет есть, как волк. Дверь растворяется, в комнату вбегает девушка, бедно, но прилично одетая, и звонко целует отца. Когда старик уходит в другую комнату, девушка в каком-то изнеможении начинает говорить, и совсем другим голосом, жалуясь на свою неблагодарную деятельность, усталость и скуку. Я сразу узнал в этой девушке Евмению Грехову, которая сильно изменилась в эти два года, но в ней

еще осталась та же страстная порывистость, беззаботный смех и быстрые переходы от безумной веселости к печальным мыслям. Это был тот самый голос, который распевал в избушке Калина Калиныча балладу Гете.

Вся прелесть пьесы для меня пропала, и мне осталось только заняться наблюдениями тех перемен, которые произошли в моей случайной знакомой за эти два года. А перемены в ней были громадны: Евмения, кажется, в совершенстве постигла науку, как держать себя, с тем инстинктом женщины, который дает ей какое-то особенное чутье понимать мельчайшие детали новой обстановки и применяться к ним с замечательною быстротой.

В смелых жестах и развязных движениях Евмении виделось слишком много заимствованного из театров Буфф и Михайловского. Она успела перенять у французских актрис все то, чему никогда не научилась бы в Старом заводе. Евмения теперь в совершенстве владела длинным шлейфом и довольно ловко при поворотах откидывала шумевшие юбки ногой. Увы, это были настоящие накрахмаленные юбки, которые Евмения так недавно

отрицала с таким самоотвержением.

Вообще вся фигура Евмении под руками ловких модисток сильно изменилась и сделалась выше и полнее. После первого действия послышались аплодисменты, — живая игра Евмении подогрела даже сонную петербургскую публику. Первым действием успех был обеспечен, а по окончании спектакля публика дружно вызывала Евмению несколько раз и в заключение поднесла ей букет. Я видел, с каким сияющим лицом схватила она этот букет, может быть еще первую свою награду на сцене.

— У ней есть огонек, — говорил за мной какой-то басистый голос. — Правда, что она еще очень молода и не привыкла к сцене, но главное — огонек... У ней есть эта артистическая жилка, есть кровь!.. Немного побольше опытности — и она может пойти далеко. Главное — огонек, все дело в огоньке!

Я оглянулся и сразу узнал г. Праведного, который беседовал с своим соседом; знаменитый адвокат сильно обрюзг и осунулся, а в волосах на голове уже слегка серебрилась седина. Праведный несколько раз принимался ап-

лодировать и покровительственно улыбался, когда Евмения появлялась на авансцене и начинала бойко раскланиваться с публикой. Не оставалось больше сомнения, что Евмения добилась полного успеха, и я нарочно остался в клубе после спектакля, чтобы хоть издали взглянуть на ту метаморфозу, которая произошла в дочери Калина Калиныча. Шаг сделан громадный, и теперь уже он был освещен лучами первого успеха, поэтому мне вдвойне было интересно взглянуть на Евмению, какой она явится не на сцене, а среди публики.

Заняв столик в одной из боковых комнат, я терпеливо ждал появления Евмении; она скоро вышла под руку с каким-то белокурым офицером, одетая по последней моде, со спутанными ногами, волочившимся длинным треном и гордо откинутой назад белокурой головкой. Кто бы мог подумать, что эта изящно одетая актриса, державшая себя так просто и естественно, точно она выросла в этой сфере, — кто бы мог подумать, что это дочь Калина Калиныча, еще так недавно считавшая верхом блаженства носить стриженые волосы и украшать свой нос пенсне.

Евмения несколько раз прошла мимо меня, кокетливо обмахиваясь веером и делая глазки своему кавалеру.

Проходя мимо меня еще раз и мельком взглянув в мою сторону, Евмения быстро выпростала руку от своего кавалера и, шелестя платьем, нерешительно подошла к моему столику.

— Если не ошибаюсь... — заговорила она, прищуривая глаза.

Мне только оставалось подтвердить основательность ее догадки и удостоверить свою личность. Евмения без церемонии поместилась за мой столик, совсем позабыв кавалера и свои светские манеры.

— Давно ли вы здесь? — спрашивала Евмения, останавливая на моем лице свои серые глаза.

Я в коротких словах рассказал ей незамысловатую историю моего пребывания в Петербурге, и Евмения, предупреждая мой вопрос, заговорила:

— Как же это мы с вами не встречались до сих пор? Это просто удивительно, потому что я, кажется, перебывала по сту раз везде, где

можно быть женщине. А помните Старый завод? Вот бы удивились все, если б увидели меня здесь... Воображаю себе, какую бы рожу скроил наш Митрошка!.. Помните «Министра»?.. Посмотрела бы я, как хлеб за брюхом не ходит... Вот где дурак-то!

Евмения научилась даже картавить и с особенным шиком произносила букву р. Она очень скоро и очень остроумно рассказала историю своего пребывания в Петербурге, куда приехала с тою целью, чтобы поступить на женские курсы, и действительно поступила, но скоро раздумала и ученую карьеру променяла на сцену.

— Меня удерживало только одно, — опуская глаза, говорила тихо Евмения. — Самая профессия актрисы не пользуется особенным уважением. Знаете, все смотрят как на женщину, которую можно купить...

Мне оставалось сказать Евмении о ее сегодняшнем успехе, но на мои слова она печально улыбнулась и проговорила:

— Да, да... А вы хорошо подумали обо мне, встретив меня в этой компании? — Евмения показала головой в сторону наблюдавшего

нас издали офицера. — И ведь, главное, уверен, что за хороший ужин все на свете можно купить... Идиот!..

— Однако он может обидеться на вас, что заставляете его ждать, — проговорил я.

— Обидеться?.. Они созданы с специальною целью платить за шампанское, которое мы пьем, устраивать пикники для нас...

— Значит, вам очень весело живется здесь?

— Как вам сказать... От тоски стараешься уверить себя, что очень весело, и дурачишься...

— И здесь тоска?

— Не то чтобы тоска, а пустота... Понимаете? Я даже иногда жалею о Старом заводе, право! Там была хоть надежда впереди, а здесь и этого не осталось: плывешь по течению. А вы помните, как Праведный отчистил меня тогда на суде? И ведь совершенно напрасно... Все в один голос кричали, что я находилась в близких отношениях к Гвоздеву и что он меня подкупил; но, ей-богу, все это чистейшая ложь. Ах, я и позабыла, что вы тогда совсем не были на суде! Смех!.. Родитель за-

плакал, а я — ничего, только плюнула про себя. Мне тогда порядком досталось, но я не злопамятна. Ведь Гвоздева тогда оправдал Праведный. Да, совсем оправдал. Пять тысяч с него содрал за это удовольствие. Да чего лучше: Праведный ужинает с нами, — пойдемте, он вам расскажет всю подноготную... Дело прошлое, и скрывать нечего. А вы видели Праведного? — спрашивала Евмения, когда я отказался от ужина *«с нами»*. — Находите, что он постарел?..

Евмения через веер печально посмотрела на меня и прибавила:

— Если увидите отца, кланяйтесь ему... Мне иногда очень хочется видеть его. Бедный старик очень скучает обо мне и пишет мне пресмешные письма, точно мне тринадцать лет. Знаете, по его письмам я начинаю догадываться, что он находится под влиянием Миронихи и, чего доброго, в одно прекрасное утро уклонится в раскол... Воображаю себе положение сладчайшего отца Нектария: какую благочестиво печальную физиономию он скроит по такому случаю. Ха-ха-ха!.. А об Гвоздеве вы ничего не слыхали? Говорили, что

Печенкин подал кассационную жалобу в сенат... А о Заверткине, Димитраки, Пальцеве тоже ничего не слыхали? Вот почтенное трио... Как бы желала я посмотреть на этих разбойников... Я думаю, пьют горькую!

Белобрысый офицер опять прошел мимо и многозначительно посмотрел на нас.

— О, это ничего, ему моцион полезен, — весело шутила Евмения. — Пусть прогуливается... Впрочем, мне уж пора, — мой князь, кажется, не на шутку начинает сердиться, — вставая и поправляя спутавшийся трен, говорила Евмения. — Прощайте!..

Офицер подал руку Евмении, она сделала несколько шагов с ним и, обернув свою белокурую головку, весело проговорила:

— Кланяйтесь же всем, всем!

Грациозно кивнув мне в последний раз, Евмения удалилась с своим князем, немилосердно шелестя шелковым платьем и немного раскачиваясь на ходу; через минуту из соседней комнаты до меня донесся ее звонкий голос, очевидно, отвечавший на чей-то вопрос.

— Я же говорю вам, что это мой родствен-

ник… троюродный брат. Понимаете или нет?

Теперь я понял печальную истину: Евмения была в своей роли и не нуждалась больше в декорациях. Она слишком увлеклась жаждой оторвать свою долю на этом пире прожигания жизни и, в обществе этих господ, с головой опустилась в ту сферу, где преобладающей страстью является безумная скачка за наслаждениями. Воспоминания о жизни в Старом заводе, бедной комнатке, уставленной книгами, старике отце с его смешными письмами — все это было теперь только подробностью, которая, с одной стороны, возбуждала сожаление, а с другой — усугубляла живость текущих наслаждений.

Когда я выходил из клуба с этими грустными мыслями, до меня долетел громкий взрыв смеха из той комнаты, в которой совершалось таинство веселого ужина, а затем наступила тишина, и послышались знакомые звуки баллады Гете, которую пела Евмения:

Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, радость и перлы сулит…

XIII

Наступила петербургская весна, с ее слякотью, холодом и только изредка солнечными днями. В один из таких редких дней, в конце апреля, мне случилось идти по солнечной стороне Невского проспекта. Было около трех часов пополудни, и знаменитая улица кипела гулявшей публикой, спешившей показать весенние костюмы и полюбоваться солнечным светом.

У магазина эстампов и картин Бегрова я остановился перед одним окном и машинально пробежал глазами ряд картин с избитыми, давно надоевшими сюжетами разных морских видов, уголков благословенного юга и еще какой-то чепухи, вроде итальянок у источников с открытыми руками и аппетитными икрами, испанок с подобранными до «невозможной невозможности» юбками, католических монахов, заглядывающих за корсажи хорошеньких поселянок, и т. д. Я уже пошел было от магазина, как что-то точно кольнуло меня в сердце: в углу окна, в скромной раме, прятались маленькие картинки

неизвестного художника. На первом плане картины стояла высокая, густая ель, а под ней прилепилась крохотная, полуразвалившаяся избушка, на самом краю крутого обрыва. За елью и избушкой виднелся далекий еловый лес, еще дальше — невысокие горы, и над всем этим глубоким куполом опрокинулось чистое голубое северное небо, едва тронутое, как серебряною пеной, белыми облачками. Как живые, встали предо мной картины и сцены далекого Урала, бесконечного леса, зеленых гор, привольной жизни старателей...

Вспомнил я палаустный балаган Саввы Евстигнеича на берегу Балагурихи, Василису Мироновну и светлую душу Калина Калиныча. Как в тумане, пришел я на квартиру и решил, что завтра же уезжаю из Петербурга,

Живо промелькнула предо мной дорога от Петербурга до Перми. Москва, Нижний, Казань остались назади, и с парохода я перешел прямо на вокзал недавно открытой Уральской железной дороги, чистенький и свеженький, как только что снесенное яичко. После загрязненных вокзалов Николаевской и Нижегородской дорог новое произведение

Губонина и К® произвело на меня приятное впечатление, особенно при воспоминаниях той муки, какую приходилось выносить каждый раз, переваливая через Урал по блаженной памяти сибирскому тракту. Пестрая толпа публики сновала по платформе.

Попыхивая клубами темного дыма и рассыпая искры, двинулся локомотив по новой дороге; я долго сидел у окна и любовался еще незнакомыми мне видами, которые мелькали по сторонам. Дорога проходила по широкой низменности, заросшей глухим лесом, и только по мере приближения к главной массе Уральского хребта на горизонте, с правой стороны, начинали выясняться в туманной дали силуэты гор. Как известно, горные кряжи представляют из себя подобие сороконожки, причем главная масса горного кряжа представляет тело этого насекомого, а отроги и побочные разветвления — ее ноги. Обыкновенно железные дороги стараются провести горными долинами, которые образованы разветвлениями горного кряжа, а затем уже, для перевала через главную горную массу, выбирают какой-нибудь удобный проход или про-

бивают тоннель, или, наконец, прибегают к высоким подъемам и крутым спускам. Инженеры, строившие железную дорогу через Урал, повели ее не горными долинами, а прямо по гребню одного разветвления горной массы, так что перевал через самый кряж не представлял уже упомянутых выше затруднений и почти совсем незаметен.

Собственно, хороших и интересных видов совсем не попадалось; мимо нас мелькали высокие насыпи, глубокие лога, болота, усеянные пеньками, правильными кучками хвороста и поленницами дров, да иногда поезд с глухим грохотом катился по каким-то длинным коридорам, вырубленным в каменной почве. Общее впечатление от Уральских гор было очень неопределенно и на непривычного человека должно было наводить невольную тоску. Нужно с детства привыкнуть к этой незавидной серенькой природе, чтоб от души любоваться ее скромными красотами: невысокими горами, сплошь покрытыми хвойным лесом, глубокими горными долинами с говорливою речкой на самом дне да высоким прозрачным голубым небом, с которо-

го волнами льется свет на эти незамысловатые картины природы. Глаз невольно отдыхает на темной зелени бесконечного леса, и в душе пробуждается сильное освежающее чувство покоя, которым живет все кругом.

От станции Привал до Старого завода было верст тридцать, которые нужно было проехать на лошадях проселочного дорогой. Через полчаса я уже сидел в легком плетеном коробке, который бойко катился по убитой дороге. День был ясный, солнце пекло, из лесу так и обдавало душистым паром. Дорога слегка пылившею лентой извивалась между гор. Попадались пролески из берез и липняку, только что развернувших свою зелень. Коробок слегка покачивал, и хотелось ехать в нем все дальше и дальше; сладкая, неотвязная дремота кружила голову, но мысль работала, поднимая старые воспоминания, забытые сцены, дорогие лица... Хорошо, чудно хорошо на Урале весной, в начале мая, когда все в природе спешит развернуть свои силы и жадно ловит каждую минуту короткого северного лета.

Вот вдали мелькнули домики Старого за-

вода и красиво вырезались на зеленом фоне леса силуэты церквей. Я издали узнал стоявшую на пригорке новую церковь, выстроенную в память 19 февраля; постройки все были закончены, леса сняты, и красивое здание стояло, как невеста, блестя громадным куполом, обитым жестью. Ямщик крикнул на лошадей, обдало облаком пыли, смешались спицы в колесах, и коробок вихрем полетел по широким улицам Старого завода, к гостеприимным дверям «Магнита».

Я занял номер и попросил умыться, а через пять минут знал уже последние новости Старого завода, которые главным образом вертелись около приезда архиерея, ехавшего в Старый завод святить новую церковь, которую, как оказалось, достраивал не Калин Калиныч, а Гвоздев. После небольшого отдыха я отправился навестить Калина Калиныча и нашел его избушку без особенного труда. Во дворе было совсем пусто, и навстречу не выбежала даже хромая собака, которую я видел в последний раз у Калина Калиныча; ветхое крыльцо покосилось совсем на одну сторону, на лестнице недоставало нижней ступеньки,

в крыше светилась большая дыра. Войдя в темные сени, я долго искал ручку у двери, напрасно ощупывая бревенчатые стены руками.

— Кто там, крещеный? — послышался голос Калина Калиныча из избушки, когда я, наконец, отыскал железную скобку.

XIV

Отворив дверь, я увидел самого Калина Калиныча: он лежал на широком диване, прислоненном к дощатой перегородке. Я не сразу узнал его: лицо было по-прежнему круглое, но совсем желтое и под глазами обрисовывались темные круги. Старик лежал на диване ногами к двери и при моем входе с трудом приподнялся на своей подушке.

— Ах, батюшки... Господь гостя послал!.. А вы уж извините меня, старика, — заговорил старик слабым голосом, стараясь улыбнуться. — Подняться-то не могу совсем... Хворь одолела! Да как вы надумали навестить-то меня!.. А я уж скучаю, пожалуй, один-то... Венушка-то моя уехала ведь в Петербург, ей-богу-с!.. Вот уж два года, почитай, будет, как я

остался один-одинешенек... Как здоров-то был, так оно ничего, а прихворнулось, так иногда и тоска возьмет... Все под богом ходим!.. Садитесь вот сюда, поближе ко мне, — говорить-то мне трудно стает-с.

На маленьком столике у самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном переплете, которую Калин Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом и теперь осторожно закрыл.

— Вот от Венушки что-то давно письма нет, — говорил Калин Калиныч. — Уж, думаю, жива ли...

— Она здорова и кланяется вам, Калин Калиныч, — спешил я успокоить старика. — Я видел ее в Петербурге пред самым отъездом.

— Ах, батюшки!.. Что же она: похудела, стосковалась об Старом заводе?

Я сказал старику, что встретил Евмению на улице и что она была совсем здорова и, по обыкновению, весела и просила передать поклон отцу.

— А ведь у ней моя душа-то, добреющая, — говорил Калин Калиныч, вытирая катившиеся из потухавших глаз слезы. — Только уж ка-

рахтер у ней неукротительный-с. А я здесь в ее комнате все так и оставил, как при ней было, ни единой книжки не шевельнул, только пыль когда подотру-с. Все думаю: приедет на Старый завод, так ей это будет приятно-с...

Добрый старик долго говорил о своей Венушке, припоминая мельчайшие подробности из ее детской жизни, и несколько раз принимался с жаром благодарить меня, что я его успокоил.

— А что, как она одета была, не приметили-с? — нерешительно спрашивал меня старик. — Поди, бедненько и в очках-с?

— Нет, одета отлично и без очков.

— А где же она денег взяла? Ведь там, говорят, все дорого — страсть!.. У ней было немножко деньжонок скоплено, рублей полтораста, да в большом-то городе какие это деньги-с!..

— Вероятно, работу нашла какую-нибудь.

Я постарался поскорее прекратить этот разговор, потому что Калин Калиныч говорил с трудом, да и мне тяжело было обманывать этого несчастного, брошенного всеми старика. Мне не хотелось совсем убивать его изве-

стием, что Евмения поступает на сцену, и я перевел разговор на его болезнь.

— Что у вас болит, Калин Калиныч?

— Там-с... в самом нутре болит-с... Точно стрелой-с пронзило-с... наскрозь!

— А доктор у вас был?

Калин Калиныч слабо улыбнулся и махнул рукой.

— Какой доктор-с?.. От смерти лекарства нет-с... Лучше доктора нет, как господь бог: на все его святая воля-с...

— А все же, Калин Калиныч, не мешало бы пригласить доктора.

— Нет-с, зачем же их напрасно беспокоить-с?.. Одинова приглашал и доктора... Только больно они у нас горды на Старом заводе. Кабы у меня были деньги, тогда — другое дело, а то что я ему дам?.. Осмотрел он меня, прописал рецепт, фукнул себе под нос и уехал...

— Как же вы лежите здесь один?

— Нет-с, я не один... Василису Мироновну, может быть, помните-с? Вторая мать для меня... Она каженный день заходит ко мне по два раза-с, и накормит, и напоит.

— А отец Нектарий?

— Бог с ним совсем... Ему ведь некогда меня проведовать-то, — немного грустно проговорил старик. — А помните церковь-то? Совсем отстроена! Благодарение господу, святить скоро будут-с... Архиерея ждут на Старый завод. Да-с! Теперь мне и помереть спокойно можно-с. А знаете, кто церковь-то достраивал? Аристарх Прохорыч, ей-богу-с! И меня оттер совсем... Как его тогда ослобонили на суде, так он сейчас обещание-с: «Так и так, достроюю церковь...» Ну, собирались они-таки долгонько-с, и мы тем временем все внутри отделали: выщекатурили, иконостас поставили, начали крылосы отделывать, а тут Аристарх Прохорыч и вмешались... Так и пошло все вверх дном: и то не ладно, и это не так... А Аристарх Прохорыч твердит свое: ничего не пожалею, потому у меня обещание-с!.. Известно, человек богатеющий, все на свой счет давай заводить, деньгами так и сыплет, — ну, я и отстал, потому пеший конному не товарищ... Обидно оно было маненько, что уж все до конца было доведено, только бы освятить осталось, — ну, да и отец Нектарий говорят:

«Потерпи, говорят, Калин Калиныч. Бог, говорят, и твои труды видит, а теперь пусть, говорят, Гвоздев в свою долю постарается». Ну, я и отстал-с. Денег у меня нет, а что мог, то все сделал-с!.. А вот тут еще болезнь приключилась, — оно, значит, даже хорошо вышло, что вовремя отстал... На все воля божья-с... Я не ропщу, — грех роптать...

Эти разговоры, видимо, волновали и утомляли Калина Калиныча: дыхание его было тяжело и порывисто, только округ лившиеся глаза смотрели не прежним беглым взглядом, а спокойно и сосредоточенно, как у человека, приготовившегося к чему-то великому и торжественному. Широкого румянца на лице Калина Калиныча и помину не было, нос обострился я вытянулся. Заметив мой пристальный взгляд, Калин Калиныч с слабой улыбкой посмотрел на себя, а потом заговорил:

— А ведь я-с восемь пудов вытягивал-с, ей-богу-с! А теперь и трех пудов не вытяну... Пальцев в шутку кубическим шаром называл-с... Вот наша жизнь: сегодня — жив, а завтра — нет ничего.

Я начал прощаться со стариком, обещая

зайти к нему на днях.

— А я уж не знаю-с, как и благодарить мне вас, — шептал старик, глотая слезы. — Вот вы — чужой, а не забыли меня, старика, и весточку мне принесли... Спасибо, родной! Пришлось еще перед смертью-то повидаться-с...

— Что вы, Калин Калиныч, зачем умирать!

— Нет-с, я помру-с, беспременно помру-с... Будет, пожил-с. И во сне видение мне было...

У меня что-то защемило на душе от этих слов, и мне сделалось до слез жаль бедного старика, не умевшего жить, но встречавшего смерть с тем спокойствием, с каким встречают ее только люди, сумевшие честно прожить целую жизнь и которым нечего бояться смотреть смерти прямо в глаза.

— Вот только Венушки жаль, — заговорил старик, не выпуская моей руки. — Не умел я пристроить ее при жизни-с... Погибнет она понапрасну с своим карахтером-с... Вот ее только и жаль-с... Прощайте-с, может, не увидимся больше-с.

— Перестаньте, Калин Калиныч! Разве это кто-нибудь может знать?

— А вот я знаю-с... Да-с. Было мне сонное

видение-с... Явился старец, а с ним еще какие-то люди; старец посмотрел да на меня перстом и показал. «Этот!» — говорит. Я проснулся и понял, к чему это он перстом на маня показал. Это он по душу по мою приходил-с...

Все время моего посещения я видел, что Калину Калинычу что-то хотелось сказать мне, но старик все удерживался; когда я стал прощаться с ним, он, не выпуская моей руки и улыбаясь, взволнованным голосом проговорил:

— А помните суд над Аристарх-то Прохорычем? Тогда этот его адвокат, такой горластый, из себя толстый, еще Венушка звала его Неправедным, сильно нас обидел... Да-с! А ведь он про Венушку-то совершенно напрасно высказал такие слова-с... Сам после заезжал и просил прощения у меня-с, ей-богу-с! Так прямо и говорит: «Извините меня, Калин Калиныч... Это, говорит, нужно было, чтобы выправить Аристарх Прохорыча-с!» А ведь они тогда душу из меня на суде-то выняли... После простил-с... Может, это и в самом деле им нужно было, и Венушке так сказал: «По-

терпи, потому сам господь терпел за нас, многогрешных». А она только смеется, — душа-то у ней вся в меня... Да-с! Напрасно тогда они обнесли на суде мою Венушку, совсем напрасно-с.

Выходя от Калина Калиныча, на ветхом крылечке его избушки я носом к носу встретился с Василисой Мироновной, которая взбиралась по шатавшимся ступенькам с каким-то узелком в руках. Я сразу узнал ее. Знаменитая раскольница не изменилась ни на волос за эти два года, только немного как будто потемнела, да большие глаза смотрели еще строже. Одета она была в свой неизменный кубовый сарафан, а на голове был большой темный платок.

— Что, узнал? — с улыбкой проговорила Василиса Мироновна, протягивая мне руку.

— Да, узнал.

— Калина приходил проведывать? Ненадежен он у нас, того гляди — богу душу отдаст. Доняли они его этой церквой... Строил, строил, а теперь, как все готово, Гвоздев на себя все принял!.. Разве это порядок? Вот с этого наш Калин и пошел хворать... Ох, грехи наши

тяжкие!..

— А где Савва Евстигнеич? — спросил я.

— И Савва плох, — сурово отвечала раскольница.

— Отчего так?

— Да такие дела, выходит, подошли: сколько ни живи, а умирать все придется. Вон Калин — на что гладкий был, а теперь совсем в худых душах...[66] Заходи как-нибудь в мою избушку, — побеседуем.

XV

С освящением новой церкви вышел довольно курьезный случай. Дело в том, что достраивал церковь Гвоздев. Ему хотелось принять владыку в своем, только что отстроенном, новом доме, для чего были уже сделаны все необходимые приготовления. Такое посещение владыки имело большое значение для Гвоздева, потому что подняло бы его авторитет на небывалую высоту. Но в это дело вмешался Печенкин. Хитрого старика кто-то научил перехватить владыку на дороге и увезти в свой дом и таким образом оставить Гвоздева с носом. Враги хотя и помирились давно,

но Печенкину понравилась самая идея осрамить Гвоздева перед целым заводом. Сказано — сделано. Гвоздев выехал встречать владыку по той дороге, по какой он обыкновенно приезжал в Старый завод, а Печенкин в это время уже встретил владыку и окольными дорогами провез прямо к себе.

В день освящения церкви масса публики собралась в каменных палатах Печенкина. Конечно, в числе гостей были Пальцев, Заверткин, Димитраки, «Министр» и прочая братия.

Пока я предавался этим размышлениям, к подъезду дома скоро подкатила пролетка Печенкина, на которой рядом сидели преосвященный и сам Печенкин. Гвоздев и Печенкин под руки ввели владыку в дом и торжественно провели его прямо за стол, где было уже все готово к обеду, а на хорах гремела музыка: «Коль славен наш господь в Сионе...» За владыкой ввалилась архиерейская челядь; для нее был отведен особый стол в отдельной комнате, за исключением, впрочем, о. протодиакона. О. Нектарий бегал по зале маленькими шажками, улыбался, крепко пожимал

всем руки и постоянно вертелся на глазах у владыки, куда бы тот ни повернул свою голову. Преосвященный Питирим, старичок очень почтенной наружности, улыбался такой доброй улыбкой, что невольно привлекал к себе симпатию всякого; он любил покушать, а главное — любил что-нибудь рассказывать и особенно слушать, как рассказывают другие.

Публика долго и с шумом рассаживалась по местам; владыка сидел между о. Нектарием и Гвоздевым. Заверткин, Димитраки, Пальцев и «Мамочка» разместились за дальним концом стола, окружив о. протодиакона, служившего предметом общего любопытства и вместе с тем для производства некоторых экспериментов.

— Разве, господа, молочка от бешеной коровы выпьем? — добродушно басил о. протодиакон, поправляя на груди полки распахнувшейся рясы.

— Это он коньяк так зовет, — шептал Пальцев, подмигивая Заверткину.

— Был здесь один человек, — говорил Заверткин, прищуривая левый глаз: — вот пил, так пил... Это был, отец протодиакон, один ад-

вокат. Праведный по фамилии, так он...

Но о. протодиакон не мог более слушать Заверткина, потому что раскатился таким хохотом, что сам владыка поинтересовался узнать причину этого гомерического смеха.

— Вот, ваше преосвященство, над фамилией смеемся, — вставая, говорил о. протодиакон, — был, говорят, здесь какой-то адвокат: Пра-вед-ный...

— А ведь действительно очень странная фамилия, — соглашался владыка. — Очень странная... Пра-вед-ный, да?

— Очень странная фамилия, ваше преосвященство, — поддакивал о. Нектарий, как-то особенно склоняя голову набок.

Между Заверткиным и Димитраки завязался горячий спор по поводу того, кто может больше выпить о. протодиакон или адвокат Праведный; но этому спору суждено было кончиться ничем, потому что Пальцев в самом интересном его месте поднялся с своего стула и проговорил, обращаясь к владыке:

— Ваше преосвященство, я должен сообщить вам пренеприятное известие: золотопромышленник Иван Тимофеич Травкин, ко-

торого вы хорошо знали, третьего дня скончался...

— Как же это так. вдруг?.. — проговорил владыка, с недоумением глядя на Гвоздева и о. Нектария.

— А так, действительно вдруг, ваше преосвященство, скончался, — продолжал Пальцев. — Я его как раз видел часа за два до смерти. Ехал мимо Махневского завода, а он идет навстречу. Поздоровались... Он недавно был именинник, я и говорю ему, что следовало бы подогреть старого-то именинника. Он позвал меня к себе, я и пообещал побывать у него на обратном пути. И действительно, заезжаю, а он — на столе, и лежит как живой, совершенно как живой... Его кондрашка хватил, ваше преосвященство!

— Жаль, очень жаль Травкина, — качая головой, говорил владыка.

— А какой это благочестивый был человек, ваше преосвященство! — говорил о. Нектарий.

— Да, да... Я хорошо его помню. Жаль, очень жаль.

— Немного таких людей, ваше преосвя-

щенство, осталось, — говорил Гвоздев.

— Немного, очень немного… Да, немного.

— Пр-римерный хр-ристианин, ваше пр-рео-освященство! — вставил свое слово «Министр», сильно вытягивая свою длинную шею.

Отец Нектарий хотел прибавить еще что-то о добродетелях покойного, но в это время показавшаяся в дверях коротенькая и толстая фигурка заставила невольно всех оглянуться, а потом посмотреть на Пальцева, который, как ни в чем не бывало, что-то шептал на ухо о. протодиакону.

— Благословите, ваше пьеосвященство, — заговорил вошедший, как шар подкатываясь к владыке.

— Как же это?.. Кажется… — шептал владыка, не решаясь дать благословение, но о. Нектарий что-то шепнул ему на ухо, и владыка благословил, проговорив добродушно: — А мы тебя, Иван Тимофеич, здесь совсем было похоронили…

Общий взрыв неудержимого хохота долго стоял в зале: вошедший и был тот самый Травкин, про которого только что сейчас рас-

сказывал Пальцев. Владыка не только не рассердился за эту шутку, но долго смеялся вместе с другими, покачивая своей головой.

— Он, ваше пьеосвященство, всегда что-нибудь такое пьидумает, — жаловался Травкин, указывая рукой на Пальцева, — пьяво, ваше пьеосвященство... Он всегда пьивьет язные пустяки!

Все долго хохотали над выдумкой Пальцева, который смеялся вместе с другими и даже упрекал Травкина:

— Ты, ангел мой, совсем подвел меня... Разве так делают порядочные люди?

Весь обед прошел самым оживленным образом. Владыка улыбался, слушал и даже сам рассказал несколько очень увеселительных анекдотов, из которых один привел всю публику в полный восторг.

— Раз я объезжал свою епархию, — рассказывал владыка. — В одном селе... кажется... Отец протодиакон, не помните ли вы, в каком это было селе?

— В селе Березовском, ваше преосвященство! — отвечал о. протодиакон, знавший наизусть все анекдоты владыки и даже тот

неизменный порядок, в каком они следовали один за другим.

— Да, да... Припоминаю: это действительно было в селе Березовском, — продолжал владыка с своей добродушной улыбкой. — Священник этого села и представляет мне одного псаломщика. Как же его звали?.. Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, как звали того псаломщика?

— Асклипиодот, ваше преосвященство!

— Да, да... Припомнил: действительно Асклипиодот... Священник представляет его мне и говорит, что он примерной нравственности и желает занять вакантное место диакона при церкви села Березовского... Кажется, так, отец протодиакон?

— Точно так, ваше преосвященство!

— Я проэкзаменовал его, заставил пропеть, а потом и спрашиваю: «Ты, Асклипиодот, очень желаешь быть диаконом?» Он мне и отвечает... Да, да... Позвольте, что же он такое мне отвечает? Позвольте... Отец протодиакон, не помните ли вы, что он мне отвечал?

— Псаломщик Асклипиодот отвечал вашему преосвященству, что «всякий человек же-

лает быть диаконом!».

— Ах, да, да... Действительно, так: «Всякий человек, ваше преосвященство, желает быть диаконом». Ха-ха-ха!

Над этим анекдотом смеялись больше, чем над смертью. Травкина: густым басом, откровенно хохотал о. протодиакон, добродушно смеялся с ним «Мамочка», хихикали Димитраки, Заверткин и Пальцев, и смеялся, именно смеялся, о. Нектарий, — смеялся всем своим упитанным существом, смеялся до слез, каждою каплей своей крови, как умеют смеяться невинные младенцы, когда нянька им скажет «агу». Это была даже не картина, а какая-то музыка. В восторге от анекдота о. Нектарий расцеловал руки владыки и подобострастно спрашивал со слезами на глазах:

— Всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом? О... ха-ха-ха!..

— Да, да! Так и говорит: всякий человек, ваше преосвященство, хочет быть диаконом, — добродушно повторял владыка свой анекдот.

Лакеи в белых перчатках подавали одно кушанье за другим. На первом плане, конеч-

но, была рыба самая разнообразная и во всяких формах: уха из живых харюзов, пудовый осетр, сваренный целиком, тальмени с розовым, нежным мясом, семга и еще целый ряд рыб, название которых я не упомню. Все это, сваренное или зажаренное, прошпигованное мудреными начинками и приправленное остроумнейшими соусами из трюфелей, грецких орехов, анчоусов, с оливками, капорцами и тому подобными премудростями, подавалось на стол, съедалось и сейчас же заменялось каким-нибудь новым кушаньем. Гостей было человек двести, так что нужно было очень много всякой снеди, чтобы наполнить эти двести провинциальных желудков, как известно, чувствительных не столько к качеству съедаемого, сколько к его количеству. Печенкин оказался чудо-хозяином и своим недремлющим оком зорко следил, чтобы ни один рот не оставался без работы и чтоб у каждого прибора рюмки стояли полными.

Обед продолжался очень долго; пили все и за все, что только существует под луной. Владыка очень утомился этим длинным и торжественным обедом и скоро удалился на свою

половину, чтобы предаться необходимому отдохновению, но оставшаяся публика и не думала уходить.

Вечером этого многозначительного дня я сидел в общей зале «Магнита» и от нечего делать перебирал старые газеты. Часов около девяти вечера на лестнице послышался глухой топот, точно кто-нибудь въезжал на лестницу на лошади. Дело скоро объяснилось: в общую залу нетвердыми шагами ввалилась почтенная компания, состоявшая из «Министра», Заверткина и Димитраки, обнявшихся, как три брата, и взаимно поддерживавших друг друга. Несмотря на эти трогательные усилия, почтенная компания едва могла попасть в двери. За ними, тоже обнявшись, шли Пальцев и Травкин; они держались на ногах только потому, что сильно навалились друг на друга. Травкин, этот «примерный христианин», по словам «Министра», теперь еле-еле шевелил заплетавшимся языком и все повторял одну и ту же фразу:

— Пьяво, Пайцев, ты вьешь, все вьешь, а я тебя все-таки юбью...

— Мы об-бедали у Гвоздева с пр-реосвя-

щенным! — заявлял Заверткин, увидав меня и выделывая своими вихлястыми ногами самые замысловатые вензеля.

Почтенная компания проследовала благополучно до буфета и расположилась где попало, в таких позах, как будто всех их сдуло ветром. Один Димитраки еще настолько сохранил присутствие духа, что потребовал очищенной. Но бедный «Министр» лежал на полу без всякого движения, как оглушенная рыба, мычал и совершенно напрасно старался объяснить что-то «посредством перстов».

Заверткин ухитрился как-то подняться на четвереньки и в этой трогательной позе пропел над распростертыми на земле телами своих друзей известные куплеты:

Уж мы пили, пили, пили,
Уж мы ели, ели, ели...

На другой день после освящения церкви кто-то тихо постучал в мой номер. Отворив дверь, я увидел знакомого мне Гришутку, который был в числе старателей на Балагурихе. Мальчик очень вырос в эти два года, но лицо осталось по-прежнему серьезным. Увидев ме-

ня, он проговорил:

— Василиса Мироновна велела тебе сказать, что Калин умер сегодня ночью.

— И больше ничего?

— Ничего.

Это известие сильно опечалило меня, и я, одевшись, отправился в избушку Калина Калиныча, чтоб отдать последний христианский долг этому доброму существу. Я услышал монотонное чтение над покойником, а из окон избушки так и валил клубами синий дым ладана. Покойник лежал на столе; над ним читала своим певучим голосом Василиса Мироновна; у печки, на небольшой деревянной лавочке, сидели две старухи, недружелюбно посмотревшие на меня.

— «Пришлец есмь аз на земли, — читала Василиса Мироновна своим ровным, невозмутимым голосом, — умножися на мя неправди гордых, аз же всем сердцем испытаю заповеди твоя, господи...»

Лицо покойника не было закрыто, и на нем застыло неземное спокойствие; щеки осунулись; на глазах были положены медные копейки; чтобы не отваливалась нижняя че-

люсть, лицо было подвязано белым платком. Прочитав псалом, Василиса Мироновна подошла ко мне и тихо проговорила:

— Вот и Калин приказал долго жить.

Мне показалось, что в глазах Миронихи блеснули две слезинки, но, заметив мой пытливый взгляд, она быстро отвернулась и тяжело вздохнула.

XVI

Через два месяца после смерти Калина Калиныча я случайно встретился на улице с Василисой Мироновной. Она была чем-то встревожена.

— Ты бы зашел как-нибудь в мою избушку, — проговорила она. — Дело есть до тебя...

— Какое?

— А вот увидишь, когда придешь, — уклончиво ответила раскольница.

Мне давно хотелось побывать в избушке Василисы Мироновны, а теперь «закинулось заделье», и вечером я отправился в дальний конец Старого завода.

Домик Василисы Мироновны стоял на конце Болотной улицы, где начинались малень-

кие избы и лачужки предместья. Снаружи это был кокетливо чистенький домик, обшитый тесом, с зелеными ставнями и белой трубой. Маленькая калитка вела на широкий двор, который, как у всех раскольников, сверху был покрыт отличной тесовою крышей с несколькими слуховыми окнами, откуда падало света как раз настолько, чтобы не разбить себе лба. Пол во дворе был деревянный; кругом тянулись какие-то амбары, хлевы, новенький сарай; везде чистота была поразительная, как в комнате, хотя было что-то тяжелое во всей этой обстановке, походившей на деревянную крепость.

Гремя железною цепью, отчаянным лаем заливалась громадная собака, стоившая десяти уличных сторожей. Широкое русское крыльцо с точеными столбиками, поддерживавшими небольшой навес, вело в маленькие светлые сени, разделявшие домик Василисы Мироновны на две избы — переднюю, в которой собственно жида Василиса Мироновна, и заднюю, в которой помещалась моленная. Деревянные стены были вымыты поразительно чисто, полы устланы своедельщиной — поло-

виками, а в передней избе был постлан дешевый тюменский ковер. Налево от двери стояла белая русская печь, как и в избушке Калина Калиныча, отделенная от остальной избы крашеной перегородкой. Вокруг стен тянулись деревянные лавки, в переднем углу стоял выкрашенный синей краской стол, над дверями были навешаны крашеные полати. В переднем углу красовался большой зеленый киот со старинными образами, пред которыми теплилась неугасимая лампада. Когда я вошел в эту комнатку, светленькую, как игрушка, в переднем углу, облокотившись на стол, сидел Савва Евстигнеич, не поднявший даже головы при моем появлении; голос Василисы Мироновны, что-то делавшей за перегородкой, заставил старика очнуться, и он пристально посмотрел на меня своим единственным оком.

— Милости просим, дорогой гость, — звонко говорила Василиса Мироновна, показываясь из-за перегородки с засученными рукавами рубашки, обнажившими сильные, загорелые руки. — Садись, так гость будешь. Узнаешь гостя, Савва? — обратилась она к стари-

ку, который продолжал сосредоточенно наблюдать меня.

— Узнал... Как же, узнал, — глухо отвечал старик. — Помню, на Балагурихе ночевал у нас в балагане...

Усадив меня в передний угол, напротив старика, раскольница на некоторое время исчезла из комнаты и появилась нагруженная снедями и брашном. Весело разговаривая, она ставила на стол тарелки с черной икрой, прошлогодними рыжиками, балыком, ягодами, изюмом, пряниками и две бутылки — одну с водкой, другую с душистой наливкой из княженики.

— Угощать-то мне тебя нечем, да и не умею я это по-господски делать, — немного кокетливо говорила Василиса Мироновна, как бы напрашиваясь на комплимент. — Уж не взыщи на нашем мужицком угощенье!.. Созвать-то я созвала тебя, а угощать и не умею. Выкушайте-ка вот по рюмочке...

Раскольницы и начетчицы больше не было, а была домовитая хозяйка, угощавшая от трудов рук своих, и было что-то трогательное в этой метаморфозе: так и веяло чем-то пат-

риархальным от этой высокой женской фигуры, угощавшей нас с таким трогательным смирением и ветхозаветной простотой. Старик выпил рюмку водки, а я рюмку наливки, которая была необыкновенно ароматна.

— Покойник Калин любил эту наливку, — говорила раскольница, указывая на штофик с наливкой. — А как он умер хорошо: точно просветлел вдруг и все так обстоятельно говорил!.. Только перед самым отходом душа в нем встосковалась, больно плакал: дочери, слышь, жаль, — погибнет без него...

— Добреющей души был человек, — проговорил старик.

— Этаких простецов больше не осталось, — с тяжелым вздохом прибавила раскольница. — И до самой последней минуты все в памяти был, все разговаривал, а потом вытянулся немного и — конец.

Василиса Мироновна, видимо, ухаживала за стариком, который или был болен, или чем-нибудь сильно расстроен. Поболтав еще минут десять, Василиса Мироновна поднялась с своего места и, поправив платок, проговорила:

— А я схожу тут недалеко в соседи... У бабы волос долог, да ум короток: позвала я тебя, а выходит, понапрасну, — пожалуй, и подумаешь неладно обо мне. Вы тут побеседуйте, а я живым духом схожу. Так ты уж посиди здесь, — обратилась ко мне еще раз Мирониха. — Я живым духом...

Оставшись вдвоем, я долго не знал, о чем разговаривать со стариком, а он молчал, погрузившись в тяжелое раздумье, и, кажется, совсем забыл о моем присутствии. Он выпил уже несколько рюмок водки и заметно покраснел.

— А что, Савва Евстигнеич, как ваш шурф на Балагурихе? — спросил я старика, чтобы начать разговор.

— Какой шурф?

— Ну, да помните, который вы тогда били при мне...

— Ах, да... пустое дело, — бросил скоро! Да и не к чему, — с тихою грустью проговорил старик, опуская голову. — Ведь «Разбойника»-то у меня украли.

— Как так?

— Украли, зломанники! Погубили меня,

разорили...

Старик неожиданно заплакал своим единственным глазом.

— А ведь я тебя вспоминал, не один раз вспоминал, — утирая слезы, заговорил старик. — Помнишь, я тебе сказывал, как кыргыза-то убил, а ты мне тогда еще сказал, что как мне его не жаль... Ты тогда ушел, а мне это и пади на ум. Оказия: и работаю, и молюсь, а кыргыз все с ума нейдет. Не поверишь, сна лишился, от хлеба отбился, а все это было к тому, что пропасть моему «Разбойнику». К тому, значит, и о кыргызе эдак думал... И эпитимию на себя накладывал, чтобы замолить грех, и обещания давал — ничего не помогало! Только одна Василиса Мироновна и отмаливала! Как помолится, так будто маненько и полегчает.

— Как же у тебя «Разбойника»-то украли?

Савва Евстигнеич долго молчал; видимо, что ему трудно было рассказывать подробности этого страшного для него дела.

— Расскажу я тебе это дело по порядку, — начал старик. — Связался тогда я с этой Балагурихой, лето-то простарался, а толку не мог

добиться... А надо тебе сказать, и на Балагурихе я работал только для видимости, для отвода глаз, потому в те поры ходил слух, что будет новый исправник, и за нами сильно следили.

— Как так? — невольно спросил я.

— Ну, да уж слово вылетело — не поймаешь, да и дело прошлое, да и мне-то теперь все равно: не пойдешь ведь на меня доносить? Ведь у нас на Старом заводе займуются золотом-то: доносить, так на всех...

— Что вы, Савва Евстигнеич!

— Проболтнулся я тебе — надо, значит, рассказывать все. Видишь, в чем дело: все мы грешны да божьи. Золотом жили. Только с этим золотом — ух как опасно!.. А тут, как с неба, и свались ко мне «Разбойник»... Эх, что это только за лошадь была!.. Огонь, а не лошадь... Ты и во сне не видывал таких лошадей, да и не слыхивал, да никто тебе и не поверит, что на свете кони такие бывают... Одно слово — «Разбойник», разбойничья лошадь! Я вот тебе расскажу, какие мы с ним дела обделывали, а ты их хоть кому рассказывай — не поверят, в глаза осмеют!.. От Старого завода

до Ирбита летом верст с двести, а зимой, малыми дорогами, верст сотня, а ярманка-то в Ирбите бывает зимой... Понял?

— Ну, так слушай. На этой ирбитской ярманке и сбывают золото, потому тут съезжаются разные такие азияты, с шарманками там, с пуговками, с мылом, — ну, понимаешь, все это для отводу глаз только! Китайцы тоже не брезгают нашим золотом-то, только несуразный народ: ты с ним каши не сваришь; а вот бухарцы да армянцы — те и нас за пояс заткнут!

Старик немного помолчал, а потом, вздохнув и выпив рюмку, спросил меня:

— Ну-с, на чем, бишь, я остановился?

— На армянах, Савва Евстигнеич.

— Да, да, точно на армянцах... Так вот в ярманку-то до Ирбита от нас сто верст. Исправник али становой там уж знает, что старозаводские беспременно золото повезут на ярманку, и караулит: помельче кого, вроде нашего брата — в острог, а покрупнее — оберет, как липку, да и пустит в одной рубашке. Известно, кто этими делами занимается — тоже народ прожженный, ходят босиком, а следы в

сапогах, да все-таки трудно увернуться: места наши маленькие, всех по пальцам знают, а чуть начал пошире жить, торговать, сейчас уж его и под шапку. А когда попался в мои руки «Разбойник», поездил я на нем первую зиму, вижу, лошадь как есть золотая. Не поверишь, я нарочно на «Разбойнике», для пробы, езжал в одну ночь в Ирбит-то и обратно, ей-богу! Только два дня уж я его к этому готовлю, все мучаю, а пред самой поездкой с самого утра на нем гоняю до мыла. Потом часа за три до сумерек привяжу его к столбу, простоится он таким манером часа три, дам ему два ломтя хлеба с солью, посажу в санки Гришутку, — помнишь, на Балагурихе-то, — да и в путь. К полуночи Гришутка в Ирбите привяжет «Разбойника» к столбу, даст два ломтя хлеба с солью, стакан водки вольет ему в глотку да в ту же ночь обратно и приедет на Старый завод, к утру, к самому эдак рассвету. В ночь-то, значит, двести верст и сделает... Скажи-ко кому, да тебе никто в жизнь не поверит! Вот какая была лошадь... Вот когда ярманка-то начнется, зараньше прикопишь золотца, да в одну ночку и свезешь в Ирбит-то, а к утру — дома;

денежки в кармане, придраться нельзя, потому устроишь так, чтобы с вечера-то все тебя на заводе видели.

Старик низко-низко свесил голову и долго молчал, пока я не вывел его из этого состояния своим вопросом:

— Как же у тебя украли такую лошадь, Савва Евстигнеич?

— А уж так, по грехам господь наказал, — заговорил старик спокойно и со смирением. — Сплю это я раз летом, таково крепко сплю, только слышу — в окно мне — тук, тук! Кого там, думаю, нелегкая принесла? Отворил окно: сосед. «Чаго тебе?» — «А ты, говорит, ничего не знаешь?» — «Нет, говорю, ничего не знаю». — «Да ведь у тебя лошадь-то, говорит, украли...» Как это он мне вымолвил, так меня ровно обухом по голове, и свет из глаз выкатился! Выскочил на двор, в конюшню, — нет... Ах, оказия, думаю: куда делась лошадь? Ворота все на запоре... Так, думаешь, как они увели лошадь? А взяли, разобрали крышу да через крышу на веревках и вытащили. А собака, может, помнишь, которая на Балагурихе со мной была, Куфтой звали? — окормили

ее... Выхожу я за ворота к соседу, а самого так и пошатывает, точно я пьяный совсем. «Что, говорю, теперь делать...» А в глазах так столбы и ходят... А сосед и говорит: «Надо, говорит, толкнуться к Евгешке, — некому окромя его такую штуку выкинуть!» Прихватили мы еще человек трех и — к Евгешке. Помолитвовались под окном, спрашиваем хозяина: надо, мол, поговорить. Выходит Евгешка к нам за ворота, тут мы его и приняли... Побили, побили мы его тут, — запирается, собака: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Дело было зимнее. Связали мы его по рукам да за ноги-то и привязали к саням, а двое на него, да таким манером через весь завод и проехали, а потом — на рудник, верстах в восьми от Старого-то завода. Приехали туда. У Евгешки спина в лоскутьях, так мясо клочьями и висит, а все запирается... Тут мы взяли да вниз головой его и спустили в шахту: «Сказывай, а то тут тебе и конец!» Покаялся...

— Что же вы сделали потом с этим Евгешкой?

— А сделали мы с ним вот что: он сказал, что моя лошадь в Огневой, — так, деревнюш-

ка тут есть, в семи верстах от Старого завода, плуты на плутах живут. Мы Евгешку на дровни да в Огневу, прямо к тому мужику, на которого он показал, а его и след простыл. Спросили хозяйку: «Точно, говорит, была лошадь, да только увели». Делать нечего, потеребили маненько для памяти бабенку да с пустыми руками и приехали на Старый завод, а Евгешку опять по-за саням тащили, да у его дома и бросили замертво...

— Что же потом с ним было?

— А известно: собаке — собачья и смерть. Хозяйка позвала лекаря, а лекарь станового... Становой-то посмотрел на Евгешку, да и говорит: «Дураки, ангел мой, говорит, и те, что Евгешку-то, слышь, били, — надо бы, говорит, его до смерти». Так бы и следовало, да пожалели мы-то его, варнака, только маненько поучить хотели... На третий день он так и помер без языка.

— Отчего же вы не отвели Евгешку к становому, когда его поймали?

— К становому?.. Что ты, милый человек, да у станового-то он, может, с тыщу разов бывал, да разве ты его проймешь этим? Ни в

жисть! Становой к мировому, мировой на высидку и — конец всему делу. А нашему брату от их, варнаков, разоренье, да еще худую славу пущают на весь Старый завод, — дескать, там что ни есть несосветимые [67] плуты живут... Мы их в ту весну еще четверых уходили, конокрадов-то, — больно шалить зачали.

— Что же, ты не разыскивал больше лошадь?

— Как не разыскивать!.. Разыскивал. Почитай все время разыскивал, только понапрасну время терял, потому они «Разбойника» в степи угнали. И деньги раздавал нищей братии, и на обители подавал, и в скиты денег-то охапкой посылал — ничего не берет: нет моего «Разбойника» — и шабаш!.. Денег-то, которые нажил он мне, еще много осталось, да друга-то сердечного не стало!.. Вот я и езжу все да отыскиваю его.

XVII

— Иди-ко сюды! — поманила меня Василиса Мироновна, приотворив дверь в переднюю избу. — Я тебе покажу одну штучку.

Мы вышли в сени. Василиса Мироновна отворила дверь в заднюю избу и дала мне дорогу. Издали мелькнула неугасимая лампада, которая теплилась перед целым иконостасом из старинных образов. На меня пахнуло росным ладаном и запахом восковых свеч и деревянного масла.

— Не признаешь ли? — спрашивала раскольница, указывая рукой на какую-то женщину в черном платке.

Я немного даже отшатнулся назад: передо мной сидела Евмения. На ней надет был косоклинный раскольничий сарафан с глухими проймами, ситцевый, подвязанный в подмышках передник, белая миткалевая рубашка. Голова была повязана темным ситцевым платком, сильно надвинутым на глаза; из-под платка выбивалось несколько прядей белокурых волос; болезненно-пристальным взгля-

дом смотрели совсем округлившиеся серые глаза.

— Здравствуйте, — проговорил я, протягивая руку.

— Здравствуйте... — как-то неохотно ответила Евмения.

— Помилуйте, Евмения Калиновна, что это за маскарад такой?

— Маскарад?.. Вы думаете, что это маскарад?.. Нет, настоящий маскарад кончился, — будет! — При последних словах Евмения хрустнула пальцами и засмеялась злым смехом.

— Вы давно из Петербурга?

— Право, не помню хорошенько... Василиса Мироновна, когда я пришла к вам?

— Третьева дни, милушка, третьева дни... Этак под вечер будет, — отвечала раскольница, складывая свои руки на груди.

— Вот к ней под начал поступаю, — проговорила Евмения, вскидывая глазами на Василису Мироновну. — В горы скоро уйдем, в скиты...

Меня совсем изумила встреча с Евменией в этой обстановке, которая представляла та-

кой резкий контраст с тем, что я видел каких-нибудь полгода назад в клубе художников. Расспрашивать Евмению прямо о причинах ее появления в Старом заводе я не решался, предоставляя ей самой высказаться. После короткого разговора ни о чем Евмения кинула мне вызывающую фразу:

— Что же вы меня не спрашиваете, зачем я уехала из распрекрасного Петербурга? Может быть, опасаетесь повредить мои нервы?..

Точно вспомнив что-то, она быстро и уже серьезным тоном проговорила:

— Вы, батенька, пожалуйста, не смотрите на меня, как на жар-птицу... У меня ведь действительно неладно с нервой. Я поэтому больше и инкогнито сюда заявилась. Не хотелось ни с кем встречаться из старых знакомых. Отдохнуть хочется. Устала.

Евмения при последних словах несколько раз сухо кашлянула.

— Видите, бронхит на память о Петербурге привезла...

— Молочко-то ты выпила? — спрашивала Василиса Мироновна.

— Выпила... Спасибо, голубушка, на молоч-

ке. Мужик за спасибо три года работал… Ну, а что Савва? — спросила Евмения, беззаботно встряхнув головой. — Все еще, небойсь, дуется… Скажи ему, что я не сержусь на него.

— Вот, подумаешь, связался старый с малым, — полушутя, полусерьезно проговорила Василиса Мироновна, обращаясь собственно ко мне. — Не берет их мир — и кончено… Никак это вчерась за ужином было… Ведь чуть они не разодрались, ей-богу!.. Эта стрекоза-то давай старика своими цигарками дразнить, а тот и войди в сердце. И смех и горе… О-о-хо-хо!.. Теперь и сидят по разным углам, как кошка с собакой.

— А я очень люблю Савву, — откровенно призналась Евмения. — Он такой славный старик и так смешно о своей лошади тоскует… Мы с ним послезавтра в скиты отправляемся. Дорогой помиримся…

— Вы долго думаете пробыть здесь? — спросил я.

— Я-то?.. Гм… Я приехала, надо полагать, совсем, — ответила Евмения и задумалась. — Доктора проклятые все мутят, — прибавила она с улыбкой. — Насказали мне таких чет-

вергов с неделей, что ложись да умирай: и в груди неладно, и нервы, и ностальгию приплели. Да ведь вы еще не знаете ничего… Праведный-то — помните? — формальное предложение мне сделал, да-а!.. Да вы только представьте себе такую комбинацию: я и — m-r Праведный… Нечего сказать, примерная пара — свинья с пятиалтынным!..

— Оно и лучше бы, ежели бы в закон вступить, — заметила степенно Василиса Мироновна. — А то не знаешь, к чему тебя и применить: ни ты баба, ни ты девка…

— Этого, Василиса Мироновна, я и сама не знаю, к чему себя применить… Теперь вот по старой вере хочу пойти, кануны говорить стану по покойникам да неугасимую читать.

— Не таранти языком-то!.. Больно он у тебя востер… Еще покойничек Калин Калиныч как бывало жалился на тебя за язычок-от!

— Да, да… Я его до слез даже доводила, — припоминала Евмения с задумчивой улыбкой. — А знаете, — прибавила она, — какой удивительный случай со мной вышел… Как я узнала, что отец умер, мне вдруг так сделалось его жаль, что и рассказать не умею. Дня

три проплакала, а потом не могу его забыть, и кончено... Я только теперь его оценила... Знаете, я отдала б бог знает что, чтоб увидеть его еще раз! Глупа была, — не понимала отца... А тут как посравнила с другими людьми, с этими разбойниками, — ну, тогда и опомнилась. Ведь славный был старик, да?.. Честная, хорошая душа... Я, право, так люблю его теперь, как никогда не любила. В нем была эта евангельская чистота сердца и, понятно, совсем особенная незлобивость, кротость, любовь к людям...

Понемногу Евмения разговорилась, по обыкновению быстро перескакивая с одного предмета на другой и постоянно меняя тон. Но печальные ноты так и проскакивали в этом неровном разговоре, а оригинальное лицо освещалось какой-то недоверчивой улыбкой. В своем странном костюме Евмения была сегодня особенно оригинальна; она это чувствовала и, кажется, немного стеснялась.

— Надоело играть вечную комедию, — говорила она, опуская глаза. — Здесь, то есть в Старом заводе, по крайней мере была вера во что-то хорошее, вера в каких-то людей... Ко-

нечно, и это хорошее, и эти необыкновенные люди были там, в Питере, а на деле... Разница вся только в том, что в Старом заводе и подличают, и лгут, и обманывают, и делают всякие гадости в микроскопических размерах, а там все это — в увеличенных.

— Неужели ж вы там ничего хорошего и не встретили?

— Как вам сказать... Раза два были такие случаи. Попался мне один юноша, из зелененьких... Все это, знаете, в нем еще бродит, хочет осчастливить мир и так далее. Честно этак, тепло, молодо. Я даже немножко, грешным делом, увлеклась было, по части сердечной тронулась, — ну, да вовремя опомнилась и юношу живо отрезвила. Обругал меня, плюнул... После спасибо скажет, может быть. Потом в другой раз... к художникам попала. Да, к настоящим художникам, понимаете!.. Совсем как на луне живут, сердечные, точно сейчас с того свету... Ну, поиграли со мной, забавляла их, а потом наскучило сестричкой у тридцати братцев трепаться. Тут уж я плюнула. Ну их к нечистому!.. Очень уж пресный народ...

— А сцена?

— Вот здесь-то мое слабое место и оказалось... Все надеялась, все ждала, а потом действительно были маленькие успехи. Поманило... Взялась за роли потруднее, да и провалилась, — пороху не хватило... Были дураки, которые даже хвалили, только уж тут я сама понимала, что такие похвалы хуже ругани. Совесть зазрила... Думала даже покончить с собой, да опять пороху не хватило. Вот тут-то на меня тоска настоящая и навалилась, — да такая тоска, точно как мышь в мышеловке сидишь!.. И так мне опротивел тогда этот Питер, что просто хуже смерти, Затосковала. Это я-то затосковала!.. Смешно рассказывать даже, о чем думала. Вспомнилась моя комнатка... Вы, кажется, были тогда в ней? — Ну вот, та самая. Полочка с книжками, железная кроватка, тетради разные... А тут отец вдруг умер, — я уж и совсем свихнулась. Ни сна, ни аппетиту, — хожу сама не своя. Посоветовали обратиться к Боткину[68]. Выслушал меня, посмотрел, да и говорит: «Ну, вам, барынька, поскорее восвояси надо убираться! Воздух родины — единственное лекарство для вас». Тут

уж я обеими руками перекрестилась, да и махнула сюда. А теперь пока у Василисы Мироновны околачиваюсь... Вот женщина, так женщина!.. Я когда смотрю на нее, так мне легче делается. Мы с ней, кажется, сошлись, хоть она и журит меня. И знаете, я службу ихнюю раскольничью полюбила... По целым часам выстаиваю и все слушаю и смотрю. Тут чувствуешь, что люди действительно живут всем существом, а не обманывают себя и других разными благоглупостями.

Василиса Мироновна не присутствовала при последнем разговоре. Ее вызвал какой-то таинственный мужик. До моленной, где мы сидели, доносился ее голос обрывками. Раскольница кого-то журила, а потом, видимо, смилостивилась, и ее голос зазвучал мягкими женскими нотами. Скоро ее высокая фигура появилась в дверях моленной.

— Вы бы шли чайку попить, — предложила Василиса Мироновна.

— А там у тебя кто-нибудь есть? — справилась Евмения.

— Да кому быть-то, милушка... Сидит твой благоприятель, Савва, и все тут. Ну, идите, —

самовар на столе!

Когда мы вошли, старик нахмурился и отвернулся от Евмении. Василиса Мироновна благочестиво подобрала губы в оборочку.

— Старичку... сто лет здравствовать! — весело проговорила Евмения, фамильярно хлопая Савву по плечу. — Ну, будет!.. Я ведь не сержусь на тебя, — слышишь?

— Ты не сердишься, да я, может, сержусь на тебя, — сурово ответил старик, стараясь не смотреть на Евмению. — Прытка больно зубы-то заговаривать!

— Хочешь, я тебя поцелую, старичок? — весело сказала Евмения.

— Отойди, грех...

— Ну, ну, будет вам беса-то тешить! — усовещивала Василиса Мироновна. — Ишь, вас забрало!.. Милушка, садись сюда, — прибавила она, указывая Евмении место около себя на лавке.

— Нет, мне здесь лучше, — ответила Евмения, усаживаясь на лавку рядом со стариком и по пути задевая его локтем.

— Тьфу! — отплевывался Савва, стараясь скрыть набегавшую на лицо улыбку.

— А ты, старичок, не сердись, — печенка испортится, — не унималась Евмения. — Еще собираешься со мной в скиты богу молиться.

— Я-то поеду, а уж как ты — не знаю, — отвечал Савва. — Разве с Лыской на одной линии побежишь.

— Ну, уж и с Лыской!.. Полно грешить-то, Савва Евстигнеич! Во мне тоже, поди, не пар, а христианская душа...

— Всем бы ты девка хорошая, — уже весело заговорил старик, — только молиться по-нашему не умеешь... Значит, нам с тобой не по одной дороге богу-то молиться. Ты вон и рыла-то не умеешь по-настоящему перекрестить...

Спор опять возгорелся с новою силой, и Василисе Мироновне стоило большого труда потушить его. Я вспомнил наш чай в избушке Калина Калиныча, когда мы все так весело смеялись над анекдотом Праведного. Через минуту она спросила меня:

— А помните *тогда* анекдот Праведного? Давно ли, кажется, все это было, а между тем сколько воды утекло за это время!..

Чай вообще закончился довольно печаль-

но. Видимо, каждый был занят своими собственными невеселыми мыслями. Когда я стал прощаться, Василиса Мироновна проговорила:

— Погоди ужо меня, вместе пойдем... Мне по пути с тобой идти-то. Дьяконица тут двойней родила, так надо проведать бабу-то... Дьякон-то зашибается маненько.

Когда мы выходили из избы, Евмения не утерпела и крикнула вслед:

— Увидите наших-то, так кланяйтесь своим-то!..

— Видел? — спрашивала меня раскольница.

— Видел. А что?

— Да так я спросила. Может, думаю, не заметил ли чего...

— Больна она, кажется.

— Уж и не говори: местечка живого нет, так в чем душенька держится, — махнув рукой, ответила Василиса Мироновна. — Грешный человек, не любила я ее допреж этого, даже очень не любила.

— А теперь?

— Теперь-то...

Василиса Мироновна немного помолчала, а потом тихо прибавила:

— А теперь, милый человек, сна мне вот куда приросла (раскольница показала на сердце). Да... И как это чудно все вышло, ума не приложу. Я тебе не рассказывала?.. Так вот послушай. Сидим это мы с Саввой третьева дни, этак под вечер дело, — ну, там за самоваришком калякаем, — под окном кто-то и постучись, да тихо таково, вроде как за милостыней. Я подхожу к окну-то, глянула на улицу, а она там стоит да на меня и смотрит... Таково страшно смотрит, страшно и ласково. Я попервоначалу-то испугалась и отшатнулась даже от окна. Да уж потом сотворила молитву и говорю ей, чтобы в избу шла. А надо тебе сказать, она и в избушке у меня отродясь не бывала... Ну, пустила я ее, а сама все как-то не в себе ровно, так мне неловко даже, совестно как-то. Худенькая такая сама-то, а одежонка-то на ней по-модному, точно облепила всю... А глазенки этак зло, зло смотрят. Я опять, согрешила, подумала про себя, зачем это она в мою избушку пришла. И с чего это я подумала — никакого толку не могу дать. Ну,

Савва сидит на лавке, тоже смотрит на гостью волк волком. Знаешь, какой у него разговор-то, — не скоро раскачается... Ну, приговорила я ее все-таки чайку там напиться, закусить, — не гнать же в сам-то деле странного человека. Напилась она чаю, тарантит по-своему, а сама нет-нет — да и скашлянет... Зажгла я свечку, потому на дворе стемнело давно, а она мне и говорит: «Василиса Мироновна, *не гоните меня,* — я останусь у вас ночевать». Только всего и сказала, а сама светленько, светленько таково смотрит на меня, совсем по-ребячьи... Так, понимаешь ты, этим своим одним словом она точно придавила меня, ей-богу!.. И жаль мне ее стало, и совестно сделалось, что раньше-то я так про себя о ней подумала?.. Покраснела даже, а сама не смею на нее поглядеть. Тут уж у меня сердечушко-то и сказалось... «Ведь живой человек она, — думаю это про себя, — душа в ней, а я, дура, что подумала про нее». И Калина-то вспомнила... Горниц то у меня не больно много: в передней избе сама с одной старушкой сплю, а в задней ей и приготовила постельку. Ну, уложила ее спать, а она все щебечет, все

ластится, а меня то в жар, то в холод от ее слов бросает. Раскрыла свой чемоданишко, давай мне показывать наряды там свои и книжки... «Вы, говорит, может быть, думаете, что у меня денег нет?» Открыла там боковушку какую-то и показывает: действительно, денег много, пожалуй, с полтыщи будет. А она опять мне: «Вы, пожалуйста, не подумайте, Василиса Мироновна, что я эти деньги чем дурным нажила...» Ну, рассказала там про киятры свои и всякое прочее, а я ничего не говорю, потому по ее это хорошо, а по-моему, так куда непригоже...

— Ну, тут и самый этот случай вышел... Ушла я в свою переднюю избу, помолилась и легла. Только лежу я это на лавке, а сама думаю. *«Не гоните меня...»* — так вот и стоит в ушах. Сотворила молитву, стала о другом думать, — нет, нейдет это самое слово из ума, хоть ты што хошь! Только слышу, кто-то босиком по сенкам ходит, а потом рукой скобку и ищет... Тихо ночью-то, слышно все. Привстала я, думаю, уж не лихой ли человек. Ну, а она дверь-то и отворила.

— Кто — она?

— Да говорят тебе, Евмения-то... Она самая. Как я ее уложила, в том и пришла: рубашонка одна на ней, босиком... Ну, я и притворилась, что сплю. Думаю, что дальше будет. Вот она огляделась в избе-то, увидала меня и сейчас ко мне. Встала этак возле самой лавочки на коленки, наклонилась надо мной и смотрит. Потом и давай будить: «Василиса Мироновна! Василиса Мироновна!..» Ну, я сделала вид, что проснулась, и спрашиваю: «Что, голубка?.. Может, испить захотела?» Она тут как-то вся даже затряслась, обняла меня, прижалась ко мне к самому лицу и шепчет: «Василиса Мироновна, мне страшно, — я боюсь!» — «Ах ты, говорю, глупая, чего же ты испугалась?» А она мне: «Василиса Мироновна, голубушка, я скоро умру, — страшно мне». — «Чтой-то, говорю, милушка, зачем прежде смерти умирать...» Ну, стала я ее утешать, уговаривать, а она все только головкой качает и заливается-плачет, река рекой... Она плачет, и я плачу, так в два голоса и ревем. И то мне в диво стало, что уж очень меня ласкает, целует всю, руки даже мои целует... А потом села ко мне на лавку, прислонилась ко мне головушкой и давай

рассказывать. Уж так-то она хорошо да складно мне говорила, что и думать, так не придумать... Да ведь хорошо как!.. Тут и вспало мне на ум, что сиротка она, одна-одинешенька... «Ах ты, умница моя, милушка моя», — говорю я ей, а сама каюсь ей про то, как подумала сперва-то. Так мы цельную ночь, обнявшись, и просидели; она у меня на руках тогда и уснула, хорошо так уснула: ручками раскинула, вся точно распустилась, — не как большие спят, а как дите. Ну, я держу ее на руках-то, а сама дохнуть не смею, чтобы не разбудить ее как... Ах ты, господи батюшко, да не девка ли такая уродилась!.. Так ты не поверишь, теперь вот третий день она у меня живет, а я все как во сне брожу, и так мне хорошо, так весело, точно вот она мне родная дочь, да какая дочь!.. Савве после рассказала я, так тот заплакал... И тоже заполонила она его, хоть он и ворчит. Вот поди ты, уродится же такое детище приворотное. А днем-то опять все на голове ходит, да еще вздумает по-своему, по-киятральному представить... Однова так нас напугала, так напугала, — думаем, рехнулась наша девка. Савва-то даже перекрестился... А

она как захохочет… Только не жилица она, — печально прибавила Василиса Мироновна. — Дотянет-нет до весны… И Савва-то ведь как ей рад, право! Сидит даве утром и говорит: «А где, говорит, наша богоданная дочка?..»

Золотая ночь
Из рассказов о золоте

I

— Ну, а я за вами... — говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату. — Одевайтесь и едем.

— Куда?

— Говорю: одевайтесь... У меня и лошадь у ворот стоит.

Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному: в высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая широкоплечая фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а широкое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрелой кожей свидетельствовало о вечных странствованиях по лесам и болотам,

несмотря ни на какую погоду. Окладистая, подстриженная русая бородка, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той храбрости и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные сибиряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал, и постоянно размахивал своими короткими жирными руками.

— Ну, что же вы еще стоите? Говорю русским языком: лошадь за воротами стоит...

— Куда же ехать-то?

— А какое у нас сегодня число? Двадцать седьмое апреля... Так? А через три дня что у нас будет? Не догадываетесь?

— Первое мая будет... но из этого еще ничего не следует.

— Ах, боже мой, да где же это вы живете? На луне, вероятно... Весь город ждет этого первого мая, как христова дня, а вы вот тут сидите да мух ловите. Говорю: одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу...

— На заявку?

— Наконец-то догадались... Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая и не дождаться.

— А далеко ехать?

— Ну, верст сто с хвостиком будет... на Причинку покатим, да!.. Небось, слышали уж о такой речке? Да, золото руками бери... Турфов всего пол-аршина вскрывать. Говорю: богачество!..

В подтверждение своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай являлся тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной Пятачковой даче, про которую давно ходили слухи, как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в своего рода Эльдорадо.

— Кстати, захватите с собой ружье — отличная тяга, — предупреждал меня Флегонт Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку. — Сплошной лес на шестьдесят верст. Лосей видимо-невидимо... Одним словом, прокатимся в свое удовольствие, а лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке.

Мои сборы были непродолжительны, благо лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегонт Флегонтович озаботился заранее. Оставалось захватить кожан, на случай дождя, да ружье.

— А как погода, Флегонт Флегонтович? — спросил я, набивая походную сумку папиросами.

— В лучшем виде: тихо и ясно по барометру... Может, утренничек прихватит, ну, да это пустяки. А какие теперь ночи в лесу — роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на Причинке-то... Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привычное. Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе. Уж этот мне ваш го-

род...

У ворот нас дожидалась пара гнедых «киргизов», заложенных в коробок. Кучер Вахромей сидел на козлах в широком татарском азяме и в триповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид Вахромею можно было дать лет пятьдесят: сгорбленный, худой, с черной, как у жука, головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса — воронова крыла; словом, он являлся выродком в славянской семье. Про таких черных выродков говорят, что их «цыгане потеряли». По характеру Вахромей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век бог знает что думают себе под нос.

— Эх, лихо прокатимся, — проговорил Флегонт Флегонтович, грузно влезая в коробок. — Вон погодье-то какое стоит...

Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шарташскому озеру. Мелькали новые постройки на каждом шагу, и все на

купеческую руку.

— Вон как у нас золото-то подымает людей, — проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в голосе. — Из грязи да прямо в князи так и лезем... Поторапливай, Вахромей, нам еще засветло нужно поспеть в Сосунки.

Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.

II

Екатеринбург — бойкий промышленный город уже сибирского склада. Здесь нет чиновничества, как в других городах, дворянство не играет никакой роли, зато всем ворочают промышленники. Последнее особенно заметно по характеру построек: на каждом шагу так и лезут в глаза хоромины екатеринбургского «обстоятельного» купечества и целые дворцы разных воротил по части спирта, хлебной торговли, сала и разной другой благодати. Там и сям подымаются новые постройки и все в том же неизменно-купече-

ском духе. Барина совсем не видно, за исключением двух-трех адвокатов да банковских дельцов, но и те начинают жить на купеческую руку, плотно и с расчетом. Сибирь не знала крепостного права, и настоящие «господа» попадают туда только в качестве администраторов, на особых основаниях или по независящим обстоятельствам. Во всяком случае, вся Сибирь — промышленная, купеческая сторона, и Екатеринбург является ее первым аванпостом.

Наш коробок катился мимо богатых церквей, потом обогнул старый гостиный двор и по широкой плотине, с которой открывается почти швейцарский вид на загородные дачи, перебрался на другой берег довольно широкой реки Исети. С горки, от здания окружного суда, вид на город почти необыкновенный, в смысле «настоящей» Европы: широкий пруд окаймлен гранитной набережной; в глубине его тонут в густой зелени дачи; прямо — красивый собор, направо — массивное здание классической гимназии, налево — целый ряд зданий с колоннадами — это помещение горного управления.

Сейчас же под плотиной пустующие корпуса упраздненного монетного двора и гранильной фабрики. Здание окружного суда в вычурном мавританско-готическом стиле. Впереди довольно порядочный бульвар, здание городского театра, магазины и т. д. Словом, бойкий и веселый город, в котором жизнь бьет ключом. Было часа два пополудни, и нам навстречу попадались то и дело городские экипажи, извозчичьи дрожки, простые телеги и роспуски; по тротуарам сновал бойкий городской люд, спешивший по своим делам. Флегонт Флегонтович несколько раз раскланивался направо и налево и непременно комментировал каждую встречу.

— Видели на серой в яблоках? — шепотом спрашивал он. — Тоже на Причинку метит, да шалишь, не надуешь... Ха-ха! Это Агашков, Глеб Клементьич, проехал. А давно ли был яко благ, яко наг, яко нет ничего... Много их тут зубы точат на Причинку, только уж извините, господа, вам Флегонта Собакина не провести. Да!.. Будет и на нашей улице праздник... Так ведь?

— Конечно...

— Знаете, я верю в звезду, — заговорил Флегонт Флегонтович, глубже натягивая на голову круглую ратиновую шапочку. — Все игроки суеверны, а наша золотопромышленность самая азартная игра.

— Позвольте с вами не согласиться в этом случае...

— Но ведь я говорю о настоящих золотопромышленниках, понимаете, о настоящих... Да. Мало ли нашего брата плутов и мошенников, которые только прикрываются приисками. Я, дескать, золотопромышленник, а сам черт знает какими делами занимается. Э, да что тут толковать!.. Надеюсь, мы хорошо понимаем друг друга.

Мы выехали за город. Кругом было голо и желто. Трава еще не думала пробиваться, а березы стояли голыми метелками. Наш коробок мягко катился по укатанной глинистой дороге, забирая в гору. В стороне зеленел сосновый мелкий лесок.

— Стой! — крикнул Флегонт Флегонтович и, как мячик, выскочил из коробка на дорогу.

Спустившись в канаву, он набрал несколько камешков и вернулся с ними в экипаж.

— Вот не угодно ли вам полюбоваться, — торопливо говорил он, рассматривая несколько кусков ноздреватого кварца. — Это что такое, по-вашему? Кварц... Какой кварц? Настоящий золотой кварц... Уверяю вас, что правда. Уж эту музыку мы отлично знаем... Можете быть уверены, что мы сейчас едем по чистому золоту. Ей-богу! Бывает белый кварц, плотный, ну, тот нам не рука, хотя в нем попадаются самородки, а вот такой кварц с ноздринками да со ржавыми натеками — наверняк золото. Да ведь здесь кругом золото, куда ни повернись. Вон в Невьянске или в Верхнейвинске прямо в огородах золото копают...

Флегонт Флегонтович был замечательный человек в том отношении, что являлся представителем чистого искусства; он был тем настоящим золотопромышленником, который, кроме своего золота, ничего не хочет знать. Такими «настоящими» бывают только картежники да пьяницы. Это качество Флегонт Флегонтович ценил в себе и в других выше всего на свете и с этой точки зрения смотрел на целый мир. Записные охотники так же

разбирают породистых кровных собак, выражаясь технически: «есть кровь» или «нет крови» в данной единице. Из купеческой семьи по происхождению, Флегонт Флегонтович выступил на широкое поле золотопромышленности с довольно кругленьким капитальцем, который и закапывал несколько раз и несколько раз возвращал. Образования он никакого не получил, но сильно поошлифовался в пестрой среде золотопромышленников, где немалый процент составляют настоящие образованные люди или просто люди, видавшие всякие виды.

Превращения, которым подвергался Собакин, были самые удивительные, и он то не имел гроша за душой, то катался на паре наотлет, что у нас служит самым верным признаком «дикой» копейки. Как умел он вывертываться в крайних случаях — один бог знает, но Флегонт Флегонтович продолжал верить в свою счастливую звезду и, в случае возникавших сомнений, постоянно указывал на примеры разбогатевших золотопромышленников, которых на Урале не занимать стать. Эта вера в свои силы являлась самой

надежной опорой в тревожной жизни Собакина, который на свое настоящее всегда смотрел как-то сверху, как только на переходное состояние, за которым уже должно последовать настоящее житье. Мало ли людей на всевозможных поприщах утешаются подобными иллюзиями и совершенно несбыточными мечтами, но они уже счастливы преисполняющей их энергией. Как за всеми отпетыми игроками, за Собакиным водились особенности: чем дела его были хуже, тем по наружному виду он казался спокойнее и веселее и просто сыпал самыми смелыми проектами и грандиозными надеждами. В настоящем случае, слушая рассказы Флегонта Флегонтовича о неистощимых сокровищах реки Причинки, я был уверен, что у него не было ни гроша за душой и он ставил ребром последнюю копейку. Это предположение совершенно оправдалось, когда мы разговорились о прошлом годе.

— Прошло лето я на севере работал, — рассказывал Собакин таким тоном, точно он заговорил о постороннем лице. — Далеко, за Богословскими заводами... Вот сторонка, скажу я вам! Особенно одолевали комары — житья

от них нет, от проклятых. Если бы кто посмотрел на нас на работе — смех, точно маскарад какой... Ей-богу! У рабочих котелки с куревом за поясом, на рожах просмоленные сетки, а мы щеголяли в такой штуке, что и сказать смешно: сделаешь из картона круглую коробку, проковыряешь в ней две дырочки, на голову наденешь, да так чучелом гороховым и бродишь по прииску. Ха-ха... Чисто как в театре! Только уж и тварь же этот комар, ей-богу, в тысячу раз хуже волка или медведя... Ну, работа у нас хорошо пошла, только шахту пришлось глубокую пробивать, а пробили — вода одолела. Откачивать руками воду — сила не берет, а за паровой машиной надо к чертям на кулички ехать да еще тащить ее по болотам да по топям чуть не на своей спине. Побился-побился и бросил. Признаться сказать, дорогонько мне обошлось это удовольствие — комаров-то кормить, ну, да вот, слава богу, эта самая Причинка подвернулась — все наверстаем. Главное, вот что забавно: хлопочем, бьемся, ищем золото черт знает где, за четыреста, за пятьсот верст, а оно под носом... Вот и поди ты с нашим братом, толкуй!.. В четвер-

том году я опять в киргизской степи работал, верст за восемьсот унесло отсюда; ну, золото нашлось, и хорошие знаки, а как лето-то подошло — воды ни капли... Тут уж сжатым воздухом, говорят, нужно работать, а где я его возьму, этот самый сжатый воздух? Так и пришлось бросить... То вода долит, то без воды сидишь.

Относительно Причинки Флегонт Флегонтович питал самые розовые надежды и строил очень широкие планы, причем ссылался на имена очень веских лиц в купеческом мире, обещавших ему свое содействие, помощь, кредит и т. д. Из его слов получался такой вывод, что все предшествовавшие работы были только сплошным рядом всевозможных ошибок, но зато теперь он, Флегонт Собакин, достаточно умудренный тяжелым опытом, будет бить наверняка и уж маху не даст ни в каком случае.

— Одно меня удивляет, — философствовал он, пуская струйки табачного дыма, — как только деньги завелись у тебя, пошли дела на лад, откуда народ берется: тот приятель, другой друг, третий еще лучше того. Некоторые

пеняют, зачем к ним за деньгами не обратился, когда нужно было. Один лучше другого... А как пошатнулись делишки, все и отвалят, как от покойника. Ей-богу! Меня лишь то удивляет, как это все успеют люди пронюхать да разузнать: сидишь в лесу, в трущобе, а явишься в город — тут уж все известно, точно они по духу знают. Я не осуждаю, потому все мы люди — человеки, а только очень мне это удивительно кажется. И с другими то же самое.

III

По широкой заводской дороге мы проехали всего верст пять и затем свернули влево, на какую-то лесную глухую тропу с едва заметным колесным следом.

— Мы напрямки прокатим в деревню Сосунки, — объяснял Флегонт Флегонтович, — а там меня уж дожидается доверенный с партией, а другой доверенный тоже с партией ждет в Причинке. Настоящей дорогою ехать — крюк будет верст в десять, а лесом — рукой подать.

Наша «прямоезжая» дорога бойко вилась по лесистой равнине, постепенно понижав-

шейся к северу. По сторонам дороги вставал редкий болотный сосняк, изредка попадались островки березняков и смешанный лес; следы хищнической работы человека попадались на каждом шагу, и на месте когда-то вековых вогульских лесов теперь едва сохранились жалкие остатки, точно арьергард разбитой армии. Кое-где и этот жалкий лес совсем редел, образуя широкие лысины — это были свежие поруби, где среди куч не успевшего еще покраснеть хвороста торчали без всякого плана сложенные поленницы веснодельных дров. Близость города с тридцатитысячным населением сказывалась в этой печальной картине разрушения, а там новые поруби и десятки свежих пней, и бессильно лежащие на земле вершины сосен, точно отрубленные головы.

Лес еще стоял на зимнем положении, несмотря на объявленную календарями весну. Ни сосна, ни ель еще не дали свежих побегов, а земля была покрыта прошлогодней высохшей бурой травой, из-под которой только кое-где сочилась вода да изредка пробивались красивые бледно-желтые цветы с зеле-

ными мохнатыми ножками и усиками. В этом мертвом лесе, пожалуй, была своя поэзия, но непривычному человеку как-то становится в нем грустно и тяжело, как в пустом доме, из которого только что вынесли покойника. Даже говорливый и всегда веселый Флегонт Флегонтович заметно притих и, кажется, вздремнул под мерное покачивание нашего гибкого экипажа. Впрочем, он скоро оживился, когда лошади начали спускаться в какой-то лог, по дну которого бурлила мутная речонка. В глинистом берегу было вырыто несколько ям правильной формы, вроде могил; две были совсем свежие, и вырытый песок еще не успел просохнуть, а другие были завалены хворостом.

— Ишь, старатели как землю роют, — любовно заметил Флегонт Флегонтович, опытным глазом рассматривая работу. — Точно свиньи ходили... Все золото ищут. Только и отпетый, скажу я вам, народ и дело свое ух как знают: продадут и выкупят. По всему Уралу таких вот шурфов сколько они в год сделают — миллионы. И найдут золото, уж поверьте мне! Где, кажется, и подумать нельзя, что-

бы золоту быть, а старатель выкопал ямочку — глядишь, оно и полезло. Здесь по всем деревням уж такой народ живет, сызмальства около золота ходит. Взять хоть Сосунки, Причину, все деревнюшки по Ключевой и Сулатам, да вообще восточный склон Урала до самых степей. И плуты при этом страшные, надо им честь отдать, ну, да мудрено нашего брата и судить — и мы им не пирогами откладываем.

На солнозакате мы выбрались на берег реки Ключевой, которая здесь была очень не широка — сажен пять в некоторых местах; летом ее вброд переезжают. Теперь на ней еще стоял лед, хотя на нем чернели широкие полыньи и от берегов во многих местах шли полосы живой текучей воды. Место было порядочно дикое и глухое, хотя начали попадаться росчисти и покосы; тропа, наконец, вывела на деревенскую дорогу, по которой мы и въехали в Сосунки, когда все кругом начало тонуть в мутных вечерних сумерках.

— Заворачивай прямо к Гавриле Ивановичу, — приказывал Флегонт Флегонтович. — Мы у него заночуем.

Сосунки, деревушка дворов в двадцать, не поражала своей внешностью. Покосившиеся избы, дырявые крыши и развалившиеся огороды плохо рекомендовали ее обитателей, известных в городе и окрестностях под сокращенным названием «сосунят». Все отпетый был народ, промышлявший изо дня в день и никогда не знавший, чем будет сыт завтра. Кривая старинная улица, вдоль которой избы рассажались, как гнилые зубы, вывела нас в центр деревни, где коробок и остановился у высокой избы с новыми воротами. На лай собак показались в окне две головы; ворота отворились, и мы въехали во двор, грязный и маленький, с какими-то трухлявыми развалинами вместо служб. Отворивший нам ворота мужик и был сам Гаврила Иванович, плешивый сгорбленный старик в заношенной ситцевой рубахе, в пестрядинных портах и босиком.

— Ну, голова с мозгом, как дела? — спрашивал Флегонт Флегонтович, вылезая из коробка. — Где наши?

— Куда им деваться-то... — как-то нехотя отвечал Гаврила Иванович, моргая подслепо-

ватыми крошечными глазками.

— Небось пьянствуют? Ох, чует мое сердечко, что все они лыка не вяжут, а завтра в поход надо... Утром рано надо, чтобы к обеду поспеть в Причину.

— Ничего, продыбаются дорогой, — коротко ответил Гаврила Иванович, поправляя ослабнувший на животе пояс. — Балованный народ ноне пошел, вот и пируют... Чай пить будешь, Флегонт Флегонтыч?

— Конечно, будем чаевать. Пока лошади выстаиваются да пока есть будут, мы еще и выспаться успеем... А где Метелкин?

— Да уж не знаю, как тебе и сказать... пожалуй, серчать будешь. Солдатка тут есть у нас, ну у ней и хороводится с нашими сосунками...

— Так и есть, так и есть!.. Ведь я же говорил русским языком, что буду сегодня непременно и чтобы ждали меня... Ах, ты, господи, согрешил я с ними!

— Как не ждать, до самых вечерень ждали... Ничего, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь, продыбаются. Дорога тоже не малая, продует...

Лицо у Гаврилы Ивановича было сморщенное и почти коричневое от работы на солнопеке; жиденькая бородка с пробивавшейся сединой украшала нижнюю часть лица какими-то клочьями, точно была усажена болотными кочками. Тонкий нос и свежие ровные зубы являлись на этом старческом лице резкой особенностью и совсем не гармонировали с опустившейся, точно расшатанной фигурой. Когда Гаврила Иванович начинал говорить, густые черные брови у него поднимались и лоб покрывался тонкими морщинками. На первый раз старик не внушал к себе особенного доверия, видно было сразу, что этот мужик себе на уме.

— Золотая голова, — коротко отрекомендовал Собакин старика, когда тот отправился собирать гулявшую по деревне партию. — Конечно, пальца в рот не клади, зато и дело знает так, что комар носу не подточит... Лет пятьдесят золото роет и раза три уж в остроге отсидел за него.

По своему положению Сосунки были глухою лесною деревней, и можно было бы ожидать, что здесь все постройки будут из нового

крепкого леса, но не тут-то было — все избы, как на подбор, глядели какими-то старыми грибами, и только в двух-трех местах желтели новые крыши и то из драниц, а не из тесу. Гаврила Иванович придерживался общего распорядка и проживал в очень старой избе, в которой по зимам, наверно, было страшно холодно. О надворных пристройках я уже говорил.

В одном углу лежала худая корова и, закрыв глаза, сосредоточенно прожевывала жвачку; у какой-то вросшей по уши в землю амбарушки рвалась на короткой цепи пестрая собачонка. Посредине двора стояла приисковая таратайка — двухколесная тележка с откидным дном. Где перебивалась скотина зимой — я не мог отыскать подходящего места. Перед окном избы лежало два сухих бревна, точно обгрызенных с обоих концов, — такие бревна из сухарника лежали и у других изб и заменяли «сосунятам» поленницы дров. В лесных глухих деревнях, где лес под боком и где, кажется, можно было бы запасти дров вовремя, все существуют «от бревна», то есть ребятишки или бабы отгрызут от бревна ар-

шин, расколют — вот и целое топливо, а назавтра та же история. Между тем эти же «сосунята» поставляют в город ежегодно сотни сажен дров.

Внутренность избы Гаврилы Ивановича являлась как бы продолжением того, что было на дворе, — уж очень было в ней и пусто и голо, точно сюда семья переехала только на время. Для «золотой головы» такая странная обстановка была плохой рекомендацией. Нас встретили за порогом два белоголовых мальчика, которые сейчас же и забрались на полати. У печки возилась с самоваром, вероятно, сноха Гаврилы Ивановича, молодая, но очень худая женщина с землистым цветом лица; у окна с прялкой сидела какая-то старуха в синем изгребном дубасе и, не торопясь, тянула бесконечную нитку.

— Здравствуй, баушка, — поздоровался Флегонт Флегонтович. — За вашим золотом вот приехал...

— В добрый час, Флегонт Флегонтыч... Наше золото никому не заказано, милый человек. Только вот сосуны-то наши третий день пируют без тебя, и Степка наш тоже.

— Слышал, баушка.

— Вечор жену принялся было поленом охаживать, едва отняли бабенку… Это ваше золото самое, Флегонт Флегонтыч, нашей сестре больно дорого приходится: скружились с ним наши-то мужики, совсем скружились…

Когда поспел самовар, в избу вошел Гаврила Иванович; он что-то ворчал про себя и сердито плюнул в сторону.

— Ну что? — коротко спросил Флегонт Флегонтович, ставя на стол налитое чаем блюдечко.

— Не спрашивай… Как тараканы, все по деревне расползлись, способу никакого нет. Ну и народ… Степушка-то мой увязался за твоим Метелкиным, ну, я ему немножко тово, в затылок насыпал, чтобы помнил отца-то. А он одно мелет: «Тятенька, я рупь за каждый день получаю и могу себя уважить»… Помешался парень на рубле, да и другие тоже. Оно точно, что любопытно рубли-то получать, на боку лежа, вот и спятили все с ума.

— Ох, уж мне эти ваши сосунки! — стонал Флегонт Флегонтович, патетически хватаясь за голову. — Платишь им поденщины по руб-

лю, а они только пьянствуют...

— А по другим местам разве лучше нас? — заступился Гаврила Иванович, подсаживаясь к самовару. — Взять хоть ту же Причину, да эти причинные мужики с кругу спились, потому уж такая рука им подошла: народ так и валит на Причинку, а всем надо партию набирать; ну, цену, слышь, и набавили до двух целковых. У тебя в Причине тоже ведь партия ждет?

— Партия, Гаврила Иваныч... Там мой компаньон Пластунов всем орудует. Не знаю уж, как он там с причинными мужиками поправляется.

— Бог не без милости, Флегонт Флегонтыч...

Все время за чаем разговор продолжался в том же тоне, причем Флегонт Флегонтович сильно волновался, размахивал руками и несколько раз принимался ругаться на чем свет стоит — ругаться в пространство, чтобы только душу отвести. На дворе давно стояла весенняя голубая ночь с высоким молодым месяцем; где-то лаяла собака и слышался смешанный гул пьяных голосов. В нашей избе го-

рел сальный огарок, тускло освещая неприглядную внутренность избы Гаврилы Ивановича: передний угол, оклеенный остатками обоев, с образом суздальской работы; расписной синий стол с самоваром, около которого сидела наша компания; дремавших около печки баб, белевшие на полатях головы ребятишек, закопченный черный потолок, тульское ружье на стенке с развешанным около охотничьим прибором и т. д.

— Ты бы прилег, касатик, на лавочку да соснул малость... — проговорила старуха, обращаясь ко мне. — Утре рано подымутся.

Мне оставалось только воспользоваться хорошим советом, потому что сон действительно начинал сильно одолевать. Я примостился на лавочку, положив под голову пальто, и скорехонько заснул тяжелым крепким сном, каким спится только в дороге. Пахло чем-то кислым и смазанной дегтем кожей; в дверь постоянно входили и выходили; по стенам и потолку мигали широкие тени; где-то далеко-далеко, точно под землей, пропел петух... Дальше уже все смешалось: Флегонт Флегонтович кого-то опять ругал и несколько

раз выскакивал на улицу, кто-то и в чем-то оправдывался слезливым голосом, потом был какой-то шум, точно в избу Гаврилы Ивановича вносили тяжелый рояль.

IV

Рано утром на другой день, еще «на брезгу», мы оставили Сосунки. Весеннее холодное утро заставляло неприятно вздрагивать, и я напрасно кутался в свое осеннее пальто — чисто весенняя изморозь так и пронизывала насквозь, заставляя зубы выделывать дробь. Переход из теплой избы на мороз, когда хотелось спать мертвым сном, делал наше путешествие очень неприятным.

— Мы теперь на Причину поедем прямыми дорогами, — объяснял Собакин, отчаянно зевая. — И во времени расчет, да и рабочим меньше соблазна в лесу.

— А далеко будет?

— Да верст сорок с хвостиком...

Ездить прямыми дорогами было слабостью Флегонта Флегонтовича, привыкшего шататься по всевозможным лесным трущобам, и другим оставалось только покориться

этой слабости, хотя Гаврила Иванович, кажется, предпочитал сделать объезд.

Сосунки скоро остались позади с своими гнилыми избушками, и мы поехали вниз по течению Ключевой, по довольно торной дороге, с которой свернули в лес. На облучке нашего коробка, рядом с молчаливым, как пень, Вахромеем, поместился Гаврила Иванович, надевший толстый чекмень и заношенную баранью шапку. За нами полз маленький обоз с партиею, то есть две телеги, из которых на одной везли провиант и инструменты, а на другой рабочих.

Последняя телега представляла самую живописную картину, точно нагружена была телятами: не проспавшиеся со вчерашнего хмеля «сосунята» сидели в самом тяжелом молчании и только в такт попадавшимся выбоинам и кочкам болтали свешенными из-за телеги ногами. Метелкин, неопределенных лет человек, в одном плисовом пиджаке и в ярко-красном шарфе на шее, шагал за телегой по стороне, стараясь согреться ходьбой. Издали я мог прежде всего рассмотреть нетвердую разбитую походку; черная поярковая шляпа откры-

вала бледное чахоточное лицо с черными большими глазами, большим носом и редкой козлиной бородкой. Флегонт Флегонтович по временам оглядывался на своего провинившегося поверенного и улыбался.

— Продыбаются, Флегонт Флегонтыч, — ответил на эту улыбку Гаврила Иванович, тоже наблюдавший наш обоз. — Оно по холодку-то даже вот как преотлично... Вон как Метелкин-то наш задувает.

— Ведь вот какой народец! — заговорил Флегонт Флегонтович. — На маковую росинку ничего нельзя поверить, хоть того же Метелкина взять... Который год я с ним маюсь, а без него не могу — и привык, да и дело свое он отлично знает.

— Простудится он в одном пиджаке.

— Метелкин-то? Да он в этом пиджаке зимой верст по сорока уходит, а теперь ему что — шутка... Ничего его не берет, такой уж человек. А сосунята-то, нечего сказать, хороши, только головами мотают...

С каждым шагом вперед мы забирались в настоящую лесную пустыню, где не встретишь жилья на расстоянии шестидесяти, да-

же восьмидесяти верст, за исключением двух-трех лесных кордонов. Лес делался выше, наша дорога превратилась в едва заметную тропу с заросшей колеей. Из лесных пород господствовала сосна, лишь изредка попадались березовые да осиновые гривки. Меня особенно поражало необыкновенное количество попадавшегося в лесу валежника и стоявших лиственных сухарин. Ель совсем не попадалась, хоть на Урале в таких болотистых низменностях обыкновенно растет самый дремучий ельник. Гаврила Иванович объяснил, что в допрежние времена здесь все рос сплошной ельник, а потом был пожар, и после пожара пошла вот сосна да березняки. Громадное количество валежника объяснялось тоже старым лесным пожаром.

— Дикая сторона была совсем, — пояснил Гаврила Иванович, точно теперь стояла не та же лесная глушь, едва тронутая человеческим жильем.

Пятачковая казенная дача занимает широкую и болотистую низменность в двести тысяч десятин; широким краем она уперлась в речку Ключевую, а к северу вышла непра-

вильным углом. На всем пространстве этой дачи встречается только одна небольшая возвышенность — гора Липовая, что в таком близком соседстве с главною массой Уральского кряжа является очень странным. Обыкновенно все подгорья, особенно восточный склон Урала; усеяны отрогами и гористыми возвышенностями.

Пятачковая дача являлась каким-то исключением. Десятки болотистых озер и «озеринок» попадаются на каждом шагу, давая начало десяткам болотистых речонок, которые постепенно сливаются в три главных реки — реку Ключевую, Малый и Большой Сулат. Наделавшая шуму речка Причинка была притоком Большого Сулата в том месте, где он делал широкую петлю на север, а потом круто поворачивал к юго-востоку; на стрелке, где сливались эти реки, стояла деревушка Причина, куда мы теперь ехали. Население Пятачковой дачи, за исключением двух-трех лесных кордонов, жалось по краям, и только несколько починков и деревушек рассажалось по течению Ключевой и обоих Сулатов.

До сих пор Пятачковая дача служила толь-

ко запасом горючего и строевого материала, специально для казенных горных заводов, а теперь, с постепенным упразднением казенного производства, она пустовала лет десять, пока золотопромышленники не выхлопотали доступа в нее. Сложилось что-то вроде басни о скрытых сокровищах Пятачковой дачи, и сюда теперь устремились сотни предпринимателей с желанием выхватить лучшие куски.

Мы проехали верст пятнадцать; совсем рассветало, но солнце не показывалось — день наступил серый и с легким ветерком, игравшим по вершинам сосен. Наш обоз растянулся на полверсты, и мы часто теряли из виду следовавшие за нами подводы. Обогнули заросший кустарником низкий берег какого-то озера, переехали выбегавшую из него безыменную речонку, причем лопнул тяж у нашего экипажа. Произошла небольшая остановка. Кучер Вахромей угрюмо выругался и без всякой причины полоснул хлыстом щеголевато перебиравшую ногами пристяжную. Гаврила Иванович помог наладить случившуюся поруху и, когда мы тронулись в путь, не

сел на облучок, а зашагал мерными мужицкими шагами по стороне. По дороге он сорвал веточку рябины и принялся ее жевать, сплевывая накоплявшуюся во рту горечь тоненькой струйкой сквозь зубы, как плюют цивилизованные кучера и лакеи.

— Здесь не ускочишь, Флегонт Флегонтыч, — говорил он, догоняя нас тяжелой рысцой. — Мочежинки все пойдут, а летом в ненастье здесь такие пачки да зыбуны стоят — не приведи господи.

Пачками и зыбунами называют на прямоезжих дорогах такие места, где экипаж и лошадей вязкая почва совсем засасывает, так что их приходится добывать бастрыгами. Теперь земля еще не совсем растаяла, и в «сумлительных» местах только подозрительно покачивало, точно экипаж ехал по какому-то подземному нарыву, который вот-вот лопнет. В одном месте шумно сорвался матерый глухарь и стрелой, низко и тяжело полетел в саму чащу, точно брошенный сильной рукой тяжелый камень; затем спугнули несколько рябчиков и до десятка дупелей. По сторонам без конца вставали все те же сосны, попадал-

ся тот же валежник; где-то далеко куковала кукушка. Сосновая хвоя глухо шумела, когда набегал ветерок, а потом опять наступила мертвая, тяжелая тишина.

— Сказывают, Дружков проехал на Причину, — неожиданно проговорил Вахромей, нарушая царствовавшую тишину.

— Кто сказывает-то? — вскипел Флегонт Флегонтович, выпуская из зубов дымившуюся сигару.

— Да люди сказывают... Ночью прямыми дорогами проехал Дружков, а час места и Кривополов.

— Что же ты, идол, молчал до сих пор... а? Где ты раньше-то был... а?.. «Сказывают... сказывают...» Тьфу!.. С партией проехали?..

— Сосунята видели...

— Господи, а мы-то ползем... Гаврила Иванович, слышал?.. И ты, поди, тоже слышал про Кривополова и молчишь?..

— Оно, точно, болтали промежду себя, Флегонт Флегонтыч... — уклончиво ответил Гаврила Иванович, стараясь шагать в стороне от нашего экипажа. — На четырех подводах, болтают, Дружков проехал, а потом уж Кривопо-

лов.

— О господи... За чьи только грехи я мучусь с вами?! — яростно возопил Флегонт Флегонтович, поднимая руки кверху, как трагический актер. — Ну, Вахромей молчит — у него уж такой характер, всегда пень пнем, а ты-то, ты-то, Гаврила Иваныч?!. Ведь я на тебя, как на каменную стену, надеюсь! Что мы теперь будем делать, если они опередят нас?.. Ну, говори?.. Кто их проведет прямой-то дорогой?

Гаврила Иванович только жевал губами и несколько раз поправил свою баранью шапку: дескать, «вот вышла же этакая оказия, в сам-деле»...

— Может, заплутаются еще по лесу-то, Флегонт Флегонтыч, — проговорил, наконец, старик в свое оправдание. — Тоже дивно места надо проехать, а дорога вон какая... не ускочишь. Ей богу, Флегонт Флегонтыч, не сумлевайтесь.

— Идолы вы, вот что! «Не сумлевайтесь!» — кричал Флегонт Флегонтович, размахивая руками. — Это мы дурака-то валяем, а небось, Кривополов с Дружковым опередили

нас... Ах, господи, вот еще наказанье-то!..

Чтобы сорвать на ком-нибудь свое расходившееся сердце, Флегонт Флегонтович накинулся на Метелкина, причем с логикой рассердившегося человека всю вину взвалил на него, потому что, если бы он, Метелкин, держал партию в порядке и сам не пьянствовал, тогда мы вчера бы еще в ночь отправились в Причину. Метелкин отмалчивался с виноватым видом, что еще более сердило Флегонта Флегонтовича.

— Ведь вот нар-родец... — проговорил Флегонт Флегонтович, устало откидываясь на спинку экипажа. — Слышали? Все хороши... А между тем... Уж я не так бы распек Гаврилу Иваныча, да теперь нельзя — от него все зависит. Пожалуй, еще рассердится да бросит в лесу, тогда хоть назад ворочайся. Признаться сказать, местечко-то у нас на Причине уж давненько присмотрено, теперь только его взять остается... Есть в Причине один мужик, так он совсем бросовый — Спирька Косой. Ну, через этого Спирьку мы на место натакались... собственно, Гаврила Иваныч. Конечно, и Спирьке и Гавриле Иванычу благодарность

известная, ну, уж это у нас такой порядок, вроде награды выдаем за хорошее место. Вот я и того, боюсь ссориться с Гаврилой-то Иванычем, потому — нужный человек. А все-таки, согласитесь, какой народ: все слышали и молчат... Уж сумеют напакостить. Да... Какую цену дерут с нас за эту ночь вот простые этакие мужики, вон головами-то болтают, которые на задней телеге, потому — чувствуют, что без них нельзя...

У Собакина, как и у многих других, была слабость сделать дело не как другие делают, а наособицу, при помощи какого-нибудь нужного человека. У него всегда был на примете такой человечек, и он надеялся именно на него. Это было своего рода суеверие, но золотопромышленники не отличаются отсутствием предрассудков и всегда рассчитывают все приметы: тяжелые и легкие дни, встречи, сны и т. д. К числу таких предрассудков можно отнести и слепую веру в разных особенных человечков, через посредство которых можно сразу ухватить настоящий кус. Конечно, в подтверждение приводится масса соответствующих примеров: такому-то указал место

башкир, а такому-то пьяница-старатель, ну, отчего же и Спирька Косой не мог облагодетельствовать?.. Может быть, это опоэтизированная точка зрения на жизнь вообще, и, вероятнее всего, такая вера выработалась самой жизнью, когда завтрашний день вечно стоит вопросительным знаком.

— Вам-то все это смешно, а мы даже очень хорошо знаем все эти приметы... да-с! — говорил Собакин с уверенностью испытавшего человека. — Я даже записывал эти приметы, и все выходило по ним.

— Отчего же в Америке, например, золотопромышленники обходятся без примет, а надеются только на свои знания и на энергию?

— Э, батенька... славны бубны за горами. Наверно, и у них свои приметы есть... Уж извините, чтобы так, простону, нет, что-нибудь да есть... Конечно, оно глупо немножко верить, что вот заяц перебежит дорогу — и кончено, а если оно так выходит...

В подтверждение своих слов Собакин рассказал несколько самых убедительных случаев, когда стоило перейти дорогу попу, бабе или перебежать зайцу — и самое верное дело

провалилось.

В одном месте нашу дорогу пересекла свежая колея. По внимательном исследовании было решено, что это проехала какая-то приисковая партия на четырех подводах: след вел от Причины, что много успокоило Флегонта Флегонтовича — все-таки одним конкурентом меньше.

— Может, это Кривополов по лесу блудил? — спрашивал он Гаврилу Ивановича.

— Наверно, он...

Местность кругом мало изменялась — все тот же болотный сосняк, изредка рыжие полянки, потом болотные кочки, валежник и таявшие лужи воды. Переправились через несколько мелких речонок, потом обогнули какое-то широкое озеро с полыньями посредине; небо начало проясняться, и все кругом делалось светлее. Попало еще несколько следов, оставленных проехавшими партиями, но теперь они уже не обратили на себя такого внимания, как раньше, — деревушка Причина была близка, и все были заняты мыслью, что-то теперь там делается: что Пластунов, что Спирька Косой, что другие золотопро-

мышленники.

— Мы в Причине только самую малость оппемся, а потом опять в лес, — говорил Собакин. — Мне нужно не упустить Спирьку, а то как раз кто-нибудь другой перехватит его... Тьфу!.. Ах, проклятый!.. Тьфу!.. тьфу!..

Со стороны выкатил русак, присел, поднял уши и мягкими прыжками, точно он был в валенках, перекосил нам дорогу. Флегонт Флегонтович даже побледнел от проклятой неожиданности...

V

Причина, как и Сосунки, представляла собой глухую лесную деревушку дворов в тридцать; она стояла совсем в лесу, и трудно было сказать, что заставило ее обитателей выбрать такую страшную глушь. Постройки были старые и разбрелись по берегу речонки Причинки без всякого порядка, точно эти избы были разметаны ветром. Как и в Сосунках, народ здесь тоже жил «от бревна», промышляя охотой, рыбой и золотом. Около изб кое-где стояли городские экипажи и простые телеги — это все были наши конкуренты. Гав-

рила Иваныч сразу насчитал больше десятка партий.

— Вот и извольте тут... — в отчаянии проговорил Флегонт Флегонтыч. — Уж чуяло мое сердце...

Мы остановились у крайней, очень плохой избушки, в которой жил Спирька Косой. Наш приезд взбудоражил всю деревню — поднялись собаки, в окнах мелькнули наблюдавшие за нами физиономии, за ворота выскочили посмотреть на приехавших какие-то молодые люди в охотничьих сапогах и кожаных куртках. Какая-то толстая голова кланялась из окна Флегонту Флегонтовичу и старалась что-то выкрикнуть, приставив руку ко рту трубкой.

— А, чтобы тебя черт взял... — ругался неприятно пораженный Собакин. — Это Кривополов... вот тебе и заплутался!

Нас встретил доверенный Флегонта Флегонтовича — Пластунов, совсем еще молодой человек с рыжеватыми усиками; характерное и сердитое лицо, умные холодные глаза и свободная манера держать себя производили на первый раз довольно выгодное впечатление;

очевидно, молодой человек пойдет далеко и, вероятно, недаром пользовался таким доверием Флегонта Флегонтовича. Около избы, на завалинке, сидело человек пять рабочих — это была вторая партия. Из избы доносились какие-то хриплые крики и крупная ругань.

— Ну что? — спрашивал Собакин своего доверенного.

— Пока ничего особенного... — уклончиво ответил Пластунов. — Третьи сутки вытрезвляем Спирьку. Пьянствовал целых две недели...

— Где же он деньги брал? Ведь я ему обещал после заявки четвертную... странно.

— Должно быть, обманул кого-нибудь из золотопромышленников, — объяснял Пластунов. — Теперь у них это везде идет: одно и то же место в трои руки продают. Заберут задатки и пьянствуют...

Это известие сильно встревожило Собакина, потому что под пьяную руку Спирька мог сплавить заветное местечко кому-нибудь другому... Во всяком случае, получалась самая скверная штука.

— Да вот сами посмотрите на него, в каком

он виде, — предложил Пластунов, показывая глазами на избу.

Двора у Спирькиной избы не было, а отдельно стоял завалившийся сеновал. Даже сеней и крыльца не полагалось, а просто с улицы бревно с зарубинами было приставлено ко входной двери — и вся недолга. Изба было высокая, как все старинные постройки, с подклетью, где у Спирьки металась на цепи голодная собака. Мы по бревну кое-как поднялись в избу, которая даже не имела трубы, а дым из печи шел прямо в широкую дыру в потолке. Стены и потолок были покрыты настоящим ковром из сажи.

— Уж я предоставлю... верно!.. — орал кто-то, лежа на лавке. — Предоставлю... на, пользуйся. А кто руководствовал? Спирька Косой... вер-рно...

— Перестань ты грезить-то, — попробовал усовестить Гаврила Иванович. — Ишь, до чего допировался!

— Родимый, Гаврила Иваныч, руководствуй, а я предоставлю... верно! — орал Спирька, с трудом поднимая с лавки свою взлохмаченную черную голову.

— Хорош, нечего сказать... — брезгливо заметил Собакин, разглядывая своего верного человека.

Приземистая широкая фигура Спирьки, поставленная на кривые ноги, придавала ему вид настоящего медведя. Взлохмаченная кудрявая голова, загорелое, почти бронзовое лицо, широкий сплюснутый нос, узкие, как щели, глаза, какая-то шерстистая черная бородка — все в Спирьке обличало лесного человека, который по месяцам мог пропадать по лесным трущобам.

— Сконфузил ты нас, Спирька, — заговорил Гаврила Иванович, придерживая валившегося на один бок Спирьку. — Вот и Флегонт Флегонтыч очень даже сумлевается.

— Флегон Флегоныч... родимый мой... ах, господи милостливый... я? Предоставлю, все предоставлю...

— А на какие ты деньги пировал? — допрашивал Собакин. — Ведь я все знаю... Ну, сказывай: обещал еще кому-нибудь местечко-то?

Спирька долго смотрел куда-то в угол и скреб у себя в затылке, напрасно стараясь что-нибудь припомнить; две последние неде-

ли в его воспаленном мозгу слились в какой-то один безобразный сплошной сон, от которого он не мог проснуться. Он несколько раз вопросительно взглянул на нас, а потом неожиданно бросился в ноги Собакину.

— Флегон Флегоныч... ради Христа, прости ты меня... омманул... ох, всех омманул! — кялся Спирька, растянувшись на полу. — У всех деньги брал... Я прошу, а они дают. Омманул всех, Флегон Флегоныч... а тебе одному все предоставлю... владай... твои счастки...

Собакин выругался очень крупно и вышел из избы. О самоваре и других удобствах нечего было и думать, потому что у Спирьки, кроме ружья да голодной собаки, решительно ничего не было.

— Карауль его, как свой глаз, а я его ужо вытрезвлю, — говорил Флегонт Флегонтович Пластунову. — Надо скорее отсюда выбираться, пока до греха... Ну, Спирька, подвел!

— Ничего, Флегонт Флегонтыч, — успокаивал Гаврила Иванович, — разве один наш Спирька такой-то, все они на одну колодку теперь. А что насчет местечка, так Спирька тоже себе на уме: на ногах не держится, а из

него правды-то топором не вырубишь...

Это было плохое утешение, но, за неимением лучшего, приходилось довольствоваться им. Расчет Флегонта Флегонтовича выехать сегодня же из Причины тоже не оправдался за разными хлопотами и недосугами, а главное, потому, что партии все прибывали и все упорно следили друг за другом. Нужно было переждать и выведать стороной, кто и куда едет, сколько партий, какие вожаки и т. д.

— Заварилась каша, — с тяжелым вздохом проговорил Флегонт Флегонтыч, — еще двое суток ждать, а уж теперь семнадцать партий набралось... К первому-то числу что же это будет... И зачем прет народ, просто ошалели... Ну, да и мы тоже не лыком шиты, может, и перехитрим других прочих-то.

Вместо того чтобы только «опнуться» в Причине, как предполагал Флегонт Флегонтович, нам пришлось «промаячить» в этой трущобе целых двое суток, вплоть до самой ночи на первое мая, когда должна была решиться участь всех. От нечего делать я ходил на охоту и присматривался к окружавшей меня пестрой картине. Деревня теперь преврати-

лась в какой-то табор или в стоянку какого-то необыкновенного полка. За неимением места в самой деревне, выросли отдельные таборы в окрестностях, что делалось очень просто: поставят несколько телег рядом, подымут оглобли, накроют их попонами — вот и жилье. На земле горит огонек, бродят спутанные лошади, на телегах и под телегами самые живописные группы — вообще жизнь кипела.

Все эти городские, невьянские, тагильские, каменские и многие другие «ищущие златого бисера» перемешались в одну пеструю кучу. Набралось около двухсот человек, и даже явилась полиция для охранения порядка и для предупреждения могущих возникнуть недоразумений. Но пока все было тихо и мирно, даже больше чем мирно — все успели перезнакомиться и, под видом доброжелательной простоты, старались выведать друг у друга кое-что о планах и намерениях на первое мая.

Флегонт Флегонтович при помощи разных нужных человечков успел разузнать всю подноготную, по крайней мере старался уверить в этом, и держал себя с самым беззаботным видом, как человек, у которого совесть совер-

шенно спокойна и которому нечего терять.

— Еще веселее будет в компании-то, Нил Ефремыч, — добродушно говорил он своему благоприятелю Кривополову, который постоянно ходил по гостям из одной избы в другую. — Это кто не с добром приехал, а нам что — милости просим...

— На людях-то и смерть красна, Флегонт Флегонтыч... — отвечал Кривополов, жмуря свои и без того узкие глаза.

Этот Кривополов был очень интересный тип, как переход от русского к монголу; приятели называли Кривополова «киргизской богородицей» за его скуластую сплюснутую рожу с узким, скошенным назад лбом и широким носом. Волосы он стриг под гребенку и носил маленькую кругленькую шапочку, точно всегда был в ермолке. У Кривополова где-то были довольно богатые прииски, поэтому он совершенно безнаказанно мог кутить и безобразничать по целым месяцам. Друг и приятель Кривополова, седой, толстый старик Дружков, являлся точно его половиной — они везде попадали как-то вместе и вместе «травили напропалую». К этим неразлучным

друзьям присоединился высокий рыжий хохол Середа, бог знает, какими ветрами занесенный на Урал; он молча ходил за Кривополовым и Дружковым, пил, если приглашали, и под нос себе мурлыкал какую-то хохлацкую песенку. Говорили, что Середа только еще разнюхивает дело в качестве агента от какой-то очень сильной иностранной компании. Когда к нему приставали с допросами, он только отмахивался и говорил приятным грудным тенором:

— Та я ж ничего не знаю, что говорят... А никакой компании нет. Якая там бисова компания? Пранцеватое ваше золото... нэхай ему лишечко буде.

Впрочем, пил Середа мастерски и не прочь был в картишки «повинтить», почему и сошелся на короткую ногу с Кривополовым и Дружковым, которые могли играть без просыпу хоть неделю.

Из числа других золотопромышленников выдавались Агашков Глеб Клементьевич и курляндский немец Кун. Они и держались наособицу от других, как настоящие аристократы. Агашков славился как скупщик краденого

золота; у него были свои прииски, но только такие, которые служили для отвода глаз, то есть воровское золото записывалось в приисковые книги как свое, и только. Такие дутые прииски на Урале почему-то называются бездушными.

Фигура у Агашкова была самая подкупающая: благообразный «низменный» старичок с самой апостольской физиономией — окладистая бородка с проседью, кроткие серые глаза, тихий симпатичный голос и вообще что-то такое благочестивое и хорошее во всей фигуре, кроме длинных рук, которыми Агашков гнул подковы и вколотил в гроб уже двух жен. Особенных художеств за Агашковым не водилось, а жил он как праведник, неукоснительно блюл не только посты, но даже среды и пятницы, был богомолен свыше всякой меры, иногда по дванадесятым праздникам становился на левый клирос и подпевал самым приятным стариковским тенорком, и больше всего любил побеседовать о божественном, особенно что-нибудь позабористее. Кун был лицо новое на Урале, но уже крепко основался и пустил корни. Представительный, всегда

прилично одетый, он держался джентльменом; подстриженные усы и эспаньолка делали его моложе своих лет. Как настоящий немец, он никогда не расставался со своей сигарой, с которой точно родился. Кун и Агашков, кажется, сошлись между собой и все держались вместе.

— Спарились, идолы, — коротко объяснил Флегонт Флегонтович. — Только кто кого у них надует: тонок немец, а и Глеб Клементичу тоже пальца в рот не клади.

Из других золотопромышленников, заблагорассудивших лично заявиться на место действия, никто особенно не выдавался, кроме «бывших»: и бывший мировой посредник, и бывший дореформенный заседатель, и бывший становой, и бывший судебный пристав, и бывший педагог, и бывший музыкант, и еще бывшие бог знает где и бог знает чем, но непременно бывшие, что и было видно сразу по остаткам барских замашек и костюмам, в манере держать себя, в прононсе с оттяжкой и шепелявеньем. Эти бывшие — в большинстве неудачники, которым не повезло и которые явились сюда еще раз испытать одну

лишнюю неудачу. Они так уж и держались вместе, поглядывая на остальных свысока: дескать, если бы вы, господа, видели нас в прежние-то времена, когда... гм!.. чер-рт по-берр-и!

Отдельной артелькой сбилось несколько раскольников из Невьянска и из Ревды, — угрюмый и неприветливый народ, глядевший на всех остальных никониан исподлобья. По костюму — купечество средней руки, может быть, какие-нибудь прасолы и скотогоны или гуртовщики. Крепкий народ и держит себя оригинально, хотя сильно смущается табачным дымом. Особенно хорош был один седой сердитый старик, точно весь высеребренный.

— Уж этаким старикам на печке бы сидеть да грехи свои замаливать, — ворчал Собакин несколько раз. — А тоже золота захотел.

— Нэхай покопае — лишние гроши и прокопае, — равнодушно цедил Середа, не обращаясь, собственно, ни к кому.

— Только мешаться под ногами будет, старый черт... Еще где-нибудь задавят в сумато-хе-то, а то сам завалится куда-нибудь в ямку и

подохнет, — не унимался Флегонт Флегонтович.

Из «бывших» на некоторое время привлекали общее внимание двое отставных военных — ташкентский майор и какой-то сомнительный кавказец. Очень подержанные, очень нахальные и очень жалкие в своем гражданском виде, они держали себя с видом людей, которым уж и терять ничего не осталось. Вот у этих сомнительных воинов и возникло какое-то недоразумение специального характера, что-то вроде вопроса о чести мундира; может быть, это были старые счеты, но недоразумение перешло в крупный разговор, потом в ссору и, наконец, заключилось вызовом на дуэль. Дуэль в деревне Причине — это одно уж чего-нибудь стоило... Но вся буря кончилась ничем, потому что не оказалось соответствующего оружия: собранные со всего стана револьверы оказались разных мастеров и разных калибров.

Остальная «публика» состояла из разных доверенных и просто приказчиков, посланных сделать заявки непременно на Причинке. Это был все народ подневольный, не имев-

ший самостоятельного значения, хотя и представлял собой громкие имена уральских богачей.

— Удивляюсь, что это от Могильниковой никого нет! — несколько раз повторял Флегонт Флегонтович, наводя справки о прибывших партиях. — А они должны быть здесь... То есть, натурально, сама она не поедет, а доверенного пошлет. Уж тут недаром, не такая баба, чтобы маху дала. Пробойная баба, одним словом... Только что у нас будет — одному богу известно. Слышали: Агашков заводских лошадей выставил до самого Екатеринбурга, чтобы опередить всех с заявкой. И Кун тоже, и Кривополов...

— А вы как?

— Мы?.. Мы малыми дорогами их обгоним всех... Хе-хе! Тут ведь дороги каждые десять минут... да. Я Пластунова пошлю верхом о двуконь, по-киргизски... Эх, жаль, у меня Воронка не стало! Вот была лошадь, скажу я вам, — золото, клад... На ней я сам по сту верст верхом делал на проход. Если бы жива была, сам на ней поехал бы с заявкой... А мужичье-то, причинные-то мужики, что выде-

лывают — слышали?

— Пьянствуют?

— С кругу спились, совсем одурели. Да и как не одуреть: в сутки по три целковых теперь получают, да еще сколько обманут... Ведь наш брат другой раз даже до смешного бывает глуп и доверчив!.. Ей-богу! В глаза мужики всех обманывают, а им за это еще деньги платят. Одно место в четверо рук продают... Ха-ха!

— Да ведь и Спирька, может быть, тоже надувает вас?

— Ну, уж извините, Спирька других надул, а не меня... Он у меня в разведке, как стеклышко, будет. Вот сами увидите... всю дурь из него вытрясем.

Причинные мужики действительно совсем потерялись в вихре событий: запрос на рабочие руки оказался громадный, а, кроме того, всякий золотопромышленник, конечно, потихоньку от других, старался непременно заручиться верным человеком, который знает верное местечко. В результате получалась прекурьезная игра втемную, причем каждый был уверен, что именно он проведет всех

остальных. Флегонт Флегонтович окончательно успокоился, познакомившись с наличным составом своих конкурентов, и только подшучивал над вылезавшими наружу плутнями других.

— Видели, как Кун вчера якобы на охоту с ружьем ходил? — рассказывал Собакин. — Думает, что так ему и поверили... а еще немец! Агашков прошлой ночью сам ездил потихоньку посмотреть место... Да и другие тоже. И все, главное, думают, что никто и ничего не знает, точно все оглохли и ослепли.

Сбившиеся с панталыку причинные мужики бродили по селу, как чумные телята, и все промышляли, где бы еще выпить. Слова: «произведу», «предоставлю», «руководствуй» — так и висели в воздухе, повторялись на все лады. Напротив нас стояла гнилая избушка, в которой жил рыжий мужик Парфен, обладавший громадным носом; этот Парфен успевал аккуратно два раза в день напиться и каждый раз производил в своей избенке настоящий геологический переворот — как-то разом все начинало лететь из избушки прямо на улицу: горшки, ребятишки, ухваты и, жена

Парфена вылетала после всего в самом отчаянном виде, с растрепанными волосами, босая, в растерзанном сарафанишке.

— Ловко... — поощрял Спирька соседа, поглядывая из окошка. — Дай ей хорошего раза, Матрене-то... руководствуй...

И Парфен действительно руководствовал на всю улицу, потешая скучавших золотопромышленников. Он приходил даже в какой-то экстаз и все старался придумать что-нибудь почуднее, чтобы удивить всех. Другой мужик, Силантий, живший через два двора, смирный и забитый в нормальном состоянии, как выпивал две-три рюмки, тоже начинал руководствовать и лез непременно драться к первому встречному. Его обыкновенно связывали вожжами и укладывали успокоиться куда-нибудь на холодке. На другом краю деревни бушевал какой-то седой старик Емельяныч, который колотил трех своих сыновей поленьями. Приехавшие рабочие из других деревень, в большинстве самый отпетый народ, набравшийся по приискам вольного духу, дополняли картину своим пьянством, драками и постоянно приставали к причинным бабам и девкам.

Женский курс вдруг поднялся, и бабы к общему соблазну принялись щеголять по улице в самых ярких сарафанах и в кумачных платках, за что им прописывалась сугубая трепка.

Словом, происходила невообразимая кутерьма, и благочестивые причинные старушки только молили бога, чтобы скорее наступило это растреклятое первое мая.

— Я теперь совсем обумился, Флегон Флегоныч, — уверял Спирька, все еще находившийся под домашним арестом. — Пусти хоть дохнуть разик с нашими причинными... Ей-богу, ни в одном глазу.

— Врешь, все врешь... — упрямо отказывал Собакин. — Знаю я тебя, гусь лапчатый. Тебя только на улицу выпусти, так ты сейчас без задних ног, да еще, пожалуй, с вина сгоришь... Немного уж ждать осталось, а там хоть лопни от водки.

Спирька чесал свою гриву, вздыхал и потом соглашался с неумолимым патроном, что оно точно, пожалуй, опять сорвет с ума-то. К довершению общей суматохи случилось два происшествия: «сгорел» с вина какой-то старик, и потом нашли избитую до полусмерти

девку Анисью, которая пострадала за свое коварство — взяла с трех претендентов на ее внимание приличные подарки. Обманутые сговорились и поучили.

— Нет, уж что же это такое? — спросил Агашков, благочестиво поднимая плечи. — Настоящие Содом и Гоморра... уголовство.

VI

Наконец наступил и канун первого мая. С раннего утра в Причине все поднялось на ноги, даже не было видно пьяных. Партии рабочих уже были в полном сборе и толпились кучками около изб, где жили хозяева, или около обозов. Приготовляли лошадей, мазали телеги, бегали и суетились, как перед настоящим походом. Только хозяева старались казаться спокойными, но в то же время зорко сторожили друг друга — кто первый не утерпит и тронется в путь. Свои лазутчики и соглядатаи зорко следили за каждым движением.

— Мы из деревни выедем совсем не в ту сторону, куда нужно, — шепотом сообщил мне Флегонт Флегонтович, тревожно потирая

руки. — А вы слышали, что Спирька сегодня ночью чуть не убежал у нас? Да, да... Ну, я с ним распорядился по-своему и пообещал посадить на цепь, как собаку, если он вздумает еще морочить меня. А все-таки сердце у меня не на месте... Всю ночь сегодня грезился проклятый заяц, который нам тогда перебежал дорогу, — так и прыгает, бестия, под самым носом.

— А далеко нам ехать?

— Да верст пятнадцать будет... По крайней мере Спирька так говорит и Гаврила Иваныч тоже.

В общей суматохе не принимали участия только Кривополов, Дружков, Середа и еще какой-то инженер в отставке, которые винтили уже третьи сутки. Агашков молился с утра богу, Кун, заложив руки в карманы своей кожаной куртки, особенно сосредоточенно курил сигару с раннего утра. В избе Спирьки Флегонт Флегонтович возился с каким-то футляром, который никак не входил у него в боковой карман.

— Что это у вас такое? — спросил я. — Револьверы?

Собакин осторожно оглянулся кругом и расстегнул застежки футляра: в нем лежала разобранная флейта.

— Это для чего у вас? — спросил я.

— А нужно… вот увидите. Я немножко, знаете, играю. Скучно в лесу иногда бывает, особенно осенью, когда ненастье зарядит недели на три. Две партии уже отправились, — перескочил он к злобе дня, — это доверенные от Охлестышевых. Ну, да эти не опасны, пусть поездят по лесу. Я, признаться сказать, больше всего опасаюсь Агашкова и Куна… Черт их знает, что у них на уме.

— Да что же они могут сделать?

— Э, да мало ли что… Будут караулить, куда поедем, и, пожалуй, помешают.

Напились чаю, потом пообедали, но никому кусок в рот не шел. Метелкин выглядывал с почтительной грустью. Спирька сидел как приговоренный; сам Флегонт Флегонтович постоянно подбегал к окошку на малейший стук и осторожно выглядывал из-за косяка. Один Гаврила Иванович не испытывал, кажется, никакого волнения и сосредоточенно ел за четверых, облизывая свою крашеную де-

ревянную ложку.

День был ясный, настоящий весенний, с легким холодком в воздухе; по небу с утра бродили белые волнистые облачка, обещая долгое вёдро. Но кругом не было еще зелени, и только на пригорках кое-где пробивалась свежая травка зелеными щетками. Река Причинка уже очистилась ото льда и начала разливаться в своих низких болотистых берегах, затопляя луга и низины. Пролетело несколько Косяков диких уток; где-то печально кричали журавли.

Часов в семь вечера наша первая партия выступила из Причины, потому что к заветному месту нужно было подойти обходным путем, чтобы запутать все следы и обмануть охотников открыть наш секрет. Теперь нас было две партии — одна под предводительством Флегонта Флегонтовича, а другая во главе с Пластуновым. У нас вожаком служил Спирька, а у Пластунова Гаврила Иванович. Сговорились встретиться на каком-то урочище Сухой Пал, прежде чем захватить окончательно местечко. Чтобы решительно сбить с толку всех, мы ехали в одну сторону, а Пла-

стунов в другую. Собственно, наша партия должна была выступить час спустя.

— Ох, не разъехаться бы... — стонал Собакин, провожая партию Пластунова вперед. — Ты, Гаврила Иванович, смотри, — не ударь в грязь лицом.

— Уж не сумлевайтесь... все оборудуем, Флегонт Флегонтыч, — отвечал старик, залезая в коробок Пластунова. — В лучшем виде.

Другие партии тоже зашевелились, и две из них отправились вслед за нашей партией, хотя это были «бывшие», значит, особенной опасности не предвиделось.

— Что вы так хлопочете, чтобы не разъехаться, — говорил я, — все равно: Пластунов займет другой участок — и только.

— Э, батенька, в том весь и секрет, чтобы занять два участка рядом, потому что у меня в участке жила, ну, а как она уйдет к другому? Вот это-то и дорого... Все из-за этого хлопочут. По закону, каждая партия имеет право занять только один участок — пять верст в длину и сто саженей в ширину, то есть по течению какой-нибудь речки.

Было восемь часов, и мы выступили тоже

в поход. Спирька поместился у нас на козлах, и Собакин категорически объявил ему:

— Ну, ты, идол, смотри в оба, а ежели надуешь, так я из тебя и крупы надеру и муки намелю в лесу-то...

— Предоставлю, Флегон Флегоныч, — угрюмо отвечал Спирька, нахлобучивая какую-то совершенно невозможную шапку на свою взлохмаченную голову. — Уж мы с Гаврилой Иванычем вот как сруководствуем... важное местечко.

Флегонт Флегонтович все оглядывался, точно ожидал погони; но погони не было, и только в стороне дороги раза два повторялся какой-то подозрительный шум, точно кто шел за нами, прячась за деревьями и в кустах.

— Ишь, подлецы, как провожают... — ругался Собакин. — Наверно, Агашков подослал или этот немец с сигарой...

Небо было совершенно ясное, солнце только что закатилось, из лесу тянуло свежей ночной сыростью. С большой дороги мы свернули по указанию Спирьки куда-то направо и поехали в цело, то есть без всякой дороги, по

какому-то покосу. Меня удивило то, что мы ехали от реки Причинки, тогда как должны были держаться около нее. Впрочем, она текла крайне извилисто, и мы, вероятно, просто выгадывали пространство. Все молчали и как-то старались не смотреть друг на друга, точно премированные заговорщики.

В одном месте, когда мы ехали около соснового подседа, над нашими головами пролетело несколько тянувших вальдшнепов с тем особенным кряхтеньем, которое настоящего охотника заставляет замирать на месте. Но теперь было не до охотничьих восторгов, и мы пропустили тягу совершенно равнодушно. Но чем дальше мы подвигались, тем больше начинало попадаться нам подозрительных признаков — перепутанные колеи, следы лошадиных ног, какой-то отдаленный глухой шум или неожиданный треск где-нибудь в стороне.

— Это все партии гуляют по лесу, — объяснил Флегонт Флегонтович; он несколько раз выскакивал из экипажа и припадал ухом к земле, чтобы лучше расслышать лошадиный топот. — Далеко до Сухого Пала осталось,

Спирька?

— Да еще верст семь надо класть, Флегон Флегоныч... а может, и побольше. Кто его знает: здесь ведь места-то баба мерила клюкой, да махнула рукой...

В одном месте мы спугнули несколько пар журавлей, которые с печальным криком полетели дальше. Место было болотистое с низкими кустами ольхи, черемухи и болотной ивы; наш экипаж прыгал по кочкам и постоянно грозил опасностью перевернуться вверх дном. Откуда-то повеяло холодной сыростью, — это была вода, может быть, одно из бесчисленных озер. В другом месте, в лесу, слабо замигала красная точка и потянуло дымком; наш обоз остановился, и вперед посланы были лазутчики. Оказалось, что стояла станом какая-то партия, ожидавшая наступления двенадцати часов: рабочие были не здешние, а хозяин «из господ», как объяснили вернувшиеся лазутчики.

— Должно быть, заблудились, сердечные... — посмеялся Флегонт Флегонтович, однако велел объехать партию подальше стороной, «чтобы не навести на сумление».

Взошел молодой месяц, и все кругом потонуло в фантастическом, колебавшемся свете. Собственно говоря, сравнительно с душистой и туманной летнею ночью, эта холодная и, так сказать, сухая весенняя ночь была просто жалка, но что было хорошо в ней и что придавало ей какую-то особенную поэзию — это неумолкавшая жизнь пернатого царства. Каких-каких звуков только не было!.. Кроме журавлиного и лебединого крика и кряхтенья вальдшнепов, слышалось неумолкаемое пение со всех сторон. Какие птицы пели — не умею сказать, за исключением иволги, которая резко выделялась среди других певцов. Где-то точно разговаривают и кричат две голосистые бабы, потом глухо забормотал на лиственi тетерев, потом, точно из-под земли, донеслось неистовое фырканье и кудахтанье игравших на току косачей. Ночь была тихая, и можно было расслышать игру на нескольких токах. Но всего удивительнее был какой-то страшный крик, точно во всю глотку ревел пьяный мужик; я даже вздрогнул в первую минуту.

— Что, испугались? — смеялся Флегонт

Флегонтович. — Угадайте-ка, что за зверь это отличается? Не угадать... Это куропатка.

— Не может быть!..

— Уверяю вас; я сам сначала не верил, пока не убедился своими глазами. Ревет, точно оглашенная...

В сторонке тихо и нерешительно слышалось осторожное заячье бобоканье; зайцы кричат иногда пресмешно в лесу — сядет на задние лапки, насторожит уши, вытянет мордочку и начинает как-то по-детски наговаривать: «бо-бо-бо-бо»...

— Гли-ко, гли[69], Флегон Флегонтыч, — зашептал Спирька, показывая головой в сторону небольшой сосновой гривки, у которой стояли две темные фигуры. — Вишь, как зорят[70] за нам...

— Ну, пусть их зорят.

— А в лесу лошадь привязана — вон одна голова торчит...

— Ах, подлецы! Чьи бы это?

— Темно, не признать сыздали. Быдто из сосунят кто по обличью-то... может, и наши причинные.

Кроме этих отрывочных эпизодов, наше

путешествие совершалось в мертвом молчании; слышался только лошадиный топот и стук колес, когда они попадали на древесный корень. Вахромей сидел на козлах в обычном молчании и только изредка, в виде особенной милости, благоволил всыпать вертлявой пристяжной несколько хлестких ударов.

— Эва тебе и Сухой Пал... — проговорил, наконец, Спирька, когда впереди серым неясным пятном выступила между редкими соснами узкая лесная прогалина. — И Гаврила Иваныч тамоди[71] с людям дожидает нас... в самую точку попали.

Сухой Пал выделялся какой-то суровой красотой и резко отличался от других мест, по которым ехали до сих пор. Кругом росли вековые сосны в обхват толщиной; почва делала мягкий уклон к небольшому круглому озерку и кончалась крутым обрывом, на котором росла корона из громадных лип.

— Старцы здесь жили в допрежние времена, — объяснил Спирька, — вон и липняк насадили для пчелы... Только их начальство выжило; потому как они, старцы-то, к старой вере были прилежны... строго было. Весь скиток

разорили...

Партия Пластунова дожидалась нас уже с час. Посыпались рассказы с обеих сторон о встречных партиях. Весь лес на десятки верст по течению Причинки был переполнен людьми, ждавшими наступления полуночи.

— Страсть сколь народичку понаперло, — удивлялся Гаврила Иваныч, поправляя свою баранью шапку. — Немца видели... ну, еще с сигарой ходил. В двух верстах отсюдова будет...

— А Агашкова не видал?

— Нет, как будто не запримети́л. Тут все какие-то новые партии, Флегонт Флегонтыч. И господь их знает, откуда они набрались. В Причине как будто их не видать было, все наперечет. Это все пришлые... Надо полагать, режевские али невьянские.

— Все равно... один черт, — ворчал Собакин. — Столбы разведочные приготовили?

— Два столбика сорудовали... и слова написали.

— Хорошо. Уж десять часов скоро, — говорил Собакин, со спичкой разглядывая циферблат своих часов. — Далеко отсюда?

— Версты три, надо полагать, будет; в час доедем.

— Часик подождем.

Ехать прямо на заветное местечко прежде времени мы не могли, потому что на нас могли набежать другие партии и начать спор по заявке. Но, с другой стороны, полная неизвестность являлась тяжелым кошмаром для всех. Время тянулось убийственно медленно, как при всяком ожидании, и Флегонт Флегонтович беспрестанно жег спички, чтобы посмотреть, сколько осталось.

Ровно в одиннадцать часов мы трогаемся в путь в мертвом молчании, но лес кругом гудит от конского топота и торопливо шмыгающих людей. Мимо нас проскакала партия верхом на лошадях; где-то далеко рубят дерево, и каждый удар топора звонко разносится в ночной тиши. Вероятно, это готовят разведочный столб. Вот где-то совсем близко посыпались тоже удары топора, кто-то рубит лихорадочной, неумелой рукой. Опять встреча, едут на двух телегах, разъезжаемся молча — ни слова. Торопливо бегут какие-то мужики с лопатами и топорами. Уж близко совсем, вот и

небольшой пологий ложок, который спускается корытом к Причинке.

— Здесь... — шепчет Спирька.

Флегонт Флегонтович отряжает Пластунова с Гаврилой Ивановичем вверх по Причинке, к какому-то Семенову Бугру, где он должен ждать сигнала и сейчас же ставить разведочный столб.

— Как я заиграю, значит, место свободно, ты сейчас и катай столбы и шурфы, — наставительно шепчет он своему доверенному. — Через полчаса, чтобы все было готово... Слышишь?.. Я как заиграю, ты сейчас и действуй.

Партия Пластунова исчезает в густой сосновой заросли, а мы остаемся на ложке, в ожидании двенадцати часов. Заветное местечко на полверсты ниже, но занимать его теперь рано, можно только привлечь внимание проходящих мимо партий. А народ так валит и валит, все дальше, вверх по Причинке; каждая новая партия заставляет переживать скверное чувство: а как она да наше место и захватит? Но пока все благополучно — все проходят мимо.

— Начинай, благословясь, — командует

Флегонт Флегонтович, откладывая несколько широких крестов. — Ну, восемь минут осталось… пора.

Мы отправляемся вниз по Причинке, которая здесь шириной всего несколько аршин, а в некоторых местах ее просто даже можно перескочить с разбегу. Лошади остались на месте, а мы идем пешком.

— Скорее, скорее… — торопит Флегонт Флегонтович, задыхаясь на ходу. — Спирька, где место-то?

— Да вон береза-то развилашкой стоит, тут и место, — объясняет Спирька, едва поспевая за Собакиным на своих кривых ногах.

За нами несколько рабочих несут разведочный столб.

— Стой! — командует Флегонт Флегонтович, когда мы поравнялись с указанной березой. — Ровно двенадцать часов… ставь столб!

В подтверждение своих слов он показывает нам свои часы; Спирька с двумя рабочими копают яму, а Флегонт Флегонтович вынул из кармана футляр с флейтой, собрал инструмент, и по лесу далеко покатился вальс из «Корневильских колоколов»:

Ходил три раза кругом света
И научился храбрым быть...

В ответ на вальс послышался глухой выстрел из револьвера.

— Слава богу, место свободно, — объяснил Собакин. — У нас такой уговор был: если свободно — один выстрел, если нет — три. Ставьте скорее столб. Ну, теперь валяй шурфы.

Разведочный столб был уже поставлен, и рабочие ставили пониже другой. Метелкин со Спирькой из срубленной березы устраивали живой мостик через Причинку. Флегонт Флегонтович сам отмерял на земле квадрат шурфа и принялся обрубать топором дерн; он взмахивал топором со всего плеча и не мог вывести прямой линии.

В самый разгар работы, на противоположном берегу Причинки, в лесу послышался глухой треск, точно шла целая рота солдат, и затем выскочило несколько рабочих с лопатами и кирками. Намерения неожиданных пришельцев были очевидны, и Флегонт Флегонтович закричал не своим голосом:

— Стой! Место занято... Кто первый пошевелится, на месте убью!

На этот вызов из приближавшейся толпы рабочих отделился высокого роста мужчина в кожаной куртке, в высоких сапогах и в модной шляпе с двумя козырьками. Он подошел к переходу через речку и, сняв шляпу, спокойно отрекомендовался:

— Стреляйте... К вашим услугам: Серапион Чесноков. Обращаю особенное внимание ваше, милостивый государь, на то, что вы в глухом лесу производите угрозу с оружием в руках, что предусмотрено уложением о наказаниях. Притом вы начали работу целым получасом раньше, чем это назначено, за что тоже будете отвечать, а теперь я займу эту площадь на основании общих правил.

Бедный Флегонт Флегонтович побелел от злости и только смотрел на оратора с открытым ртом, как помешанный.

— Да вы... вы от кого? — проговорил он наконец, опуская бессильно руки.

— Я? Я от Анфусы Полихроновны Могильниковой...

— А! Так вы вот как... О, я знаю вас!.. Я... я... — закричал Флегонт Флегонтович каким-то крикливым голосом и бросился гру-

дью защищать переход через Причинку. — Я знаю тебя, подлеца!.. Алеут!.. Ребята, не пущай!.. Спирька, Метелкин! Братцы, это разбойник... это грабеж!.. Будьте все свидетелями...

— Эй, вы, послушайте, — спокойно продолжал «алеут», отдавая какие-то приказания своим рабочим. — Кроме вооруженного нападения, вы еще делаете подлог: часы у вас переведены... Притом вы меня оскорбили с первого слова. И в том и в другом случае вы ответите в законном порядке.

— Врешь, алеут... Это у тебя часы переведены! — орал Флегонт Флегонтович, напирая грудью на незнакомца, но при последних словах внезапно покатился по земле, точно под ним земля пошатнулась...

— Ребята, руби столб!.. — крикнул алеут, перескакивая на нашу сторону.

За этим возгласом произошла уже настоящая свалка: наши рабочие отчаянно защищали свой столб, а сподвижники алеута старались их сбить с позиции, что скоро и было исполнено благодаря их численному превосходству, да и народ все был рослый, заводский,

молодец к молодцу.

— Катай их... валяй! — ревел Собакин, бросаясь на алеута врукопашную. — Спирька, Метелкин, бери его!.. Действуй!..

Но взять алеута было не так-то просто: он одним ударом опрокинул Метелкина, потом схватил Спирьку за горло и бросил прямо на землю, как дохлую кошку. Но Флегонт Флегонтович был довольно искусен в рукопашной и как-то кубарем бросился прямо в ноги алеуту, свалил его и с ним вместе покатился по земле одним живым комом; Метелкин и Спирька, очувствовавшись от первого афронта, схватились разом за барахтавшегося на земле алеута, который старался непременно встать на колени.

— Что же вы-то смотрите... а?! — кричал мне Флегонт Флегонтович, взмостившись на алеуте верхом. — Ах, подлец... ах, разбойник! Спирька, не давай ему на четыре кости вставать... не дав...

Чесноков, утвердившись «на четырех костях», быстро поднялся на ноги и разом стряхнул с себя всех троих, так что Флегонт Флегонтович первым обратился в бегство, а за ним

побежал Метелкин. Я оставался по-прежнему безучастным зрителем этой немного горячей сцены, в которой не желал принимать активного участия. Чесноков торжественно осмотрел поле сражения и как-то добродушно проговорил:

— Хороши...

Затем он засмеялся, достал из кармана серебряный портсигар, и как ни в чем не бывало закурил дешевенькую папиросу.

— Пожалуйста, будьте свидетелем всего здесь случившегося, — вежливо проговорил он, обращаясь ко мне.

— Нет, уж избавьте, пожалуйста, от этой чести...

— Вы не имеете права отказываться, как порядочный человек. Впрочем, эти дела до суда у нас не доходят. Устроим полюбовную. А, да, кажется, еще новый конкурент! Да ведь это наипочтеннейший Глеб Клементьевич Агашков... Вот это мило!..

Действительно, пока происходила борьба Чеснокова с Флегонтом Флегонтовичем, Агашков под шумок успел не только поставить свой разведочный столб, но уже дора-

батывал второй, обязательный для заявки шурф, причем уже промывали в приисковом ковше пробу.

— Ну, это дудки, — хладнокровно проговорил Чесноков, направляясь прямо к благочестивому старцу. — Эй, вы, черт вас возьми совсем! Это вы что же делаете?

— Как что делаю? — удивился в свою очередь Агашков, немного отступая от приближавшегося алеута. — Вы, милостивый государь, пожалуйста, подальше, а то у вас руки-то...

— Что руки?..

— Скоры вы на руку-то, сударь, даже очень скоры... Вон как Флегонта Флегонтовича изувечили.

— Убирайтесь отсюда... сейчас же!.. Слышите? — грозно приказал Чесноков, принимая угрожающую позу.

— И уйду... даже сейчас уйду-с, вот только заявочный столбик приспособлю.

— А я ваш столб срублю!

— И рубите... потому как здесь лес, а в городу это все разберут.

— Вы хотите, кажется, меня перехитрить?

Ну, извините, Глеб Клементьевич, я вас отсюда не выпущу... Ребята, окружайте его и не выпускайте. Вот так.

Около Агашкова образовался живой круг, и он очутился как в мышеловке. Произошла преуморительная сцена, которая закончилась тем, что Глеб Клементьевич, потеряв всякую надежду пробиться сквозь окружающую его цепь, смиренно уселся на камешек, а Чесноков в это время собственноручно доканчивал разведку и сам доводил золото в Причинке. Когда все было кончено, этот страшный поверенный купчихи Могильниковой сел на верховую лошадь, попрощался со всеми и исчез в лесу.

— Разбойник... подлец!.. — ругались в две руки Собакин и Агашков, проклиная отчаянную алеутскую башку; к довершению несчастья, Флегонт Флегонтович повернул неловко ногу во время давешней борьбы и теперь охал и стонал при каждом движении.

VII

— Надо первым делом в Причинку воротиться, чтобы составить акт и всякое прочее, — решили в голос Собакин и Агашков, когда немного пришли в себя. — Мы допекем алеута... к исправнику... к губернатору пойдем. Разбой на большой дороге... в лесу... да мы всех екатеринбургских адвокатов натравим на алеута.

Потерпевшие ругались, как умели, и старались изобрести тысячи самых ядовитых способов извести алеута. Как все очень рассерженные люди, они не только сами верили своим жестоким намерениям, но требовали непременно, чтобы и все другие разделяли их чувства. Мы с Гавриловой Ивановичем сделались невольными жертвами этого озлобления и принуждены были выражать свое полное согласие.

— Я к губернатору, Гаврила Иваныч... — приставал Собакин к нашему «вожу», который почесывал затылок и несколько раз повторял одну и ту же бессмысленную фразу: «Ах, чтоб тебя расстрелило!..»

— Нет, ты скажи, ведь мы его узлом завяжем? — приставал Собакин, размахивая своими короткими руками. — У меня есть один знакомый в канцелярии губернатора из поповичей и такая дока, такая дока... Ведь мы пропишем, Гаврила Иваныч, алеуту горячего до слез... а?! Вот и Глеб Клементьевич тоже...

— Обыкновенно, оборудуем, — благочестиво соглашался Агашков, разглаживая свою седую бороду. — У меня тоже есть один знакомый в духовной консистории.

— В светлеющий синод надо бумагу подать, — советовал Гаврила Иванович, дергая плечами. — Ах, чтобы тебя ущемило... Ну и разбойник!..

— А я еще раньше это предугадывал... — припоминал Флегонт Флегонтович. — Помните? Я несколько раз говорил: «Что это от Могильниковой никого нет?» А вот она и объявилась... И нашла же кого послать!

— Да кто он такой, этот Чесноков? — спрашивал я, воспользовавшись маленьким перерывом, когда Флегонт Флегонтович переводил дух.

— Алеут-то? А черт его знает, кто он та-

кой... Всего года два как объявился в наших местах. Я с ним в Верхотурье в первый раз встретился, даже раз в карты играл. Он тогда адвокатом был и все судился с кем-то. Ну, парень ничего, и на разговор как по писаному режет. Сначала-то всем даже очень понравился, и в хорошие дома везде принимали. Некоторые верхотурские дамы даже очень уважали этого самого алеута, потому, сами посудите, — детина десяти вершков росту, любо смотреть. Ну, обыкновенно, место глухое, дамочкам это даже очень любопытно казалось этакого зверя прикармливать, а потом он себя и оказал, так-таки сразу и оказал — весь как на ладонке. Именины были, и Чесноков тут же. Ну, как попало ему хорошенько за галстук, он и произвел — четверых отколотил... Силища, как у медведя. Двоих схватил за бороды да головами и давай друг о дружку стучать, чуть живых отняли. Чистый дьявол... и на руку скор, страсть! Как-то в театре в Перми идет в антракте в буфет, а навстречу купец и не сворачивает — алеут в ухо, а купец, как яблоко, и покатился. Уж теперь все этого алеута знают и чуть что — сейчас подальше. А как

он попал к Могильниковой — ума не приложу... Такая степенная дама и вдруг этакого молодца подсылает. Ведь это что же такое: нож ему в руки да на большую дорогу.

— Зачем же его называют алеутом?

— Все так зовут, потому что в Америке, сказывают, жил где-то там, у алеутов... Наверное, все врет только будто языком про Америку, а сам, наверно, из каторги ушел.

— Из каторги не из каторги, а около того, — глубокомысленно заметил Агашков. — Очень замашистый человек и даже, можно сказать, весьма неприятный... А уж откуда его добыла Могильникова — ума не приложу. Я, кажется, лучше с медведем в берлоге переночую, чем с этим алеутом...

Увлеченный неудержимым потоком своего гнева, Собакин совсем позабыл, что Агашков чуть-чуть не отнял у него заветное местечко. Об этом щекотливом обстоятельстве он вспомнил только при нашем вступлении в Причину.

— Ну, и вы, Глеб Клементьевич, тоже хороши, ежели разобрать... — корил он благочестивого старца. — Я местечко-то караулил два

месяца, сколько одной водки выпоил Спирьке, а вы...

— Я?.. Да ведь я хотел вам помочь, Флегонт Флегонтович... Слышу, битва идет, ну, я и бросился ослобонять вас.

— А шурфы-то зачем били... а?.. Нет, уж не отпирайтесь лучше... Ну, да теперь все равно: дело пропащее. По крайней мере не доставайся местечко Могильниковой...

— Вот-вот, это самое и есть... — вторил Агашков. — Послушайте, это что же такое... а?.. Вот те и раз!

Заслонив рукой свои старые глаза, Агашков смотрел вдоль по причинской улице, где у квартиры Кривополова стояли оседланные лошади и толпились какие-то мужики. Издали можно было узнать только нескладную фигуру долгоносого пьяницы Парфена, который отчаянно взмахивал руками и расслабленно приседал. Когда мы поравнялись с квартирой Кривополова, за ворота занимаемой им избы, пошатываясь, вышел захмелевший хохол Середа; он посмотрел на нас каким-то блаженным взглядом и, покрутив головой, на немой вопрос Агашкова, пролепе-

тал: «Ой, лишечко...»

— К нам, к нам, милостивые господа!.. — выкрикивал коснеющим языком Парфен. — Там Марфа Ивановна... их душа... вот помереть... люблю.

Мы остановились. Рожа Кривополова показалась в окне, и он Христом-богом умолял всех зайти в избушку.

— Да что вы, окаянные, тут делаете! — журил Агашков, не решаясь спуститься с экипажа. — Добрые люди на разведках бьются, а они вон где проклажаются... Ах вы, греховодники этакие, ей-богу, греховодники!..

— У нас тут... ха-ха!.. Голубчики, Глеб Клементич, и ты, Флегонт Флегонтыч... ради Христа заходите. Я ведь все знаю про вас, как вы там с алеутом воевали... ха-ха!..

В этот момент за ворота выкатился, как шар, толстый седой Дружков и без всяких разговоров принялся стаскивать Агашкова с экипажа за ноги. Мы всей гурьбой отправились в избу, где слышался чей-то женский смех и неистовый хохот Кривополова. В переднем углу, около стола, заставленного бутылками и разной походной посудой, сидела молодая

красивая женщина в темном платочке с глазками. Ей было на вид лет двадцать. Высокая, полная, белая, с продолговатым лицом, она дышала тем завидным здоровьем, какое еще сохраняется только в старинных купеческих семьях. Всего замечательнее в этом красивом женском лице были серые, опушенные длинными ресницами глаза с поволокой и сочные свежие губы, складывавшиеся сами собой в такую хорошую улыбку, как умеют смеяться только настоящие красавицы.

— Вот кого нам бог послал... — хрипел Кривополов, указывая толстыми пальцами прямо на свою гостью. — Ну-ка, Глеб Клементич, угадай, кто такая будет... а?.. И не думай лучше, все равно не угадаешь... Вот так красота — сейчас в рамку да под стекло.

— Уж вы, Нил Ефремыч, и скажете... — немножко кокетливо проговорила красавица и сейчас же вся застыдилась. — А я вас, Глеб Клементич, даже очень хорошо помню, вот и Флегонта Флегонтовича тоже.

— Матушка ты наша... ягодка... — говорил седой Дружков, припадая своей одутловатой сыромятной рожей к ручке Марфы Иванов-

ны.

Агашков и Флегонт Флегонтович переглянулись, не зная, как себя держать с Марфой Ивановной. Лицо Агашкова так и просветлело — старичок любил красивых женщин, — но, с другой стороны, может, какая-нибудь переряженная арфистка...

— Ну, ну! Чего вы медведями-то стоите!.. — кричал Кривополов. — Небось, Ивана-то Семеныча Семиквасова помните? Еще гурты в степи гонял... Ну, он-то, Иван-то Семеныч, значит, помер, водочкой зашибал покойник, крепко зашибал напоследях, а это, значит, его дочь, Марфа Ивановна...

— Да как вы к нам в лес-то, в этакую трущобу попали, Марфа Ивановна? — спросил Агашков, долго удерживая в своих руках мягкую, полную ручку Марфы Ивановны. — Да где тут узнать... Я вас видел еще такой махонькой, по десятому годку. Еще пряников привозил... Может, помните?

— Как же, я вас сразу узнала, — певуче ответила Марфа Ивановна и с ласковой улыбкой смотрела прямо в глаза таявшему старичку.

— Вот и отлично, что помните... Ну, а теперь-то где же мне узнать вас, вон какая раскрасавица выросла... хе-хе! Только все-таки, как же это вы к нам-то, в лес-то попали... а?..

— Я с Серапиеном Михалычем... — ответила Марфа Ивановна, заметно смутившись. — Он насчет разведки от Могильниковой, а я с ним везде езжу, потому одних Серапиена Михалыча никак невозможно отпускать, при их неукротимом характере.

Марфа Ивановна так и говорила: «характер», «Серапиен Михалыч», но у нее и этот недостаток превращался в достоинство, потому что как нельзя больше подходил к платочку с глазками и простенькому шерстяному платью купеческого покроя.

— Вы тоже по золоту? — ласково спрашивала меня Марфа Ивановна, когда первый взрыв восторгов прошел.

— Нет, я так... на охоту приехал.

Марфа Ивановна отнеслась недоверчиво к моей охоте и только едва заметно вздохнула. Мне казалось, что я где-то ее встречал, — лицо было такое знакомое, и голос, и глаза, но где? Да и сама Марфа Ивановна отнеслась ко

мне, как к старому знакомому.

— А ведь Марфа Ивановна у нас гостит на отлете, — объяснял Кривополов, утирая свою калмыцкую образину фуляровым платком. — Угадай-ка, Глеб Клементич, куда она собралась!

— Как, уезжает? — удивился благочестивый старец, но, взглянув на гостью, он только улыбнулся и, потирая руки, своим ласковым голосом проговорил: — А мы не пустим Марфу Ивановну... ей-богу, не пустим. Такой веревочкой привяжем, что и сама не поедет... хе-хе!..

— Нет, я скоро уеду... далеко уеду, — с легким вздохом проговорила Марфа Ивановна, ласково улыбаясь. — Так далеко, что и думать-то страшно... Я ведь с Серапиеном Михалычем; куда они, туда и я...

— В Америку едет Марфа-то Ивановна наша, — объяснил Кривополов и как-то особенно глупо захохотал. — Чесноков в Калифорнию собирается золото искать...

Все недоверчиво переглянулись.

— Я и выговорить-то это слово не умею, куда Серапиен Михалыч собирается уезжать, —

объясняла Марфа Ивановна в свою очередь. — А только непременно уедем... Вы чему это смеетесь, Глеб Клементич? Ведь Серапиен Михалыч такой человек: что захотят, то и сделают. Они уж такие... особенные совсем. Вы не смейтесь, Глеб Клементич.

— Я-с? Помилуйте, Марфа Ивановна... уж на что особеннее Серапиона Михалыча. Вот хоть Флегонта Флегонтыча спросите, хе-хе! А что касательно Америки там, так что же — сторона хорошая, и даже в газетах я как-то про нее читал. Хорошая сторона, прямо сказать, только далеконько маленько будет, ну, да Серапиону-то Михалычу это сущий пустяк-с... Я только так про себя думаю, как же вы, Марфа Ивановна, насчет своих сродственников? Тоже ведь жаль бросить своих-то, свою-то кровь, а там, на чужой-то стороне, еще что бог подаст.

— Нет, я уж решила, — ласково и упрямо повторяла Марфа Ивановна, опуская глаза, — куда Серапиен Михалыч — и я с ними... А сродственники... тетка есть да дядя, ну, они от меня отказались, как я с Серапиеном Михалычем познакомилась, потому что я... я ведь

и теперь невенчанная.

Последнее слово Марфа Ивановна произнесла с заметным трудом и даже побледнела.

— Ох, не нам судить, старикам, — ласковым шепотом заговорил Агашков, делая благочестивое лицо. — Все грешны да божьи, и девать нас некуда... А вы, голубушка, еще молоды: замолите грех. Да оно по нонешним временам это даже сплошь и рядом пошло, что невенчанные живут, да еще как живут — лучше венчанных. Это прежде строгость была большая насчет браку, а по нонешним слабым временам и разобрать-то не можешь, где грех, где спасение. Другая и венчанная жена, а даже назвать ее не знаешь как... Нет, не судите, да не судимы будете. Так ведь, Нил Ефремыч? — обратился в заключение своей назидательной речи Глеб Клементьевич к Кривополову.

Появление женщины как-то сразу изменило картину жизни в Причине, точно ворвавшийся в комнату луч света. Не говоря уже о Кривополове и Дружкове, которые забыли даже о разведке из-за Марфы Ивановны, все остальные обыватели почувствовали, что

случилось что-то такое, что прекратило разом прежнее пьяное безобразие. Вместо составления протокола и прочих громов, долженствовавших обрушиться на отпетую башку Чеснокова, Собакин и Агашков беседовали в квартире Кривополова самым благочестивым образом. Особенно хорош был Глеб Клементьевич, точно просиявший всем своим старческим благообразием; присутствие свежей молоденькой женщины наполнило его до самых краев самыми благочестивыми и душеполезными помыслами, которыми он спешил поделиться с Марфой Ивановной. Эти медоточивые речи заставили расчувствоваться даже такого бесповоротно испорченного грешника, как старый Дружков, безобразничавший напропалую по всем градам и весям.

— Подлецы мы все... это ты правильно, Глеб Клементич! — решил Дружков, чувствуя себя совсем «на точке». — Уж какая наша приисковая жизнь... Ох-хо-хо!.. Марфа Ивановна, искушали бы с нами хоть хереску или мадерцы... а?..

Этот непростительный переход от раскаяния к мадерце шокировал всех, и Кривополов

тихонько дернул Дружкова за рукав, так что сыромятный старик неловко замолчал на полуслове.

Пока мы пили чай, который разливала Марфа Ивановна, под окнами нашей избы несколько раз мелькали усатые, забубенные головы «отставных» и «бывших», вернувшихся с разведки в Причину неизвестно зачем. И этих людей, выкинутых за борт жизнью, тоже интересовало таинственное появление в глуши причинских лесов таинственной женщины. Прохаживаясь под окнами квартиры Кривополова, они, вероятно, припоминали свои лучшие дни, когда и им улыбались красивые и молодые женщины.

Не дождавшись, когда кончится затянувшаяся беседа, я вернулся на квартиру, в избу Спирьки, один. После бессонной тревожной ночи долил мертвый сон. Но в Спирькиной избе мне не удалось отдохнуть, потому что там стоял дым коромыслом — очевидно, там «руководствовали» вернувшиеся с работы «вожи» и проводники: по крайней мере можно было отлично различить голоса самого Спирьки, долгоносого Парфена, Силантия и

других. Я пробрался прямо в сарай, выбрал уголок с остатками сена и трухи и, завернувшись в плед, заснул крепким сном, каким спится только после долгого шатания по лесу.

Когда я проснулся, день уже был на исходе. Солнце висело под самым горизонтом, и красноватые лучи заката врывались сквозь щели дырявой крыши пыльными полосами. Свежесть весеннего вечера давала себя чувствовать, но после долгого, крепкого сна не хотелось шевельнуть пальцем, а так лежал бы без конца с открытыми глазами и думал без конца пеструю полосу плывших в голове мыслей. Это чисто созерцательное настроение испытывается только в полном одиночестве, когда знаешь, что никто тебя не потревожит, и наслаждаешься даже этим сознанием. Лежа на сене, я долго наблюдал игру света и тени на покосившейся стене сарая, по стрехам и прогнившим драницам, точно солнечные лучи делали самую тщательную ревизию недвижимой собственности Спирьки.

— Ладно она их приклеила... — слышался голос Гаврилы Ивановича. — Диво бы еще Кривополов или Дружков, а то и Глеб Клемен-

тич туда же... Да и наш-то хорош тоже, нечего сказать. Хотели суды судить с тем, с дьяволом, а заместо того цельный день проклажаются, и полицейские там же прилипли.

— А Глеба-то Клементича видел? — сдержанным полушепотом спрашивал другой, незнакомый голос с легкой хрипотой. — Глазки-то так и бегают, как по маслу, а сам все насчет души... прокуратит старичонка, уж это верно. Уж такой он охотник до гладких баб, такой охотник... Очень даже я его знаю: ни одной не пропустит.

— Молитвенный старичок, а грех-то за плечами, — глубокомысленно заметил Гаврила Иванович, аппетитно зевая. — Откедова она взялась-то, эта самая Марфа Ивановна?

Наступила длинная пауза. Слышно было только, как кто-то осторожно зевал в руку и что-то бормотал.

— А я ведь ее, Марфу-то Ивановну, даже весьма хорошо знаю... да-а!.. — протянул незнакомый голос. — Верно говорю... даже случай был со мной, то есть касательно этой самой Марфы Ивановны. Может, я, Гаврила Иваныч, и пью-то с этого самого случая... да-

а... вот те Христос! Как даве услыхал, что она в Причине, — у меня инда руки и ноги затряслись со страху. Очень испугался даже...

— Да чего тебе бояться-то, чучело гороховое?

— Себя боюсь, Гаврила Иваныч, сердце дрожжит... это тоже понять надо. А сам думаю: «Не пойду я к ней на глаза — и конец тому делу»... Ей-богу!.. Потому как эта самая Марфа Ивановна хуже мне погибели... Смерть она мне, вот что!

Этот разговор меня заинтересовал. Добравшись до стены, в широкую щель между осевшими бревнами я увидел на дворе Спирьки такую картину: Гаврила Иванович лежал в нашем коробке, закинув ноги на облучок, а на облучке, скорчившись, сидел Метелкин. Он был в своем порыжевшем плисовом пиджаке и в красном шарфе; бледное чахоточное лицо было покрыто розовыми пятнами, и черные большие глаза сегодня казались еще больше. Кажется, Метелкин был сильно с похмелья и с особенным ожесточением курил крючок махорки, постоянно сплевывая на сторону.

— Ведь я у родителя-то Марфы Ивановны еще в мальчиках вырос. Тогда Иван Семеныч гурты гоняли из-под Семипалатинска... Ну, а я был круглым сиротой, вот он и взял меня к себе. При его-то деле с мальчиком способнее, — послать, прибрать, записку написать и всякое прочее. Благодетелем моим был, и пожаловаться на него не могу, разве под пьяную руку неукротим на руку был, потому мужчина из себя целая сажень, рука, как пудовая гиря, ну кровь-то в нем как заходит, тогда уж никто не попадайся на глаза — разнесет в щепы. Эти гуртовщики как-то все на одну колодку — чистые лешие...

Зиму жили мы в городе и с весны в степь уезжали, так я в степи и вырос. Ну, как я вырос, большой стал совсем, Иван Семеныч даже женить меня собирался, а это вина я в те поры в рот ни капли... Хорошо. Только у Ивана-то Семеныча и умри ихняя супруга; ну, он с горя-то и принялся чертить, а на руках дочь маленькая. Он ее любил до смерти и с собой везде возил. Тогда Марфа Ивановна была так годку по девятому, а мне шестнадцать. Я с ней и водился, когда Иван Семеныч чертил...

Сильно он закладывал, недели по две не в своем виде бывал, ну, скучно в другой раз в степи-то, одурь возьмет, вот с девчонкой и возишься. Ну, а тут и случай подошел...

В отца вся вышла Марфа Ивановна — рослая, полная, как холмогорская телка, а в четырнадцать лет хоть сейчас под венец, кровь с молоком девка, одним словом... Хорошо. И ко мне она привыкла, как к брату... Хорошо. Веселая была... Ну, однажды ночью Иван Семеныч спит у себя в палатке пьяный, а мы с Марфенькой у огонька сидим да глупости разные болтаем... А надо тебе сказать, что я еще раньше заметил, что стала Марфенька немножко как будто задумываться, даже из себя вся потемнеет. Ну, думаю, нездоровится девке, мало ли что бывает женским делом... Хорошо. А тут вдруг так разыгралась, и глазенки потемнели, а сама, как котенок, так и играет...

Ну, болтали мы, болтали, а Марфенька как схватит меня за шею, обняла да как поцелует прямо в губы, крепко так... Меня как обухом по голове, точно обожгло по сердцу, и свет из глаз выкатился... Сижу это дураком и смотрю

на нее, а сам ничего не понимаю... А она смотрит на меня и смеется... «Что вы, Марфа Ивановна, делаете со мной? — говорю я. — Тятенька проснется — беда»... А она мне: «Никого я не боюсь, Вася, потому что люблю тебя... а тятеньки не боюсь».

— Вот так девка... — изумился Гаврила Иваныч. — Четырнадцати лет, говоришь, была? Экая охаверница...

— Нет, ты это напрасно, — вступился Метелкин, бросая окурок. — Эта Марфа Ивановна совсем особенная женщина... Вон какая она из себя-то, дерево деревом, вся в тятеньку родимого. Кровь в ней, значит, поднялась... А как это она тогда сказала мне: «Вася»... Ну, да что уж тут говорить.

— Обнаковенно... только я думаю так, что не чисто тут дело, не без дьявольского наваждения. Христианской душе прямая погибель через этих самых баб...

— И я то же самое думаю, Гаврила Иваныч, то есть после-то, когда очувствовался, в разум пришел, потому эта сама Марфенька совсем ведь еще дитей была и разных предметов не могла даже понимать. И смелость в ней эта

самая — чистый бес, а не девка.

— Чем же это у вас кончилось?

— Да оно, пожалуй, и теперь не кончилось... Видел ведь я сегодня Марфу-то Ивановну... узнала меня... улыбнулась по-своему, а у меня мурашки по спине, захолонуло на душе... и опять: «Вася, такой-сякой... зачем пьешь?..» Ну, разное говорила. Смеется над стариками, которые увязались за ней. И про своего-то орла сказывала... обошел ее, пес, кругом обошел; как собачка, бегает за ним. Понимаешь, себя совсем потеряла.

— Да и парень: чистяк... Ну, так она чего тебе-то говорила?

— Говорила, что уедет в Америку, только это пустое... Уж это верно. Агашков увязался за Марфой Ивановной и не пустит. Крепкий старичок... я его даже очень хорошо знаю. Карахтер тоже у него... Марфа-то Ивановна теперь, конечно, смеется, а только она по своему женскому разуму совсем даже не понимает людей. Думает, что лучше нет ее-то Серапиена Михалыча, а еще бабушка надвое сказала...

— Послушай-ка, Вася, — остановил Гаври-

ла Иваныч, — а ведь ты мне не обсказал еще своего-то случая, чем у вас дело тогда кончилось.

Метелкин долго не отвечал, делая новый крючок.

— Да чем кончилось — обнаковенно... тоже и я живой человек, совсем ума решился. Как ночь, отец пьяный спит, а Марфа Ивановна ко мне... Жаль мне было ее загубить, ну, какие еще ее годы — четырнадцать лет, а она пристает, покою нет. Ну, и слюбились... Думал я, что женюсь на Марфеньке, потому как на отчаянность пошел... Обнаковенно: в ноги родителю, а там что будет. Ежели, думаю про себя, Иван Семеныч меня по шее, так я или Марфеньку выкраду у него, или себя порешу. И сделал бы, все сделал бы... отчаянность тогда во мне одна была, да и Марфенька все подучивала, как и отцу объявиться и всякое прочее. Ну, а вышло совсем не по-нашему...

Выбрали мы денек, когда Иван-то Семеныч совсем трезвый был; приоделся я, помолился богу и пошел в палатку, а сердце так и бьется, как птица. Вхожу. Иван Семеныч на счетах прокладывает, посмотрел на меня и спраши-

вает: «Ну, что, Вася? Чего ты из лица-то ровно выступил, уж здоров ли?» Добрый он был, ежели в своем виде, ну, а тут этой своей добротой точно он придавил меня, как плитой придавил. Уж я и, тут почуял, что не ладно дело… Ну, сотворил я про себя молитву, да прямо в ноги Ивану Семенычу и объявил начисто: все, как на ладонке, выложил. Думаю, разнесет он меня, раздавит, как щепку, а Иван-то Семеныч сидит да только вздыхает…

«Ну, говорит, Вася, заплатил ты мне за мое добро, что я тебя, как родного сына, воспитал… Не к тому, говорит, молвлю, чтобы корить тебя куском хлеба, а к тому, что без всякой совести ко мне пришел. Бога ты забыл, Вася… Я на тебя, говорит, и сердиться даже не могу, потому совсем ты меня раздавил своей превеликой подлостью, а только, говорит, скажу тебе одно: Марфа Ивановна — так и назвал ее Марфой Ивановной — сама свою женскую глупость износит, а только я тебе живую ее не отдам — прокляну. Вот тебе, говорит, мой первый и последний сказ, и даже, говорит, весьма мне за тебя совестно, что ты еще со своей подлостью смел явиться ко мне на

глаза». Ну, как он это выговорил, а сам помутнел весь, и слезы у него на глазах, так я и утонул... зарезал он меня своей кротостью.

Метелкин перевел дух и покачал головой, точно она была налита свинцом.

— С Марфой-то Ивановной он все-таки по-свойски разделался — и за косу, и всякое прочее, потому как я, говорит, за свою кровь ответ должен богу дать. А Марфа Ивановна свое... Бились мы, бились, а через родительское проклятие не посмели переступить, да и жених подвернулся к Марфе Ивановне. Потом вышла она замуж, только, как слухи пошли, нехорошо жила с ним, то есть он-то ее обижал за ее провинность. А я по приискам пустился, пировал, безобразничал... Видал ее издалька, только подойти боялся. Ну, а теперь вот она с Серапиеном Михалычем ушла от мужа... Все мне рассказала, а сама плачет. «Сняли, говорит, Серапиен Михалыч, с меня мою волю...»

— Шш... хозяин идет, — предупредил Гаврила Иваныч и зашипел опять, как сторожевой гусь.

Флегонт Флегонтович возвращался на

свою квартиру нетвердыми ногами, что-то бормотал про себя, улыбался и размахивал руками. Пробравшись в избу, он сунулся на лавку и сейчас же заснул. Теперь я отлично припомнил мельчайшие подробности своей встречи с Марфой Ивановной. Это было на большом сибирском тракте, где на станции мне пришлось ждать лошадей чуть не целый день. На эту же станцию привезли и Ивана Семеновича, который был не в своем виде; его сопровождала Марфенька. В этой девочке, развитой физически не по летам, меня поразило совершенно особенное выражение глаз, которое уже говорило о понимании «разных предметов».

Осенью встречаю Флегонта Флегонтовича в Екатеринбурге.

— Как ваше дельце? — спрашиваю.

— Какое?

— А с Причиной?

— Ах, да... Знаете, тут вышло маленькое недоразумение. Наше местечко и теперь спорным считается, так никому и не досталось... Помните алеута-то? Ведь его тогда Спирька Косой подвел... а Спирьку подкупил

Агашков, а Агашков... Марфа-то Ивановна теперь у Агашкова живет. Да-с... И лучше: старичок-то не надышится на нее, ну, бабенка молоденькая, по крайней мере отдохнет, а алеут-то ее чуть-чуть до смерти не изуродовал. И как ловко алеута поддел Глеб-то Клементич... хе-хе!.. Угожденьем донял молодца, в лоск его споил, а потом и Марфу Ивановну перетянул за себя... Славная бабочка. Как-нибудь поедемте к ней чай пить... Не хотите? Ну, как знаете, про себя вам лучше знать!

— А где ваш приказчик Метелкин?

— Метелкин? Бедняга приказал вам долго жить... И черт его знает, что с ним сделалось после этой самой золотой ночи — совсем задурил парень: начал пить, безобразия всем строил... И представьте себе, на чем человек может помешаться: увязался за Марфой Ивановной. Ей-богу... Положим, что он ее знал еще дитей, ну, а все-таки, согласитесь сами, даже смешно: Марфа Ивановна и Метелкин. Конечно, она его жалела по своей доброте и прощала разные глупости, а когда он хворал — даже сама навещала его, но ведь это совсем не то-с. Скоротечная чахотка у Метелки-

на открылась и в две недели его скрутила.

— А где теперь алеут?

— А кто его знает? Исчез, и только. Много у нас таких-то.

Результаты «золотой ночи» окончательно выяснились только осенью, когда были утверждены произведенные заявки. Собственно, по реке Причинке самые лучшие куски остались спорными, а остальное было разобрано Агашковым, Кривополовым, Куном и прочей прожорливой и добычливой братией… Флегонт Флегонтович остался на бобах и теперь мечтает о каком-то заветном местечке на реке Чусовой, которое ему обещал предоставить самый наивернейший человечек.

Статьи о творчестве Мамина-Сибиряка

Ф. Гладков

Творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка

Странной и своенравной была судьба многих писателей в прошлом. Одних с первых же шагов литературной деятельности сопровождали успехи, слава, других преследовало равнодушие или враждебное замалчивание, а то и травля. Одни быстро становились любимцами публики, о них неустанно шумела критика. Другие всю свою жизнь, несмотря на их упорный труд, оставались в тени, их отвергали, хотя и не отрицали их дарований.

Вспомним 80-е годы. Кто из писателей привлекал тогда особое внимание интеллигенции? Златовратский с его иконописными мужичками, с его утопическими общинными «устоями», Гл. Успенский с его поисками несуществующей благодетельной общины, вместо которой он находит дьявольский «купон», Короленко с его мягким и грустным ли-

ризмом и, наконец, в годы крушения народнических идеалов — Надсон и Гаршин.

В эти годы и пришел в литературу, претерпев большие трудности, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Ему особенно «не везло» на этом пути: двери редакций больших журналов долго перед ним не открывались, хотя он настойчиво стучался в них. Его страшные повествования о кровавом пире чудовищного хищника — российского «желтого дьявола», который разрушал все старые устои, насаждал всюду свои порядки и с безумным разгулом разбойника грабил и обрекал на голод и вымирание массы трудового народа, — пугали народнических пророков и тогдашнюю интеллигенцию. Но капитализм, утверждая свое господство, опрокидывал всех народнических богов и втаптывал в грязь все их мечты и иллюзии. Это была грубая действительность, от которой нельзя уже было отмахнуться, однако фанатики от народничества все-таки упорно отрицали эту действительность и продолжали жить своими сентиментальными иллюзиями. Мамин-Сибиряк явился не ко времени, хотя и вовремя. Он не мог

не явиться, потому что его выдвинула сама действительность, сама историческая необходимость. Беспощадная правда его потрясающих эпопей была неотразимой, но она противоречила «творимым легендам» Златовратских, Михайловских, Юзовых и целой плеяды группировавшихся около них благовестников народнических откровений. Гл. Успенский видел это капиталистическое страшилище — и не только в городе, но и в деревне. — и мы помним, как на него ополчился Златовратский с его паствой.

Даже после того как Мамин-Сибиряк пробил себе дорогу в литературу, критика старалась не замечать его. И только впоследствии беллетрист Альбов и критик Скабичевский вынуждены были признать бесспорное значение Мамина-Сибиряка как своеобразного художника, но рассматривали его творчество как творчество областного, преимущественно уральского бытописателя. Отдавая должное исключительному таланту писателя, литературовед Е. А. Соловьев-Андреевич и критик М. П. Неведомский не находили в его творчестве ничего жизнеутверждающего.

Буржуазная печать не уделяла Мамину-Сибиряку своего внимания. И это понятно: такой обличитель разбоя, злодеяний и безумного авантюризма капиталистов не мог вызвать сочувствия у либеральных торгашей.

Досадно, что советское литературоведение еще до сих пор не сказало о Мамине-Сибиряке своего авторитетного слова, что у нас нет еще о нем серьезных монографий. А между тем творчество Мамина-Сибиряка полностью принадлежит нам, и только наши литературоведы могут глубоко и всесторонне вскрыть и исследовать богатое наследие этого большого и проникновенного художника и помочь советскому читателю по справедливости оценить его величие. А ведь его значимость в литературе отметил еще в давние времена В. И. Ленин.

Мамин-Сибиряк родился и рос на Висимо-Шайтанском заводе в Нижне-Тагильском заводском районе. Это был один из многих старинных заводов, принадлежавших промышленной династии Демидовых. Уральские заводы славны были рабочими восстаниями против рабства, против свирепой эксплуата-

ции труда, против крепостной зависимости. Знаменитое восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря 1762–1764 годов, известное под названием «дубинщины», не прошло мимо крепостных рабочих уральских заводов. Уральские рабочие боролись в первых рядах войск Пугачева, захватывали заводы, сами управляли ими, лили пушки и делали ядра и оружие для восставших.

Волнения среди крепостных рабочих и крестьян происходили непрерывно начиная с XVIII века. После так называемого «освобождения крестьян» 1861 года волнения эти значительно усилились: царская «реформа» лишила крестьян земли, привела их к обнищанию и пролетаризации, а среди рабочих образовалась многочисленная армия безработных. На Урале капиталистическая эксплуатация приняла особые формы: «...самые непосредственные остатки дореформенных порядков, — писал В. И. Ленин в своей книге „Развитие капитализма в России“, — сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобла-

дание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени — такова общая картина Урала». Эти варварские полуфеодальные условия, в которых находилась уральская промышленность, существовали вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.

В 90-х годах волнения и забастовки рабочих на уральских заводах значительно усилились и отличались уже более наступательным характером: рабочие предъявляли требования об увеличении заработной платы и нередко добивались победы. Но правильного, организованного руководства рабочим движением не было: возникший в середине 90-х годов «Уральский рабочий союз» был по существу аморфной организацией из народников и экономистов и, конечно, не мог быть авангардом рабочего класса. По словам В. И. Ленина, между террористами и экономистами «есть не случайная, а необходимая внутренняя связь... преклонение пред стихийно-

стью...». И, конечно, этот беспочвенный союз прекратил свое существование. Революционная история организованного рабочего движения на Урале начинается только с создания искровского комитета партии в 1903 году.

Необузданный разбой, безумный авантюризм, сплошные кровавые оргии алчных охотников наживы, страшные эпидемии спекуляций, баснословные обогащения и катастрофические крахи и, с другой стороны, непрекращающийся мощный протест бесправных рабочих и крестьян — вот атмосфера, в которой рос будущий летописец Урала, певец его красот и грозный обвинитель капиталистических людоедов. В своих талантливых произведениях он разоблачает грязь и пошлость капиталистического мира, становится беспощадным судьей рабовладельцев и работорговцев и страстным защитником угнетенных и обездоленных тружеников.

С развитием капиталистического производства, писал Маркс в «Капитале», «общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она

являлась средством для накопления капитала». И дальше: «...ужасная и трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капитала... Экспроприация непосредственных производителей производится с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей».

Вот этих экспроприаторов народной массы, этих вандалов, пораженных бешенством самых подлых, грязных, преступных страстей, талантливо изображает в своих произведениях Мамин-Сибиряк.

В отличие от многих литераторов его времени Мамин-Сибиряк всегда был в самой гуще живой жизни. Может быть, рядом с ним стоял только Глеб Успенский. Он был самый страшный и грозный свидетель тех преступлений, злодейств и безумия русской буржуазии, которые с дьявольской дикостью проявлялись особенно на Урале.

Заводы при крепостном режиме владели огромными земельными пространствами и эксплуатировали труд сотен тысяч крестьян, прикрепленных к этим заводам. Это были

своеобразные промышленные княжества, которым посессионное право[1] обеспечивало даровой рабский труд. Владельцы этих промышленных латифундий, магнаты железа и золота, вроде Демидовых, Строгановых, были неограниченными монополистами. Жили они не на Урале, а в столице или жуировали за границей, заводы же со множеством рабов управлялись доверенными их лицами, которые, как воеводы, хозяйничали в этих грандиозных владениях. Заводчики платили копейки голодным людям и загребали сказочные прибыли.

Очень ярко и типично изображено это в таких романах, как «Горное гнездо», «Приваловские миллионы», «Три конца», «Золото». Никто до Мамина-Сибиряка не рисовал таких типических фигур, как грабители, авантюристы, наглые дельцы, готовые на всякие гнусные жестокости, на разбой, на обман, на интриги, чтобы захватить власть, богатство и деспотически распоряжаться целым краем. Вот львица, Раиса Павловна («Горное гнездо»), прозванная «царицей», жена главного управляющего, которая завладела магнатом

Лаптевым и все забрала в свои руки; вот верный ее подручный — опричник, палач рабочих и крестьян — Родион Сахаров; вот Прейн — алчный разбойник, буквально истребляющий трудовое население ради личной наживы. Тут всё и все служат золотому дьяволу; все продажно: и честь, и совесть, и любовь, и жизнь. Один из раздавленных железной пятой капитала, Прозоров, плачет пьяными слезами и жалуется в отчаянии. «Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость!.. Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью... Наука, святая наука и та пошла в кабалу к золотому тельцу!»

«Желтая лихорадка» заражает всех, разрушает патриархальную жизнь, все устои, разлагает души. Это основная тема писателя. В романе «Дикое счастье» она с потрясающей силой воплощена в судьбе семьи Брагиных.

В романе «Хлеб» Мамин-Сибиряк изобразил трагедию крестьянской массы. Капитал ворвался в мужицкий мир. Бешеные спекуля-

ции хлебом, банковские мошеннические операции, творимые наглыми, жадными авантюристами, вконец разорили крестьянский край и пустили по миру землепашцев.

Победоносное шествие капитала, его разнузданный пир приводит в ужас даже одного из магнатов — рыхлого, безвольного Привалова. Он захвачен оргией всех этих торжествующих и обожравшихся спекулянтов и приходит к убеждению, что эти разбойники — диктаторы жизни, что человек — жертва, что ничего святого не существует для этих людоедов.

В те годы, когда народники упрямо и одержимо отрицали наличие у нас капитализма и развивали утопии о мужицком идиллическом царстве, Мамин-Сибиряк обнажил беспощадную правду. Это была новая литература, которая давала новых героев, пугавших тогдашних буржуазных читателей и критиков, как кошмарные видения.

Да, произведения Мамина-Сибиряка — его многотомная эпопея — не литература Боборыкина, рисовавшего московское «европеизированное» купечество, прятавшее под при-

личным сюртуком и приятными манерами свои волчьи аппетиты.

Все симпатии, вся любовь Мамина-Сибиряка обращены к русскому трудовому народу. Труд делает человека красавцем, богатырем, героем. Только в труде человек становится человеком, только в трудовой борьбе проявляются в нем и сила, и находчивость, и воля, и незаурядный ум, и крепкая товарищеская спайка. Вот Савоська из «Бойцов», сплавщик барок по реке Чусовой, выдерживающий страшную борьбу со свирепой рекой в теснинах грозных утесов. Выброшенный из разоренной деревни, будто полубосяк и пьянчужка, он на барке, на бурной реке, где грозит ему ежеминутная гибель, преображается в богатыря, во властного вожака своей артели, ему верят безоговорочно, и все подчиняются его воле. Таких Савосек у Мамина-Сибиряка много. Это его любимые герои. До него никто из писателей не изображал таких людей; он первый увидел их и первый воплотил их в живые художественные образы, как типические характеры. И не потому он любовно писал их, что обнаружил их только на Урале,

среди суровой природы, а потому, что эти трудолюбцы, мужественные, одаренные люди были всюду — во всех уголках необъятной России.

Вот охотник Савка («На Шихане») — убийца, острожник, тоже полубосяк, выброшенный из жизни Ляховскими, «царицами» Раисами и Родьками. Савка — родной брат Савоськи по характеру. Он любит животных, он среди уральских дебрей — у себя дома. Он ненавидит жестокость и насилие. «Зверь лютует от голода, — говорит он, — ему есть хочется, а человек и сытый, пожалуй, лютее зверя. Зверь это знает, и потому больше всего страшится человека». Эту правду Савка выстрадал сам: несправедливость и жестокость он переносил на собственной шкуре. Управляющий заводом застрелил свою собаку за непослушание. Савка в гневе бросился на управляющего и вцепился ему в горло. Савка пьянствует потому, что мучается от постоянной неправды, от истязания человека человеком, от насилия сытых над голодными. Это гнев трудового человека против угнетателей, эксплуататоров. Это вновь преображенный

Савоська, богатырь, удалец, бесстрашный атаман артели в часы смертной борьбы с бурной рекой.

Мамин-Сибиряк постоянно встречает такие характеры и в среде «старателей», и среди заводских рабочих, и даже среди преданных слуг капиталистов. Замечательна фигура старика Бахарева («Приваловские миллионы»): это сильный, умный, кряжистый человек, с огромной волей, влюбленный в заводское дело, превосходный организатор, честная, прямая и властная натура. В убийственном мире варварского капитализма такие люди обречены были на рабство, на уродство или на гибель.

Есть одна особенность в творчестве Мамина-Сибиряка — это идея стихийной силы, задавленной, скованной в трудовом человеке, но рвущейся освободиться в моменты острых коллизий. Эта же сила у «хозяев золота», у охотников за богатством, у «дельцов» превращается в преступную страсть власти над людьми, взаимного пожирания, неуемного грабежа и алчного обогащения.

Превосходно выписаны у Мамина-Сибиря-

ка чудесные русские женщины. Чистые, полные любви, самоотверженные девушки — Надежда Бахарева, Нюрочка Мухина, Устенька Луковникова, — одни из самых чудесных образов в русской литературе. Среди мечтающих о счастье и светлой жизни женщин Мамин-Сибиряк любовался мужественными, деятельными старообрядческими «старицами»: «скитское житье» делало их независимыми и давало простор их своенравным боевым натурам.

Своими многочисленными повестями и романами писатель как бы внушал читателю: вот этим труженикам, этим сильным и честным людям принадлежит будущее, в них, в этих закабаленных, удалых и искусных работниках, хранится и не умрет никогда любовь к труду и мятежная сила.

Очень своеобразны произведения Мамина-Сибиряка, посвященные историческим событиям на Урале. Эти повествования волнуют героической романтикой, изумительной цельностью богатырских характеров русских тружеников в их самоотверженной, беспощадной борьбе за свободу. Такие повести, как

«Охонины брови», или страницы о пугачевской эпопее, — классические создания Мамина-Сибиряка. Такие поэмы мог создать только художник, который жил общей жизнью с народом, глубоко верил в его могучие силы, в его талантливость, в его неистребимое стремление к правде и справедливости.

И великой скорбью и гневом дышит такое его произведение, как «Братья Гордеевы». По капризу магната одного из горнозаводских округов два брата — дети заводского крепостного рабочего — были посланы за границу, где они получили высокое техническое образование. Культурные, даровитые молодые люди, мечтавшие о творческом труде, сразу же узнают ужасную правду: они — рабы, крепостными оказываются и их европейские жены. Невежественный, озверевший управляющий, сам крепостной раб, попавший «из грязи в князи», возненавидел этих образованных людей и за то, что они оказались «избранниками», и за то, что они стали учеными, и за то, что они явились одетыми «по-заграничному». Он раздавил их своей звериной лапой, бросил их на самую черную работу, травил

их, подвергал телесному наказанию и в конце концов свел их в могилу. Но удивительно то, что, несмотря на трагизм этой истории, на гнетущие мрачные картины, чувствуешь, что автор не подавлен отчаянием и пессимизмом, а верит в грозную силу народа, в торжество правды, в светлое будущее.

Критики прошлого, неправильно трактуя творчество Мамина-Сибиряка, утверждали, что он поэт стихийности, писатель «безытоговый» и безнадежный пессимист, который ничего не видит в действительности, кроме звериной борьбы за существование, и ссылались на его высказывания по этому поводу. Но они совсем не поняли смысла его раздумий. Вот что писал Дмитрий Наркисович о самом себе: «Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец — вот где настоящая жизнь и настоящее счастье!» Эти слова не мог написать пессимист. Так горячо говорить мог только большой жизнелюбец. Его неудержимо влекла к себе живая жизнь и трудовое движение, и он всегда переживал радость от общения с сильными, смелыми,

разудалыми людьми и создавал о них незабываемые поэмы. Воля к труду, тоска по труду, как свободному проявлению всех человеческих даров, — главный мотив его произведений о рабочих людях. И, конечно, неправы указанные критики, упрекающие Мамина-Сибиряка в том, что он не видел ничего положительного в жизни. А не он ли писал в своем автобиографическом романе «Черты из жизни Пепко»: «Несовершенство нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать». И он искал это положительное, хотя и останавливался перед «роковыми росстанями», выбирал же верные «пути-дороженьки» и находил это положительное в простом трудовом народе, в котором и таились таинственные для многих родники. Находил он эти родники и в детях и в целомудренных душах. Его повести и рассказы о детях и для детей — одни из самых замечательных в русской литературе.

Мамин-Сибиряк прежде всего демократ, гражданин, воспитанный на учении Черны-

шевского и Добролюбова. Правда, он не свободен от некоторых народнических иллюзий, его еще пленяют утопические мечты о патриархальных временах несуществовавшего крестьянского благоденствия, но он уже смотрит трезво на современную действительность.

Скабичевский называл Мамина-Сибиряка русским Золя. Но, уподобляя Мамина-Сибиряка Золя и подчеркивая эмпиризм в творчестве этого выдающегося французского писателя, Скабичевский, при молчаливом сочувствии тогдашнего мещанского «общественного мнения», пытался свести, по сути дела, творчество своего соотечественника, правда, с оговорками, к натурализму. Впрочем, этот критик не раз менял свое отношение к писателю, который вспоминал об этом с негодующим сарказмом.

Аналогия между Золя и Маминым-Сибиряком не выдерживает критики. Правда, Дмитрий Наркисович мечтал о том, чтобы создать многотомную эпопею, подобную истории Ругон-Маккаров, и по охвату многих сторон жизни современной ему эпохи и по обрисовке типических представителей русского ка-

питализма и трудящихся масс. Но критический реализм Мамина-Сибиряка существенно отличен от творческого метода Золя. Для Золя человек, кроме социальных условий, находится еще во власти наследственности, он проклят, он раб инстинктов.

Изображая события и сложнейшие коллизии, вскрывая характеры героев этих событий — денежных воротил, промышленных хищников, авантюристов — и в противоположность им обреченных на страдание, на рабство, часто на гибель простых, чистых сердцем людей — и крестьян и рабочих, — Мамин-Сибиряк в каждой строке своих произведений пламенно, страстно выражает свой гнев и непримиримую свою ненависть к угнетателям и разбойникам и глубокое сострадание к жертвам этих свирепых «хозяев жизни» этих кошмарных Мидасов, обращавших в золото слезы, муки и кровь подневольных тружеников. С какой любовью к этим труженикам, с каким горячим участием к их трагической судьбе пишет он каждую страницу, и как любуется он силой, мужеством, героизмом этих людей в часы их невероятной

борьбы с бурной стихией или богатырских трудовых подвигов! В каждом своем романе Мамин-Сибиряк — участник всех событий, и всегда он — на стороне угнетенных, обездоленных, раздавленных страшной лавиной капитала.

Жизнь во всех ее проявлениях — в борьбе, в любви, в горе и радости, в кипении толп, в игре солнечных красок, в удали и разливной песне, в дремучей красоте природы — вот к чему стремилась душа писателя. Его уральские пейзажи — классическая живопись. Только он, этот большой художник, впервые показал нам уральские дебри, нарядно убранные лесами горы, первобытные утесы и нагромождение разноцветных каменных глыб и широкие зеркальные пруды, давным-давно созданные руками умельцев. Любопытно его признание: «За очень немногими исключениями настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова, — эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами». И Мамин-Сибиряк так глубоко раскрыл дремучие глубины и необъятные предгорные просторы,

что они волнуют, как раздольные русские песни.

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи. Доказывать это нет необходимости: стоит прочесть любую из его книг, чтобы убедиться в этом. Даже в самых «страшных» его романах и повестях на каждой странице чувствуется радостное любование жизнью. И тем более важно отметить, что он как художник развернулся в годы распада народничества, в самую тяжелую эпоху реакции, разочарований, растерянности, в эпоху «безвременья». Марксизм только еще нарождался в России, рабочий класс был еще не организован. Отлив народнических настроений и верований еще не сменился приливом новой, пролетарской идеологии. И это обстоятельство, конечно, отразилось на мировоззрении писателя: оно было в извест-

ной мере противоречиво. Мамин-Сибиряк до некоторой степени знаком был с марксизмом, но основной сути этого учения понять не смог. В этом была беда художника, это ограничивало его художественное зрение и ослабляло идейную значимость его повествований. И, несмотря на народность его творчества, на демократические его настроения и взгляды, он не мог еще видеть путей развития пролетарского движения, хотя, повторяю, и чувствовал могучую силу, скрытую в массе трудового народа. Но книги его, как беспощадный обвинительный акт против разбойничьего русского капитализма, служили наглядным материалом в научных исследованиях марксистов.

Литературная плодовитость Мамина-Сибиряка была изумительной. Создается впечатление, что он все время торопился воплотить в образах весь огромный запас своих наблюдений и боялся, что не успеет высказаться до конца. Но эти запасы жизненного опыта не только не истощались, а пополнялись постоянно и не давали ему покоя. Торопливость эта и нетерпеливое стремление освободиться

от тяжелого груза впечатлений и раздумий отразились и на его стиле: подчас многословие, излишние подробности, иногда неряшливость в изложении и неразборчивость в пользовании словом — существенный недостаток его языка. Но превосходное знание народной речи, умение распоряжаться ее складом во многом искупает эти недостатки.

Для нас, советских людей, творчество Мамина-Сибиряка свежо и близко. Мы по-новому открываем его как писателя, который играл немалую роль в революционной борьбе рабочего класса, а теперь помогает нам глубже познать прошлое и воспитывает в наших людях безмерную любовь и преданность своей социалистической Родине. Книги Мамина-Сибиряка помогают нам глубже осознать, какой сложный, трудный путь прошел наш народ, чтобы разгромить кровавый деспотизм, сбросить гнетущее ярмо помещиков и капиталистов и взять власть в свои руки. Книги этого писателя укрепляют в нас гордость творцов нового, коммунистического мира, во имя счастья всего человечества. Книги его показывают, какая бездна отделяет ве-

ликую социалистическую страну от кошмарного варварства старого времени. Внуки и правнуки воспетых им трудолюбцев, как хозяева и вдохновенные работники и высокие мастера, творят новую культуру, как всеобщее благо. Они, как и все новаторы нашей социалистической Отчизны, прославляют себя доблестными делами и подвигами на весь мир и в борьбе за мир во всем мире идут впереди всего прогрессивного человечества.

А. Груздев
Д.Н. Мамин-Сибиряк

В одной из своих статей М. Горький заметил, что русская реалистическая литература XIX века долгое время ограничивалась изображением жизни народа центральных областей России. Жизнь и быт отдаленных окраин страны оставались в значительной мере за пределами ее внимания. «Литературную географию» значительно расширили писатели-демократы второй половины века. Среди этих писателей видное место принадлежит Д. Н. Мамину-Сибиряку. Его творчество

представляет собою глубоко правдивую художественную историю старого Урала и Приуралья.

Но было бы заблуждением считать Мамина-Сибиряка писателем областного значения. Это большой русский писатель. В его произведениях, построенных на материалах Урала и Сибири, ставились важные вопросы из жизни всей страны. Дооктябрьская «Правда» характеризовала Мамина-Сибиряка как художника большого социального звучания, в произведениях которого оживала «целая эпоха шествия капитала, хищного, алчного, не знавшего удержу ни в чем».[2] Его произведения — суровый обвинительный акт буржуазному строю. Миру капиталистического хищничества, алчности, тиранства противопоставлен в них поэтический мир людей труда, никогда не прекращающих борьбы за правду и независимость. Его романы, рассказы и повести укрепляли веру человека в неизбежность торжества социальной правды, веру в свои силы, будили мечту о лучшем будущем. «„Несовершенство“ нашей русской жизни — избитый конек всех русских авторов, но ведь это толь-

ко отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Нет, жизнь есть, она должна быть...», — убежденно писал он. Эту положительную сторону он открывал в жизни народа, в его труде и борьбе, в характере простого русского человека.

Очень высокими были представления Мамина-Сибиряка об общественной роли художника. Писатель, по его словам, должен обладать нравственной чистотой, равной чистоте «драгоценного металла, гарантированного природой от опасного окисления». Художественное творчество он сравнивал с рекою, которая должна брать начало из чистого источника и должна быть чистой, чтобы утолять жажду. Его литературный талант одним из первых заметил и высоко оценил великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин; мастерством Мамина-Сибиряка восхищался такой взыскательный художник, как Н. С. Лесков; о большой красоте и силе его произведений говорил М. Горький; ярким, талантливым писателем называла Мамина-Сибиряка дооктябрьская «Правда».

Высокую оценку его творчества дал В. И. Ленин: «В произведениях этого писателя рельефно выступает особый быт Урала, близкий к дореформенному, с бесправием, темнотой и приниженностью привязанного к заводам населения, с „добросовестным ребяческим развратом“ „господ“, с отсутствием того среднего слоя людей (разночинцев, интеллигенции), который так характерен для капиталистического развития всех стран, не исключая и России».

Произведения Мамина-Сибиряка долго замалчивала буржуазная критика, но они получили самую широкую популярность среди читателей из народа и передовой демократической интеллигенции. Эта популярность неизмеримо возросла в советские годы. Творчество Мамина-Сибиряка имеет высокую познавательную и эстетическую ценность, оно помогает современному читателю понять тяжелую жизнь народа до Октябрьской социалистической революции и представляет собою действенное средство разоблачения хищных нравов буржуазного мира.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк родился 25 октября (6 ноября) 1852 года в Висимо-Шайтанском заводском поселке, Верхотурского уезда, Пермской губернии. Висимо-Шайтанский завод входил в состав Нижне-Тагильского горного округа, который принадлежал известной в истории уральской промышленности семье Демидовых. Отец Мамина, бедный заводской священник, был человеком независимого характера. Любовь к знанию и живой интерес к общественной жизни выделяли его из среды духовенства того времени. В конце 1850-х и в 1860-е годы он выписывал журнал «Современник» и внимательно читал статьи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Живое участие Н. М. Мамин принимал в деятельности заводской школы, где в течение ряда лет он исполнял обязанности учителя общеобразовательных предметов. Известны его неоднократные попытки напечатать небольшие статейки о заводской жизни в местной уральской и в петербургской прессе. Несмотря на свои скромные средства, Н. М. Мамин собрал значительную домашнюю библиотеку, в состав которой входили сочинения

Карамзина, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Тургенева, Гончарова и других русских писателей. Он руководил чтением своих детей и с ранних лет прививал им любовь к книге.

Первое знакомство Мамина-Сибиряка с книгой началось с чтения классиков русской литературы. За неимением детских книг родители читали детям Крылова, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Гончарова. С произведениями для детей мальчику удалось познакомиться значительно позднее; первой из детских книг в домашней библиотеке Маминых явился «Детский мир» К. Д. Ушинского, затем были прочитаны рассказы известных тогда детских писателей А. Е. Разина, М. Б. Чистякова и др.

Детские впечатления Мамина были широки и многообразны. В автобиографической записке писатель рассказывает, что его родители читали «Современник» Чернышевского, Некрасова и Добролюбова и он «еще детским ухом прислушивался в далеком медвежьем углу к отзвукам и отголоскам великого движения 50-х и начала 60-х годов».

Не менее значительную роль в формировании его сознания сыграли разнообразные

жизненные наблюдения. Как вспоминал Мамин-Сибиряк, он пользовался «полной детской свободой» и не мог не видеть тяжелых условий труда и быта крепостных рабочих. Социальные контрасты в небольшом заводском поселке резко бросались в глаза. С одной стороны, чудовищное богатство, праздность и непрерывные развлечения господ, с другой — изнурительный труд, бедность и нищета обездоленных фабричных мастеровых. Проявление дикого произвола заводской администрации, преследование и телесные наказания «неспокойных» мастеровых рано волновали сознание Мамина-Сибиряка. Он разделял сочувствие трудового населения к таким проявлениям социального протеста, как заводское разбойничество, в котором увидел впоследствии одну из форм борьбы крепостных рабочих с заводской администрацией. «В разбойники шли — писал он, — исключительно энергичные натуры, какие создаются в… жестокие времена слишком исключительными бытовыми условиями и служат живым протестом существующему порядку. Каждый почти горный завод на Урале имел таких раз-

бойников, прославившихся громкими подвигами; теперь имена этих ярких протестантов окружены легендарными сказаниями и сделались достоянием народной фантазии».

Способность рабочей массы в той или иной форме выразить свой протест, оказать помощь людям, вступившим на путь борьбы с заводчиками, Мамин-Сибиряк рассматривал как существенное отличие заводского населения от крепостных крестьян.

Незабываемо яркие впечатления вызывала также уральская природа, с которой «связывалось представление воли, дикого простора» и широкого размаха.

Социальные контрасты, книги серьезного содержания, картины природы Урала вызывали вдумчивое отношение Мамина-Сибиряка к окружающей жизни, заставляли его рано задумываться над большими социальными вопросами.

В 1864 году родители попытались определить его в Екатеринбургское духовное училище. Мрачная обстановка бурсы так потрясла впечатлительного мальчика, что отец вынужден был взять его домой и в течение двух

лет продолжать обучение домашним образом. Эти годы были заполнены по преимуществу чтением художественной литературы.

Екатеринбургское духовное училище, в высшее отделение которого Мамин был определен в 1866 году, сохранило в полной неприкосновенности дикие бурсацкие порядки, нарисованные Н. Г. Помяловским в известных «Очерках бурсы». Несмотря на то, что Мамин-Сибиряк учился в духовном училище после реформы этих учебных заведений, общая обстановка в них почти не изменилась. В отношениях между воспитанниками господствовал принцип грубой силы, в полной мере процветала жестокая бурсацкая педагогика, бурсаки не получали реальных знаний. Мамин считал потерянными те два года, которые он провел в бурсе: «Екатеринбургское училище не дало ничего моему уму: не прочитал ни одной книги в продолжение 2-х лет и не приобрел никаких знаний».

По окончании духовного училища он в течение четырех лет (1868–1872) учился в Пермской духовной семинарии. «Отзвуки и отголоски» общественного движения 60-х годов

которые доходили до Висимо-Шайтанского завода, проникли и в это учебное заведение. В начале 60-х годов в Пермской семинарии существовал революционный кружок, участники которого пытались вести антиправительственную агитацию на заводах Уральского горного округа. Участники этого кружка были обвинены в распространении нелегальной литературы — «ультрареволюционных сочинений против царя», в попытках установить связь с Герценом и Огаревым и с революционными группами других городов.

Ко времени поступления Д. Н. Мамина в семинарию кружок был разгромлен, многие его участники находились в далекой административной ссылке. Однако критическое отношение к действительности среди слушателей семинарии продолжало существовать. Семинаристам удалось спасти от разгрома нелегальную библиотеку, в которой имелись запрещенные для семинаристов работы Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Писарева, Милля, Луи-Блана, Н. Флеровского (В. В. Берви) и значительное число книг по естествознанию.

Уже в начале второго года пребывания в семинарии заметен повышенный интерес Мамина к общественной жизни. Он не только критически оценивал многие общественные явления, но настойчиво пытался выяснить причины социальной неправды.

По окончании четырех классов семинарии он уехал в Петербург с твердым намерением поступить в гражданское высшее учебное заведение. Разделяя распространенную среди передовой интеллигенции 70-х годов веру в освободительную роль естественных наук и подчиняясь желанию принять участие в жизни народа, Мамин в сентябре 1872 года поступил на ветеринарное отделение Петербургской медико-хирургической академии.

Эти годы отмечены подъемом движения революционного народничества. По приезде в Петербург Мамина буквально с первых дней захватили интересы и стремления передовой части студенчества. «Из Петербурга можно далеко видеть вокруг, чего никак нельзя достичь в провинции, — пишет он в письме к своему отцу вскоре по приезде в Петербург… — Мы не только имеем возмож-

ность получать из первых рук те идеи и мысли, которые пропущены нашим правительством, но и те, которые не пропущены им».

Захваченный бурным общественным движением, он принимал участие в студенческих сходках и собраниях, в результате чего в 1874 году над ним был установлен негласный полицейский надзор.

Литературные наклонности Мамина проявились довольно рано. «Я… с детства мечтал сделаться писателем» — вспоминал он в одном из писем. С шестнадцати лет записывал он наиболее интересовавшие его факты и события в записную книжку, с чтением своих сочинений выступал на литературных вечерах в духовной семинарии. Многие его письма этих лет представляют собою своеобразный лирический дневник, наполненный размышлениями о современной жизни и своем месте в ней.

В 1875 году в одной из петербургских газет он начал репортерскую работу и с этих пор на протяжении многих лет печатался в столичных и провинциальных газетах. На сотрудничество в газете Мамин смотрел как на одну из

форм изучения жизни и активного воздействия на нее. «Я прошел тяжелую репортерскую школу. И земной ей поклон! — писал впоследствии Мамин-Сибиряк. — Она дала мне прежде всего знание ее подноготной, умение распознавать людей... Страсть окунуться в самую гущу повседневности...»

В том же 1875 году были напечатаны в мелких петербургских журналах его первые рассказы. По свидетельству племянника писателя, Б. Д. Удинцева, Мамин-Сибиряк «не любил вспоминать о них». В этих рассказах неблагоприятно сказалось влияние рассчитанных на мещанского читателя журналов, требовавших от авторов «закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки».

Однако и в ранних, технически слабых произведениях Мамина-Сибиряка, написанных в духе мещанских журналов, заметны его симпатии к народу и стремление к правдивому изображению знакомого автору уральского быта. Молодой писатель вскоре понял, что работа для этих изданий «принижает его духовный уровень», что он рискует

утратить «чуткость, язык, оригинальность», разменяться на мелочи.

Одно из своих произведений этой поры он передал в «Отечественные записки». Неутешительный для молодого автора ответ дал М. Е. Салтыков-Щедрин. После этой неудачи Мамин долго не выступал в печати, но все это время упорно и много писал, «вырабатывая» «свое собственное содержание», определяя свою авторскую позицию.

В тесной связи с литературными занятиями стоит переход Мамина из Медико-хирургической академии на юридический факультет Петербургского университета. Здесь он намеревался изучить политическую экономию и общественные науки, знание которых полагал важным для писателя. В университете Мамин пробыл один год и вынужден был покинуть его из за тяжелой болезни, вызванной полуголодным существованием. После пятилетнего пребывания в Петербурге он в 1877 году уехал на Урал, где прожил до 1891 года. Здесь были написаны его известные «Уральские рассказы», романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Дикое сча-

стье», «Три конца», пьесы «Маленькая правда», «Золотопромышленники» и другие произведения.

В январе 1878 года умер отец писателя, и на Мамина-Сибиряка легла забота о семье, потерявшей своего единственного кормильца. Снова, как в студенческие годы, началась погоня за куском хлеба, только уже не для одного себя, а для большой семьи. Не имея диплома об окончании учебного заведения, Мамин не мог найти постоянной службы и был вынужден заниматься изнурительной и неблагодарной работой репетитора. «Я три года по 12 часов в день бродил по частным урокам», — с грустью вспоминал он об этом времени.

К 1881 году относятся его неудачные попытки вторично поступить в университет. В Московский университет его не приняли, так как он на несколько дней опоздал подать заявление. Петербургский университет отказал в приеме потому, что в свое время (в 1876–1877 учебном году) Мамин был не в состоянии внести плату за обучение. Несмотря на все неудачи, он не падал духом и с завид-

ной твердостью говорил: «...Я буду учиться наперекор всяким университетам». И действительно, он много и постоянно учился и все это время не переставал работать над своими произведениями.

2

Свои творческие неудачи студенческих лет Мамин-Сибиряк объяснял недостаточным знанием жизни и отсутствием технической опытности. Попытки заменить жизнь «игрой воображения» неизбежно вели к неудачам: действующие лица, по словам автора, «походили на манекенов из папье-маше», а все произведение напоминало «плохую выдумку неопытного лгуна».

Всестороннее знание жизни и тесную связь писателя с нею он считал одним из основных условий литературного творчества, «...как на величайшее зло укажем на централизацию авторов, — писал он в черновой заметке о литературной критике: — все тянутся в столичные центры, где необыкновенно быстро обесцвечиваются. Припомните Антея, который постоянно получал новую силу от соприкосновения с землей...».

Мамин-Сибиряк придавал большое значение переходному периоду от своих ранних литературных опытов к зрелому реалистическому творчеству, когда он приступил к внимательному изучению жизни Урала и Приуралья в самых различных ее проявлениях. По приезде из Петербурга на Урал «перед его глазами выступила с особенной рельефностью бойкая и оригинальная жизнь этого края. Впечатления раннего детства, встречи и столкновения во время каникул, знакомства по охоте, затем путешествия вверх и вниз по реке Чусовой, странствования по приискам и заводам — все это теперь дополнялось новыми наблюдениями, знакомствами и личным опытом».

В своей автобиографии он выделил такие факты которые свидетельствовали, что пониманию современной жизни много способствовали его теоретические искания студенческих лет и участие в бурном общественном движении первой половины 70-х годов.

Это усилило в нем важное для писателя качество — стремление и способность видеть за внешними формами жизни ее глубокое внут-

реннее содержание.

О своеобразии своего изучения условий труда и быта рабочих-золотоискателей, например, он рассказал в очерке «Золотуха». «На первый взгляд кажется, что все эти люди, загнанные сюда, на прииск, со всех концов России одним могучим двигателем — нуждой, бестолково смешались в одну пеструю массу приисковых рабочих, но, вглядываясь внимательнее в кипучую жизнь прииска мало-по-малу выясняешь себе главные основы, на которых держится все. Шаг за шагом обрисовываются невидимые нити, которыми связываются в одно целое отдельные единицы, и, наконец, рельефно выступает основная форма, первичная клеточка, в которую отлилась бесшабашная приисковая жизнь».

Его литературную работу характеризовало именно это плодотворное стремление выяснить коренные основы современной жизни, те «пружины, рычаги, шестерни» и «маховые колеса», которые приводят в движение современный социальный механизм.

Литературную деятельность Мамин-Сибиряк рассматривал как одну из форм служения

народу, как боевое поприще, где сталкиваются различные интересы и решаются вопросы большой общественной значимости. «Кругом слишком много зла, несправедливости и просто кромешной тьмы, с которыми мы и воюем по мере наших сил». Свою литературную позицию он противопоставлял позиции тех писателей, которые охотно служили «золотому тельцу, дворянству, чиновничеству, псевдоинтеллигенции» и писали для людей салона. Он избрал основным содержанием своего творчества народную жизнь и стремился выработать соответственное литературное оружие.

В понимании цели и общественного назначения искусства Мамин-Сибиряк близок к писателям-демократам 60-70-х годов. Его стремление понять основные процессы и закономерности современной жизни на основе глубокого и всестороннего ее изучения, интерес к факту и непосредственное обращение к «источнику» как бы повторяли опыт В. Слепцова, Г. Успенского и других писателей-демократов, которые были верны «лучшим преданиям русской литературы».

В конце 1881 — начале 1882 года ему удалось напечатать в газете «Русские ведомости» большой цикл очерков «От Урала до Москвы». В этих очерках художественные сцены и картины соединяются с историческими справками, статистическими материалами, научно-экономическими выводами и соображениями. Автор очерков показал себя как прекрасный знаток условий труда и быта уральских рабочих самых различных профессий и как убежденный защитник их интересов. В очерках «От Урала до Москвы» было заключено такое богатство материалов, что писатель обращался к ним на протяжении многих лет своего творчества. С этими очерками тематически связаны романы «Горное гнездо», «Три конца», «Золото», историческая повесть «Охонины брови» и многие другие произведения.

Одним из первых его художественных произведений явился большой очерк «Сестры». При жизни писателя это произведение не было напечатано.[3]

В марте 1882 года журнал «Дело» поместил рассказ «В камнях», подписанный псевдонимом Д. Сибиряк. Этим произведением Ма-

мин-Сибиряк вступил в большую литературу. Тема рассказа — осенний сплав на реке Чусовой — была хорошо известна автору по личным впечатлениям. В произведении нет ни развернутых описаний, ни более или менее развитого сюжета, это, в сущности, цепь ярких эпизодов из жизни сплавщиков, рассказанных действующими лицами.

В этом проявилась одна из особенностей многих рассказов и очерков Мамина-Сибиряка начала восьмидесятых годов. Так строится его большой очерк из уральской жизни «В горах», рассказ «В худых душах», в значительной мере «Золотуха» и др. В этих произведениях в роли рассказчиков выступают или сами действующие лица, или близкие к ним люди, с которыми встречается основной рассказчик — автор. Основному рассказчику отводится на первый взгляд небольшая роль: он кратко рисует обстановку, дает пейзажные зарисовки, портреты действующих лиц и выслушивает их различные истории. В роли рассказчиков в его произведениях выступают люди из народа, рассказам которых свойственна преимущественно эпическая манера.

В большинстве своих произведений Мамин-Сибиряк показывает жизнь в ее типических проявлениях сообщает читателю массу жизненного материала, создает колоритные образы, но весьма сдержанно выражает свои чувства, рассчитывая воздействовать на читателя логикой картин, образов и обстоятельств. Но при этом от читателя не скрыта и авторская позиция. Идеал красоты Мамина-Сибиряка близок к народному идеалу. Писатель любит жизнь, кипучую человеческую деятельность, силу, энергию. Поэтому в его произведениях действуют сильные, деятельные люди из народа, в которых писатель обнаруживает выработанный веками физического труда неиссякаемый запас ума, энергии силы и сообразительности. Симпатии Мамина-Сибиряка к этим людям особенно отчетливо проявляются в портретных характеристиках действующих лиц. Вот, например, «заводская косточка, тагильский мастеровой Афонька. Можно им залюбоваться. Ему едва минуло семнадцать лет, но какая могучая сила в этой белой груди...» Или раскольница Василиса Мироновна, «женщина, смуглая и немного ху-

дощавая, но с могучею грудью и сильными руками», ее помощник Савва Евстигнеич «так и просился на картину: ворот красной рубахи был расстегнут и открывал могучую, обросшую волосами, грудь; загорелая широкая шея точно была отлита из бронзы; седая окладистая борода и седые брови несколько смягчали эту ничем не сокрушимую силу...». Так же характеризован и старик-золотоискатель Заяц: «Ему было пятьдесят с лишком, но это могучее мужицкое тело смотрело еще совсем молодым и могло вынести какую угодно работу».

Народническая литература создавала тенденциозный образ фабричного мастерового, чаще всего отрицательный. Мамин-Сибиряк любил фабричных мастеровых, восхищался их силой, сметливостью, трудовым опытом. «Стоит посмотреть на эти мускулистые руки, крепчайшие затылки и рослые, полные силы фигуры, — пишет он в одном из очерков, — так и дышит силой от этих молодцов...».

Построенные на незнакомом читателю материале и открывающие в обездоленном рабочем человеке неуемные физические силы и

моральные качества, рассказы Мамина-Сибиряка близки рассказам Брет-Гарта, а по манере построения, по пристальному интересу к сильным характерам, по тонкому знанию народной речи и умению органически включить ее в произведение они напоминают лучшие произведения Н. С. Лескова.

Вскоре вслед за рассказом «В камнях» в больших петербургских и московских журналах («Отечественные записки», «Дело», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др.) появились повести, очерки и рассказы Д. Сибиряка, а в 1883 году был напечатан его роман «Приваловские миллионы». Затем появились в печати романы «Горное гнездо» (1884), «Дикое счастье» (1884) и многие другие его произведения. В эти же годы была написана значительная часть рассказов и очерков, собранных писателем в книгу «Уральские рассказы» (первое издание в двух томах вышло в 1888–1889 годах). Творческая работа Мамина-Сибиряка шла очень интенсивно и с большим напряжением. Творческий процесс был для него так естественен и необходим, что он не думал, нужно писать или не нужно пи-

сать, как, по его словам, не думает река, «когда в весеннее половодье выступает из берегов». В своей автобиографии он объяснял появление в короткое время большого числа произведений тем, что они писались в течение длительного периода и не были в свое время напечатаны, а также «необыкновенным богатством материалов, которые давала жизнь Урала», и «необходимостью осветить сейчас же некоторые „злобы дня“» и свои уральские проклятые вопросы: «Я люблю писать потому, что переживаю все, что пишу, — рассуждал он в одном из писем. — Личная жизнь такая маленькая и так хочется жить тысячью жизней...».

Однако следует сказать, что в отдельных случаях Мамин-Сибиряк публиковал недоработанные вещи, написанные прямо набело и даже не прочитанные перед отправкой в печать. Недостаточное внимание к отработке деталей снижало художественные достоинства некоторых его произведений.

Вопиющие социальные противоречия старого промышленного Урала, бесправие, бедность, страдания рабочего населения, дикая

роскошь и бесчинства «господ» острой болью отзывались в чутком сердце писателя, и он спешил поделиться с читателем своими наблюдениями, осудить хищные буржуазные порядки, стать на защиту рабочего человека.

Автор любил и многократно переиздавал «Уральские рассказы», пополнял их состав, в первых изданиях изменял порядок расположения отдельных произведений внутри сборника, но во всех прижизненных изданиях первый том его открывался рассказом «В худых душах» (написан и впервые напечатан в 1882 году).

В этом небольшом рассказе выражено горячее сочувствие участникам революционной борьбы Кинтильяну и Ане. Среди книг Кинтильяна автор выделил «Капитал» Маркса. В рассказе проявился протест автора против гнетущей реакции восьмидесятых годов с ее мрачной атмосферой доносов, подозрений, преследований. Нравственному безобразию холопов и прислужников реакционного правительства автор противопоставил чистоту идейных и моральных принципов деятелей освободительного движения.

С любовью и симпатией нарисованы в «Уральских рассказах» чусовские бурлаки, уральские старатели, фабричные мастеровые.

В очерке «Золотуха» автор пишет: «...для меня представляла глубокий интерес та живая сила, какой держатся все прииски на Урале». Выраженная здесь мысль может быть распространена на всю книгу «Уральских рассказов»: в ней показан трудовой подвиг народа, которым «держится» материальная жизнь человека.

Труд в понимании Мамина-Сибиряка — это источник силы и мудрости народа. Многовековым своим трудом народ создал свою историю, то есть историю своей страны, выработал свой характер, создал свою нравственность. Такое понимание великой роли труда логически вело к его поэтизации, и Мамин-Сибиряк как писатель стоит в ряду самых выдающихся певцов труда в русской литературе.

Поэтизируя простого рабочего человека, он не скрывает его недостатков и с грустью рассказывает, как много темноты, невежества, дикости и грубости в народной жизни.

Но его произведения далеки от натуралистического описания темных сторон народной жизни. Ее мрачные проявления, показанные в творчестве Мамина-Сибиряка, помогали читателю обнаружить ту «первичную клеточку», которая их порождала. Основную причину народных бедствий автор видит в несправедливости общественных отношений, при которых «господа» предаются праздности, роскоши, разврату и всякого рода безобразиям, а трудовой народ обречен на голод, бесправие и невежество.

В очерках «Бойцы» показаны бесконечные физические и моральные страдания крестьян, оторванных от семьи в самую горячую пору весенних полевых работ, они теряют на сплаве свою силу, здоровье, а нередко и самую жизнь. Непосильные налоги, деревенская круговая порука заставляют их идти на заработки за тысячи верст. Обманутые и ограбленные хозяевами караванных контор, они возвращаются, питаясь подаянием.

Бессильными и жалкими выглядят бурлаки, огромными толпами собравшиеся на пристани в ожидании сплава. Но эти же люди ре-

шительно преображаются в процессе труда. Они проявляют подлинный героизм в борьбе с грозными силами природы. Автор любуется их артистическим трудом, когда команды бурлаков работают «одним сердцем».

Голодающим бурлакам и сплавщикам противопоставлены хозяева караванных контор с их чревоугодием, пьянством, распутством. Эти резкие контрасты помогали понять основной конфликт между хозяевами и рабочими, свидетельствовали о несправедливости буржуазных общественных отношений.

Многие произведения из «Уральских рассказов» автор назвал очерками. Этим он обращал внимание на их близость к фактам действительности, не ставя целью дать точное жанровое определение. Некоторые из этих «очерков» по своим размерам равны большим повестям. В них даны широкие картины действительности, этнографически точные описания места действия, исторические справки, а в отдельных случаях даже ссылки на научные источники. Все это органически слито с широкими художественными картинами, с поэтическим вымыслом, яркими ти-

пическими образами, в которых раскрыты судьбы героев в связи с судьбами страны и народа.

Большую познавательную ценность произведений Мамина-Сибиряка отметил В. И. Ленин, сославшись на очерк «Бойцы» как документ строгой художественной правды.

«Уральские рассказы» богатством и разнообразием своего содержания выгодно отличались от тематически однообразной народнической беллетристики. Жизнь, труд и борьба фабричных мастеровых, бурлаков, золотоискателей, крестьянства, революционной интеллигенции, провинциальных артистов, тяжкая доля женщины на приисках и промыслах — вот далеко не полный перечень тем и образов «Уральских рассказов». В них показаны также страшные в своем зверином быту и стяжательстве, развращенные «диким богатством» «хозяева жизни». Полная безотчетность и ничем не ограниченные права одних, бесправие, беззащитность и подавленность других порождали атмосферу чудовищных преступлений со стороны «хозяев» и доводили до предела чувство ненависти к ним

со стороны порабощенных мастеровых.

Автор уральских и сибирских рассказов явился талантливым изобразителем северной русской природы. В его произведениях природа не фон, не внешнее украшение, она живет и действует вместе с героями. Бесконечно широкой, разнообразной и мощной русской природой он объяснял характер русского человека с его чертами «нетронутой воли, шири, удали». Изображая природу, писатель стремился «раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном».

Он отметил, как преображается в единении с природой простой человек, подавленный ненормальной общественной жизнью, как в общении с нею проявляются его богатство, сила и красота духа. Признавая благотворное воздействие природы на человека, Мамин-Сибиряк, в свою очередь, признавал положительное воздействие человека на природу. Любой, самый живописный пейзаж оживляется в его глазах присутствием и ра-

зумно направленной деятельностью человека. «Присутствие людей оживляло всю картину, — писал он о находящемся в глухом лесу золотом прииске, — и при ярком солнечном освещении делало ее даже красивой, как проявление самой кипучей человеческой деятельности».

Как и в жизни человека, воображение писателя ищет в природе движения, жизни и проявления скрытых в ней стихийных богатырских сил. Любуясь красотой реки Чусовой в летнее время, он думает: «хороша именно эта дремлющая сила, которая отдыхает теперь, как заснувший богатырь». Он охотно изображал природу не в состоянии мира и покоя, а «в титанической борьбе с первозданными препятствиями». Та же самая Чусовая восхищает его в весеннюю пору, когда она рвалась к морю, «как бешеный зверь...». «Это был апофеоз стихийной работы великого труженика, для которого тесно было в этих горах и который точил и рвал целые скалы, неудержимо прокладывая широкий и вольный путь к теплому, южному морю».

В самых простых проявлениях северной

русской природы он умел уловить ее суть, раскрыть ее силу и красоту.

3

В литературе 80-х годов преобладали произведения «малого» жанра: очерки, небольшие рассказы, социально-бытовые сцены и т. д. Беллетристы-народники, за немногими исключениями, не создали крупных произведений. Передовые писатели этого времени указывали на жанровую ограниченность современной литературы и отчетливо сознавали, что разработка широких социальных тем и всестороннее раскрытие общественных явлений возможны прежде всего в рамках романа и общественной драмы. О необходимости создания общественного романа писал Салтыков-Щедрин еще в 70-х годах: «Отрывки, очерки, сцены, картинки — вот пища, которую предлагают читателю даже наиболее талантливые из наших беллетристов. О цельном, законченном создании, о всестороннем воспроизведении современности с ее борьбою и задачами нет и помину. Читатель обязывается удовлетворяться более и менее удачною разработкой частностей, и затем, если

желает, сам уже должен отыскивать связь между этими частностями и сводить концы с концами... а в литературе нашей все-таки нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман или общественную драму».[4]

Среди писателей демократического направления 80-х годов Мамин-Сибиряк был одним из немногих авторов, успешно разрабатывавших жанр романа. Первым крупным произведением его в этом жанре явились «Приваловские миллионы» (1883). По своей структуре «Приваловские миллионы» представляют дальнейшее развитие традиций классического русского романа. Много места занимает здесь изображение судьбы главного героя Сергея Привалова, повторявшего, по словам автора, «раздвоенных» лишних людей, у которых хорошие намерения и заветные мечты постоянно идут вразрез с практикой. В этом обнаруживается творческая связь писателя-демократа с прогрессивными традициями предшествующей реалистической русской литературы, а также стремление показать тесную связь судьбы человека с жизнью

общества, порождающей подобные характеры. Новаторство писателя проявилось в выдвижении новой темы, смелом и оригинальном решении острейших вопросов современности.

В этом романе Мамин-Сибиряк показал большое мастерство в раскрытии острых социальных конфликтов. Действие романа развертывается на основе конфликта между идеалистом-мечтателем Сергеем Приваловым, в руки которого должен перейти по наследству богатейший заводской округ, и группой буржуазных хищников, которые стремятся прибрать к своим рукам капиталы незадачливого наследника. В отношениях между враждующими из-за наследства силами возможны острые столкновения, но иногда и союзы и примирения. В то же время автор ведет читателя к пониманию непримиримости другого, основного, скрытого от глаз поверхностного наблюдателя конфликта между владельцами и рабочими Шатровских заводов. Судьбы большого коллектива рабочих волнуют сознание читателя не меньше, чем утопические планы социальных реформ Сергея Привалова

и борьба из-за наследства между различными группами буржуазных хищников. Сюжетное развитие романа определяется не только личной и общественной судьбой центральных персонажей, но и в значительной мере историей Шатровского горнозаводского округа с сорокатысячным рабочим населением.

Главный герой романа Сергей Привалов усвоил взгляды либерального народничества. Он отрицал возможность и необходимость развития горной промышленности в России. Промышленные заведения в России он считал болезненным наростом, «который питается на счет здоровых народных сил». «Наши горные заводы, — говорил этот незадачливый реформатор, — все до одного должны ликвидировать свои дела». Он мечтал об организации артельного труда, о рациональной организации хлебной торговли, с помощью которой надеялся освободить мелкого производителя от капиталистической эксплуатации. Рассуждения Сергея Привалова в своих основных частях буквально совпадают с теоретическими положениями одного из видных теоретиков либерального народничества, В. Ворон-

цова, напечатавшего в 1882 году сборник своих статей «Судьбы капитализма в России». В. Воронцов стремился доказать, что в отличие от Западной Европы Россия может и должна избежать развития капитализма и связанного с ним роста промышленного пролетариата, что промышленность в нашей стране появилась не на основе экономических потребностей, а в результате распоряжений правительства, что машиностроительная и металлургическая промышленность якобы не нужна народу и существует лишь государственными заказами и другими «милостями правительства». Являясь наследником крупного горнозаводского округа, разоренного прежними владельцами и опекунами, Привалов видит свою задачу в том, чтобы освободить заводы от казенных долгов, ликвидировать их и возвратить заводские земли их прежним владельцам — башкирам.

При столкновении с реальной действительностью рушатся все народнические планы Привалова. В условиях капиталистической действительности и хлебная торговля и построенная Приваловым мельница стано-

вятся типичными капиталистическими предприятиями. Опыты осуществления намеченных социальных реформ убеждают героя романа в том, что он со своими планами является «жалкой единицей», которой по-своему распоряжается буржуазия. Значение образа Сергея Привалова усиливается тем, что неудачи его социальных реформ раскрыты в романе не столько как следствие его личных недостатков (отсутствие воли и практической опытности), а как результат беспочвенности народнических теорий. Мамин-Сибиряк подчеркивает, что Привалов не является той силой, которая может противостоять буржуазным дельцам. Буржуазная действительность разрушает его народнические начинания и неумолимо вовлекает в капиталистический оборот создаваемые им артельные предприятия. Наблюдая в ирбитском ярмарочном театре сибирских промышленников, фабрикантов и водочных королей, Привалов сам почувствовал, что он является «частью этого громадного целого, которое шевелилось в партере, как тысячеголовое чудовище. Ведь это целое было неизмеримо велико и влекло к себе

с такой неудержимой силой... Даже злобы к этому целому Привалов не находил в себе: оно являлось только колоссальным фактом, который был прав сам по себе, в силу своего существования».

Развенчание либерально-народнических иллюзий Сергея Привалова имело большое общественное значение. Мамин-Сибиряк своим романом показал бесплодность и вред рассуждений об отсутствии капитализма в России, о случайном характере существующих буржуазных отношений.

Автору удалось создать яркий образ передовой русской женщины Надежды Бахаревой. Ее тяготила принадлежность к буржуазной семье, богатство которой было создано «потом и кровью добровольных каторжников». С положением каторжников героиня романа сравнивала судьбы рабочих в золотопромышленности. «Мы живем паразитами, — говорит она Привалову, — и от нашего богатства пахнет кровью сотен тысяч бедняков». В этих словах звучит не только осуждение семьи ее отца (эта семья характеризована автором как одна из самых честных буржуазных семей го-

рода Узла), сколько самых основ буржуазного строя. Уход Надежды Бахаревой из родного дома воспринимается как осуждение буржуазной философии жизни. Благородству идей и стремлений новых людей соответствует чистота и твердость их нравственных принципов. Пропагандисты новых общественных отношений — Надежда Бахарева и Лоскутов — строят свою семью на основе любви и взаимного уважения.

Широкие художественные обобщения, основанные на глубоком знании жизни промышленного Урала, показывали читателю, что Россия уже вступила на путь капитализма, что русская буржуазия представляет собой крупную силу, с которой нельзя не считаться. Писатель оценивал эту силу с демократических позиций, поэтому ему удалось убедительно показать антинародный характер буржуазии, ее паразитическую сущность. Образы хищных буржуазных дельцов даны в романе резко сатирически. Общественное значение сатирического изображения буржуазного мира усиливалось тем, что вместе с разоблачением антинародной сущности бур-

жуазии Мамин-Сибиряк вступал в борьбу с попытками некоторых русских писателей идеализировать капиталистический общественный порядок.

Буржуазная литература 80-х годов лицемерно доказывала единство интересов предпринимателя и рабочего. Апологеты буржуазии утверждали, что благосостояние рабочих прямо зависит от успехов предприятия и доходов фабриканта. Современные Мамину-Сибиряку буржуазные писатели (П. Д. Боборыкин, Вас. И. Немирович-Данченко и др.) изображали купцов и фабрикантов как главных деятелей промышленности, от таланта и предприимчивости которых зависит успех дела, а вместе с ним и благосостояние рабочей массы. Действительные классовые противоречия буржуазного общества подменялись мнимыми, надуманными противоречиями между культурным и некультурным буржуа. В буржуазной литературе распространялась иллюзорная надежда на просвещенного промышленника, финансиста, купца как силу, якобы противостоящую буржуазному хищничеству. Особенно большой вред могла прине-

сти русскому обществу спекулятивная идея единства интересов труда и капитала, усиленно распространявшаяся буржуазной публицистикой и литературой.

Перед писателями-демократами возникла серьезная задача — преодолеть вредное влияние буржуазной литературы на массового читателя. Вслед за М. Е. Салтыковым-Щедриным и Н. А. Некрасовым Мамин-Сибиряк показывал эксплуататорскую, хищническую роль буржуазии. В «Приваловских миллионах» он создал целую галерею типов, близких по своей внутренней сущности к Колупаевым, Разуваевым, Деруновым; Хиония Заплатина, Половодов, Ляховский, Альфонс Богданыч — все это хищники паразиты, мешающие здоровому развитию народной жизни. Среди хищников-стяжателей выделяется «делец последней формации» Половодов. Получив университетское образование, Половодов начал свою карьеру со службы в уездной земской управе, которую он, как и щедринские земцы, расценивал с точки зрения «фондов» и возможностей «сходить в карман своего ближнего». Хищническое нутро Половодова полностью

обнаружилось, когда ему удалось проникнуть на должность директора Узловско-Моховского банка и в опекунский совет Шатровских заводов. В Половодове «заговорила непреодолимая жажда урвать свою долю из того куска, который теперь лежал под носом». Эта «непреодолимая жажда урвать» раскрыта в «Приваловских миллионах» как основа буржуазной философии жизни.

Типичный буржуазный хищник Половодов продает свою жену, торгует своими убеждениями и, ограбив Шатровские заводы, скрывается за границей. В расчете на всеобщую буржуазную продажность строится план ограбления Шатровских заводов, составленный для Половодова «дядюшкой» Шпигелем. В план Шпигеля входит подкуп не только дворянской опеки, но и представителей таких высоких сфер, которые Шпигель не решается даже назвать.

Хищничество понято и раскрыто автором «Приваловских миллионов» как неизлечимая болезнь, которой заражена сама буржуазная атмосфера.

В раскрытии хищничества, как кодекса

буржуазного поведения, проявляется способность автора понять социальную сущность изображаемых явлений, отчетливо звучит активное противодействие буржуазной литературе.

Мамин-Сибиряк видит, что интересы заводовладельцев и рабочей массы непримиримы. Он убежден, что основной и решающей силой в промышленности является фабричный рабочий. Роль буржуазии в истории развития промышленности автор рассматривает исторически. Он признает некоторые заслуги зачинателей горного дела, но и эти заслуги относит не столько к буржуазии, сколько к трудовому народу, выдвинувшему из своей среды талантливых организаторов промышленности.

В полном соответствии с исторической правдой писатель говорил об утверждении «власти капитала» в жизни пореформенной России, но в то же время он остро ставил вопрос о непрочности буржуазного общественного строя. Один из существенных признаков преходящего характера буржуазных общественных отношений он видел в вырождении

буржуазной семьи. Тема вырождения буржуазии интересовала Мамина-Сибиряка в течение многих лет его творческой деятельности. Еще в студенческие годы, обращаясь к своему отцу с просьбой собирать материалы из заводской жизни, он указывал на «резкую разницу, отделяющую энергичных, деятельных представителей первых основателей дома Демидовых и распущенность последних его членов». Эта тема нашла выражение в «Приваловских миллионах» (1883), «Горном гнезде» (1884), «Хлебе» (1895) и ряде других произведений писателя. На протяжении двух десятилетий в разных аспектах Мамин-Сибиряк ставит вопрос о неумолимом законе вырождения буржуазии.

В отличие от западноевропейских писателей-натуралистов, трактовавших процесс вырождения как результат воздействия биологических факторов, которому якобы подвержены все общественные сословия, Мамин-Сибиряк изображал вырождение буржуазной семьи как результат социально-исторических закономерностей. В разработке темы разложения и вырождения буржуазии он шел не

столько от современных ему биологических теорий (ошибки которых он иногда, однако, разделял), сколько от самой жизни. Материалом его произведений служила история многих семейств уральских заводчиков, в которых процесс вырождения давал себя знать особенно сильно и безжалостно. Яркий пример тому — история знаменитой в летописях уральской горной промышленности семьи Демидовых, хорошо известная автору, который родился и вырос в фамильной вотчине этих крупных заводчиков.

С большой художественной убедительностью тема вырождения буржуазии разработана в романе «Горное гнездо». Автор не ставит перед собой цели показать в этом произведении процесс вырождения в его исторической последовательности. В образе Евгения Лаптева дан результат этого процесса. Из краткой, намеченной отдельными штрихами характеристики предков Евгения Лаптева вырождение буржуазной семьи предстает во всей своей жизненной конкретности. Ближайшие предки Евгения Лаптева, пользуясь миллионными доходами от заводов, прожигали свою

жизнь за границей. «Некоторые из представителей этой фамилии, — пишет Мамин-Сибиряк, — не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски... Эти мужицкие выродки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств». Последний представитель семьи — Евгений Лаптев — родился и вырос за пределами своей страны. Там под влиянием окружавших его праздных людей и под руководством «разных светил педагогического мира» он получил «органическое отвращение ко всякому труду и в особенности к труду умственному». В результате праздной, полной всяческих излишеств жизни Евгений Лаптев утратил нормальные человеческие свойства и всякую способность к деятельности.

Автор «Горного гнезда» убедительно показал, что хозяева заводов не играют никакой роли в производстве материальных благ, что создателями всех материальных ценностей являются люди труда. Владельцы заводов и фабрик ничем не связаны со своими предпри-

ятиями, кроме получения баснословных прибылей, беспутно расточаемых ими в беспрерывных кутежах, оргиях и всякого рода безобразиях. Евгению Лаптеву чужда, непонятна и утомительна непривычная трудовая обстановка. «Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы». Не более Лаптева понимают заводское дело его ближайшие помощники. В качестве консультанта по горнозаводскому делу с Лаптевым приехал на Урал ученый генерал Блинов. При посещении завода оказалось, что ученый генерал, как и его хозяин, «ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу».

В поездке по уральским заводам Лаптева сопровождает огромная свита корреспондентов, секретарей, доверенных лиц и просто темных людей, которые делают вид, что тоже интересуются русской промышленностью. Вся эта орава с Лаптевым во главе показана как чуждый народу и промышленности эле-

мент, мешающий нормальному развитию заводского дела.

Способность Мамина-Сибиряка воплотить в жизненных образах сущность важных социальных явлений приобретает особенный интерес в свете той оценки роли буржуазии в производстве, какую дал Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге». «Для самих капиталистов, — пишет Энгельс, — не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Капиталистический способ производства, вытеснявший сперва рабочих, вытесняет теперь и самих капиталистов, правда, пока еще не в промышленную резервную армию, а только в разряд излишнего населения».

Образы Лаптева и его приспешников даны в сатирических тонах. Низменный характер интересов хозяев делает возможным широкое применение в их характеристиках гиперболы, гротеска (желудочная память Лаптева, вранье Сарматова, рабья преданность Родиона Сахарова и т. д.).

Подробный перечень всего, что придумывают услужливые управляющие, чтобы поразить «желудочную память» Лаптева, нужен автору для того, чтобы показать низменность интересов этого круга людей. О маринованной губе сохатого, ухе из живых харюзов приходится говорить подробно, в соответствии с их значительностью в жизни набоба Лаптева, утратившего нормальные человеческие чувства и интересы.

В этом романе Мамин-Сибиряк сатирически изобразил порожденный буржуазной действительностью отвратительный тип буржуазного шпиона и предателя Перекрестова, натуру космополитическую, продающую себя тому, кто дороже платит. Объектом сатиры в «Горном гнезде» становятся общественные явления и силы, подлежащие уничтожению. К владельцам заводов и их приспешникам, которых Мамин-Сибиряк избрал предметом своей сатиры, вполне можно отнести слова Добролюбова о героях «Губернских очерков» Щедрина: «Они — гнилые части, сухие ветви дерева, которые отмечаются знатоком для того, чтобы садовник обрезал их... Да, дерево

может погибнуть именно от этих гнилых и засохших ветвей, если они не будут отсечены. Без них же дерево ничего не потеряет: оно свежо и молодо, его можно воспитать и выпрямить; его растительная сила такова, что на место обрезанных у него скоро вырастут новые, здоровые ветви».

Богатство творческой фантазии Мамина-Сибиряка позволяет ему развить основную идею и резко сатирически выделить основную черту данного социального типа на фоне бесконечного многообразия характерных деталей и ситуаций. Выделение и подчеркивание типических признаков автор производит при тщательном соблюдении пропорций, при строгой верности избранному масштабу. Сатирическое преувеличение является здесь одним из способов фиксировать внимание на существенных признаках при тщательном устранении всего того, что несвойственно соответствующему типу людей.

Вырождающемуся физически и духовно буржуазному миру автор противопоставляет фабричных мастеровых. Он с восхищением рисует мощные фигуры заводских рабочих,

любуется их богатырской силой и артистической работой. На заводе, «в этом царстве огня и железа», подлинными хозяевами кажутся автору именно заводские рабочие. В Евгении Лаптеве с его свитой он видит «человеческий сор», «человеческую мякину», ненужную и лишнюю.

Вместе с тем автор с полным историческим правдоподобием показывает сохранившуюся с недавних крепостнических времен наивную веру фабричных мастеровых во всемогущество барина.

Основным художественным заданием романа становится раскрыть несостоятельность этой веры, показать непримиримость классовых противоречий хозяина и рабочего. В результате приезда барина на завод и трудов ученого генерала Блинова мастеровые были лишены земельных наделов, их заработная плата была урезана, ранее существовавшие «крохи» благотворительности уничтожены.

Читателю «Горного гнезда» становилась ясна вся нелепость социального устройства, при котором не принимающие никакого участия в деятельности заводов люди получают

миллионные доходы, а создатели всех ценностей — заводские рабочие — обречены на бесправие, голод и нищету.

Уловить и показать в сложном историческом процессе возрастающую силу фабричного рабочего и неизбежность вырождения буржуазии мог только правдивый писатель-реалист и демократ, обладающий острой социально-исторической зоркостью, которому были близки и понятны интересы заводского населения.

Но не понимая всей глубины исторического смысла изображаемых событий, автор с сожалением писал о лишении заводского населения земельных наделов. Он не сумел понять, что уничтожение крепостнических пережитков, в том числе и земельных наделов, вело к осознанию рабочими своих классовых интересов.

В «Горном гнезде» с большим мастерством нарисованы массовые народные сцены. Автор смело вводит в число «действующих лиц» многоликую заводскую толпу, которая играет в произведении определяющую роль. Отдельные образы рабочих интересуют автора в той

мере, в какой они выражают те или иные стороны действующего коллектива.

Основные принципы, намеченные в «Приваловских миллионах» и «Горном гнезде» (раскрытие непримиримых противоречий между хозяевами и рабочими, пристальное внимание к судьбам рабочего населения), получают дальнейшее развитие в романах «Три конца» (1890), «Золото» (1892), «Хлеб» (1895). В «Приваловских миллионах» сорокатысячная рабочая масса Шатровских заводов дана на втором плане, без персонификации отдельных ее представителей. В «Горном гнездо» заводский коллектив показан в ряде массовых сцен. Автор выделяет в многотысячной толпе, пока еще в общих чертах, характерные признаки людей отдельных профессий (фабричные мастеровые, рудниковые рабочие, крестьяне-углежоги и т. д.). Здесь же появляются образы фабричных мастеровых — силач Спиридон, «железные люди» Вавила и Гаврила, которые даны в процессе их заводского труда. Но на первом плане продолжают действовать хозяева заводов и крупная заводская администрация, хотя в общей жизни заводов им от-

водится ничтожная роль. В «Трех концах» и в «Золоте» на первый план выдвинута жизнь заводского коллектива. Роман «Три конца» имеет характерный подзаголовок — «Уральская летопись в шести частях». Это именно летопись жизни уральского заводского населения в пореформенную эпоху. С романом «Три конца» тесно связана историческая повесть «Братья Гордеевы». Некоторые герои повести и романа напоминают друг друга. Трагическая судьба крепостных, получивших образование за границей, определила содержание повести «Братья Гордеевы». Значительную идейно-композиционную роль образы «заграничных» интеллигентов играют также в романе «Три конца». Родственные друг другу образы как бы связывают эти два произведения, в которых нашли отражение две эпохи из жизни уральского рабочего населения: основным содержанием повести является жизнь заводских рабочих в пору расцвета крепостнических порядков, в романе раскрыты их судьбы в пореформенную эпоху.

Повесть «Братья Гордеевы» и роман «Три конца» тесно связаны в то же время и с тради-

цией классической русской литературы. Они воскрешают в памяти читателя трагедию умных людей в крепостнической России, широко показанную в литературе первой половины века, и страшную судьбу крепостного талантливого человека, раскрытую в повести Герцена «Сорока-воровка».

Мамин-Сибиряк понимал, что сложная заводская жизнь и работа выдвигали перед рабочими уже в пору крепостного права все новые и новые вопросы социальной жизни и техники. Простые крепостные рабочие доходят «своим умом» до смелых решений трудных технических вопросов, они, по словам писателя, в непрерывном труде «дорабатываются» до высших соображений математики и решают такие вопросы техники, какие не известны даже в теории.

Писатель любовно рисует яркие образы этих талантливых людей из народа. С гордостью за рабочего человека он рассказал, как сын крепостного рабочего, уральского жигаля Елеськи, поразил своими природными дарованиями профессоров парижской Ecole polytechnique и был представлен как первый уче-

ник этой школы французскому королю. Рядом с образом этого одаренного крепостного интеллигента стоят образы уральских «умельцев»: механика-самоучки Карпушки, дошедшего «до всего своим умом»; опытных мастеров горного дела — братанов Гущиных и туляка Афоньки; фанатически преданного заводскому делу доменного мастера Никитича («Три конца») и др. Трагедия этих замечательных людей состояла, по существу, в том, что они еще не понимали путей и средств борьбы с социальным бесправием.

Чувство жгучей боли за простого русского человека и ненависть ко всему, что подавляет человеческое достоинство, вызывала в сердце читателя повесть «Братья Гордеевы». Она порождала страстное стремление к свободе, к таким условиям жизни, при которых могли бы развернуться неограниченные возможности человека труда. «Если б этакому способному человеку дать образование, что бы из него вышло?» — формулирует свою мечту о будущем автор и тут же добавляет: «Впрочем, одно образование еще не делает человека». Трагическая судьба крепостных

интеллигентов Гордеевых, их жен и детей свидетельствует, что для настоящего счастья нужны свобода, независимость, уважение к его человеческому достоинству.

Роман «Три конца» начинается выразительными сценами, которые показывают большой трудовой коллектив накануне «освобождения» от крепостной зависимости. Развязкой произведения служит забастовка рабочих, испытавших жестокие условия капиталистической эксплуатации. В рамки романа укладывается, таким образом, целая историческая эпоха. В двух важнейших событиях — объявление «воли» и забастовка заводских мастеровых — раскрывается основное содержание романа. «Освобождение» проведено в интересах господствующих классов, и рабочая масса на пути к свободе неизбежно вовлекается в борьбу с угнетателями.

С наибольшей полнотой и рельефностью жизненные интересы и исторические судьбы заводской массы Урала выражены в истории трех «концов» Ключевского завода, представляющих своеобразные колонии заводского поселка. В крепостное время каждый из трех

«концов» жил замкнутой жизнью, сохраняя особенности быта, нравы и обычаи, исторически сложившиеся в тех различных областях России, откуда были вывезены для работы на Ключевском заводе жители поселка. После объявления «воли», которая не осуществила возлагавшихся на нее надежд, среди части жителей «туляцкого» и «хохлацкого» «концов» вспыхнула стихийная тяга к земле. Многие рабочие семьи решили бросить фабрику и переселиться в богатые башкирские степи — добывать «свой хлеб». Спустя два года инициатор переселения Тит Горбатый возвратился с семьей на завод. «Погибель, а не житье в этой самой орде», — отзывается о деревенской жизни один из многочисленных членов семьи Тита Горбатого. Правдиво изображая стихийную тягу крестьян к земле, автор не сочувствует переходу квалифицированных заводских рабочих к технически отсталым формам деревенского труда и тяжелому, патриархальному деревенскому быту.

Писателя глубоко волнует обострение классовых противоречий, вызванных развитием капитализма. Капитализм кажется ему

такой силой, от которой нельзя укрыться ни в деревне, ни в городе. В финальных сценах «Трех концов» рисуются страшные картины разрушения прекративших действие заводов. Однако рабочие Ключевских заводов не опускают в бессилии руки. В борьбе с капитализмом растет чувство рабочей солидарности, которое с наибольшей силой проявляется в стачке как новой форме борьбы с заводчиками и в слиянии разрозненных в крепостное время трех заводских «концов». Приостановку и разрушение заводов, уход из них опытнейших мастеров и рабочих Мамин-Сибиряк показал как результат капиталистических форм эксплуатации, воплощенных в деятельности нового управляющего Голиковского. Отношения управляющего к рабочим основываются на принципах сухого расчета, урезок, прижимок, штрафов. Писатель осудил этого буржуазного дельца за безразличие к положению и судьбам опытных заводских мастеров, за его планы, рассчитанные на приток резервной рабочей силы, которая должна заменить ушедших с завода коренных рабочих.

Отражая интересы и чаяния не освободив-

шегося от крепостнических пережитков, «привязанного к заводам» уральского рабочего населения, Мамин-Сибиряк создал произведения большой обличительной силы. Но незрелость его политической мысли и непонимание исторической роли пролетариата приводили к тому, что многие его произведения не давали положительных решений.

Образы новых людей из разночинной интеллигенции в творчестве Мамина-Сибиряка не разработаны так подробно и всесторонне, как отрицательные персонажи. Значение этих образов состоит не в их положительной программе. Важно то, что они понимают несправедливость буржуазных отношений и протестуют против них.

Центральным героем произведений Мамина-Сибиряка является трудовой народ в своеобразии его прошлого и настоящего, его быта, чаяний, интересов.

Вера в силы и творческие способности народа обусловила социальный оптимизм Мамина-Сибиряка и жизнеутверждающий характер его произведений. Всем своим творчеством он зовет читателя «жить тысячью жиз-

ней, страдать и радоваться тысячью сердец» и в этом справедливо видит «настоящую жизнь, настоящее счастье» человека. Вера в положительные стороны жизни вызвала его интерес к личности М. Горького, с которым Мамину-Сибиряку удалось встретиться в Ялте в 1900 году: «Сейчас в Ялте собралось много писателей... Все чем-нибудь больны и все чем-то озлоблены, за исключением Горького. С последним я познакомился ближе, и он мне начинает нравиться».[5] Горький привлекал симпатии Мамина-Сибиряка тем светлым чувством жизни, к выражению которого стремился автор «Уральских рассказов».

В тяжелых условиях общественной борьбы 80-х годов Мамин-Сибиряк был певцом силы, энергии, действенного отношения к жизни, выражая в своем творчестве неиссякаемую жизненную энергию трудового народа. Мечта о великом будущем своей страны никогда не покидала писателя. Его духовному взору представлялась индустриально преобразованная Россия, которую гений народа выдвинет в разряд передовых стран мира. На заре своей литературной деятельности, в 1881 го-

ду, он писал: «Глядя на картину Тагила, мне каждый раз приходила в голову мысль, что, вероятно, уже недалеко то время, когда этот завод сделается русским Бирмингамом и, при дружном действии других уральских заводов, не только вытеснит с русских рынков привозное железо до последнего фунта, но еще вступит в промышленную борьбу на всемирном рынке с английскими и американскими заводами».[6]

В пору полной творческой зрелости писатель твердо высказывал надежду на светлое будущее своей страны. Залог ее расцвета он видел в талантливости и силе трудового народа, богатейших природных запасах страны, ее бескрайних просторах. Мечтая о будущем великой реки Волги и судьбах своей страны, он писал: «Тысячелетняя русская история еще не осилила могучей реки, — Волга вся еще в будущем, когда ее живописные берега покроются целой лентой городов, заводов, фабрик и богатых сел. Эта мечта невольно навевается самой рекой, которая каждой волной говорит о жизни, о движении, о работе. Может быть, уже не далеко то время, когда все это совер-

шится, и нет основания сомневаться в осуществлении такой мечты».

Неустанно обличая буржуазию, Мамин-Сибиряк являлся убежденным сторонником промышленного развития страны. Большинство положительных героев его произведений любит и ценит заводы. Героиня романа «Приваловские миллионы» Надежда Бахарева говорит: «Что-то такое хорошее, новое, сильное чувствуется каждый раз, когда смотришь на заводское производство. Ведь это новая сила в полном смысле слова...» Идеи писателя о промышленном развитии России смутны и противоречивы. С одной стороны, он ведет борьбу с пережитками крепостничества и высказывается за развитие частной, то есть в итоге буржуазной, инициативы. С другой — он часто мечтает о таких формах развития промышленности, при которых одинаково соблюдались бы общие интересы страны и запросы заводских рабочих. Но такие формы развития промышленности возможны лишь при социалистической системе хозяйства. До понимания этой глубокой истины писатель подняться не сумел.

4

В 1891 году Мамин-Сибиряк переехал с Урала в Петербург. Здесь и в Царском Селе он прожил до конца своих дней (умер в Петербурге, в ночь с 1 на 2 ноября 1912 года).[7] В 1891 году он потерял жену, которая умерла от родов, оставив ему дочь Аленушку (имя ее увековечено в наименовании цикла сказок). Последний период его жизни не богат внешними событиями. «Мое время — это большее или меньшее количество написанных глав, а с последней главой заканчивается и то, что называется жизнью».

В 90-е годы он состоял членом правления Литературного фонда, а затем членом комитета Союза русских писателей.

Отзывчивый к общественным делам и запросам, Мамин-Сибиряк участвовал во многих мероприятиях, проводимых правлением Литфонда и союзом писателей. Он читал и печатал свои произведения в пользу голодающих и переселенцев, для Литфонда и недостаточных студентов, в пользу женского медицинского института и «обездоленных армян» и т. д., и т. д.

1890-е годы были для Мамина-Сибиряка временем серьезных колебаний. В острой идеологической борьбе марксистов с народниками, окончившейся разгромом народничества, Мамин-Сибиряк разобраться не сумел. Политическая незрелость, непонимание сущности марксизма привели его даже к временному сближению с народниками. Он вступил в дружеские отношения с Н. Михайловским, С. Кривенко, С. Южаковым. Это сближение не могло не сказаться отрицательно на его творчестве. В 90-е годы значительную часть своих произведений (роман «Падающие звезды», цикл рассказов «Детские тени», очерки «Медовые реки» и др.) он печатал в журнале «Русское богатство», органе либеральных народников. Естественно, что во многих из этих произведений была приглушена та острая социальная проблематика и антинародническая направленность, которые характеризовали его творчество 80-х годов. Социальные проблемы подчинялись психологическим и моральным, что лишало некоторые произведения Мамина-Сибиряка прежней силы, содержательности и общественной значимо-

сти.

Воздействие либерально-народнической идеологии и литературы в силу незрелости политических воззрений автора проявилось с наибольшей силой в тех произведениях, в которых он попытался развернуть свои положительные взгляды. В начале 90-х годов Мамин-Сибиряк встал во главе литературного отдела журнала для юношества «Мир божий». Свою задачу он видел в том, чтобы дать молодому читателю жизнерадостные произведения и показать пути к осмысленной общественной деятельности, но при попытках осуществить эту задачу, то есть создать положительные образы, он невольно сбивался к повторению шаблонных для народнической литературы фигур удалившихся в деревню больных и изломанных интеллигентов, которые находят душевный покой и счастье в здоровой деревенской обстановке (роман «Весенние грозы», 1893, и др.).

Писатель не столько «пришел» к народникам, сколько был вовлечен в их среду. После попыток «замолчать» его творчество представители народнической критики попытались

привлечь его на свою сторону. Дружбу с Н. Михайловским и другими народниками Мамин-Сибиряк на первых порах мог воспринимать как продолжение связи с кругом редакции «Отечественных записок». Ему было известно, что Н. Михайловский входил в редакцию этого журнала, а С. Кривенко и С. Южаков были активными его сотрудниками. «Этот журнал,— писал Мамин-Сибиряк о „Русском богатстве“,— возрождается, и около него собираются последние могикане из „Отечественных записок“. Во главе стоит Михайловский, то есть стоит негласно».

Однако следует подчеркнуть, что связь его с народниками была временной и неорганичной. Одновременно с рассказами с народнической тенденцией он писал произведения, развивающие и углубляющие мотивы его творчества 80-х годов. Его тяготили субъективно-народнические позиции «Русского богатства». Те произведения, которые создавались с учетом направления журнала, вызывали недовольство автора. Недовольство «Русским богатством» и своим положением в нем отразилось во многих письмах Мамина-Сиби-

ряка. В октябре 1899 года он писал: «Кончаю роман для „Русского богатства“, который мне надоел до смерти»;[8] в ноябре 1902 года: «Моя повесть „Любовь куклы“ в „Русском богатстве“ совершенно не удалась»; и еще через несколько времени: «не бываю никогда даже в редакции „Русского богатства“. Вечно одно и то же».

В конце 90-х годов он открыто возмущался демонстрациями народников против марксистов и все больше отходил от редакции «Русского богатства».

Литературно-общественная позиция Мамина-Сибиряка 90-х годов выражена не столько в его тенденциозных произведениях, сколько в тех его романах и повестях, где он продолжал свою прежнюю линию обличения растлевающей власти капитала.

В 1892 году в «Русской мысли» Мамин-Сибиряк напечатал историческую повесть «Охонины брови». Восстание уральского населения под руководством Пугачева раскрыто в повести как естественный ответ фабричных мастеровых на жестокое обращение с ними заводчиков. Картины истязаний мастеровых

в медном руднике заводчика Гарусова объясняют и оправдывают активное участие рабочих в восстании Пугачева. В повести «Охонины брови» нашла художественное воплощение мысль о том, что именно в рабочей массе таится большой запас революционной энергии. Это свидетельствует, насколько внешни и неглубоки были связи ее автора с либеральным народничеством. «Охонины брови» появились в печати в пору начавшегося нового подъема освободительного движения в России. Решительное оправдание массовой освободительной борьбы XVIII века придавало исторической повести Мамина-Сибиряка острую актуальность и большой общественный смысл.

Тема романа «Золото» была выдвинута уже в ранних очерках «От Урала до Москвы». Впоследствии на эту тему Мамин-Сибиряк написал очерки «Золотуха», роман «Дикое счастье», цикл рассказов «Золотая лихорадка» и др.

В центре романа стоит судьба нескольких рабочих семей — Родиона Зыкова, Тараса Мыльникова, бабушки Лукерьи. В истории

этих семей отражены судьбы десятитысячного рабочего населения Балчуговского завода, а за ними, в свою очередь, рисуется положение рабочих всей страны.

Основное действие романа укладывается в сравнительно небольшой отрезок времени — около двух лет. но в кратких отступлениях автор знакомит читателя с предысторией действующих лиц, что значительно расширяет хронологические рамки и дает возможность представить жизнь героев на протяжении многих десятилетий.

Содержание романов «Три конца», «Золото», повести «Охонины брови» свидетельствует о пристальном интересе автора к жизни рабочего населения. Мамин-Сибиряк входит в историю русской литературы как писатель, творчество которого дает широкую картину жизни и быта русского рабочего, рисует начальные формы его борьбы и раскрывает выдвигаемые в этой борьбе требования.

Сюжетное развитие романа «Хлеб» (1895) определяется событиями голодного года в Зауралье. Но проблематика произведения шире и глубже изображения событий, связанных с

голодом 1891 года. В центре внимания автора становится новая фаза развития капитализма в его банковско-монополистических формах. Мамину-Сибиряку удалось показать, как банковские монополии приводят к бездействию и разрушению первоклассных промышленных предприятий, застою промышленности. Не выдерживающие конкуренции предприниматели средней руки сжигают первоклассные фабрики, чтобы получить страховые платежи. Основные средства вкладываются капиталистами не в промышленные предприятия, а в спекуляции и ростовщичество. Миллионер Стабровский, Мышников, Штофф и другие крупные банковские дельцы — это монополисты, разоряющие производителя. Губительное влияние объединившейся вокруг банка группы капиталистических хищников начинает сказываться во всех сферах экономической и культурно-общественной жизни.

Писатель-демократ показал антинародную сущность капитализма, утверждающего благосостояние немногих на основе разорения массы производителей. Знаменательны финальные сцены романа, рисующие пожар го-

рода Заполья. Возбуждение толпы во время пожара, угрозы бросить в огонь миллионера Стабровского, а затем народная расправа с мельником Ермилычем даны как законное выражение народного гнева.

Роман «Хлеб» — последнее крупное произведение Мамина-Сибиряка. Наступила новая эпоха русской жизни, исторический смысл которой писателю не был ясен. «Я уже в стороне от российской словесности и стараюсь только быть самим собой», — писал он в 1903 году. Однако в предреволюционные годы Мамин-Сибиряк продолжал создавать образы «озорников», протестующих против неправды.

В 90-е и 900-е годы Мамин-Сибиряк много пишет для детей. Заслуги писателя в области детской литературы высоко оценила дооктябрьская «Правда». В статье-некрологе «Правда» писала: «Его влекла чистая душа ребенка, и в этой области он дал целый ряд прекрасных очерков и рассказов».[9]

Мамина-Сибиряка глубоко интересовали вопросы воспитания детей и детской психологии. «Если бы я был богат, — писал он в од-

ном из писем, — то я посвятил бы себя именно детской литературе. Ведь это счастье писать для детей и чувствовать напряженное внимание тысяч детских головок, которые будут ловить каждое слово и дарить автора своими чистыми детскими улыбками».

Ему было свойственно чувство высокой ответственности перед детской читательской аудиторией. Детские рассказы, по его словам, «требуют особенного внимания, потому что дети — самая строгая публика». Задачу детской литературы, как и всего своего творчества, Мамин-Сибиряк видел в том, чтобы организовать сознание детей и юношества «для борьбы с общественным злом» во имя свободы и счастья народа. В произведениях для детей он изображал в доступной и увлекательной форме самые различные явления социальной действительности, прививал детям чувство горячей любви к родине и народу, учил понимать жизнь природы. Об остроте и важности вопросов, которые писатель выдвигал перед юным читателем, свидетельствует факт серьезных цензурных гонений против его исторического рассказа для детей «Сударь

Пантелей — свет Иванович». Этот рассказ оправдывал борьбу новгородской вольницы против бояр и купцов, против имущественного неравенства и утверждал право трудового народа на свободу и независимость.

Проникнутые высокими гуманистическими идеями рассказы и сказки Мамина-Сибиряка для детей — произведения большого художественного таланта. Они твердо упрочили за ним славу одного из выдающихся русских детских писателей. Об «Аленушкиных сказках» он писал: «Это моя любимая книжка — ее писала сама любовь, и поэтому она переживет все остальное». Его «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая шейка», «Аленушкины сказки» — это, бесспорно, классические произведения, известные не только миллионам детей нашей страны, но и детям многих стран мира; еще при жизни писателя они были переведены на многие языки Европы. Количество переводов этих произведений на языки Запада и Востока год от года увеличивается.

Детские рассказы Мамина-Сибиряка — одно из ярких проявлений многогранности его

яркого художественного таланта.

5

В период революции 1905 года писатель был тяжело болен и известия о ходе революционного движения получал из третьих рук. Угадывая в фабричном мастеровом новую, значительную силу, Мамин-Сибиряк не понял исторической роли пролетариата. Ему был не ясен социально-исторический смысл революции.

Однако он по-прежнему продолжал трезво оценивать действительность и критиковать тех, кто ждет «милостей» для народа со стороны правительства и господствующих классов «Разговоры о новых веяниях, — говорится в письме от 25 октября 1904 года, — считаю пустяками, ибо никакую свободу даром не дают, а надо ее взять».

Он скептически оценивал конституционные иллюзии либеральной буржуазии («не верю в русскую конституцию и ничего от нее не жду»). Участие в выборах во II Государственную думу приводит его к выводу, что в программах и декларациях буржуазных политических партий нет «ничего интересного». С

горькой и злой иронией он говорит о деятельности Государственной думы, куда «набрался пуганый народ», где «мужички слушают и помалкивают до поры до времени. Оторопь берет и животы подводит перед начальством».

Болезнь помешала писателю откликнуться в печати на революцию 1905 года. Как только ему удалось приступить к работе, он начал готовить отдельное издание своих рассказов и выпустил в 1906 году сборник под общим названием «Преступники».

Изданием сборника, в котором поэтизируются сильные люди — «борцы за правду и общее дело», где исторически оправдан протест уральского заводского населения, Мамин-Сибиряк высказал свое отношение к событиям 1905–1906 годов.

После долгого перерыва он выступил в печати в 1907 году с рассказом «Мумма». Этот рассказ представляет собой последний отклик писателя-демократа на важнейшие события общественной жизни.[10]

В условиях, когда либеральные ренегаты вели нападение «по всей линии против демократии, против демократического миросозер-

цания»,[11] Мамин-Сибиряк встал на защиту демократических традиций шестидесятников.

Проповеднику модных идеалистических теорий и зоологической, ницшеанской философии Бурнашеву в рассказе противопоставлен «богатырь» — шестидесятник Образов со своей здоровой философией и твердой верой в необходимость борьбы за демократические идеалы. Бурнашев, крайний эгоист и жалкий человек, вызывает отвращение «мыслящих реалистов» — шестидесятников. Авторское отношение к Бурнашеву проявляется в портретной характеристике: он был «какой-то весь сдавленный и съежившийся. Он и говорил такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенний лист. Но всего неприятнее была его покровительственная манера спорить, точно он делал величайшее одолжение каждым звуком своего голоса». Философию Бурнашева и его сторонников один из персонажей определяет как «больничный бред ницшенианства..., политико-экономический мистицизм, безумный эгоизм..., горячечные галлюцинации декадент-

ства».

Писатель-демократ до конца своих дней оставался «самим собой». Не сумев понять и отразить новую действительность в ее полноте и развитии, он твердо заявил о верности демократическим традициям и заклеймил ренегатство изменившей демократизму буржуазной интеллигенции.

6

Значительный вклад внес Мамин-Сибиряк в развитие русского литературного языка. Отбор языковых средств основан у него на глубоком изучении наследия русских писателей-классиков, речи различных слоев современного ему общества и на сознательном использовании типических оборотов и метких слов из произведений устного народного творчества.

Подготовляя материалы своих будущих произведений, писатель намечал речевые характеристики основных персонажей. Талантливые и умные представители народа в его произведениях широко используют пословицы и поговорки, которые придают их речи необходимый колорит, выражают мудрость и

опыт трудового народа, показывают силу его ума и наклонность к поэтическому выражению мысли. Иносказательные выражения и намеки пословиц и поговорок позволяют людям из народа вести разговор, не раскрывая до поры до времени перед «власть имущими» своих затаенных дум и намерений; в беседе с друзьями те же средства придают речи необходимую яркость, образность и убедительность.

Мамин-Сибиряк умело использовал языковые средства, принадлежавшие к различным стилям. В зависимости от темы произведения, его основного содержания и от настроения отдельного отрывка, отдельной сцены, в тесной связи с общим контуром того или иного образа он пишет то в стиле строгого, даже несколько приподнятого литературно-обработанного языка, то в тоне непринужденной беседы. Даже в таком маленьком произведении, как, например, рассказ «В худых душах», несколько раз меняется тон повествования и подбор языковых средств. Вот один из выразительных примеров авторского повествования в тоне непринужденной беседы: «Вече-

ром мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, между прочим, о местных новостях». Страницей ниже, в иной ситуации, автор пишет словами и конструкциями совсем другого стиля: «Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил».

Диалектизмы, меткие народные слова, образные обороты, профессионализмы автор использует тоже по-разному. Чаще всего они встречаются в речи персонажей. Такие слова и обороты включаются и в авторский контекст, но тут они никогда не нарушают общего строя обработанного литературного языка, никогда не перегружают фразы и не затемняют ее смысла. Писатель отбирает для авторской речи только такие диалектизмы, которые не имеют вполне равноценных по смыслу слов в литературном языке. Они выражают какой-либо новый оттенок и указывают

на особое понимание явления в сознании людей той среды, где родилось и бытует своеобразное слово. Уральское слово «бойцы» вместо «скалы», «утесы» Мамин-Сибиряк вводит первый раз там, где он подробно описывает опасности, которыми грозят эти утесы проплывающим баркам. Слово «бойцы» по сравнению со словами «утесы», «скалы» отразило особенный, частный оттенок выражения опасности прибрежных утесов для сплавщиков.

Рядом с неупотребительными в литературном языке словами писатель ставит синонимы общенационального языка, и это делает понятным не только общий смысл необычного слова, но и его своеобразный оттенок: «Большинство настоящих „бойцов“ стоят совершенно отдельными утесами», «барка... успела отуриться, т. е. пошла вперед кормой»; «Так в худых душах и живем: ни живы, ни мертвы, а один страх» и т. д.

Мамин-Сибиряк прекрасно понимал ту силу художественного обобщения, которая так характерна для оборотов русской народной речи.

Вся глубина обобщения, весь круг ассоциаций, которые вызываются многими русскими оборотами, раскрываются иногда в содержании целого рассказа. На этом основано использование народных слов и выражений в заглавиях произведений («Бойцы», «В худых душах», «Летные»). Значение слова «бойцы», например, замечательно гармонирует с содержанием повести, в которой чусовские бурлаки смело вступают в неравный бой с грозной силой природы.

В произведениях Мамина-Сибиряка действуют разнообразные круги русского общества: фабричные рабочие и крестьяне, ветхозаветные скитские старцы и семинаристы, европеизированные буржуазные дельцы с университетским образованием и патриархальные купцы, русские и иностранцы, а также многочисленные представители братских народов, населяющих западное и восточное Приуралье. Автор умеет индивидуализировать речь многообразной и пестрой галереи персонажей, достигая высокого мастерства в передаче коренной русской речи.

* * *

Мамин-Сибиряк не ожидал понимания и признания со стороны «салонной», кабинетной критики, которая, по его словам, держалась за «лохмотья старинной высохшей эстетики». «Критика, — писал он, — бессильна освободиться от прежних рамок и категорий и топчется на одном месте: роман, повесть и т. д., а жизнь творит все новые формы, которые не подходят ни под одну из указанных рубрик».

Он сумел создать глубоко правдивые, реалистические произведения в самых различных жанрах: романы и повести, рассказы и очерки, легенды и драмы, публицистические статьи и воспоминания, этнографические очерки, сказки, газетные корреспонденции. Во всех этих жанрах и видах творчества самобытно и оригинально проявилось его художественное дарование.

Необычайно широк тематический диапазон его художественных произведений. В них обобщен огромный жизненный материал и заключена большая художественная правда.

Гнев и возмущение писателя вызывали декаденты и сторонники «чистого искусства»,

отходившие от реалистических традиций русской литературы. В отходе от реализма он видел измену литературы ее высоким преданиям, отрыв искусства от жизни народа и как следствие этого отрыва — подражание плохим образцам буржуазной культуры. «Русская литература, — писал он о проявлениях декадентства в искусстве начала XX века, — и не туда идет, и сама не верит собственным словам, и разные новые слова берет с чужой и далекой стороны».

Тесную связь с народом, умение понять и передать богатый и образный народный язык Горький считал одной из важнейших особенностей творчества Мамина-Сибиряка. «Ваши книги помогли понять и полюбить русский народ, русский язык, — писал он Мамину-Сибиряку. — Когда писатель глубоко чувствует свою кровную связь с народом — это дает красоту и силу ему.

Вы всю жизнь чувствовали творческую связь эту и прекрасно показали Вашими книгами, открыв нам целую область русской жизни, до Вас незнакомую нам».

В этих замечательных словах М. Горького

дана высокая оценка творческой деятельности Мамина-Сибиряка и определено его место в истории русской литературы.

Примечания

1

Посессионное право — право иметь на казенных землях фабрики и заводы, а также покупать крестьян для работы на них. Владелец посессионного предприятия не мог продать его, прекратить работу или изменить продукцию; предприятие, без права дробления, передавалось по наследству. В связи с реформой 1861 года посессионные крестьяне были освобождены от личной зависимости, но многие крестьяне, обеспечивавшие себя работой на предприятии только частично, остались после реформы без средств существования.

[^^^]

2

«Дооктябрьская „Правда“ об искусстве и литературе». Гослитиздат. 1937, стр. 166.

[^^^]

3

Впервые очерк «Сестры» был опубликован К. В. Боголюбовым в 3-й книге альманаха «Уральский современник» за 1952 год.

[^^^]

4

М. Е. Салтыков-Щедрин Полное собр. соч. ГИХЛ, т. VIII. стр. 461–462. Рецензия на книгу С. Максимова «Лесная глушь».

[^^^]

5

Неопубликованное письмо Д. Мамина-Сибиряка к Н. Михайловскому от 20 апреля 1900 года. Архив Института русской литературы АН СССР.

[^^^]

6

Д. Н. Мамин-Сибиряк. Статьи и очерки. Свердловск, 1947, стр. 30.

[^^^]

По старому стилю.

[^^^]

8

Речь идет о романе «Падающие звезды», который впоследствии получил отрицательную оценку М. Горького.

[^^^]

9

«Дооктябрьская „Правда“ об искусстве и литературе», стр. 167.

[^^^]

10

Рассказ «Нимфа», напечатанный в 1908 году, был написан значительно раньше.

[^^^]

11

В. И. Ленин. Сочинения, изд. IV, т. 16, стр. 108.

[^^^]

Образ жизни (лат.).

[^^^]

13

Времена меняются... (лат.)

[^^^]

14

Базаров и Николай Петрович Кирсанов — персонажи из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

[^^^]

15

Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

[^^^]

16

Порочный круг (лат.).

[^^^]

Нового человека (лат.).

[^^^]

18

Пряденики — пеньковая обувь.

[^^^]

19

Кученок — угольная куча, в которой дожигается уголь.

[^^^]

20

Фаланстериями социалист-утопист Фурье называл помещения-дворцы, в которых должны были, по его проекту, жить и выполнять некоторые работы члены фаланги — основной производственно-потребительской ячейки идеального гармонического общества.

[^^^]

21

Хина — здесь от кохинхинка — порода кур, завезенных в Европу из Кохинхины (Индокитай).

[^^^]

Волей-неволей (лат.).

[^^^]

23

Авгиевы стойла — в древнегреческой мифологии конюшни царя Авгия, которые не чистились в течение 30 лет и были сразу очищены Гераклом, направившим в них реку Алфей.

[^^^]

Эти цены стояли до проведения Уральской железной дороги, а теперь в Пеньковке пуд ржаной муки стоит 1 р. 30 к. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

25

Осеннее — повинность с прихода в пользу церковного причта, сбор хлеба.

[^^^]

26

По библейскому сказанию, Иродиада была любовницей правителя Галилеи, Ирода Антипы — брата своего мужа; эту преступную связь открыто осуждал Иоанн Креститель; мстительная Иродиада добилась в награду за пляску своей дочери Соломин казни Иоанна Крестителя

[^^^]

27

Как порядочный (франц.).

[^^^]

28

Филемон и Бавкида — персонажи древней легенды, обработанной Овидием. Идеальная супружеская чета, они горячо любили друг друга, были радушны, незлобивы и добры.

[^^^]

Пиво... (нем.).

[^^^]

30

Воркуны — бубенчики; здесь в смысле сбежали, струсили.

[^^^]

31

Опасный прыжок (лат.).

[^^^]

32

Можно надеяться... (лат.).

[^^^]

33

Представление окончено (итал.).

[^^^]

34

От возвышенного до смешного — один шаг (франц.).

[^^^]

35

Казенка — здесь каморка, клетушка.

[^^^]

36

Косная — легкая остродонная лодка.

[^^^]

37

Поземина — вяленая рыба.

[^^^]

38

Для того, чтобы провести время (франц.).

[^^^]

39

По библейскому сказанию, юноша Иосиф был продан братьями в Египет, к царедворцу фараона Пентефрию; жена Пентефрия неоднократно пыталась соблазнить Иосифа; однажды она схватила его, но он вырвался, оставив в руках ее свою одежду. Показав одежду слугам и мужу, жена Пентефрия оклеветала Иосифа, и его посадили в тюрьму.

[^^^]

40

Что такое консистория? Консистория — это обирание попов, дьяконов, дьячков и просвирен... (лат.).

[^^^]

41

До преобразования духовных уездных училищ в них полагалось три класса или отделения; в каждом отделении учились два года. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

42

Гвельфы и гибеллины — политические партии в Италии XII–XV вв.; гвельфы боролись на стороне римских пап против германских императоров и их приверженцев в Италии — гибеллинов; гибеллины состояли в основном из представителей феодальной знати.

[^^^]

43

Неточная передача стиха Пушкина «Гляжу как безумный на черную шаль».

[^^^]

44

Шары — глаза. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Своего рода (лат.).

[^^^]

46

Соответствует русской поговорке: «Сытое брюхо к ученью глухо» (лат.).

[^^^]

47

Казинетовый — из полушерстяной ткани.

[^^^]

48

Камлотовый — из грубой шерстяной ткани.

[^^^]

Казеннокоштный — обучающийся на средства казны.

[^^^]

50

Дело было в философии — речь идет о философском отделении семинарии.

[^^^]

51

При освобождении крестьян от крепостной зависимости в 1861 году составлялись акты или уставные грамоты, определявшие поземельные отношения между помещиками и крестьянами до совершения выкупной сделки.

[^^^]

52

Даровой надел (или дарственный) — земельный надел, равный 1/4 высшего, установленного Положением 19 февраля 1861 г. для данной местности, этот надел помещик предоставлял крестьянам без выкупа, для нормального ведения крестьянского хозяйства его было совершенно недостаточно, и разоренные крестьяне попадали в полную зависимость от помещика.

[^^^]

53

Прохирь — проныра.

[^^^]

Из деревни Моховой. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.).

[^^^]

55

Взаболь — действительно, в самом деле (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Лонись — в прошлом году. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

57

Припущенники — поселенцы на землях коренных владельцев, здесь — на башкирских.

[^^^]

58

«Палаустными» на Урале называют такие балаганы, которые строятся наподобие детских домиков из двух карт. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

59

Старателями в средней части Уральских гор называют тех приисковых рабочих, которые отыскивают золото или платину «от себя» и потом сдают ее арендатору прииска. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Странное — странническое. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Роптать. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

62

Аргонавты — герои одного из древнегреческих мифов, отправившиеся на корабле «Арго» под предводительством Ясона в Колхиду (совр. Закавказье) за золотым руном.

[^^^]

Остротами (франц.).

[^^^]

64

Прикержачиваете — склоняетесь к расколу.

[^^^]

Золотая молодежь (франц.).

[^^^]

В худых душах — при смерти. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

Несосветимые — каких во всем свете не найти. (Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)

[^^^]

68

Боткин С. П. (1832–1889) — профессор Петербургской Военно-медицинской академии.

[^^^]

Гляди, гляди.

[^^^]

Зорят — смотрят.

[^^^]

Тамоди — там.

[^^^]

Комментарии

1

Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала.

Произведение написано в начале 80-х годов. При жизни автора очерк не был напечатан. Впервые опубликован К. В. Боголюбовым в альманахе «Уральский современник», 1952, № 3.

Печатается по изданию Д. Н. Мамин-Сибиряк, собрание сочинений в восьми томах, Гослитиздат, т. 1, М., 1953.

В основу очерка положены личные наблюдения писателя. Семья Маминых некоторое время жила на заводе Нижняя Салда, принадлежавшем горнозаводчику Демидову. История убийства Гаврилы Степаныча, описываемая в очерке, основана также на действительном событии. В очерках «От Урала до Москвы» (1881–1882) идет речь об уральце Копылове, которого убили кабатчики по тем же причинам, что и Гаврилу Степаныча.

Основанный на реальных фактах, очерк «Сестры» представляет собою широкое художественное обобщение. Автор вступает здесь в борьбу с либерально-народническими тео-

риями, согласно которым в перестройке русской экономической жизни должны сыграть большую роль различного рода товарищества и артели. Мамин-Сибиряк развивает глубоко справедливую мысль, что при капитализме подобного рода начинания неизбежно обречены на гибель. Эта идея разработана им и в других произведениях: «Все мы хлеб едим», «Приваловские миллионы» и др. Мамин-Сибиряк некоторое время сам состоял членом Нижне-Салдинского ссудо-сберегательного товарищества. В Центральном государственном архиве литературы и искусства хранится расчетная книжка Д. Н. Мамина, выданная этим товариществом.

[^^^]

2

В камнях. Из путешествия по реке Чусовой

Впервые опубликовано в журнале «Дело», 1882, книга 3. При жизни автора перепечатано в сборнике «В глуши», М., 1898. В советские издания не входил. Здесь печатается по тексту сборника «В глуши», М., 1898 г. с исправлением опечаток по журнальной публикации.

Рассказ основан на личных впечатлениях автора. Мамину приходилось не раз плавать на барках по реке Чусовой до Перми в годы его обучения в Пермской духовной семинарии. Он подвергался всем случайностям этого опасного плавания, так как его родители не имели средств отправить сына в Пермь на лошадях. Опасность подобного рода путешествий станет ясной, если вспомнить эпизод с чиновником из рассказа «В камнях».

Плавать на барке от Межевой Утки до Перми Мамину приходилось по меньшей мере дважды. В письме к родителям от 17 сентября 1869 года он сообщает, что выехал с пристани 8 сентября утром, а «приехал в Пермь 16 числа утром, как раз ко классам». (Письмо не

опубликовано. Хранится в Рукописном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.) Через год он снова сообщал своим родителям о благополучном приезде в Пермь на барке: «В Левшину мы приплыли 19 числа в 4 часа утра, а к 8 были уже в Перми». (Письмо к Н. М. и А. С. Маминым от 22 августа 1870 г. Рукописный отдел Гос. библ. имени В. И. Ленина.)

Рассказ был написан автором быстро (в три дня), в нем заметны следы торопливости и недоработанности.

Автор высказал в одном из писем невысокое мнение о своем первом реалистическом рассказе, увидевшем печать. «16 марта прочитал свой первый напечатанный в толстом журнале рассказ, — давно желанная мечта, которая напомнила мне только об одном, — что этот рассказ еще лепет литературного ребенка, не больше», — писал он А. С. Маминой 21 марта 1882 года (Собр. соч., Свердловск, 1948, т. 1, стр. 364). Строгость отзыва может быть объяснена и некоторыми техническими недостатками рассказа, и требовательностью автора к самому себе, и, несомненно, тем, что

автор сравнивал рассказ с теми романами («Приваловские миллионы», «Горное гнездо»), которые к этому времени были уже в значительной части написаны: «Странно только то, что за пустяки получаю деньги, а работы, которые я высиживаю 10 лет, не принесли пока ничего, за исключением того, что на них я выучился писать» (там же).

Критические отзывы на этот рассказ немногочисленны, но все они в общем положительно оценивали произведение молодого писателя. Критик газеты «Голос» Арс. Введенский писал: «Очерки г. Сибиряка отличаются большою искренностью и беспритязательностью и, сверх того, исполнены жизни и интереса» («Голос», 1882 г., № 98). Арс. Введенский отметил сочувствие автора к народу, знание им народной жизни и умение вызвать сочувствие читателя к людям труда: «Симпатичны и эти загорелые лица и трудовые руки... автор с любовью останавливается над этими людьми, да и нельзя иначе остановиться. Читатель невольно симпатизирует им» (там же). Об отзыве Арс. Введенского Мамин-Сибиряк писал А. С. Маминой: «На первый раз погла-

дили по головке, но это еще и не велика честь, да и не за что, собственно говоря». (Письмо от 24 апселя 1882 г.)

На издание рассказа «В камнях» в составе сборника «В глуши», М., 1898 г., откликнулся журнал «Мир божий». «„В камнях“, — писал критик этого журнала, — превосходный очерк сплава, несколько напоминающий рассказ г. Мамина „Бойцы“... Г. Мамин изображает неподражаемо своих уральских героев, оставаясь всегда объективным, ни мало не стараясь их приукрасить или превознести... Благодаря именно этой особенности его рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изобразить, как никто» («Мир божий», апрель 1898).

[^^^]

3

На рубеже Азии. Очерки из захолустного быта

Впервые напечатано в журнале «Устои», 1882, №№ 3–5, за подписью «Д. Сибиряк». На рукописи (хранится в Свердловском областном архиве) зачеркнуто заглавие «Медведица» и подзаголовок в скобках «Очерк среднего Урала». Над зачеркнутым написано: «Из воспоминаний одного доктора». Рукопись содержит также пометку: «„Устои“, март 1882 г.». В записной книжке 1891 года автор сгруппировал свои произведения по темам и жанрам. По первому признаку «На рубеже Азии» отнесено в раздел «О попах», по второму — в раздел «Повести» (см. Е. А. Боголюбов. Комментарии к собр. соч. Мамина-Сибиряка, Свердл., 1948, т. I, стр. 347). Печатается по тексту журнала «Устои».

Повесть под названием «Мудреная наука» осенью 1881 года была послана автором в журнал «Слово». «Мой рассказ „Мудреная наука“ принят редакцией „Слово“ и будет напечатан в первых месяцах будущего года», —

писал Мамин А. С. Маминой 2 октября 1881 года.

Журнал «Слово», орган либеральных народников, был в конце 1881 года закрыт. 14 ноября 1881 года Мамин с сокрушением писал А. С. Маминой: «„Слово“ не выходит и, кажется, не выйдет, такая уж моя судьба — только приняли рассказ, и журнал перестал выходить», а 4 декабря он пишет: «„Слово“ погибло». В январе 1882 года повесть была передана, в журнал «Устои», где, по предложению А. М. Скабичевского, ей было дано название «На рубеже Азии». 26 февраля 1882 года писатель сообщал матери: «Мой очерк под названием „На рубеже Азии“ уже набирается». Напечатанная в мартовско-апрельской и майской книгах «Устоев», повесть не была оплачена журналом ввиду неудовлетворительного его материального положения.

В повести разработана популярная в литературе 1860 — 1880-х годов тема из жизни разночинной интеллигенции, в частности, выходцев из бедной части духовенства. К этой теме Мамин-Сибиряк обращался неоднократно.

Различные пути, которыми идут выходцы из духовной среды, показаны в рассказе «В худых душах» (см. т. 3 нашего издания). Дети деревенского попа Якова Кинтильян и Аня становятся на путь революционной борьбы, другие его сыновья создают свою карьеру на чиновной службе, а один из сыновей в урядники попал. Связь духовенства с господствующими классами отмечена Маминым во многих произведениях, в частности в романах «Три конца» и «Хлеб».

В поздних его произведениях из жизни духовенства критика сильно приглушена. М. Горький по поводу его рассказа «Любовь куклы» (1902 г.) писал: «Сильно смущает меня его последняя вещь... Не нравится мне его отношение к монастырю и монахам» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, ГИХЛ, т. 28, стр. 271).

Повесть «На рубеже Азии» получила в небольшом газетном отзыве Арс. Введенского весьма противоречивую оценку. По поводу «На рубеже Азии» и «Все мы хлеб едим» Арс. Введенский писал, что они обращают на себя внимание «жизненностью сюжетов, замечательною теплотою, искренностью и задушев-

ностью», что в них «фигуры персонажей очерчены очень живо и типично... самые мысли автора — не плод его личных кабинетных размышлений и фантазии, а результат живого наблюдения над жизнью», что «в них отмечены и черты, общие всей нашей жизни». В противоречии с этой оценкой критик заявил, что «о художественности этих очерков говорить едва ли нужно и удобно» («Голос», 1882 г., № 133). Суть вопроса здесь в том, что у Арс. Введенского и Мамина-Сибиряка были различные представления о художественности. Мамин-Сибиряк мог иметь в виду и Введенского, когда он сурово осуждал кабинетных критиков. «Почему у нас не может быть критики, а есть авторы, — писал он. — Первые создаются кабинетом, а вторые жизнью. Критическая мысль вращается в безвоздушном пространстве — ей не за что уцепиться, и она тащит за собой податливых авторов, которые под конец задохнутся в этом самоковырянии, бессильные дохнуть свежим воздухом... Нет принципов в критике, а художественность — это абракадабра, ее нет, этой роковой формулы, а если есть художествен-

ность и поэзия, то это сама жизнь. Критика бессильна освободиться от прежних рамок и категорий и топчется на одном месте: роман, повесть и т. д..., а жизнь творит все новые и новые формы, которые не подходят ни под одну из указанных рубрик». (Полностью не опубликовано. Рукопись хранится в Рукописном отделе Гос. библ. имени В. И. Ленина.)

[^^^]

4

«Все мы хлеб едим...». Из жизни на Урале

Впервые рассказ напечатан в журнале «Дело», № 5, 1882. Рукописный вариант рассказа под заглавием «Неудача» хранится в Свердловском областном архиве. В 1898 году автор включил рассказ в сборник «В глуши». Печатается по тексту этого сборника. В это второе издание он внес существенные изменения: опущены некоторые сцены и эпизоды, в частности, эпизоды, связанные с немцем Фурманом, который разорил вторую половину деревни Шатрово. Сокращены подробности, убраны повторения. В рассказе Мамин-Сибиряк разрабатывает актуальную для начала восьмидесятых годов тему. Тема эта хорошо сформулирована самим автором в начале V раздела рассказа: «Прожив всего несколько дней в Шатрове, я как-то сразу сросся с его интересами, злобами дня и разными более или менее проклятыми вопросами... Той идеальной деревни, описание которой мы когда-то читали у наших любимых беллетристов, не было и помину: современная деревня пред-

ставляет арену ожесточенной борьбы, на которой сталкиваются самые противоположные элементы, стремления и инстинкты. Перестройка этой, если позволено так выразиться, классической деревни, с семейным патриархатом во главе и с общинным устройством в основании, совершается на наших глазах, так что можно проследить во всей последовательности это брожение взбаламученных рядом реформ элементов, нарождение новых комбинаций и постепенное наслоение новых форм жизни. Нынешняя деревня — это химическая лаборатория, в которой идет самая горячая, спешная работа».

Как в этой общей оценке положения пореформенной деревни, раздираемой внутренними противоречиями, так и в неудачах артельных начинаний Лекандры, скрыта полемика с народниками, которые отрицали самую почву классовой борьбы в деревне. Из журнального текста при переиздании исключены слова Лекандры, которые шли после выражения: «Все прахом пошло». (См. стр. 258 этого тома.) В журнальном тексте после этих слов было: «...как здание, возведенное на пес-

ке. Дрянь народишко мои учителя оказались и сейчас на попятный двор. Тут кстати и случай подвернулся. Исправнику донесли, что мы коммунизмом занимаемся... Ну то-се, пошла эта „московская волокита“, а потом смешение языков и рассеяние народов. На поверку вышло так, что мы претерпели некоторое гонение от „мучителя фараона“, значит, все честью кончилось».

Рецензент газеты «Голос» Арс. Введенский следующим образом оценил рассказ Мамина-Сибиряка: «Сюжет очерка г. Сибиряка „Все мы хлеб едим“ не может быть передан в коротких словах. В нем, хотя в бледных чертах, отражается весь быт деревни с ее обострившимися вопросами». Художественные особенности очерка Введенский оценивает так: «В сущности, автор берется передать свои наблюдения над встретившимися ему типами и передает их довольно удачными и характерными чертами. В очерках Д. Сибиряка характеризуются всего более общественные отношения деревни и захолустья» («Голос», 1882, № 133).

Социальную остроту рассказа пытался за-

тушевать критик журнала «Мир божий» После перечисления действующих лиц произведения он писал: «Под пером художника все они укладываются в полную жизни благодушную картину идиллии глухого уголка, где самая борьба за существование теряет свою остроту» («Мир божий», 1898 г., апрель, Библиографический отдел, стр. 83).

[^^^]

5

В горах. Очерк из уральской жизни

Впервые напечатан в первой и второй книжках «Русской мысли» за 1883 год под названием «Старатели. Очерк из уральской жизни» за подписью: Д. Сибиряк. Печатается по сборнику «В глуши», М., 1898 г. с исправлением опечаток по журнальной публикации.

Работа над очерком может быть отнесена к 1880 году. На рукописи (хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства — ЦГАЛИ) — авторская пометка: «1880 г., 1 декабря, г. Екатеринбург». Видимо, вскоре очерк был направлен в «Вестник Европы»; об этом говорит письмо к А. Н. Пыпину от 28 июня 1882 года: «Два года назад я посылал рассказ „Старатели“» (Гос. публ. библиотека имени Салтыкова-Щедрина, Рукописный отдел). После того, как очерк был отклонен редакцией либерально-буржуазного «Вестника Европы», автор передал его в «Русскую мысль». В письме А С. Маминой от 18 января 1882 г. об этом сказано: «мной отдан в толстый журнал „Русская мысль“ мой рассказ

„Старатели“, отдан еще в половине прошлого октября» (ЦГАЛИ).

Рукопись хранится в ЦГАЛИ, там же находится выправленная автором копия 4-й главы (окончание ее отсутствует), содержанием которой является судебный процесс Гвоздева и Печенкина. На первой странице копии авторская помета: «NB. Эта глава может быть выпущена совсем или сокращена до minimum'a, так как весь очерк вышел очень длинен. Автор». Эта глава нигде не печаталась.

Рассказ перепечатан в сборнике «В глуши», М., 1898.[57] При подготовке к этому изданию автор изменил название рассказа (вместо «Старатели» — «В горах»), сократил его и сделал значительное число поправок, улучшающих стиль произведения.

На рассказ «Старатели» откликнулся критик газеты «Современные известия» (№№ 8, 9, 41, 1883 г.).«...типы золотоискателей, — писал он, — едва намеченные в первой части, во второй охарактеризованы рельефнее. Фоном для них служит дикая сибирская среда, в которой царит полный произвол и самодурство. Старателям придан теплый тон».

В рецензии на сборник «В глуши» критик журнала «Мир божий» писал: «Большой очерк „В горах“ еще разнообразнее по содержанию (он сравнивается с рассказом „Все мы хлеб едим“. — А. Г. и С. Г.), напоминая большие произведения того же автора, как напр., его роман „Хлеб“. Только в очерке нет той полноты и закругленности, как в романе. Это как бы ряд эскизов, послуживших в свое время художнику для богатой бытовой картины... В очерке нет еще настоящей законченности, нет центра, вокруг которого группировались бы все выведенные лица. Перед нами ряд набросков, из которых каждый отделан вполне и может служить готовой картиной».

Но ни один из рецензентов не отметил социальной остроты рассказа, осуждающего не только дикий произвол провинциальной администрации и всяческие безобразия разбогатевших купчиков, но и ту систему, при которой возможны все эти безобразия. В этом смысле приобретают большое значение слова Евмении, которая возмущена развратом, подкупами, характеризующими «господ» уральского городка. Там, в Петербурге, говорит

Евмения, все это — в увеличенных размерах. Стремление показать типичность нарисованных в рассказе нравов уральского провинциального города подчеркивалось эпиграфом, сохранившимся в черновом автографе: «Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь... Гоголь».

[^^^]